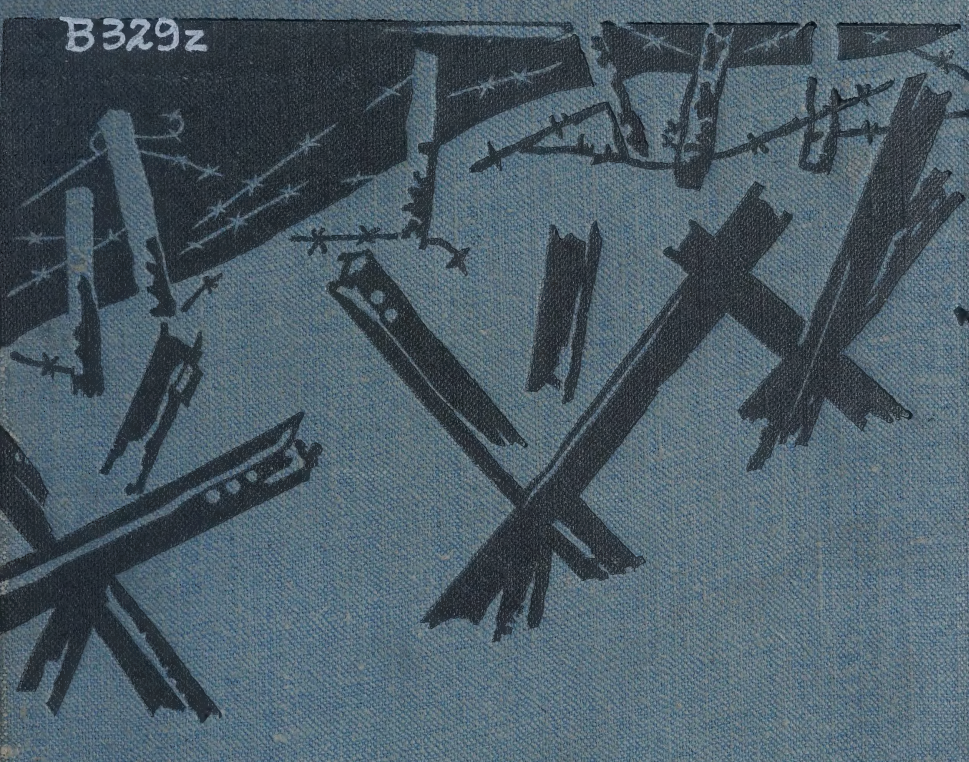
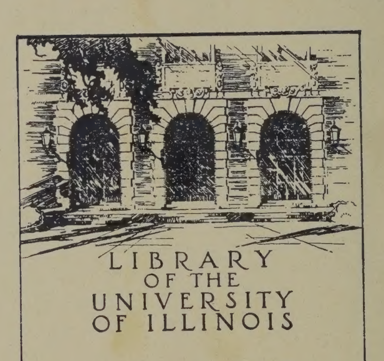
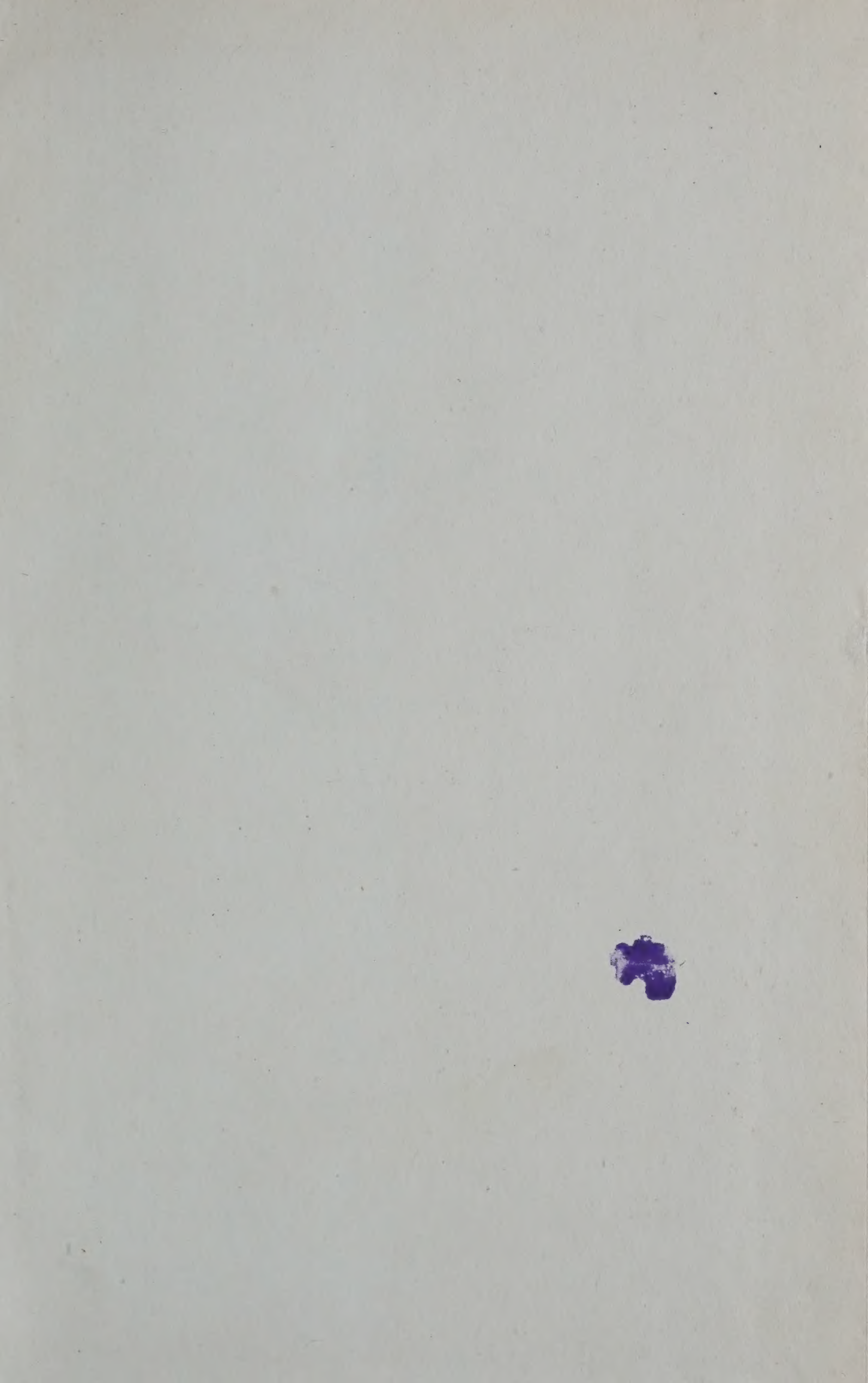
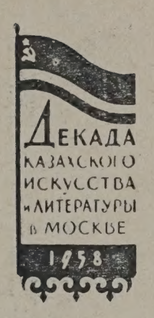


БАУРДЖАН МОМЫШ-УЛЫ

ЗА НАМИ МОСКВА







КАЗАХСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Алма-Ата



ҚАЗАҚТЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК
КӨРКЕМ ӘДЕБИЕТ
БАСПАСЫ

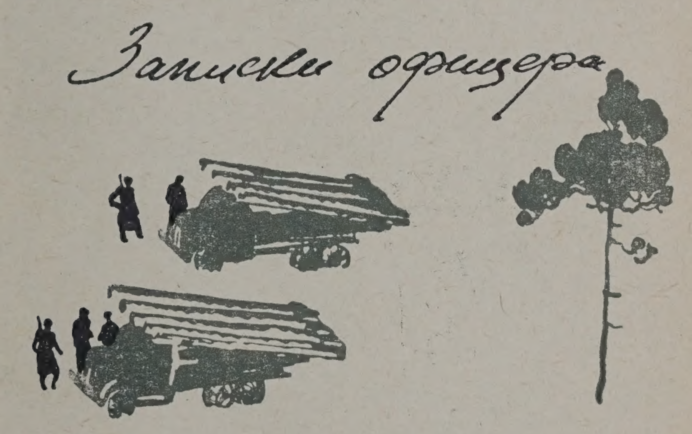
Алматы



БАУРДЖАН МОМЫШ-УЛЫ

ЗА НАМИ МОСКВА

Записки офицера





КАЗАХСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Художественной Литературы

АЛМА-АТА · 1958



НАША СЕМЬЯ

Вере Павловне Строевой

Отец мой Момыналы, в народе — Момыш, родился четвертым ребенком от деда моего Имаша, высокого, горбоносого, сильного старика, который умер девяноста двух лет от роду, в тысяча девятьсот одиннадцатом году.

Бабушку мою Кызтумас под старость прозвали «Ак-кемпир», то-есть белой бабушкой. Она была на редкость красивой, с удивительно белым цветом кожи. Такие казашки в кочевьях встречались не часто, и бабушка не без гордости говорила: «Сыновья пошли в отца, черные, как сажа, а дочери унаследовали мою белизну и красоту». Бабушка не разрешала своим сыновьям жениться на некрасивых, по ее мнению, смуглых казашках и ценила белизну кожи. Моего отца она продержала до тридцати трех лет холостым, заявляя ему:

«Тебе, черному уроду, я молю бога прислать невесту из райских красавиц, чтобы внуков от тебя я могла целовать без брезгливости к твоей черноте».

Однажды моего отца, джигита, состязавшегося в айтысе[1] с одной смуглой девушкой, бабушка при людях прогнала из юрты, гневно приговаривая, что она терпеть не может черномазых.

---

[1] Айтыс — поэтическое состязание двух певцов (поэтов-импровизаторов).

Отец повиновался воле бабушки, хотя и не разделял ее нелюбви к смуглым.

В добрый час, в хорошем настроении, бабушка была ласкова со своими взрослыми детьми, уважала ум и способности моего отца и с гордостью подчеркивала:

«Этот уродушка, слава богу, хоть от меня унаследовал ум. Этим я утешена судьбой».

Если она у нас, у внуков, обнаруживала какой-либо недостаток во внешности, то, как гроза, гневно обрушивалась на наших родителей:

«Зачем мне такое дитя принесли?»

Поэтому родители нас не пускали к бабушке, не приведя в порядок ребячий туалет.

Мой отец женился тридцати трех лет на моей матери Разии, дочери Абдырахмана из рода Байтана. Мать я не помню. Она умерла, когда мне было около трех лет от роду. Все мои представления о матери в основном сложились по рассказам бабушки и отца.

Бабушка до самой смерти печалилась и горевала о моей матери, каждую осень водила нас к ее могиле, зажигала сальные свечи, заставляла меня и моих сестер на коленях произносить слова молитвы об упокоении ее души, а сама плакала и причитала, как будто бы разговаривала с покойной:

«Голубушка, ангел мой, красавица Разия, сноха моя, я привела к тебе твоих птенчиков...»

Мы при последнем слове пугались, думая, что действительно сию минуту встретимся с покойной мамой, и умоляли бабушку скорее идти домой.

Приходя домой, бабушка обычно справляла поминки по покойной снохе, и тогда весь наш дом был в трауре.

По рассказам бабушки, моя мать была красивой женщиной. Она с почтением относилась к старикам, к отцу моему и к окружающим.

Первой в нашей семье родилась сестра Убиш, за ней, через два года, последовала вторая — Убианна, третья была названа Салиманной, четвертая — Алиманной.

По рассказам отца, я родился зимой тысяча девятьсот десятого года, двадцать четвертого декабря по старому стилю. Отец в это время находился в городе Аулиэ-Ата[1]. В ночь моего рождения дедушка во все концы послал гонцов, в том числе и к отцу.

Гонец Байток, войдя в дом, где жил отец, и увидев его, до того растерялся, что не мог произнести ни слова. Он только обнимал моего отца и плакал. Сестра отца и все присутствующие встревожились, думая, что он принес весть о несчастье в семье, и стали тормошить безумца, умоляя сказать, что случилось.

«Тетя сына родила!» — произнес наконец Байток.

Тревога сменилась радостью. Посыпались поздравления отцу, а Байтоку — подарки за радостную весть.

Вернувшись домой, отец застал в сборе всю нашу родню, съехавшуюся с поздравлениями и подарками. Собрался весь аул. Был устроен той[2].

После меня родился еще один сын, звали его Тэурджаном, умер он годовалым ребенком. Отец рассказывал, что когда моя мать была тяжела мною, он однажды видел сон... Старческий голос произнес непонятные ему четыре слова по-арабски: «Баур, Тэур, Майс, Манус». Проснувшись, он так объяснил «жорыды» — свой сон: создатель подарит ему четырех сыновей, и он назовет их этими именами. Мне выпала честь называться Бауржаном (Бэвурджаном).

Шестимесячного, мать спеленала меня и пошла к дедушке, который занимался древонасаждениями.

— Внук деду помогать пришел,— сказала мама.

Дед бросил работу, подошел ко мне и вложил в руку тоненький прутик...

— На тебе курык,— баранов и коней будешь гонять..

Но на умильные жесты деда я не улыбнулся.

— Будет у него очень тяжелый характер,— произнес дед.

В честь первого свидания и разговора с дедом отец зарезал барана и пригласил дедушку со всей семьей.

---

1 Аулиэ-Ата — ныне Джамбул.

2 Той — праздничный пир.

Все это рассказывается с такими подробностями, чтобы передать, с какой тоской и жаждой мои родители ждали сына, и чтобы была понятна искренность их радости, вызванной моим появлением на свет, ибо казах, у которого нет сына, считался бездетным, без наследника, сколько девочек ни было бы в семье. Супругам, не произведшим на свет сына, даже приписывалась кличка «кубас», то есть сухая голова считались они «тукумсызами», то есть бесплодными.

Бабушка рассказывала, что мать моя пережила какие-то нервные потрясения. Отец говорил, что она болела шесть месяцев и умерла в полном сознании, простившись со всеми.

Я помню ее в постели перед смертью, когда меня привели в последний раз с ней попрощаться. Помню ее больное, крупное, продолговатое, с легкой желтизной лицо, с крупным носом и белыми зубами. Мать поцеловала мой лобик, и меня тут же увели.

До последнего своего вздоха она спокойно разговаривала с отцом, предупреждая его, что жизнь ее уже начала покидать, что холод уже охватил нижние конечности, дополз уже до груди. Сказав об этом, она молвила отцу прощальное:

— Прощай... Будь счастлив с нашими детьми...

«С такими словами, спокойная и строгая, ушла она от нас»,— много раз вспоминал отец.

Через год отец устроил богатые поминки, по словам современников, не похожие на обыкновенные поминки по женщине.

Отец говорил, что пять лет после ее смерти он вычеркнул из своей жизни. И я этому верю. Второй раз он женился, когда мне было восемь лет. Наша новая мать была дальней родственницей моей первой матери.

* * *

Когда я родился, отцу моему было пятьдесят три года.

По рассказам бабушки, мой отец был самым шустрым и сообразительным из всех ее детей, и она настояла, чтобы его учили грамоте.

После школы отец до самой смерти занимался самообразованием. Он знал элементарную математику, читал газеты и с появлением в нашем краю русских начал изучать русский алфавит. Еще молодым человеком отец научился столярно-плотничному ремеслу, сапожничеству, изучал степную ветеринарию. Мой отец славился также в степи и своим ювелирным искусством.

Отец состязался в айтысах, сочинял эпиграммы, но никогда наизусть не заучивал чужие произведения.

Когда мой отец стал взрослым джигитом, дед доверил ему управление хозяйством. Даже самолюбивая и властная бабушка ограничила свою власть домашним очагом, отсылая всех по хозяйственным вопросам к Момышу. Ни один из вопросов так называемых внешних сношений — купля, продажа, взаимные подарки родственникам, устройство тоев и поминок, уплата налогов, смена кочевья и прочие дела — не решался без него. При возникновении каких-либо споров их разрешение обязательно откладывалось до возвращения моего отца. Аул назывался по его имени и при жизни дедушки.

«Он сразу стал главным в семье...— рассказывала бабушка.— Избавил нас от хлопот по хозяйству».

На обязанности отца лежала забота о благополучии семьи.

Жили мы небогато, но честно. Начиная с дедушки, все работали. Никого не нанимали, ни к кому не нанимались.

В молодости отец имел прозвище «Молда-бала» — грамотный парень, «Уста-бала» — мастеровой парень. Бабушка звала его «Қара-катба», то есть черный, сухой, как мумия.

Отец был ниже среднего роста, худощавый. У него был открытый лоб, длинные брови и ресницы, большие круглые глаза.

...Удивляясь его силе и ловкости, бабушка дала ему вторую кличку «Тарамыс», то есть жилистый.

Однажды я обиделся на бабушку за нелестное прозвище, данное отцу.

«Мать имеет право называть своего сына, как она захочет...» — ласково заметил отец.

Помню, как мой дядя, младший брат отца, однажды резко оборвал бабушку: «Довольно, апа!»[1]

Бабушка вспыхнула и с гневом сказала:

«Даже Момыш ни разу не повысил голос на меня. Откуда ты взялся, щенок?! Вон с моих глаз!» — и прогнала его из юрты.

Тут же вошел отец. Бабушка обняла его, наговорила много ласковых слов, расцеловала и потребовала наказать дядю за непочтительность.

«Накажу, обязательно накажу, мама...— успокаивал ее отец.— Ты только разреши его не бить...» — уговаривал он бабушку.

Дядя ночевал в отаре. Отец утром дал ему поручение и куда-то отправил верхом на десять дней.

К возвращению дяди бабушка успела забыть его резкость и даже соскучилась по своему младшему сыну.

* * *

В нашем степном крае, как говорили в народе, человека, умеющего водить пером по белой бумаге, трудно было найти. Муллы, фальшивые декламаторы отдельных страниц корана[2], тоже не все владели этим искусством. Отец стал популярным человеком в волости. Новое русское начальство требовало оформления дел на бумаге и для неграмотных, а их было тогда у нас девятьсот девяносто девять человек на каждую тысячу, ввело вместо подписи прикладывание большого пальца правой руки, потребовало составлять именные списки для обложения налогами и другие бумаги.

Все, включая аульных и волостных старшин, стали обращаться к отцу для оформления различных дел, вроде составления списков, прошений, донесений. При уездном управителе имелись толмачи —

---

[1] Апа — мама.
Коран — священная книга.

переводчики. Они, по существу, и были властителями казахов в уезде, ибо решение любого вопроса больше зависело от того, как толмач переведет начальнику какую-либо просьбу или жалобу. По рассказам отца, толмачи, как правило, были взяточниками и жуликами высшей марки. Они брали взятки с того, кто подавал жалобу, и с того, на кого жаловались. «Твои слова буду говорить»,— обещал толмач, получая мзду, а говорил, что ему вздумается.

В то время степные воротилы заигрывали с народом по-своему и свои действия, какими бы они ни были антинародными, объясняли новыми порядками, введенными русскими начальниками в степи. Русские чиновники были жупелом в их руках. Они проводили ту же политику, что и казахские баи: «разделяй и властвуй», вымогая взятки с каждой из межродовых группировок.

Казахи знают немало замечательных представителей русского народа: просветителей, исследователей, путешественников. Но в нашем степном округе ни один царский чиновник не был популярен среди казахов.

Тогда в три года один раз созывался уездный чрезвычайный съезд для выбора волостных управителей и биев — судей. Этому предшествовала долгая предвыборная борьба, сопровождаемая подкупом выборщиков, шантажом группировок и клеветой, чернящей соперника.

Система выборов формально была установлена делегированием: один представитель от пятидесяти хозяйств. Этот делегат назывался пятидесятником. Фактически за весь род голосовал один заправила. Он торговал голосами всего рода. Да, по существу, голоса и не играли никакой роли на выборах: зачастую чиновник подделывал выборные документы и объявлял избранным того, кто давал ему большую взятку. От имени рода выборщику подавались прошения. Их, конечно, никто не читал, но подавать прошения считалось самым верным средством, так как начальство степное было недоступно для казахов.

Однажды на предвыборном сборище все грамотеи натолкнулись на непреодолимую преграду.

— Бумага остановилась!.. Бумага остановилась!..— тревожно шептались «депутаты». Все суетились и ломали голову.

Тогда один из претендентов на должность судьи, дядя моего отца по материнской линии Текебай-бий, заахал, что теперь бумага не успеет к уездному. Мой отец, двадцатичетырехлетний джигит, спросил:

— В чем дело? Что случилось?

— Никто не может написать половину — со вздохом ответил бий.

— Я напишу...— сказал отец.

— Где тебе, юнцу, написать такие ,сложные знаки? Ведь все муллы второй день не могут написать...— недоверчиво посмотрел на отца бий.

— А я знаю и напишу...— уверенно сказал отец.

Его повели в особую юрту, где сидели грустные муллы. Отец написал 1/2 и доказал, что это именно половина. Все были в восторге и, облегченно вздохнув, глядели на отца, как на спасителя.

Соперником Текебая в то время был сын Байузак-датка — степного аристократа — пятидесятилетний Кабылбек. Он соперничал три с лишним года, осыпал Текебая клеветой, обвинял его в конокрадстве, устраивал разные провокации, чтобы только скомпрометировать своего соперника.

Старший сын Текебая, тридцатипятилетний Серкебай, после очередной клеветы сторонников Кабылбека взял с собой десять джигитов и поехал в стан Кабылбека. Усевшись напротив него и сложив камчу[1] вдвое — знак вызова,— он оскорбил его самыми унизительными словами в присутствии всех сторонников. Кабылбек молча выслушал Серкебая и в ответ на возмущение своих сторонников сделал рукой знак молчать и не трогаться с места.

Серкебай, взбешенный еще пуще, осыпал Кабыл-

---

[1] Камча — плетка.

бека бранными словами, потом вскочил на коня и поскакал обратно.

После отъезда Серкебая друзья Кабылбека с возмущением спрашивали:

— Почему вы не позволили расправиться с ним?

Кабылбек спокойно ответил:

— Ему уже, наверное, самому стало стыдно за свой поступок.

Когда Серкебай с гордостью доложил отцу о своей поездке, хвастаясь тем, что «даже сам Кабылбек не посмел обмолвиться ни единым словом», отец строго посмотрел на него и произнес:

— Дурак!

Серкебай вылетел из юрты отца, пошел к себе и пролежал два дня голодным...

Подготовка к выборам шла своим чередом.

На третий день Серкебай явился к отцу и сказал:

— Я недостойно оскорбил Кабылбека: он старше меня на двадцать лет. Меня мучит стыд.

Текебай, собрав всех своих сторонников и взяв с собой подарки, поехал к Кабылбеку. Сторонники Кабылбека подумали, что Текебай ведет своих джигитов в бой, и приготовились к встрече противника. Остановившись у стана Кабылбека на расстоянии конного рывка, Текебай с Серкебаем отделились от джигитов. Кабылбек, решив, что они едут для переговоров о начале боя, двинулся навстречу. Тогда Текебай слез с коня и подошел к Кабылбеку.

— Мой щенок позавчера облаял тебя, Кабылбек! Я приехал просить у тебя прощения за него. Простишь ли ты?

Растроганный Кабылбек соскочил с коня и упал к ногам Текебая.

— О, благородный Текебай, я перед тобой более виноват, чем твой сын передо мной. Ты старше меня, а я слушал тебя в седле. Простишь ли ты мне аксакал[1], этот мой проступок, позорный для моего рода? Подарки оставь себе, возьми мой халат...

---

[1] Аксакал — буквально: белая борода, старейший, почтеннейший.

Он снял с себя халат, надел на Текебая и, обратившись к своим, громко сказал:

— На выборах голосуйте за Текебая. Я снимаю свое имя.

С тех пор враждующие роды стали дружными, и на последующих выборах родоначальники добровольно уступали должность бия друг другу. Против таких великодушных поступков были бессильны чиновники и толмачи. Чтобы не допустить вмешательства чиновников и толмачей во внутреннюю дипломатию рода, им давались взятки. Межродовые конфликты возникали часто, но за рамки Большого рода не выходили, и решение всегда принималось внутри рода.

Впоследствии моему отцу неоднократно предлагалась должность волостного писаря, то-есть личного секретаря волостного управителя, но, не желая быть зависимым, отец отказывался, хотя и выполнял отдельные просьбы: оформлял какую-либо бумажку в порядке любезности и одолжения.

Двадцати восьми лет он был избран старшиной и на семнадцатом году работы добровольно уступил эту должность своему сверстнику Ерешу. Никаких других постов отец не занимал, оставаясь неофициальным «консультантом» по всем аульным делам. Своими справедливыми решениями аульных вопросов он прославился как «Тура-Момыш», то-есть, прямой, справедливый.

Он не был скупым, не был мелочным, не был завистливым. Успех любого радовал его искренне. До конца своей жизни отец любил щедро угощать, делать подарки, устраивать тои, поминки. Он считал излишней заботой накапливать средства, без конца размножать скот. Помню, один раз мачеха меня упрекнула, что я допустил излишние траты. Я посмотрел вопросительно на отца.

«Деньги и существуют для того, чтобы их расходовать»,— ответил он нам.

Когда в наш аул на джайляу[1] приезжали узбеки на своих большеколесных арбах торговать урюком, яблоками, вся аульная детвора шумно кидалась им навстречу, и узбек, дразня нас, на ходу кидал несколько плодов. Те, что постарше, ловили их на лету, а малыши бросались на землю, стремясь первыми захватить яблоко. Тот, кому доставался помятый плод, бросался в сторону, остальные бежали за ним. Потом снова догоняли узбека, и снова начиналась свалка: каждому хотелось захватить яблоко. Около аула узбек останавливался и с блаженной улыбкой говорил:

— Ай, какой вкусный урюк! Ай, вкусный! Зовите, дети, своих родителей, пусть покупают. Дешево, дешево отдам...

Дети мчались к юртам и уговаривали родителей идти к узбеку. У многих не всегда бывали деньги. И вот тогда мой отец выстраивал взволнованных ребят и покупал им лакомства на деньги, полученные за свои искусные изделия. Узбек отвешивал по полфунту, фунту урюка, и дети по очереди получали его в подолы рубашонок. Женщины с грудными ребятами подходили и ставили своих малюток в строй. Те ничего не понимали, махали ручонками, плакали.

«Не плачь, не плачь, а то дед не купит тебе урюка»,— уговаривали матери.

С базара отец возвращался с сумками, наполненными подарками для детворы, поэтому все дети в ауле звали его ласково дедом, а взрослые «Жаке». И сейчас еще один старик, вспоминая его, к ласковому имени Жаке добавляет «жарыктык», что означает светлый.

В третью годовщину смерти деда отец устроил большой ас с призами для скакунов, а так же борцов и певцов, пригласив весь уезд. Так как подобные асы давно вышли из обычая казахов, мне приходится объяснить, что такое ас. У казахов существует закон,

[1] Джайляу — летовка, место, куда казахи переселялись на лето.

определяющий права и обязанности семьи, родственников и близких. Это не разновидность «усовершенствованного кодекса» о браке, семье и опеке. Нет, это веками сложившиеся традиции и обязанности нормы поведения, основанные на человеческом достоинстве, морали и справедливости. Отец обязан вырастить детей и дать им хорошее воспитание, женить сына, выдать замуж дочерей и поровну разделить между ними енши, то есть долю из своего состояния, когда они станут самостоятельными, захотят отделиться и жить своей юртой. Отец должен охранять честь семьи и рода. За дурные поступки детей отвечает отец, плохо воспитавший их. Поэтому проклятия за плохих детей и благодарность за хороших — удел родителей. «Проклятие твоему отцу и матери!», «Благодарность твоему отцу и матери твоей!» Так выражают казахи свой гнев в одном случае и благодарность в другом. Отсюда — уважение к предкам рода.

Преемственность, наследование всех благородных черт считались обязательным. «От потомок хороших людей, у него кость хорошая», — говорят у нас. Вот почему в айтысах каждый старался показать светлую сторону своего предка. Быть достойным наследником — мечта казаха. Каждый казах свою семейную и родовую честь, как знамя, должен достойно пронести через жизнь.

Сыновья обязаны «беречь родных от плохого имени», то есть, не делать ничего такого, что давало бы повод другим плохо говорить о них. Дети должны до конца жизни родителей относиться к ним с уважением, ни в коем случае не допускать грубостей и непочтительного обращения, уважать их старость, с почетом похоронить, поминать их во всех молитвах — и устраивать асы — поминки. Если по какой-либо причине не устраивался ас, то это считалось невыполнением сыновнего долга и заслуживало порицания. «Отец и мать остались непомянутыми» — это рассматривалось как дурной поступок, неуважение к памяти родителей и осуждалось из поколения в поколение.

Ас полагалось устраивать щедро, не жалея для этого ничего. В его подготовке принимала участие вся семья, подрод.

Ас в честь старых, хорошо проживших свой век людей, носил торжественный характер и справлялся как праздник в честь человека, ушедшего из жизни, исчерпав всю ее полноту, оставившего достойное наследие. Ас по молодым проводился в печали, как по ушедшим преждевременно из жизни.

Большие асы устраивались состоятельными людьми, и о них извещали близкие и дальние аулы за два — три месяца, приглашалась вся округа. О предстоящем асе глашатаи-жирши в стихотворной форме объявляли на базарах. Они похвально говорили о покойном и достойных его сыновьях, объявляли место и порядок проведения аса, призывали акынов и саяпкеров-наездников готовиться к выступлениям, обещая им большие призы. Все готовились к такому асу, приводили в порядок одежду, сбрую, коней, выхаживали и тренировали скакунов: ведь на таких сборищах встречались люди со всей округи.

Середняки и бедняки ограничивались ботхы, то есть кашей для небольшого круга людей своего аула,— их состояние не позволяло более широкого размаха.

Мой отец собрал всех старших нашего рода на совет по устройству большого аса по деду. Старейшины уговаривали воздержаться от широкого размаха, так как у отца, однолошадника, руки, де, коротки для подобного жеста. Отец не согласился и велел всем готовиться к большому асу. Поехал в город к ростовщикам, занял много денег, нанял поваров, купил сто пудов риса, двадцать баранов, десять лошадей. Это происходило ранней осенью. На ас были приглашены также узбеки, которые в течение трех дней усиленно торговали дынями, арбузами, виноградом.

На джайляу было поставлено пятьдесят юрт и, по традиции, в радиусе десяти-пятнадцати километров аулы были обязаны принимать гостей на ночлег. Богатые приезжали со своими юртами и пригоняли с собой косяки кумысных кобылиц.

Вокруг аула, в степи гарцевали всадники, а у юрт — привязаны кони, хозяева которых сидели в юртах, слушая акынов за дастарханом, и наслаждались кумысом.

Первый день был потрачен на сборы, второй — на развоз блюд. Третий на состязания борцов, джигитов и на байгу — скачки. Вечера заполнялись айтысами акынов. Всем отличившимся и занявшим первые места выдавались призы. Сырнайчи-киргизы целыми днями не слезали с коней, объезжая юрты, играя кюи в честь почетного и главного в той юрте, получая в подарок деньги, халат, коня.

Бабушка этот ас вспоминала с гордостью.

«Только мой Момыш-однолошадник мог поступить так, выполняя сыновний долг перед отцом».

Моя бабушка верила в бога, мой отец верил в бога. До сих пор я пытаюсь уяснить: казахи мусульмане или язычники. Я читал «Веды» индусов, «Авеста» зороастрийцев, библию иудеев, библию (Ветхий завет) и евангелие христиан. Я пришел к выводу, что как язычество, так и ислам у казахов слишком примитивны...

...Позже, будучи уже юношей, однажды я спросил отца:

— Как же ты, однолошадный бедняк, смог устроить такой щедрый ас по дедушке?

Отец усмехнулся, погладил усы и бороду, подумал немного, исподлобья посмотрел на меня и, снова усмехнувшись, сказал:

— Раз ты задаешь мне такой прямой вопрос, значит, ты созреваешь, сынок... Зрелому, как говорят, зрелый ответ. Я тебе скажу прямо, безо всяких обиняков. Ты, наверное, знаешь, почему говорится в народе «Сырты кампиган — іші куыс — внешне сыт, а внутри пусто». Я не был таким бедняком. У нас всегда было внешне худо, а внутри жирно... Я имел немного денег — резерв нашей семьи. Их не хватило бы на ас деда твоего, я поехал в Ауле-Ата к ростовщикам (тогда из узбеков и бухарских евреев было премножество ростовщиков) и взял у них денег на три месяца под

поручательство одного богатого узбека. У нас тогда по всем ветвям было около шестидесяти родственников. Я рассчитывал — пусть каждый родственник, по нашему тогдашнему обычаю, приведет хоть по одному коню — шестьдесят коней... Тогда русские ввели «земельный банк», который давал ссуды под земельные угодья. Я пошел туда и по поручательствам влиятельного русского человека заложил всю нашу землю и получил большую ссуду. Таким образом я обзавелся деньгами... Устроил ас по своему отцу. Бабушка об этом и поныне не знает.

— А потом как вы рассчитались? — прервал я отца.

— А потом было очень просто рассчитаться с ростовщиками и с земельным банком... Наши родственники привели не шестьдесят, а восемьдесят лошадей (коровы, телята, бараны не в счет). Ас прошел торжественно и достойно. Я все сборы продал на следующем же базаре и рассчитался и с ростовщиками и с земельным банком.— Тут отец расхохотался и сказал: — С тех пор слыву в округе надежным плательщиком как перед ростовщиками, так и перед земельным банком.— Отец снова погладил свою бурую бороду, помрачнел и, с грустью посмотрев мне в глаза, строго предупредил: — Но ты никогда, сынок, не должен подражать мне. Долг — это кабала. Я, пытаясь сохранить чувство чести, чуть было не обесчестился...

Я отвлекся слишком взрослыми разговорами, давайте-ка лучше вернемся к моим детским годам.

* * *

Помню: солнце заливает вершины гор, ласкающих глаз мягким блеском, нежным, бархатистым. «Там солнце... Там светло...» — лепечу я, еще не успев после крепкого сна разомкнуть слипшиеся ресницы и дрожа от утренней прохлады.

Внизу — аул. Чабаны гонят по склону гор отары. И юрты, и отары сливаются с рассыпанными вокруг

валунами. Гора своей тенью закрывает долину и, пока солнце не подымется над горизонтом, огромная тень будет двигаться навстречу, все ближе и ближе к ее подножью.

Бабушка, выйдя из юрты, берет меня за руку: «Пошли кумыс пить, коль ты рано встал». Я упираюсь босыми ножонками о камень, хочу вырвать руки...

— Ты что упираешься? Ну, хорошо, я сама все выпью!

Покинутый бабушкой, я с плачем бросаюсь следом за ней.

Детство... Детство! Далекое и смутное, наивное и чистое, заря жизни моей...

Люди мне казались добрыми и чистыми, правдивыми и любящими, преданными друг другу. В бороде мужчины я видел нечто достойное уважения. В юношеском задоре джигитов и в шелесте девичьих платьев видел торжественную красоту жизни. Мне казалось — они все любят меня и созданы для того, чтобы забавлять шаловливых детей.

Громады величавых утесов, бескрайний простор степей, прозрачная синева неба, мерцающие звезды, круглый диск луны, пышный ковер растений — все, казалось, смотрит на меня с доброй, ласкающей улыбкой. Все добры и красивы, как красивы были для меня моя старенькая бабушка и молодые сестры.

Только хмурые тучи напоминали мне деловитость отца, а гром казался гневом бабушки на своих взрослых детей, и я испуганно затихал... Дождь, казалось, был похож на слезы обиженного ребенка, и мне становилось жаль его, и я страдал... Табуны игривых кобылиц, несущиеся по полю жеребята звали погнаться за ними. В ясные дни дымчатые барашки облаков манили меня, хотелось долететь до них и играть меж облаками в прятки со сверстниками... Куда только ни уносило меня детское воображение... Мне и сейчас иногда хочется вернуться в этот далекий детский мир...

Мы всегда почему-то в своих воспоминаниях ищем какую-то систему, хотим придать им какой-то смысл

Это возможно для более зрелого периода, но напрасно искать стройность и последовательность в наших первоначальных ощущениях. Мне думается, что бессюжетная биография каждого из нас тем и интересна, что она доносит до нас с точностью все восприятия и впечатления ребенка. Поэтому мне хочется рассказать о своих детских впечатлениях в той первородной чистоте, которую мы все вспоминаем.

...Вот моя сестра Убианна идет от большой юрты к очагу. Я, увидев ее, с радостью бросаюсь навстречу. Она, на лету схватив меня, подымает над головой. Я хохочу... Потом она через широкий разрез ворота рубахи прячет меня за пазуху и так несет дальше, словно кенгуру своего детеныша. Из рубахи торчит моя голова. Мне тепло на ее груди...

Однажды другая сестра Алиманна, играя со мной, из домашней утвари и вещей соорудила круглый забор в полметра высотой, обманом загнала меня туда и, заперев «ворота» отцовским седлом, ушла играть со своими подружками. В этой «одиночной камере» я с неистовым ревом провел около часа. Оттуда меня высвободила тетка. «Ой, какая нехорошая девочка Алиманна!» — приговаривала она, укачивая меня на руках. С тех пор я меньше любил младшую сестру...

* * *

Помню... Дядя, младший брат моего отца, держит меня на ладони правой руки посредине большой юрты. Я стою на его ладони, не сгибая колен, и ужас наполняет мое сердце. Дядя приговаривает: «Қаз! каз!» — и ловко оберегает меня от падения...

Это он же посадил как-то меня в лисий тумак[1], оставшийся от моего деда, и, завязав петлю тумака, повесил меня в нем высоко на выступе стены юрты. Потом сам уселся на кошме и долго забавлялся, задавая мне вопросы: «Ну, как, птенец? Когда вылетишь? Когда вылетишь?» Когда же я начинал хны-

[1] Тумак — шапка.

кать, он пугал меня, что сейчас придет дивана[1]... После этого я избегал дядю...

* * *

Как-то отец приехал с базара. Старшая сестра вынесла меня навстречу к нему. Отец приспособил коржун[2] на седле и посадил меня на коня. Я вцепился в переднюю луку седла. Отец повел коня в поводу. Расстояние до юрты было не более тридцати метров, но я несколько раз переваливался то в одну, то в другую сторону и скатывался в коржун. Отец, смеясь вытаскивал меня оттуда и снова сажал на седло. Сестра шла рядом и приговаривала: «Не бойся, не бойся! Крепче держись!» Это был мой первый урок верховой езды.

* * *

Вспоминается еще... В юрте на кошме сидят несколько бородатых людей и пьют кумыс. Отец — на краю кошмы, он знаком подзывает меня и шепчет на ухо: «Ты что же, приветствовал ата,[3] как я тебя учил?» Пристыженный, я выбегаю из юрты. Немного постояв, я с важным видом снова вхожу и, поклонившись, произношу членораздельно: «Ассалям-алейкум, аталар». Разумеется, все смеются и, чтобы меня не обидеть, хором отвечают: «Алейкум салям!». Потом начинают хвалить меня и называют хорошим мальчиком. Гордый похвалами, я подсаживаюсь к отцу. Он гладит меня по головке: «Молодец, мой мальчик! Когда входишь в юрту, где сидят старшие, всегда поступай, как положено!»

* * *

Отец меня учил нашей родословной.

— Чей ты сын? — спрашивал он меня.

— Я сын Момыша,— отвечал я.

---

[1] Дивана — нищенствующий странник.
[2] Коржун — переметная сума.
[3] Ата — дедушка.

— Момыш чей сын?

— Момыш — сын Имаша.

И так до седьмого колена...

Приезжавшие гости всегда считали своим долгом интересоваться моими познаниями и спрашивали мое имя, а затем имена всех прародителей до седьмого колена.

* * *

Как-то во время поездки по Кавказу третьи сутки мы ночевали под открытым небом. Часто я лежал с открытыми глазами, мысленно путешествуя по своей биографии. На многих перевалах жизни я не задерживался, меня постоянно влекли детство и военные годы. Мне хотелось, пока все спят, вскочить и записать все, что вставало в памяти. Но где же взять свет? Мне оставалось смотреть на небо. Звезды мигали, сочувствуя моей беспомощности. Где-то в лесу перекликались совы, словно сторожа, охраняющие ночной покой. Чистое-чистое небо... Полная, будто в широкой улыбке, луна. Еле слышен легкий шелест деревьев... Холмистый горизонт. Нет, это не холмы,— это загон пушистых верблюдов, горбы которых мягко переливались на фоне ночного неба, возвышаясь один над другим... Это не Ала-Тау с торчащими пиками — скалами, нет, это были именно гигантские верблюжьи горбы. Тогда я вспомнил...

Мне было пять, а может быть, шесть лет. Я проснулся ночью и неслышно соскользнул с бабушкиной постели. Я хотел пойти к отцу, юрта которого находилась неподалеку. В загоне, вытянув шеи, вплотную спали верблюды. Пробираясь среди них, я прислонился к пушистому верблюжонку и долго смотрел в звездное небо. Луна, мне казалось, улыбалась. Верблюжьи горбы, как горные хребты, возвышались на фоне неба, волнистой линией перекрывали друг друга. Было так тихо, что я слышал легкое дыхание верблюжат. Я забыл, что шел в юрту к отцу, и стоял, как зачарованный.. Утром меня нашли спящим между двумя пушистыми верблюжатами. Отец посмеялся, а бабушка рассердилась и с тех пор начала запирать дверь в юрте...

Я никогда не думал, что может повториться эта ночь на войне. Но тогда было точно так же. Я себя чувствовал среди горбатых гор и лунной ночи таким же маленьким, как в те годы.

...Итак мне исполнилось пять лет. Наш аул давно уж откочевал с горных летовок, что находились у подножья Ала-Тау, по ущельям Ак-сай и Кок-сай спустился вниз, на сочные равнины Мын-булака — «тысячи родников».

Стояла ранняя теплая осень. Проходили будничные дни кочевок нашего аула. Скот пасся, взрослые занимались своими делами, мы, дети, играли в тиши родного аула. Я подрастал, заканчивался мой аульно-степной «детский сад».

* * *

Когда я перебираю в памяти имена своих учителей, постоянно встают передо мной образы моих родителей...

Никто из моих более поздних наставников не учил меня тому, чему научили бабушка, отец и старейшие из наших сородичей. Нет, я не преувеличиваю. Первый рассказ об истории мира и человечества, услышанный мною, принадлежит моей бабушке...

Да, легенды о сотворении мира, о человеке, о жизни, суждения о долге и благородстве, о том, что хорошо и что плохо, что следует делать и чего следует избегать, кого следует любить и кто достоин презрения, первый свод законов Суда Совести, Морали и Нравов преподали мне они. Правда, как и все дети, я не понимал сути бабушкиных сказок и легенд, отцовских рассказов и поучений старших. Меня тогда увлекал лишь их внешне приключенческий характер, сказочно чудесное. Сейчас мне ясно, что я от них познавал законы человеческого поведения.

Преподаватели меня учили, как произносятся звуки, как из букв образуются слоги, а потом слова. Учили водить пером по бумаге, решать задачи. Но сама жизнь, люди, с которыми мне пришлось сталкиваться за короткий период моей жизни в сложной,

непостоянной, меняющейся обстановке, кидавшей меня из тишины в гущу людскую, с одной волны нашего времени на другую, из одного русла жизни в другое,— тоже были моими учителями. Они расшифровывали мне бабушкины «можно» и «нельзя», «хорошо» и «плохо»...

Бабушкино «так было» меня отбрасывало далеко назад, на много веков, и это же бабушкино «было» много раз пыталось бросать меня вперед...

Вот сегодня, когда я сам стал отцом, и дети начинают задавать мне наивные, простые, но глубоко содержательные вопросы, а время и расстояние не всегда позволяют ответить им, я искренне жалею, что у них нет такой бабушки.

Все дети на вопрос сколько им лет не без гордости отвечают: исполнилось столько-то. В наше время по календарю ежегодно отмечают дату рождения, а тогда, в дни моего детства, у нас отмечался не год рождения, а своеобразный «век». Первый «век» младенца считался по истечении сорока дней, следующий — «пошел седьмой год»—означал: ребенок окончательно встал на ноги. Недаром у нас говорят: «До семи лет землей будет бит». Настоящий «век» исполнялся, когда мальчику шел тринадцатый год — год зрелости, когда, как говорят казахи, он «овладел собственными поводьями». И, наконец, «двадцатипятилетний джигит».

Отец меня учил названиям дней, месяцев и годов по двенадцатициклововому летоисчислению. «Год мыши, коровы, змеи, лошади, обезьяны, курицы, кабана, зайца, барана, тигра, собаки улу (улитки)»...— заучивал я. Но отец не разъяснил мне, что это означает.

Однажды, получив одобрение отца, я решил похвастаться знаниями и стремглав побежал в бабушкину юрту. В юрте веял тихий ветерок. Бабушка сидела с двумя прутьями и била шерсть так ритмично, что казалось, она отбивает какую-то мелодию. Две мои сестры и племянница помогали бабушке. Одна подносила шерсть, другая ее раскладывала, третья вертела веретено... Я, подгоняемый своими познания-

ми, вбежав в юрту, нетерпеливо закричал. «Бабушка, бабушка, постой! Я тебе расскажу, что я выучил»... «Подожди, внучек, я кончу, потом расскажешь»,— как всегда спокойно, остановила она меня. Я сел и начал играть шерстью, но младшая сестра вырвала у меня её. Я разозлился на нее и назвал ее обязьяной. Она обиделась и отшлепала меня:

— Почему я обезьяна?!

— Потому, что ты в год обезьяны родилась...

— А ты кабан, потому что родился в год кабана! — показала она мне язык.

Я обиделся и полез драться.

Бабушка разняла нас, смеясь.

— А когда Курманкуль родилась?

— В год курицы,— ответила бабушка.

Курманкуль была худенькой, и косички торчали у нее во все стороны. Мы сразу стали дразнить ее «общипанной курицей». Курманкуль начала хныкать. Тогда бабушка усадила нас, дала по горячей лепешке и начала с достоинством:

— Когда аллах сотворил мир, солнце, луну, день и ночь, он так устал, что позабыл дать название дням, неделям, месяцам и годам... Все живое на земле существовало, не зная ни счета, ни времени, и все до того запутались, что не знали, кто старший, кто младший: возраст определяли не по годам, а по росту, не знали, когда быть осени, зиме, весне и лету. Бараны и верблюды ходили нестриженные и забывали линять, а люди — их стричь. Аллах смотрел, смотрел на этот беспорядок и решил научить людей уму-разуму: счету времени, научить дорожить временем, а не жить беззаботно, как дети, а для этого разделить месяцы на недели и дать счет дням, а год — на двенадцать месяцев, чтобы все знали, когда что делать: когда молодняк кормить молоком, когда надо стричь баранов, когда гнать скот на летовку. И назвал аллах месяцы по временам года. Луне велел помогать людям вести счет, закрывая и открывая свое лицо, а звездам — предсказывать погоду.

Так и жили люди много лет. И снова началась путаница... Каждый год похож на следующий, весна—

на весну, зима — на зиму. И жили люди, не имея прошлого и не заглядывая в будущее...

Тогда аллах собрал всех зверей и сказал им, что устанавливает он счет по двенадцати лет, а для того, чтобы все помнили и не забывали года, он хочет назвать их именами звериного мира. Пусть все выйдут в степь и завтра на рассвете смотрят на восток. Когда первый луч ляжет на горизонт, появится белое облачко пара и застелет светлым покрывалом землю, это будет новый год. Кто первым его увидит, именем того назовется первый год, и отсюда пойдет летоисчисление. Кто увидит вторым — второму году подарит свое имя. Итак, двенадцать животных, увидевших первыми год, удостоятся этой чести...

Звери побежали в степь и, конечно, начали хвастаться и спорить, каждому хотелось быть первым. Одни кичились зоркостью глаз, другие — быстротой ног, которые домчат их раньше всех к новогоднему облаку, третьи... Но верблюд, пожевывая жвачку, надменно посмотрел на всех, кто мельтешил у его ног, и улегся... «Напрасно спорите, мне и бегать не надо и вставать не надо. Моя шея такая длинная, что мне стоит поднять голову вот так, и я буду выше всех и увижу первым новый год аллаха». Он с пренебрежением вытянул голову и стал подбирать на земле колючки.

Бедный маленький мышонок, сознавая свое ничтожество, волновался и метался больше всех, спрашивая у каждого: «Что же мне делать? Что же мне делать?!» Он даже осмелился спросить у верблюда, но тот только фыркнул и сплюнул в его сторону жвачку: «Убирайся подальше, мелочь, ты даже ниже травы! Здесь немало более достойных»... И он лениво прикрыл тяжелыми веками глаза.

Ночь, успокаивая всех, покрыла землю темной шалью. Потом засветились звезды, в степи стало так тихо, что даже ветер приумолк, и только изредка повизгивал шакал... Звери широко раскрытыми глазами смотрели на восток.

Вот еле заметно стало розоветь небо. Звери за-

волновались, начали вытягивать шеи; лиса, взмахнув пушистым хвостом, забегала из стороны в сторону...

— Я успею еще... — зевнул верблюд.

И тогда вдруг над его головой раздался тоненький писк:

— Я вижу... Я вижу, вот облако начало подыматься...

Это мышь, взобравшаяся на голову верблюда, первой увидела новый год.

— Где ты пищишь, мерзкое создание? — обернулся верблюд, забыв о словах аллаха...

— Я на твоей макушке, отсюда все видно лучше и дальше, и я первая!..— радостно крикнула мышь, но верблюд тряхнул головой, и мышь, с криком «я первая», скатилась на землю.

Вот почему первый год назван годом мыши, и в народе говорят: «Не уподобляйся верблюду, который, надеясь на свою длинную шею, остался ни с чем... Многие звери удостоились чести, а года верблюда нет и поныне...».

Бабушка рассмеялась и сказала:

— Никогда не мните себя высокими, чтоб мышь не оказалась умнее вас, дети мои...

В это время через верхнее отверстие юрты влетела ласточка. Запищали птенцы, высовывая желтые ротики из гнезда, что так ловко прикрепилось к кругу шанрака[1]. Мы все невольно посмотрели вверх. Ласточка примостилась на краю своего гнездышка, и первый птенец был накормлен, а мать снова улетела за добычей. Вот видно, как она взвилась вверх, вот маленькой точкой носится она в голубизне неба, вписанного в отверстие шанрака, и снова стремительно кидается вниз — и следующий крикун получает зеленого жука. Усталая ласточка садится на край гнезда и чистит перышки...

— Фью-ю! — свистнул я и, схватив длинный прут, которым бабушка только что била шерсть, подпрыгнул, спугивая ласточку.

---

[1] Шанрак — верхний остов юрты.

— Эге-ге! Какой ты нехороший мальчик! Ой, какой нехороший! —удержала меня за руку бабушка.— Зачем пугаешь ласточку? Разве ты не знаешь, что она — друг человека? Она — желанный гость у меня в юрте, пока птенчики не окрепнут... Моего гостя обижать — это значит меня обижать,— пристыдила бабушка.

Девочки посмеивались, глядя на меня.

Тогда бабушка притянула меня к себе:

— Ну, успокойся, светик мой... Сядь на колени ко мне, и я расскажу тебе, почему у ласточки хвост рассечен и почему у комара нет языка...

Слушать бабушку было для нас наслаждением.

— Однажды великому падишаху Сулейману[1],— начала свой рассказ бабушка,— который был мудрее всех султанов в мире и справедливо царствовал над живущими на земле и в воде, понимал язык всех зверей, птиц, рыб, животных и насекомых, змея оказала неоценимую услугу: она, разбрызгав свой яд, преградила путь врагу.

Желая вознаградить змею, падишах Сулейман спросил ее:

— Что хочешь ты за свою помощь?

— О, великий Сулейман,— отвечала змея, свернувшись в три кольца и высоко подняв голову,—позволь мне и моим потомкам пить самую сладкую кровь у живущего на земле...

Сулейман задумался, но сказал:

— Так и быть. Но назови мне, чья кровь слаще всего.

— О, великий государь,— жалобно ответила змея,— откуда мне это знать. Такой меня создал бог. Тело мое холодное и все с отвращением прикасаются ко мне. Никто не хочет меня приласкать. Я без крыльев, без ног и никого не могу догнать. Даже луч солнца бежит, отскакивает от моей кожи и я долго, долго должна лежать на песке, чтобы согреться. Кому даны ноги—убегают от меня, кому даны крылья—

[1] Сулейман — царь Соломон.

вьются со смехом надо мной. Откуда мне знать, чья кровь слаще? Даже мою слюну аллах сделал ядом для всего живого!

Долго думал справедливый Сулейман. Ведь нелегко было мудрому и доброму царю обречь когонибудь на мучительную смерть, но слову данному изменить он не мог. Тогда созвал он всех насекомых, у которых было длинное жало, и повелел разлететься на все четыре стороны, дабы испробовать кровь всех живущих на земле, вернуться и доложить, чья кровь слаще.

Полетели гонцы во все четыре стороны выполнять приказ Сулеймана. Шли дни. Носились по миру гонцы. Весь живой мир был полон волнения: кому же выпадет несчастье гибнуть от змеиного жала?

Вот однажды ласточка, которая раньше всех с тревожным чириканьем вылетала каждое утро навстречу посланцам, увидела усталого комара. Он первый возвращался с ответом. Ласточка понеслась к нему навстречу.

— Здравствуй, комар... Мир тебе! Благополучно ли совершил путь? Что нового в великом царстве Сулеймана, которому подвластны земли, моря, горы и долины?

Комар вежливо ответил на приветствие ласточки, но извинился: ему некогда было подробно рассказывать, он четверо суток летит, не отдыхая, и спешит дать царю ответ.

— Тогда я буду сопровождать тебя, и ты сможешь по дороге продолжать рассказ.

Ласточка полетела рядом с комаром, и он рассказал, как выполнял поручение Сулеймана.

— Чья же кровь оказалась самой сладкой? Я сгораю от любопытства! — воскликнула ласточка...

— Че-ло-ве-че-ская! — с важностью прожужжал комар.

— Нет... нет... ты неправду говоришь! — заволновалась ласточка.

— Клянусь! Пусть бог обрушит на меня небосвод! До сих пор вкус ее у меня на языке...

— Покажи язык!

Глупый комар высунул язык, а ласточка молниеносно клюнула и вырвала язык комара.

— Не смей лгать, гадкое существо!— чирикнула ласточка и понеслась навстречу другим гонцам... И каждый давал тот же ответ, что и комар. И с осой, слепнем, мухой ласточка поступила так же, борясь за жизнь человека..

Когда все гонцы собрались во дворе, вышел великий Сулейман, сел на трон и обратился к комару:

— Ну, скажи, чья кровь слаще?

Комар попробовал ответить, но только жалкое «вззз» раздалось в ответ на вопрос царя.

— Ты что, пьян? Языка у тебя нет, что ли? Говори толком!

Но снова только «вззз» получилось у безъязыкого комара.

Сулейман обратился к осе, мухе и другим гонцам, но только «д-з-з-з», «ж-ж-ж-ж-ж», «ж-ж-ж-ж-у-у-у-у» — были ответом.

— Что с ними случилось? Кто-нибудь понял, что они говорят? — спросил рассерженный Сулейман.

Тогда ласточка вылетела вперед, поцеловала землю у ног Сулеймана и сказала:

— Я все поняла. Они все в один голос утверждают, что самая сладкая кровь — это кровь лягушки, мой государь.

Великий Сулейман поднялся с трона и сказал:

— Быть посему!

Змея, что лежала у подножия царского трона, взбешенная, захлебываясь собственным ядом, взвилась.

— Она лжет! Это лож-жь! — шипела змея.

— Быть посему,— повторил Сулейман.— Решение царское не отменяется.

Тогда змея в злобе кинулась на ласточку, но та успела вспорхнуть, и только хвост ее удалось змее рассечь своим жалом.

Вот почему у ласточки хвост рассечен надвое. А комары, мухи, осы и мошкара и до сего дня не могут забыть сладкость человеческой крови, и только забудется человек, заснет, они тут как тут и жалят немило-

сердно...— рассмеялась бабушка и щелкнула меня по носу.— Понял, малыш?

С тех пор каждое утро, просыпаясь под чириканье ласточки, я с нежностью следил, как она ныряла сквозь отверстие юрты в синеву утреннего неба.

Еще одна легенда, рассказанная бабушкой, вспоминается мне. Но о ней — потом...

* * *

Мой дядя Момынкул был в семье самым младшим из всех детей. Он был высокого роста, атлетического телосложения, с черными глазами, коротким, тупым носом и немного отвисшей толстой нижней губой. Цвет кожи у него был светлый.

Бабушке не нравились его тупой нос и толстые губы. «Ничего не поделаешь, хотел быть похожим на меня, но не вышло»,— говаривала она. Все же, как младший, он был баловнем и любимым ее сыном. Бабушка прощала ему дерзкие выходки и непослушание, часто грозилась наказать его, но Момынкул, спрятавшись в другой юрте,выжидал, пока бабушкин гнев остынет. Бабушка ни к кому не была так забывчива в своих обещаниях «наказать», как к нему. Услыхав о каких-нибудь выходках Момынкула — а он их разрешал себе часто — бабушка только качала головой.

— Ай, тентек! Тентек![1] В кого только он пошел? — вопрошала она.— Отец был тихий... Наверное, в моих братьев, в брата моего Серкебая. Такой же он непоседа и вихрастый...

В юности мой дядя, действительно, был неуравновешенным, вздорным и неусидчивым. Если он шел пешком, то руки его болтались во все стороны от стремительной ходьбы; если ехал на коне, то носился, как угорелый, напролом, не считаясь ни с какими препятствиями. На коня садился прыжком и соскакивал с него на ходу.

Помню однажды, когда солнце своим диском задевало вершины западных гор — Кулана, окрашивая

[1] Тентек — взбалмошный.

оранжевым заревом Чокпан, Жабаглы и Буралдаи[1], а на севере зубчатые вершины Ала-Тау отражали в своих снегах последние лучи, равнины нашего джайляу постепенно покрывались тихой тенью. Розовато-синяя, она неторопливо окрашивала все вокруг в лилово-синий цвет вечера. Прохлада охватывала землю. Аул, оживленный пригоном скота с пастбища, завершал свой трудовой день. Женщины заканчивали дойку овец и коров, бутуя барашков в кугены[2], привязывали к колышкам телят, а мужчины доили кобылиц. Кони в табуне еще пощипывали траву. В этот вечер долго не могли изловить одного из диких кашаганов[3] из табуна нашего аула. Кашаган так стремительно носился по степи, что скакавший на добром коне джигит напрасно старался накинуть ему на шею аркан. Весь аул собрался смотреть на эту гонку, каждый переживал по-своему.

— Вот-вот, еще немножко! — кричал один болельщик почти догнавшему кашагана ловцу.

— Так-так... Накинь скорей! — советовал другой, когда ловец почти настигал беглеца и поднимал руку с арканом.

— Вот дьявол, опять улизнул! — огорчался третий. когда кашаган, круто повернув, уходил от ловца.

Одни хвалили, другие корили всадника.

— Ему только корову догонять!

— Езжай сам да попробуй такого дикаря изловить!

Дядя вскочил на неоседланного коня и помчался наперерез скакавшему кашагану.

— Вот еще, что же он без аркана сделает?! Напрасно коня измучает...

Момынкул поравнялся с крупом кашагана, схватил его за хвост и слетел со своего коня на землю. Раздались испуганные возгласы зрителей. Все думали, что он упал. Но нет, Момынкул уже бежал не выпуская хвоста кашагана из рук и оттягивая круп лошади в сторону, так что конь никак не мог ударить

---

[1] Кулан, Чокпак, Жабаглы, Буралдаи — название гор.

[2] Кугены — привязи для ягнят.

[3] Кашаган — неуловимый конь.

дядю задними ногами. Невольно кашаган замедлил бег, и Момынкул, воспользовавшись этим, ловко вскочил на коня и, ухватившись за гриву, долго носился по степи, пока дикарь не подчинился его воле. Аул с восторгом наблюдал это.

— Вот так джигит! Он самого черта обуздает...

— Ай да молодец!

— Ловко вышло!

— Словно клещами вцепился в него!..

Мой дядя любил слушать похвалы своей смелости и готов был пойти за них в огонь и в воду. Он был очень силен и свободно поднимал любую тяжесть. Самый тяжелый груз во время откочевок выпадал всегда на его долю. Любитель борьбы, он был также лучшим бегуном в ауле, но никогда ничего не доводил до конца. Он заслужил прозвища: «ловкий», «алан-гасар каракуш», то есть, «безоглядная черная сила», «таубузар» — разрушитель гор, то есть, такой самонадеянный, что горы может пойти рушить. Короче говоря, он был степным спортсменом, безрассудным акробатом как на земле, так и на коне, и его лихость часто приносила ему серьезные неприятности. Я не помню ни одного года, чтобы он с кокпара[1] возвращался невредимым. Однажды его привезли с вывихнутой ключицей, в другой раз — с переломом ноги, в третий — без сознания. Но, выздоровев, он все забывал, как забывают женщины родовые муки.

Бабушка, когда Момынкул, лежа на постели, стонал, упрекала его:

— Ой, ты меня загонишь раньше времени в могилу! Из-за тебя согнулась моя спина! Какой злой дух несет твою душу?

Потом она тоже забывала обо всем и говорила заботливо, ласково:

— Тебе больно? Дать тебе пить? Может, у тебя подушка жесткая?

Несчастные случаи с младшим сыном дорого обходились бабушке, она проводила у изголовья Момынкула бессонные ночи и забывала о нас, внучатах. Поэтому

---

[1] Кокпар — национальная конно-спортивная игра.

мы с детства ревновали ее к дяде и не очень любили его, боялись лишиться бабушкиной ласки.

Отец мой, чтобы остепенить неудержимого юношу, засадил его за учение, но за книгой дядя не смог усидеть и для разнообразия отец начал обучать его ювелирному делу. В домашней обстановке ученье не шло успешно, и было решено отправить дядю в «школу»— в аул к бабушкиным братьям, под покровительство деспотического Серкебая.

Я помню приезд Серкебая в наш аул, ему шел тогда шестой десяток. Его приезд был событием для аула. Вдалеке на горизонте показались четыре всадника. Это ехал Серкебай с тремя сопровождавшими его джигитами. Серкебай ехал мелкой иноходью на лысом добром коне, а сзади джигиты тряслись мелкой рысью.

— Серкебай едет! Серкебай едет!—раздались возгласы, когда он был еще далеко.

Бабушка засуетилась, начала приводить в порядок юрту: стелить кошмы, одеяла, раскладывать подушки, готовясь принимать гостей.

Отец и дядя вышли из юрты и встали в почтительных позах, издали давая знать Серкебаю, что они ожидают его. Увидев их, Серкебай принял надменную позу и убавил шаг своего коня. Джигиты последовали его примеру. Когда Серкебай подъехал на двадцать-тридцать шагов, по знаку отца дядя бросился вперед и почтительно приветствовал гостя традиционным «Салям алейкум!»[1], потом взялся левой рукой за повод коня, а правой за путалище стремени.

— Алейкум салям![2] — ответил Серкебай, остановившись и перекинув правую ногу через круп коня. Пока ноги всадника не коснулись земли, дядя почтительно поддерживал его. Разминаясь, Серкебай широко расставлял ноги, потом подошел к отцу и по-казахски, двумя руками, поздоровался с ним. Джигиты тоже слезли с коней. Отец сделал знак аульным юношам и сказал:

---

[1] Салям алейкум — приветствую вас.
[2] Алейкум салям — ответный привет.

— Возьмите коней у кунаков![1]

Серкебай, рассердившись, взмахом плетки в сторону остановил юношей, что бросились к коням.

— Вы сумейте меня с почетом принять, а не моих рабов!

Джигиты, видимо, привыкшие к столь нетерпимому характеру Серкебая, смущенно и растерянно улыбались.

— Чего зубы скалите? Занимайтесь своим делом! — продолжал бушевать Серкебай.— В другом ауле я сам потребую почета не только к вам, но и к своим собакам, а в ауле родной сестры вы будете служить мне, как дома.

Увидев, какой свирепый вид у гостя, мы, перепуганные, спрятались и смотрели исподлобья.

Отец пригласил всех в юрту. Серкебай вошел первым. Бабушка обняла его, бормоча ласковые слова. Джигиты внесли в юрту тяжелые коржуны. Серкебай сел на почетном месте и, обращаясь к бабушке, уважительно спросил:

— Вы в добром настроении, старшая моя сестра?

— Слава богу, светик мой, слава богу,— отвечала бабушка.

Дальше пошли обычные в таких случаях расспросы о благополучии пути, скота и семейства. Были развязаны коржуны и оттуда вынуты подарки: чай, сахар, кишмиш, урюк, отрез материала на платье бабушке.

Серкебай одет был щеголевато. Входя в юрту, он снял сусликовую шапку. На выбритой голове осталась расшитая бархатная тюбетейка. На нем были бешмет, серебряный пояс. Отделанную серебром камчу Серкебай держал в руке. Длинный прямой нос и прищуренные глаза делали его худощавое лицо хмурым. Подстриженные над губами усы длинными концами свешивались по углам рта. Борода у него была длинная, но редкая. Серкебай говорил резко, повелительно, нервными, короткими движениями тыча в сторону собеседника плеткой или указательным пальцем. Мне казалось, что он не терпит возражений и все ему покор-

---

[1] Кунак — гость.

ны, поэтому я не осмелился вести себя свободно, да к тому же на нас, малышей, он не обратил никакого внимания.

За вечер Серкебай несколько раз принимался кричать на моего дядю и своих джигитов, делал гневные замечания — все было не по нем.

Так как мне не довелось видеть ханов и султанов, для меня Серкебай воплощал черты феодала.

Как положено, был зарезан баран. Бабушка насыпала нам в ладони сахару, кишмиша. Мы любовались конями. Сбруя на них была серебряной чеканки.

Когда Серкебай увозил дядю из нашего аула, тот боязливо оглядывался на бабушку, как бы прощаясь навсегда, и не спешил садиться на коня. Рассерженный Серкебай, уже севший на коня, раза три сильно стегнул его камчой, приговаривая:

— Скоро ли ты распростишься? Я выбью из тебя дурь! Как приедем в аул, ты две ноги в один сапог будешь вдевать.— И, злобно посмотрев на бабушку, процедил сквозь зубы: «Только кости получишь обратно, апкэ!»[1]

Дядя жалобно посмотрел в последний раз на бабушку, а бабушка растерянно прошептала:

— Знай сам, милый, твоя воля, но это твоя же родная кость...

Серкебай, надменно попрощавшись, тронул коня. За ним, как пленник, поплелся дядя. Никакого следа не осталось от его былой лихости...

Бабушка долго смотрела им вслед и, вытирая слезы концом платка, повторяла:

— Да счастлив будет твой путь, светик мой!

Не прошло и месяца, как бабушка затосковала о сыне, а через три месяца, не выдержав разлуки, поехала его навестить. Прожила она там около недели, вернулась и, ахая и охая, рассказывала моему отцу:

— Бедный мой мальчик так похудел, так осунулся! Серкебай держит его как в тюрьме. С утра до вечера заставляет читать. Мальчик скоро совсем зачахнет.

По рассказам бабушки, Серкебай был неумолимо

---

[1] Апкэ — уважительное обращение к старшей сестре.

строг. Дядя жил в его доме по расписанному твердому распорядку. Конечно, Серкебай не заставил его ходить в одном сапоге, как я себе представлял это буквально.

Он одел дядю в длинный халат, а вместо шапки заставил носить чалму.

— Вхожу я в юрту,— раскызывала нам бабушка,— вижу: в углу, на корточках в белой чалме сидит бледный молодой мулла и читает коран. Вгляделась я: мой младший! Даже глазам не поверила...

В другой раз на просьбу бабушки отпустить сына в аул погостить Серкебай ответил:

— Верну тебе его человеком, а если человека из него не выйдет, оставлю его у себя рабом и приставлю к моим охотничьим собакам, пусть за ними ухаживает.

Сколько ни просила бабушка, Серкебай был неумолим. Дядя вернулся от него только через два года в чалме, длинном халате, с маленькими пробивавшимися усиками, что вызвало смех в нашем ауле. Уже на второй день после приезда дядя сбросил чалму и, натянув лисью шапку, стал таким, каким был. С тех пор он был записан вторым грамотеем в нашем ауле.

* * *

В грустные минуты бабушка снова рассказывала нам легенды. Она, видно, забывала в этих рассказах свое горе, «Послушайте, дети...— начинала она свой рассказ.— Было это после создания мира, но еще Аллах не покарал людей страшным потопом и не стер с лица земли аулы,— рассказывала бабушка.— Люди тогда еще не знали слова «благодарность». Они пользовались солнечным теплом, прохладой ветра, сиянием луны, дарами земли, и никто от них не слыхал ласкового слова... Тогда усталое Солнце с жалобой обратилось к Аллаху:

— О Великий Создатель, без отдыха и без сна я светом своим освещаю все уголки мира, своим теплом согреваю все живое, растения и землю твою. Подымаясь на восходе, я извлекаю мир из тьмы и всех делаю зрячими. Своим сиянием, я приношу радость всему живому, теплом своим согреваю его. И все, все

твои твари, согретые мною, тянутся ко мне. От прикосновения моих лучей раскрываются чашечки цветов, принося радость ненасытным глазам человека. Я не ночь и не тьма, что вселяют грусть и печаль в душу твоих созданий. Я заставляю их радоваться жизни, потому что от тепла моего тают снега, льдины превращаю я в изумрудные потоки, утоляющие жажду. Но нет мне, о Аллах, благодарности ни от кого за все мои труды. Нет у меня больше сил терпеть такую несправедливость. Я прошу: дай мне отдых! О Аллах!

— Иди и продолжай свою службу,— ответил Солнцу Аллах,— а я подумаю, как оценить твой труд...

Следом за Солнцем явилась Луна, поклонилась Аллаху и расплылась в широкой улыбке:

— О Всемогущий и Милосердный, я пришла к тебе с прошением...

— Что случилось с тобой, ночное светило, данное мною земле?

— О Всемилостивый, одарил ты меня скудным светом и холодным лучом. Когда землю покидает Солнце, я остаюсь во мраке единственным светилом и излучаю сияние, как маяк, и так служу земле и наземным... Медленно открывая паранджу с лица, я помогаю людям отсчитывать дни недели, месяцы, в полнолуние я сбрасываю пелену темного покрывала и щедро приношу радость всем, кто не спит во мраке ночи... Лунная ночь дает покой спящим и счастье любящим. Я не обжигаю безжалостно, как Солнце,— мой свет мягок и приятен. Но, ослепленные ярким солнечным светом, люди не замечают меня. До сих пор ни один из них не отблагодарил меня за честную долгую службу мою, наоборот, я сделалась посмешищем для всего рода людского. Складки на лбу, подбородке и под глазами, что ложатся от доброй улыбки моей, люди принимают за гримасу и дразнят меня, называя корявой. В самое дорогое для меня время, прозванное людьми полнолунием, я вся истекаю добротой, а они мою круглолицесть превратили в имя нарицательное, называют своих тупых и лысых толстяков и

уродов «круглолицыми лунами»... Нет, я больше не хочу терпеть все эти издевательства и насмешки!

Луна закрылась тучами и стала жалобно всхлипывать... Начал накрапывать дождь...

— Побереги свои прекрасные серебристые глаза,— сказал Аллах в ответ.— Иди и служи миру, а я подумаю...

Тут забушевал возмущенный Ветер и, подбежав к Аллаху, сдунул пыль с его престола, лег у его ног и взмолился:

— Весь день, всю ночь ношусь я по горам, по лесам, по степным просторам и по морским волнам. Я гоню корабли, собираю тучи и посылаю их туда, где засуха, и отгоняю их, когда влагою пресыщена земля. Если бы не я, люди погибли бы от зноя. Я разгоняю жар, освежаю тела, проветриваю халаты, платья, шубы. Ни покоя мне, ни отдыха... Я устал. О мой повелитель, устал я от человеческой неблагодарности... Отказываюсь служить...

И Вода в низком поклоне разлилась до самого трона Аллаха и зажурчала:

— И я устала, Повелитель правоверных. День теку, ночь теку... Смываю всю грязь с лица земли, омываю тела неблагодарных и нечестивых сынов человеческих и утоляю жажду всех живущих. Безропотна и молчалива я в своей чистоте... Но доколе мне терпеть?...

Задумался Аллах. «Да, неблагодарен род человеческий и заслуживает наказания!» — воскликнул и повелел созвать всех живущих на земле...

— Солнце, Луна, Ветер и Вода несказанно обижены всеми вами,—обратился Аллах к собравшимся.— Они не хотят больше служить и помогать вам и просят отпустить их на покой... Я созвал вас, чтобы спросить, как вы будете существовать дальше?..

Человек, услыхав слова Аллаха, так испугался, что побледнел, затрясся и растерянно начал кланяться и Солнцу, и Луне, и Ветру, и Воде... Он ни слова произнести был не в силах.

Тогда Аллах снова спросил:

— Кто желает высказать свой совет?

Все молчали.

Только Летучая Мышь вспорхнула и взволнованно зашептала:

— О Всемогущий, внемли творению своему, разреши мне сказать правду. Подумай, Создатель всего сущего в мире, что станет с людьми, животными, птицами, растениями и цветами, если погаснет Солнце? Что будет с землею, если Луна перестанет управлять приливами и отливами морскими, и вода морей и океанов, нарушив правила, ринется на сушу? Что станет, если исчезнет Вода: иссякнут реки, скроются озера и прекратится журчание родников? А если Ветер перестанет носиться по миру, управлять жаром и холодом, дождями и бурями? Подумай, Создатель! Ветер нам приносит твою волю, и тебя мы благодарим за милость. Пожалей свои создания, Великий! — И, испуганная своей смелостью, Летучая Мышь упала камнем к ногам Повелителя Вселенной.

«Правду сказало это маленькое создание»,— подумал Аллах и повелел: выполнять всем то, что было приказано в дни сотворения мира... Солнцу, Луне, Ветру и Воде честно работать до Судного дня...

Тогда разъяренное Солнце лучом своим ослепило Мышь:

— Посмей только попасться мне на глаза, и я испепелю тебя своими лучами!

Ветер в злобе закрутился вихрем:

— Смотри, если мне попадешься, я развею тебя в клочья!

— А я утоплю тебя, если только приблизишься к берегу,— прошипела Вода, уходя в свое русло.

А Луна так привыкла улыбаться, что и на этот раз только улыбнулась и промолчала.

— О что мне делать? Я ведь ни в чем не виновата, я не для себя просила твоей милости, Аллах! — взмолилась Летучая Мышь.

Тогда Аллах сказал Летучей Мыши:

— Когда Солнце спрячется за край земли, Луна еще не вступит на свой пост, а Ветер уляжется спать, в тишину сумерек будешь ты вылетать. Днем же скрывайся во мраке развалин и пещер, прижавшись к по-

толку, или в щелях, чтобы шорохом не выдать себя... А чтобы ты не умерла от голода и жажды, тебе даруются два соска. В одном будет молоко, в другом — вода. Так и существуй.

Вот с тех пор трусливый человек и научился благодарить Солнце, Луну, Ветер, Воду, поклоняясь им. А Летучая Мышь много терпит от человека за то, что была свидетелем его позора...»

Я привожу бабушкины легенды как свидетельство старины,— она, моя бабушка, окончившая только лишь родительский устный «университет», была хранительницей великой народной мудрости.

* * *

В ауле бывали своеобразные вечеринки: после пригона скота с пастбищ, перед наступлением сумерек собирались люди на окраине аула. Обсуждались происшествия за день, рассказывались последние новости и, если не было ничего делового, начиналась борьба, бег или какие-нибудь игры.

С возвращением дяди по вечерам стали собираться у бабушки. Дядя нараспев читал богатырский эпос. Все слушали его с огромным вниманием. Необычайная сочность фольклорного языка, героика, эпические образы, певучесть стихов пленяли всех слушателей, и я впервые это народное достояние «прочел на слух» на этих дядиных вечерах.

Его приглашали в соседние аулы, и он с удовольствием ходил туда. Донимали его и наши аульные бездельники из молодежи, которые днем приходили с просьбой прочесть то, что им понравилось, и что они хотели выучить наизусть, чтобы щегольнуть на вечеринке. Надо сказать, что память этих безграмотных болельщиков была феноменальной. Достаточно было им прослушать слова два-три раза, как они уже знали наизусть весь текст и на следующий вечер затягивали его нараспев в юрте соседнего аула. Они звали дядю своим «учителем». Так, к примеру, и ныне здравствующий старик, безграмотный Суюмбай, до сих пор в ауле декламирующий «Рустем достан», «Камбара» и другие былины, считает своим учите-

лем моего дядю, который ему приходится двоюродным братом с материнской стороны.

Серкебай много раз гневался на дядю за то, что тот снял чалму и вместо отправления религиозных обрядов занимался песнями и развлечениями. Своего племянника он называл шайтаном и безбожником.

— Ты бы лучше за упокой души своих предков и близких коран читал, а ты только «э-э» да «э-э»! — передразнивал он дядю.

— По пятницам я читаю коран,— оправдывался тот.

— Тьфу, несносный,— горячился старик.— Этого мало! Надо каждый день и по нескольку раз читать коран, и то в долгу останешься перед святыми предками!

Дядя был женат три раза и всякий раз со скандалом, не по-мирному. Двух жен своих он украл, и оба раза дело не обошлось без драки и родовых конфликтов, закончившихся уплатой штрафов.

Да, в молодости он был зачинщиком не только игр и вечеринок, но и всяких драк и скандалов.

Старшего брата отца, дядю моего Тюлебая, я помню высоким, коренастым, курносым стариком, с жиденькой козлиной бороденкой, не расстающимся с длинной палкой. Дома он бывал редко и на базар не имел привычки ездить. Его всегда можно было видеть на пастбище. Летом он возвращался в аул поздно вечером, неся на руках ягненка, отставшего от отары. Тюлебай был многодетным, имел середняцкое хозяйство. Когда он умер, за ним в течение двух-трех лет один за другим последовало большинство его детей. От него осталась единственная дочь по имени Курманкуль, старше меня года на три-четыре.

Самую старшую сестру Убиш помню смутно. По рассказам отца, она рано выучилась грамоте, читала книги и даже умела писать. Она была первой грамотной девушкой в нашем степном округе. Приблизительно в 1912—13 годах ее выдали замуж за безграмотного Рыскулбека Омарова из рода Байтана. с которым она еще смолоду была обручена. Когда настало время выдать ее замуж, пошли разные разго-

воры, что, мол, она «зрячая» девушка, грамотная, а жених — «слепец темный», то есть неграмотный, что на грамотную девушку имеет право только грамотный мужчина. Шли толки о неравенстве и несправедливости брака. Отец, связанный обязательствами, данным словом и полученным калымом, все же выдал ее замуж за Рыскулбека. Не знаю отчего, но она через год после замужества умерла. Отец до последних дней жизни тяжело переживал эту утрату. По-видимому, он понял, что совершил роковую ошибку. И эта ошибка, кажется, положила основу отношению отца к другим дочерям — моим сестрам.

Зимой мы жили в глинобитных домах, весной откочевывали за десять-пятнадцать километров на джайляу, чтобы скот не топтал хлеб и сенокосные угодья. Сеяли очень мало, только на свою потребу, поэтому обрабатывался ничтожный кусочек земли, да и обрабатывать не умели: бывало, казах омачом[1] поцарапает кое-как десятину землицы, разбросает зерна, и делу конец и только в августе приедет собирать урожай.

Жали вручную, прямоугольным серпом. Молотили так. Разложат пшеницу наземь, пригонят с десяток лошадей или быков, устроят из веревок загон вокруг тока и с гиканьем гоняют животных по кругу. В этой молотьбе с гиканьем всегда отличались дети. Мы забавлялись беготней перепуганных животных, и на току стоял такой гам, что даже представить себе трудно. Наконец, уставши от этого «горлодрания», давали животным «вольную», отделяли солому, избитую наполовину копытами, опачканную навозом. На току оставалось зерно, смешанное с половой и землей. Для того, чтобы отделить зерно от половы, все свистели хором, кто, как мог, зазывая ветер... Ветер «приходил по зову», и тогда начинали веять по ветру мелкую солому и пыль с земли. Этим дело не кончалось. Снова свистом зазывался ветер. Ветер к вечеру «приходил на зов». Тогда брали сито и пропускали сквозь него зерно. Потом орава детей бросалась на зерно, ручонками отбирала мелкие камушки и отбрасывала их в сторону.

---

[1] Омач — деревянный плуг.

Относительно чистое зерно собиралось в кучу конусом, и кто-нибудь локтями обмеривал вокруг и до вершины конуса, а аульный математик по этим данным определял урожай: мол, столько-то батманов[1]. После этого торжественно нашептывали какую-то молитву и насыпали в мешки зерно. Урожай считался даром «святого земледелия», и каждый из присутствующих имел право насыпать себе в мешок столько, сколько позволяла ему совесть, его руку никто не имел права останавливать. Получалось это оттого, что уборка и молотьба производились коллективно, по типу субботника, и на дар земли, пока он находился на току, никто не имел права монополии.

Таким я помню хлебопашеский обряд нашего аула во времена моего раннего детства.

Впоследствии соседство с русскими постепенно научило наших родичей, как и других казахов, искусству хлеборобов. Они стали лучше распахивать землю, появились арендованные у русских бороны... Каменные катки на токах, несколько видов сит, веялок, вилы, косы пришли в аул. Но все это прививалось с трудом, медленно, и вплоть до коллективизации казах считал позором работать на лошади, потому что лошадь предназначена для езды. Зачем сбивать ей холку и грудь хомутами? И все работали на волах.

Постепенно укрепилась собственность на землю, на урожай, даже стали сдавать свою землю в аренду русским, ортачить[2] с ними и между собой на условиях одна к четырем, к двум или трем частям урожая. Появилось сословие косши — сельскохозяйственных полубатраков-хлеборобов.

Бесскотный бедный люд от состоятельных получал зерно для посева, пару волов для работы, корову для молока, иногда и лошаденку для езды, сыромятную обувку и старый самотканый чекпен[3], как спецовку для носки, и на своей земле работал на хозяина, как

---

[1] Батман — мера веса, приблизительно равная двенадцати пудам.

[2] Ортак — соартельщик.

[3] Чекпен — плащ-халат.

его батрак. Қосши — батраки-пахари, бравшие только зерно, считались ортаками наполовину; если же они брали и быков — то на одну треть, если брали и корову и чекпен, то им оставалась четвертая часть урожая. Хозяин же за семенное зерно, молоко коровы и силы своих волов получал львиную долю урожая. На таких кабальных условиях работали косши. Приезжали также из других родов давать кос нашим, так как у них, за Қара-Тау[1], плохо родился хлеб.

Радиус кочевья все ограничивался и ограничивался, земледелие постепенно теснило скотоводство. Зажиточные из нашего рода со своим скотом откочевывали на зиму за Қара-Тау, а весной возвращались и давали кос своим бедным родственникам. Аул назывался по имени нашего родоначальника Усена. Из Усенов были богатыми баями потомки Нияза, его шестеро сыновей и их дети, приходившиеся мне четвероюродными братьями.

Наш дом не брал кос и не откочевывал на зиму никуда, так как у нас было ограниченное количество скота, для прокорма которого хватало заготовленного сена. Другие ветви Усена частенько брали кос, а ветвь от Баймена — Тойтабая с памятных мне времен, вплоть до коллективизации никогда не вылезала из коса. Дети Тойтабая мне приходятся троюродными и четвероюродными братьями. Несмотря на равенство колен, происходящих от нашего общего предка Усена, оседлые его ветви считали себя в более близком родстве, чем сыновья Нияза. Но разорившаяся половина ниязовцев после джута[2] также присоединилась к нам.

Мой отец был старшим из усеновцев, так как ему принадлежала «большая дорога», и фактически старшим над декханами-усеновцами. Впоследствии, в 1925 году, после каких-то свадебных скандалов, разорилась и вторая, богатая, половина потомков Нияза, и они присоединились к нам — декханам.

---

[1] Қара-Тау — название горы.

[2] Джут — массовый падеж скота, который в зимнюю пору из-за обледенения пастбищ не может добыть подножного корма.

* * *

Я не помню слова «война». Мне смутно припоминается 1916 год, да и то лишь по вою и плачу женского населения нашего аула, встревоженным лицам мужчин и солнечному затмению перед закатом.

Летели к нам в аул верховые с тревожными вестями: «Рабочих берут! Рабочих требуют! Окопы копать заставят! Землю копать заставят!» И хотя еще никого не брали, достаточно было этой вести, чтобы все женщины с плачем начали прощаться с молодыми людьми, приговаривая: «Ой, что же мне делать? Настал день, когда тебя на войну заберут... Светик мой, о, что же мне делать?» Молодые бледнели при этих словах. День и ночь голосили старухи, матери, им подпевали тонкие голоса молодух. Скот был оставлен без присмотра, а мы, дети,— без внимания и ласки. Мужчины буквально очумели от этого воя. Сначала собирались было куда-то откочевать, потом что-то организовать для драки с наборщиками... Затем начали отсылать юношей к дальним родственникам, в другие роды,— наивная форма дезертирства. Эта суматоха продолжалась несколько дней. Старшие мужчины ездили на какие-то сходки и привозили противоречивые сведения. Наконец, женщины устали от плача и причитаний и начали собирать деньги от каждой юрты, бросали жребий между молодыми. Потом, отобрав тех, кому выпал жребий, под плач всего аула старшие отправились с ними к почтовой станции, где находился наборщик. К вечеру они вернулись обратно с «новобранцами», сказав, что выкупили их у начальника. Снова собирали поюртно деньги и из нашего аула вместо десяти юношей был отправлен один Кожамкул — одинокий бедняк. Аул ему сшил теплую одежду, от каждой юрты были собраны подарки, его пошли провожать на станцию. И вот, как раз в этот день под вечер солнце закрылось пеленой, и запад окрасился красным отсветом.

— Солнце сгорает! Солнце сгорает!

Опять заголосили женщины.

— Судный день! Судный день идет! — в безумии шептали люди.

Откуда ни возьмись, появился мулла и закричал азан — призыв к молитве.

— Алла акбар, алла акбар! Иля ии ляха илалла мухаммет расусилла! — нараспев закончил мулла.

Во время азана все умолкли, каждый про себя молился. Отец и дядя уехали с провожающими Кожамкула, и я с трепетом и страхом в душе прижался к бабушке и не отходил от нее.

Говори «бисмилля»[1], говори «бисмилля!»,— тормошила меня бабушка.

Когда мулла прокричал азан, и люди начали приходить в себя, темная пелена сошла с солнца, и все, увидев это, хором воскликнули:

— О аллах, о всемогущий!

Женщины начали плакать — теперь уже от радости. Все бросились к мулле, как к спасителю, предотвратившему наступление судного дня, и начали одаривать его кто чем мог.

С этого вечера начали резать барашков — жертвоприношение — и резали почти каждый день в течение недели. Взрослые ели бесбармак[2], приговаривая: «Да дойдет твое пожертвование». А мы, дети, получив вкусный ломтик мяса, бежали во двор вперегонки, забыв вчерашнюю трагедию нашего аула.

Через несколько месяцев Кожамкул прислал письмо. Это письмо читалось на всех сборах, там были и стихи, лирические строки, говорящие о его тоске по родине, и о том, как ему тяжело на чужбине. Когда читалось письмо, женщины плакали, молодежь наизусть заучивала стихи. Я до сих пор помню отдельные строки стихов из письма Кожамкула:

На этой земле, где лежит пыль, рос я и резали мне пуповину, да будет на тебе благополучие.
Как рыба я плавал в озере, да будет оно благословенно. Одна голова у мужественного джигита, ты не увидишь ее до нашего возвращения, народ! Да будет на тебе благословение!

---

[1] Бисмилля — первые слова молитвы.

[2] Бесбармак — казахское национальное блюдо из мяса и теста.

Всякие судьбы бывают у джигитов, но это неважно для мужественного.
Не сопровождать же народу везде и повсюду своего джигита.
Через четыре-пять месяцев вернемся к своему народу...

Кожамкул был неграмотным. Видимо, казахи на окопных работах сочинили коллективное, в стихотворной форме, письмо на родину, и один из грамотеев писал его каждому, кто просил.

Всем аулом собрали и послали Кожамкулу деньги. Через год действительно он вернулся и был принят как желанный гость, в почете отдыхал в нашем ауле целое лето и, собрав подарки, уехал навестить своих товарищей по окопной работе. Более он к нам не возвращался.

* * *

Мне также памятен «год бедствия» или, как его еще называли в народе, голодный год. Это 1917—1918 годы.

Два года подряд в наших краях была засуха и недород. Корма для скота недоставало. Зима стояла суровая. Начался массовый падеж скота. Из нашего состояния сохранились всего лишь три козы. Их доили, молока не хватало на всех вдоволь, как прежде, его разбавляли водой и в кипяченном виде пили три раза в день. Если отцу удавалось в обмен на домашние вещи достать несколько фунтов муки, то делали болтушку-затируху.

Этой весной к нам была подведена железная дорога, и станция Бурное стала местом бойкой торговли. Отец купил несколько фунтов сахарного песку и с полпуда муки, снял комнатушку при станции, и бабушка с дядей отправились с этим «капиталом» торговать. Меня они забрали с собой. Я впервые увидел большие строения, многонациональный народ в таком сборе, впервые услышал гудок паровоза. От непривычной ходьбы (четыре километра было от нашего аула до станции) и новых впечатлений я устал. Дядя ушел, бабушка уложила меня спать, а сама начала смешивать сахар с мукой для «женти», как говорила

она (по-видимому, это что-то вроде самодельной примитивной халвы). Я заснул.

Утром пришел отец. Когда я проснулся, увидел у всех тревогу на лицах и, ничего не понимая, спросил... Но бабушка мне прошептала: «Поспи еще немножко».

В комнате было сыро, с крыши текло. Ночью прошел проливной дождь.

— Нет,— сказал отец, после минутного молчания,— собирайтесь, мама, пойдем домой, в аул, рисковать тут нечего, как-нибудь перебьемся до зелени.

— Я один останусь,— сказал дядя.

Отец сердито ответил:

— Тобой-то и не хочется рисковать!

Сборы были короткие. Мы вчетвером вышли на улицу. У соседнего дома толпился народ. Мы быстро прошли мимо. По дороге я понял из слов бабушки, что в соседнем доме ночью зарезали из-за лепешки человека

Дядя дома жил редко, теперь он ходил пешком к своим сестрам за Кара-Тау, так как лошадей не было, но оттуда он не приносил ничего.

По другую сторону от нашего аула проходил тракт Ташкент — Пишпек (Фрунзе). Его у нас называли «Черная дорога». На Кульбастау — у одного из крупных родников Мынбулака — стояла почтовая станция, и дядя нанялся туда ямщиком. Бабушка с ним ушла на Бекет, как называли эту станцию в нашем ауле (искаженное слово «пикет»). Мы остались дома, пили разведенное молоко и ели болтушку. Через некоторое время отец съездил куда-то и привез два мешка позеленевшей пшеницы. Мы ее обмывали кипятком, сушили на солнце, жарили и ели.

Прошло еще немного времени, потеплело, и отец привез несколько фунтов сахарного песку и полпуда муки, несколько фунтов проса и пачку чая. Говорили, что эти продукты дали из советского комитета продпомощи. Дни стояли ясные, земля давно подсохла, и отец, забрав меня с собой, отправился к бабушке, на Бекет.

Бабушка нас встретила со слезами. Она очень обрадовалась. Мы принесли ей сахару, чаю, муки и крупы. Дядя был в отъезде. Они жили вместе с другими

ямщиками в сарае-общежитии, семей десять или больше.

Мы дождались возвращения дяди. Дядя тоже обрадовался нам, начал ласкать меня и спрашивать, как живут мои сестры. Отец и дядя пошли к начальнику станции. Когда они вернулись оттуда, мы все тронулись в путь. Бабушка весело попрощалась со всеми женами ямщиков:

— Вот меня внук уводит, и для вас пусть настанет поскорее хороший день!

По дороге мы остановились у друга моего отца Иманкула, жена которого угостила нас настоящим айраном[1]. Иманкул привел серую корову с теленком. Отец отсчитал ему деньги. Иманкул нам дал еще пуд проса, и мы снова тронулись в путь.

Молока стало больше, и мы теперь пили айран.

Наступил май. Дядя четыре дня ковырял лопатой землю, посеял просо.

Мои сестры в поле собирали какие-то травы. Бабушка варила их иногда в молоке, иногда просто в воде, и мы ели. Однажды она накормила нас этим зеленым супом, и, спустя час, мы один за другим начали валиться на землю. Первой — младшая сестра... Я не мог раздвинуть челюсти, в глазах у меня помутилось, и голова закружилась. Бабушка испугалась, засуетилась, побежала доить корову и начала поить нас молоком. К вечеру вернулись отец и дядя и застали нас лежащими. Мы отравились, по-видимому, какой-то ядовитой травой. После этого «зеленые супы» были запрещены.

У отца появилась лошаденка, он стал разъезжать.

Дядя работал дома. Прикочевали на джайляу какие-то баи, и дядя ходил к ним стричь баранов, кастрировать молодняк, ходил иногда на станцию на поденную работу и приносил оттуда буханку хлеба.

Отец пригнал четырех дойных овец и опять уехал.

Через месяц он привез нам мачеху.

Следующий год был тоже тяжелым, но не таким, как предыдущий. В полном смысле слова мы не голо-

---

[1] Айран — напиток из кислого молока.

дали, но жили впроголодь. Наши соседи чрезвычайно пострадали, некоторые семьи вымерли, другие разбрелись по родственникам. Только на третий год народ оправился,— получил от государства семенной фонд.

Говорили, что царя сняли, появились слова: «красные» и «белые». В ауле старшие говорили, что «взошла заря и настал светлый день для бедных людей», что «теперь царские чиновники не будут притеснять казахов», что по новому закону «все люди равны». Составляли «черные списки», куда записывали баев. Начались выборы, проводились они каждые шесть месяцев. Появился новый старшина — старшина союза косши. Говорили о новом порядке, говорили о Ленине, как о вожде тонкериса —переворота, революции. Появились чрезвычайные уполномоченные совдепа, ставились старшины от бедняков. Начали выбирать от десяти юрт активиста. В числе активистов был и мой дядя, его несколько раз выбирали председателем аулсовета. Начался передел земли по-новому, и многие баи, которые раньше увеличивали свой надел, скупая земли бедняков, лишились земель. Земля доставалась тем, кто ее обрабатывал. Условия ортачества тоже изменились в пользу косши. Теперь кабальная одна четвертая была упразднена, но одна треть и половина сохранились. Народ после перенесенных голодных годов ожил, начиналась новая общественно-политическая и хозяйственная жизнь. Люди стали забывать голод, начали обзаводиться хозяйством и имуществом.

* * *

Урожаи были хорошие, и зимой началось праздное времяпрепровождение — «Жора боза». Чередуя вечера, собирались у кого-нибудь за бузой из проса. Отец не одобрял «жора», и наш дом никогда не принимал участия в ней. Дядя женился года два тому назад и отделился от нас в самостоятельный дом. Он принимал участие в этих складчинах. Один раз отец и мне разрешил пойти посмотреть «жора». Я пошел. На дво-

ре мальчуганы играли в альчики. Из дома доносились веселый говор и песни. Я пробрался внутрь. Народу было набито битком. Были и женщины. В середине стоял большой казан, наполненный неприятно пахнущей бузой. Хозяин, налив себе в деревянную чашку бузы, с песней обратился к Сары-хоже — так назывался тамада этой гулянки. Хозяин попросил удостоить его дом весельем красивых речей, звучными песнями джигитов, установить порядок празднества и справедливо управлять обществом.

Старик Тастемир — Сары-хожа — сидел на почетном месте и слушал хозяина дома. Важно взяв преподнесенную чашку с бузой, он начал давать распоряжение, как провести «жора» у такого-то мурзы, как он величал хозяина, и такой-то красавицы-девы, как он называл некрасивую, довольно пожилую хозяйку. Говорил он остроумно, иногда подпуская солоноватую шутку. Все смеялись его остротам. Тамада установил наказание за нарушение порядка: выпить до дна столько-то кесе бузы, спеть столько-то куплетов песни, или рассказать небылицы, или ржать по-лошадиному и так далее в этом роде. Этот кодекс он расчленил на отдельные статьи и для соблюдения порядка выбрал себе двух «жасаулов», которые немедленно встали с места и, приложив руки к груди, в песенной форме представились таксыру — господину, присягнули ему в верности и в исправном несении службы «под тенью господина Сары-хожи». Тастемир установил, что ко всем положено обращаться только на «вы», что здесь все джигиты — мурзы, женщины — первые в мире красавицы. «Қара-соз» — «черным словом» (прозой) обращаться друг к другу можно только с его позволения, а все должны говорить между собой только языком песни. Многие, испугавшись, стали просить у Сары-хожи некоторого смягчения этих условий.

— Мы подумаем,— сказал Тастемир важно.— Сары-хожа два раза не говорит, примите мои повеления, грешные подданные!

Все хором отвечали:

— Хуп, таксыр! — Слушаемся, господин!

Начали пить бузу. Тамада произносил хвалебную речь в честь хозяина и хозяйки. Жасаулы ходили по рядам, следя за порядком.

— Эй, жасаул! Все ли спокойно в моем подданстве? — спрашивал Сары-хожа, на что жасаулы льстиво отвечали ему: «Кто же посмеет в ваше царствование нарушать установленный вами порядок? Мурзы счастливо проводят время с красавицами-девушками».

— Народ не жалуется? — спрашивал повелитель.

— Нет,— отвечали жасаулы,— бузы много, дом освещен красотой райской девы-хозяйки, на душах весело, сердца джигитов и девушек резвятся, как молодые жеребята.

Подобный диалог продолжался, пока кесе-чаши не обходили два раза всех. На третий раз жасаулы начали находить нарушителей порядка, подводили их к тамаде, и он, выслушав стороны, объявлял свой справедливый приговор.

Иногда просто один из подданных поднимался с места и просил разрешения у таксыра высказать жалобу.

— На кого? — спрашивал Сары-хожа.

— На девицу такую-то.

— Жасаулы, привести сюда девицу! — повелевал хожа.

Жасаулы вели смущенную женщину сквозь ряды к трону хожи. Начиналось слушание дела. Жалобщик острил, разыгрывая из себя потерпевшего, а женщина, не растерявшись, отбривала его тоже остротами. Если в этой пикировке стороны оказывались равными, к допросу привлекались свидетели сторон. Импровизированный процесс кончался победой остроязычных, и бий выносил приговор.

Начиналось приведение к исполнению решения бия: осужденные или пили, или мычали, или острили, или смешили всех какими-нибудь трюками. В таком импровизированном кабачке в своеобразной самодеятельности проходили зимние дни за днями. Правда, иногда жора завершалась дракой, но на следующей жоре поссорившихся мирили обменом кесе и публичным приношением извинений друг другу.

Несмотря на то, что отец разрешил мне пить бузу, я до сих пор не брал ее в рот. Противный запах и вид, напоминающий помои, во мне и по сей день вызывают отвращение.

Итак, люди нашего аула жили неплохо, многие обзавелись верховыми лошадьми. На станции Бурное по воскресеньям проводился базар. Туда ездили все мужчины аула, там встречались со знакомыми. Свидания назначались так: «Встретимся на будущем базаре». Властями на базарной площади была установлена трибуна. В послеобеденные часы на ней выступал оратор с новостями и разъяснениями перед конной толпой. На базаре иногда разыгрывались конные межродовые драки или вспыхивали ссоры между группировками аулов. Одна конная масса, размахивая плетьми, налетала на другую, разъезжались и набегали друг на друга по нескольку раз и, пролетая, наносили удары плетьми. При этих драках больше всего страдали не сами дерущиеся, которые были верхом, а пешие узбеки и русские, которых нередко сбивали кони.

* * *

Отец начал учить меня арабскому и русскому алфавитам. Арифметике, правда, нерегулярно, но все же учил. Заставлял меня помогать по хозяйству ему и дяде: поить лошадей, подкладывать им клевер, ездить на волах при бороновании посева и на току, при обмолоте.

В долгие зимние вечера отец нас развлекал сказками, обучал песням, читал нам вслух книги, по-видимому, на чагатайском наречии, так как мне запомнились некоторые особенности этого диалекта: «боладур», «геладур», «берадур», «ушбу» и т. д. Отцу постоянно приходилось разъяснять нам значение тех или иных непонятных слов.

* * *

Первые годы советской власти в нашем краю прошли очень бурно в своеобразной классовой борьбе, в условиях родовых распрей, создания аульных группи-

ровок и шантажей еще не сложившей оружие полуфеодальной знати — биев, волостных управителей, баев, которые стояли за спиной своих бедных родственников и вели ожесточенную борьбу за власть в ауле, в волости и за влияние в уезде.

Борьба развертывалась обыкновенно накануне выборов. В этой борьбе волостным воротилам удавалось отвлекать внимание простого народа от классовой борьбы, искусно используя родовые чувства и межродовые распри. Аулы волновались от группировочных шантажей, сплетен, ложных доносов, клеветы, взяток. Но уже всходила над аулом заря новой жизни, настала пора равенства, и это заставляло постепенно выпрямляться бедняков. Часто приезжали уполномоченные, которые на собраниях разъясняли смысл новых порядков, права бедняков и выборщиков, которые проводили выборы. Уполномоченных народ редко знал по имени, по фамилии и часто давал им клички по их внешним признакам и характеру. «Волосатый уполномоченный» — так прозвали одного за пышную шевелюру (в те времена казахи впервые увидели своих сородичей, носящих длинные волосы). «Синебородый уполномоченный», то есть с бритой бородой называли другого (казахи в то время не брили бороду). Был уполномоченный по кличке «Боевой приказ». Его прозвали так потому, что он каждое свое распоряжение считал боевым приказом. Уполномоченные почему-то очень часто менялись. В народе шли разные толки, но мой детский ум не вникал во все детали.

Отцу к этому периоду было уже под шестьдесят, и активного участия, как бывало прежде, в аульной жизни он не принимал. Зато дядя перестал быть домоседом, ездил на все собрания. Его выбирали десятским, пятидесятским, сотским, делегатом, председателем аулсовета, председателем союза косши. Одно время он был наибом — заместителем председателя волостного союза косши. Был дядя несколько раз под угрозой ареста из-за доносов своих противников, и тем самым нагонял тревогу на всю нашу семью, особенно на бабушку, но все обходилось благополучно.

Как дядя ни старался, но все-таки «в люди не вышел». В этом играли главную роль не столько его ограниченные способности, сколько интриги аульных воротил. Серкебай при встрече гневался, называл его бестолковым, не умеющим бороться за пост, говорил, что он своим дурным поведением позорит память своего деда по материнской линии Текебай-бия, что он ленится читать коран, и потому его не поддерживают духи предков.

— Шесть месяцев и любой воробей может старшинствовать, когда настоящие люди попали в черный список,— издевался он над дядей.— А вот я до сих пор остаюсь Серкебай-бием, достойным сыном своего святого отца Текебай-бия,— хвастался он и ударял камчой о пол.— А ты, отпрыск, как пьяный мужик, валишься с одного поста на другой.

Дядя пытался ему разъяснить новые порядки.

— Яйцо курицу учит,— зло иронизировал Серкебай.— Учи, дурак, умного!

— Но ведь ваше время прошло...

— Что? Что? — бесился Серкебай, тыча в грудь дяди плеткой. — Как ты сказал, отщепенец? Как ты сказал?!

— Ничего, просто так вышло, — бормотал дядя.

— Я тебе покажу, как огрызаться! — задыхался старик.— Я из тебя выбью твой новый порядок. Ты у меня, как теленок, будешь на привязи! Ишь ты, какой нашелся мне соперник!

Дяде оставалось только молчать и, чтобы не получить от разгоряченного старика удара плетью по спине, выбрав удобный момент, улизнуть из юрты.

Старик еще долго ворчал и бранился:

— Ой, какая необузданная молодежь пошла! Какое время пошло! — говорил он сам с собой. — Эх, заман! Заман! (Время, время!). Жаль, что этот дуралей родней приходится, а то растянул бы его на все четыре...

Потом, многозначительно нахмурив брови, закусив бороду, он обращался к бабушке и снова начинал в бешенстве кричать:

— Зачем ты, апкэ, мне родила такого племянника?

— Как же, милый, — растерянно и виновато отвечала бабушка, — сам народился, уж аллах дал...

— Да! Своя рука — не отрежешь, черт бы его побрал! Эти незнатные бедняки на голову мне лезут, как мошкара, — кричал Серкебай, — даже родной племянник мне говорит: «Ваше время прошло». Каково мне это слышать?!

— Ты уж прости его, Серкеш, парень просто проговорился, — боязливо шептала бабушка.

— Проговорился! Эх! Эх! — зло смеялся Серкебай.— Я ему проговорюсь! Я заставлю всех этих бедняков драться за обглоданную моей собакой кость. Хе-хе! И они сцепятся, как голодные волки.

— Ты, что, Серкеш, своего?! — испуганно вопрошала бабушка.

— Эй, ишак! — кричал Серкебай. — Войди-ка в юрту.

На такой зов возвращался дядя.

— Встань на колени и проси у меня прощения! — приказывал старик.

Дядя стоял в нерешительности.

— Что же ты, Момынтай, проси прощения у дяди, он ведь тебе родной, — уговаривала бабушка.

Дядя, преодолев самолюбие, становился на колени.

Серкебай, разбрызгав весь яд своего гнева, прощал его...

Так в моей детской памяти запечатлелось классовая борьба того времени в нашей семье. В аульном и более крупном масштабе она опишется в свое время в той хронологической последовательности, как мною воспринимался и осознавался общественный быт аула, волости, района, области... А пока не будем забегать вперед.

* * *

«Равноправие женщин», «отменяется калым», «право выходить замуж за любимого» — вот первые, услышанные мною в годы революции слова о раскрепощении женщин.

А бабушка нам говорила:

— Калым — дорога, проложенная отцами и мате-

рями. За мою мать брали калым, за меня брали калым, дочерей выдавала замуж и сыновей женила с калымом. А как же теперь без калыма? — возмущалась она. — Что это за невеста, даром пришедшая в чужой дом? Какое к ней уважение будет? Муж даром взял и даром прогонит. Калым не брать — значит приданое не давать, той не устраивать. Что за интерес?! — причитала она. — Нет, пока я жива, ни за кого без калыма не выдам замуж. Пойдете по моим следам. А когда я умру, делайте, что хотите.

Мои сестры, ничего не понимая, смотрели на бабушку. Ее строгий взгляд, повелительный тон смущали их, вид у них был беспомощно растерянный.

Желая восторжествовать над их детским горем, я вскочил с места и спросил бабушку:

— А ты меня как женить будешь?

Бабушка рассмеялась.

— Вот, сначала выдам замуж этих шерстоголовых, получу за них много скота, разбогатеем, тогда тебе подыщу красивую невесту, уплачу большой калым и женю тебя, — сквозь смех ответила она и добавила: — Дай аллах, дай аллах дожить до этого!

Сестры косо и враждебно смотрели в мою сторону: из-за меня, за мою красивую невесту бабушка хочет продать их. Я же, бросив на них уничтожающий, высокомерный взгляд, вышел из юрты и побежал к пруду играть.

День был ясный. Горы отражались в воде. Я увлекся своими глиняными сооружениями, как вдруг кто-то меня повалил и начал бить, мазать грязью. Это оказалась моя вредная, самолюбивая младшая сестренка. Я бросился за ней. Она побежала еще быстрее и, взобравшись на крышу, спряталась в копне, что ставили у нас на крышах, чтобы скот не щипал сено, и оттуда дразнила меня:

— Ой, как черт, грязный! Слезы льет, а еще на красавице хочет жениться! — Потом, схватив кусок кирпича, она вышла из копны, и, приняв гордую позу, сказала: — Ни одна красивая девушка за тебя не выйдет замуж, если она не дура.

— А я скажу бабушке, чтобы она тебя выдала

замуж за хромого, слепого, паршивого, беззубого, безносого...— начал я перечислять скороговоркой.

Тогда сестра, разозлившись, метнула в меня кирпич.

— А я не пойду!

Я увернулся от ее «снаряда» и отступил, а сестра, разозлившись, что не попала в меня, так быстро затараторила, что я ровно ничего не мог понять.

Так началось мое первое столкновение с угнетенным женским населением. Так первая женщина, моя младшая сестренка, защищая свои права, вступила в «войну» со мной, «калымоплавельщиком».

Бабушкин приговор осуществился. Моих сестер выдали замуж «по бабушкиному следу», получив за них калым. Калым настолько глубоко укоренился в быту казахов, что самая беспощадная борьба с ним не всегда давала положительные результаты. Преследование загнало калымщиков в подполье: начали давать калым втихомолку, по секрету, и выдача замуж даже инсценировалась «бегством», то-есть, уходом девушки к любимому якобы по доброй воле. «Режиссерами» этих инсценировок были бабки и деды, а молодежь так увлекалась разыгрыванием своей роли, что часто представители власти не могли отличить истину от лжи.

* * *

С малолетства Убианна была помолвлена с сыном Жарылкапа — Мамытом, из рода Шегир, населяющего подножье гор Шакпак, что по-русски означает кремень. Говорят, что Жарылкап был зажиточным и приходился родственником нашим ниязовцам. Когда у казахов родство по женской линии отделяется несколькими поколениями и связь между ними начинает ослабевать, то иногда, чтобы снова поддержать эту связь, «обновляют кость». По-видимому, это обстоятельство и послужило причиной обручения Убианны с Мамытом... Семья Жарылкапа пострадала от джута и окончательно разорилась. Отец и мать умерли, а Мамыт, уже взрослый юноша, и его брат, мой сверстник, перешли на попечение Сайлаубая Ниязова — богатого сына Нияза. Сыновья Нияза делились на две группы семей, по их матерям: дети старшей жены носили

кличку «сыновья смуглой бабушки» и второй жены — «дети белой бабушки», их еще звали «сыновья Айдын». Ниязовцы, за редким исключением, были косноязычно-картавыми. Мамыт был у них в работниках, а младший его братишка пас ягнят.

Я их помню с того лета, когда они прикочевали к нам на джайляу. В тяжелые годы ниязовцы почему-то избегали нашего аула, а потом, когда народ стал жить немного лучше, снова появились в нашем стане. Их скот приносил много вреда земледельцам, травил посевы и сенокосы, но так как многие из оседлых были их косши, ниязовцы оставались господами положения. Земледельцы их недолюбливали. Особенно была невыносима их мать, глубокая старуха, полоумная Айдын. Она ходила всегда грязная, оборванная, с развевающимися седыми волосами, которые трепались по ветру из-под наброшенного на голову платка. Она вечно носилась по полям, от стада к стаду, пешком, бранилась и кричала на всех своих сыновей, на пастухов и просто встречных. Ей казалось, что если она сама не проследит, то кто-нибудь обязательно украдет у нее из стада теленка или барана. Ночами она не спала и сторожила загон от волков и воров. Всю ночь ходила, покрикивая, как филин: «Уй-уу»... Я никогда не видел ее сидящей, она всегда куда-то бежала. Старуха была настоящей бабой-ягой, страшилищем для всех детей. Все население аула избегало встреч с ней и боялось ссор. При встречах она бранилась. Вела свою отару через посевы и покосы, и ей ничего нельзя было сказать.

Все сыновья Айдын были страшно скупы. Эту скупость они распространяли и на себя: одевались, кое-как закрыв свое тело, ели что попало. Сотни литров молока и кумыса у них пропадали, но они ни за что не давали другим. Их ненавидели, но общая собственность на землю и пастбища и боязнь ненормальной старухи лишали кого бы то ни было из жителей аула желания высказывать свое отношение к сыновьям Айдын.

Жители аула запугивали ниязовцев разными суевериями, приметами. Говорили старухе, что, мол, «луна покосилась», или «звезда не на том месте», или «туча

не по тому пути пошла» и предсказывали, что случится беда с баранами, коровами и лошадьми. Испуганная старуха начинала расспрашивать, что ей делать, как предотвратить беду. Тогда другой, подставной, из соседнего аула, говорил:

— Это происходит из-за гнева святого земледелия. Нельзя травить посевы и сенокосы. А для того, чтобы рассеять гнев святого, нужно два удоя молока овец и коров, которые побывали на посеве, отдать людям.

Старуха не соглашалась. Тогда придумывали еще какой-нибудь способ, чтобы убедить ее. На следующий день старуха носилась вокруг стада, оберегая посевы от скота, но через два-три дня обо всем забывала, и все шло по-старому.

Одному аульному шутнику Жамаку захотелось покушать свежей баранины. Но откуда взять? Он сделал маску из тыквы, проколол отверстия для глаз, носа и рта, надел эту маску и вывороченную наизнанку шубу, нацепил несколько колокольчиков на шею и стал поджидать на кладбище. Время было послеобеденное. Сын Айдын Даутбай ехал на верблюде, возвращаясь с мельницы. Когда он поравнялся с кладбищем, Жамак, гремя колокольчиками, в маске и вывернутой шубе, с ревом выскочил из могилы. Даутбай оцепенел от страха и, потеряв сознание, упал с верблюда. Жамак несколько раз приводил его в чувство и кричал:

— Я один из твоих предков! Вы перестали нас поминать, мы голодаем... Смотри, вот луна горит, буря будет... Я возьму твою душу, возьму души твоих братьев и весь ваш скот предам бедствию! Как приедешь домой, скажи своим, чтобы немедля зарезали пять баранов, читали коран по нас и угостили весь аул, а то пошлем мы на вас новые бедствия...

Жамак исчез, а Даутбай смертельно бледный, под вечер едва приплелся домой и рассказал, что видел привидение. Суеверные старухи кое-что добавили от себя и подлили масла в огонь. Начали резать баранов в жертву духу предков. В числе гостей, конечно, был и Жамак...

Вот в этой семье после смерти отца и матери проживали и бедствовали сыновья Жарылкапа. С ними

и со старухой Айдын связано одно из моих самых страшных воспоминаний раннего детства. Младшего мальчика по имени Жарылкасын, который пас ягнят, видимо, кормили от случая к случаю. Насколько я помню, мы видели его всегда идущим за ягнятами почти голым, босым, обожженным горячим дыханием солнца. На черном от загара лице его поблескивали большие серые глаза, редко встречающиеся у казахов, и белые зубы. От недоедания он вечно жевал траву, и углы губ его были зелеными.

Однажды мы, дети, стали свидетелями сцены, потрясшей нас всех. Старуха Айдын, держа на руках отставшего ягненка, с ругательствами неслась по степи, догоняя стадо Жарылкасына, лохмотья и седые волосы развевались по ветру. Подбежав к Жарылкасыну, она начала избивать его палкой.

— Почему ты, сын греха, бросил ягненка? — ругалась она.

Мальчик безуспешно пытался вырваться, а она продолжала осыпать его бранью и ударами по бритой головенке. Мы видели, как после каждого удара на голове ребенка вскакивали сине-красные шишки. Жарылкасын вертелся волчком, кричал, просил пощады:

— Апа! Апатай! Ой, больно!

Охваченная бешенством, старуха поволокла его к старому колодцу.

— Вот я тебя брошу на съедение змеям.

Задыхаясь, визжал Жарылкасын, а она, схватив мальчика за ногу, опустила его головой в колодец. Мы подбежали. Жарылкасын хрипел, пытался цепляться за щебеночные стены колодца, но тогда старуха еще ниже опускала его, потом поднимала и опускала снова. Падали вниз мелкие камешки, хрипел теряющий сознание ребенок, а она все грозила, что бросит его вниз. Мы не выдержали и заплакали, закричали. Старуха не обращала на нас внимания. Только тогда, когда обессилевший Жарылкасын потерял сознание и безжизненно повис вниз головой, старуха вытащила его и сама устав, бросила на землю, присев рядом с ним, как хищная птица у жертвы. Когда бедный Жарылкасын очнулся, она потащила его в аул. Мы, потрясенные

этой сценой, молча глядели им вслед. Играть нам не хотелось,— перед глазами все время стояло обескровленное лицо Жарылкасына.

Вечером мы рассказали об этом случае отцу. Он поднялся и пошел в юрту Ниязовых. Он нашел Жарылкасына во дворе. Мальчик был в бреду. Отец взял Жарылкасына на руки и принес к нам в юрту, попытался напоить его молоком, говорил ласковые слова, но мальчик ни на что не реагировал. Тогда отец положил его на постель у края юрты и задернул кошму, чтобы мальчика овевал свежий ветер. Нам он велел не беспокоить маленького мученика и вышел из юрты.

Жарылкасын лежал неподвижно, дышал тяжело, губы его побелели. Изредка он что-то невнятно бормотал и вскрикивал. Это все было так ужасно, что мы, затаив дыхание, не могли оторвать глаз от постели.

Отец вернулся, неся в подоле халата собранную им целебную траву. Отварив в котле растения, он отлил настойку в пиалу, поставил в холодную воду и, когда питье остыло, постарался влить его в рот мальчика. Сестрам велел положить примочки на голову. У мальчика был жар, платки быстро высыхали, и их часто приходилось менять.

В тревоге и суете вокруг Жарылкасына прошла бессонная ночь. Под утро, когда стало прохладнее, Жарылкасын открыл глаза и, придя в себя, оглянулся. Не понимая, где он находится, закричал и заплакал. Отец ласково его успокаивал:

— Не бойся, не бойся! — и, отворачиваясь, гневно проклинал злую старуху:— Ох, будь она проклята, сумасшедшая Айдын!

Потом он взял Жарылкасына на руки. Сестра принесла отвар, и отец заставил Жарылкасына выпить всю пиалу, а потом выкупал его. Жарылкасына начала трясти лихорадка. Тогда его напоили молоком и, укутав, снова положили в постель.

Уже рассветало. Жарылкасын уснул, мы тоже пошли спать. Так он пролежал у нас больше недели, пока не поправился. По примеру отца, и мы старались окуржить его вниманием и нежностью.

Суеверная Айдын признавала в ауле только моего

отца. По-видимому, это было связано с воспоминанием молодости. Когда она была привезена в аул, в жены к троюродному брату моего отца, уважение аула к молодому Момышу передалось и ей. Она и в старости звала его не по имени, а «грамотным юношей», и, видимо, его авторитет заставлял Айдын обходить нашу юрту, где нашел пристанище Жарылкасын. Через некоторое время ее сын Сайлаубай заявил свои права на Жарылкасына. Я помню строгое лицо отца и гневные его слова:

— Его отец,— он показал на Жарылкасына,— был не менее состоятелен, чем ты, и был человеком не хуже, а лучше тебя. Почему ты уверен, что твоих сыновей не постигнет такая судьба, как этих сирот? А что, если бы из-за этой безумной старухи умер мальчик, и род Шегиров приехал бы сюда требовать кун[1] за убитого? Подумай об этом, Сайлаубай, что бы с тобой стало? — Он еще долго читал нравоучения и закончил словами:
— С твоей матерью я сам поговорю.

Несчастный Жарылкасын, когда его уводил Сайлаубай, долго оглядывался на нас, как будто его вели на казнь.

Старуха Айдын после разговора с отцом ненадолго притихла, но потом все началось сначала.

Так вот, моя сестра Убианна была помолвлена с братом Жарылкасына и впервые в ауле увидела своего будущего жениха, поближе познакомилась с ним. И тут-то началось «несогласие их сердец». Отец долго стоял на своем и не хотел нарушать данного слова. Упорствовал отец года три, пока бабушка как-то не посочувствовала горю внучки и не повелела расторгнуть помолвку. Об этом сообщили Мамыту и обещали ему вернуть полученную часть калыма.

Но судьба многих женщин в ауле сложилась не так, как судьба моей сестры. Мне не забыть появления в ауле красавицы Зейпы, дочери Нуртая, известного в роде Байтана, почтенного и состоятельного казаха. Вся его семья была как на подбор: пятеро сыновей были рослыми, стройными джигитами-красав-

---

[1] Кун — плата, штраф за увечье, за убийство.

цами с немного выдающимися вперед крупными передними зубами. Это придавало им своеобразную надменность. Им было дано прозвище «куректистер», то есть «зубы-лопаты».

Единственная дочь Нуртая Зейпа была похожа на братьев. Я помню ее с первого дня ее приезда в наш аул, когда она в костюме молодой снохи слезла с коня и с гордо поднятой головой шла по аулу. Она стала женой уродливого пятого сына Нияза от Айдын, заикающегося Даутбая, у которого не так давно умерла первая жена. Как говорят казахи: «Хоть с кривым ртом, пусть байский сын речь держит», или «Длиннорукий (богатый) берет то, что ему нравится, короткорукий (бедняк) довольствуется тем, что ему достанется»...

Итак, этот уродливый коротышка с недостатком чувств, красоты и ума, протянул руки к красавице Зейпе, а скот и состояние, большой калым сделали возможным его женитьбу на ней. Может быть, в день этого печального и неравного брака какой-нибудь влюбленный удалец, убитый горем, сидя у себя в юрте, гневно проклинал судьбу и закон, разлучивший его с любимой Зейпой.

Зейпа была стройной, высокой, с гордой осанкой. Ее продолговатое лицо с прямым носом напоминало лица армянок: страстные, огненные глаза, прямые длинные ресницы, большой, но красивый рот... Она ходила уверенно, ступая по земле свободно, как ее хозяйка, пренебрегая всем окружающим. Такое независимое поведение вызвало в ауле толки об ее невоспитанности: по казахскому обычаю, молодая сноха должна быть тише воды, ниже травы. Зейпа смело нарушала установленный аульный этикет: она не склонялась ни перед Айдын, ни перед старшими братьями мужа, ни перед их женами. В ее взгляде, голосе и поведении всегда чувствовалось презрение и к мужу и к его родне. Попытки Айдын и ее отпрыска привести гордую женщину к покорности не увенчались успехом... Волевая и независимая Зейпа одним уничтожающим взглядом заставляла их молчать. Даутбаю доставалось и от матери и от братьев за то что он, муж,

не умеет держать в почтении жену свою. На все это и на свою судьбу Зейпа, казалось, смотрела с иронической издевкой, черной работой она не занималась, вела себя, как аристократка, и от своей свободы отказываться не собиралась.

С другими ниязовцами и с нашей семьей Зейпа была в достойно тактичных отношениях. Такой я помню ее в первые годы замужества. К нам она прибегала часто, видимо, желая вырваться из того мира. Я помню ее красиво сидящей на кошме, с откинутой головой, с белым жемчугом зубов в белоснежном кимешеке и в необычайно красиво повязанном кундик-жаулыке[1]. Я всегда смотрел на нее, не отрываясь: какие-то неясные движения чувств рождались в моей душе, неосознанное сочувствие и восхищение, наверное, были написаны на моем лице. Зейпа это замечала и была особенно ласкова ко мне.

С наступлением осени ниязовцы откочевывали на зимние пастбища к Ак-кулю и проводили зиму невдалеке от аула Нуртая. К этому времени Зейпа родила дочь-первенца, точную копию Даутбая, и... ужаснулась. Угнетенная всем окружающим, своим горем, она выгнала мужа из юрты и ушла из аула к отцу. И никто не посмел ее остановить.

Начались переговоры о ее возвращении. Зейпа и Нуртай наотрез отказались. Тогда ниязовцы прислали вестника к моему отцу и ко всем нам, усеновцам, с просьбой приехать к ним на помощь, чтобы ответить на обиду, которую они терпят на чужбине, говоря, что уход жены является не частным делом мужа, а целым событием, налагающим пятно на честь рода. И хотя усеновцы ненавидели ниязовцев, они честь рода обязаны были защищать, и около двадцати всадников во главе с моим отцом отправились на выручку ниязовцев. Этот конфликт был значительным событием во всем округе, по сравнению со всеми остальными семейными неурядицами. Нуртай был крепким и влиятельным человеком, и не так-то легко было его скло-

---

[1] Кимешек, кундик-жаулык — женские головные уборы.

нить. По бийским обычаям, иногда уговаривали, иногда действовали угрозами. Переговоры длились почти целую зиму, а клубок все запутывался и запутывался. Некоторые из наших всадников возвращались обратно. Взамен их уезжали новые. Весь аул жил ходом этой борьбы. Приезжавшие рассказывали, где, в каком ауле шли переговоры, кто и как вел себя, кто что говорил... По рассказам вестников, мой отец, как старший из усеновцев, вел себя, как настоящий глава делегации, проявлял дипломатический такт и ораторский талант в бийских спорах. Но Нуртай был неумолим, он не хотел возвращать дочь и предлагал за нее крупный выкуп. На это не соглашались наши.

В то время заботы у казахов были ограничены. Подготовка к весеннему севу из-за малой обрабатываемой площади не представляла собою ничего серьезного. Примитивный сельскохозяйственный инвентарь можно было привести в порядок за два-три дня. Поэтому зимний период мог смело считаться периодом безделья, во время которого мужчины тратили вечера на распивание бузы, дни — на посещение дальних родственников, разъезжали на конях по гостям. В это свободное время какой-нибудь конфликт был лучшим поводом для приезда в тот аул, где происходили события, а тут еще перетрусившие ниязовцы официально пригласили усеновцев на выручку и действительно нуждались в их помощи. Наш аул, по-видимому, с удовольствием откликнулся на их зов: во-первых, усеновцы были непрочь совершить эту веселую прогулку, а во-вторых,— имели зуб на скупых ниязовцев, они хотели покормиться у них согумным мясом. Все это привлекало.

В зимний период скот не держался в теле из-за скудного корма, поэтому каждый казах старался в ноябре или в начале декабря, пока со скота не сошел жир, накопленный на обильных пастбищах в летний сезон, зарезать несколько баранов, двух-трех отстоявшихся кобылиц. Заготовка доброго мяса на всю зиму и весну и называлась согумом. Такой запас мяса в холодное время года не требовал особых забот для его сохранения. Казахи по характеру и по традициям на-

род весьма гостеприимный, а наличие такого запаса обязывало угощать гостя бесбармаком. Если хозяин не делал этого, его все осуждали. Правда, в нашем районе на согум резалось не столько скота, как в других районах, а гораздо меньше. У нас, земледельцев, рацион в будни был более ограниченный и не каждый день мясной. Мы довольствовались супами, употребляли большое количество хлеба и крупы. Хозяйка дома бесбармак варила лишь по какому-либо торжественному случаю в семье или в связи с приездом гостя, поэтому лучшие куски из нашего согума всегда сберегались для гостей. Бывали дома, где из-за ограниченного количества мяса его заранее распределяли и раскладывали по порциям, именуя их по предполагавшимся гостям, которые, по мнению хозяев, должны были прибыть в эту зиму. В устной хозяйской «домашней книге» разные куски носили названия: доля такого-то... Поэтому мы, детвора, всегда радовались гостям и были приветливы с ними, так как знали, что в день их посещения будет обязательно бесбармак. Кстати, должен сказать об особенности бесбармака в наших краях, отличающей его от бесбармака степняков-скотоводов.

В нашем бесбармаке больше теста, чем мяса, а у степняков на целого барана шло не более килограмма муки, то есть, каждый щедр тем, чем богат. Недостаток в мясе заставил наших хозяев придумать новое блюдо и подавать своеобразное первое и второе, как у русских. У нас сначала поили гостей чаем, так как мы не могли поставить на стол полбарана, как степняки. Сперва блюдо наполняли тестом и подавались вместо закуски кости с мясом. Пока гости ели, обгладывали кости, готовилось второе блюдо с основным мясом. Второе блюдо называлось «нарын», или «тураган-ет»: мясо разрезалось на мельчайшие куски, тесто — так же, все это заливалось наваром — бульоном и получалась своеобразная густая лапша. Однажды гостивший в наших краях степняк, привыкший набивать полный рот мясом, принимаясь за второе блюдо, со стоном схватился за челюсть. Сидевшие рядом встревожились, думали,

что с гостем случилось несчастье. Тот, не смущаясь, сказал:

— Ой, ой! Величиною с ноготь мясо на зуб мне попало.

Так скотоводы-степняки издевались над нами, землепашцами...

Так почему же нашим свободным усеновцам не наслаждаться вольной жизнью, числясь в гостях, для которых ниязовцы обязаны были расходовать свой сугумный запас? Каждый день гостило человек по двадцать-тридцать, ведя длинные переговоры по конфликту. Устав от этих дел, посредники давали враждующим сторонам два-три дня на обдумывание предложений, сделанных биями, а сами разъезжались на отдых, гостить у своих дальних родственников. Потом снова собирались, и эта своеобразная «межродовая ассамблея» длилась полтора-два месяца.

Нуртай стоял на своем, и Зейпа не хотела ни за что возвращаться к нелюбимому человеку, в нелюбимый аул. Видимо, у Нуртая заговорило отцовское чувство к своей единственной дочери, судьбу которой он так печально решил. Казалось, он хотел загладить свою вину.

Требования наших сделались настойчивыми и решительными. Нуртай, утомленный затянувшейся борьбой, предложил решить вопрос «войной». Его первым предложением было, чтобы зять, ненавидимый им Даутбай, назвал имя любого из его пяти сыновей и вышел на поединок. Если победит Даутбай, то он возвращает ему дочь, если же победит сын, то Даутбай платит штраф и лишается права претендовать на жену и возврат калыма.

Наши, взглянув на заикающегося, хлипкого, тщедушного Даутбая и предвидя верное поражение, не могли согласиться.

Тогда Нуртай предложил:

— У меня пятеро сыновей, я — шестой, здесь ниязовцев тоже шесть. Выйдем равными друг против друга. От этого наши усеновцы отказаться уже не могли. И вот все усеновцы, кроме ниязовцев и представителей такого же коленного родства — нур-

таевцев, поднялись на сопку в роли зрителей у аула Нуртая. Шестеро нуртаевцев выстроились на исходную позицию против шести ниязовцев. Стороны были вооружены плетками, чокпарами[1] и камнями, спрятанными за пазухой. По условному сигналу стороны галопом помчались друг на друга. Во время проскоков враги бросали друг в друга камни. При столкновении коней пускались в ход чокпары. Борющиеся проносились мимо друг друга, снова возвращались и снова налетали один на другого. В три захода нуртаевские сыновья ловкими ударами своих чокпаров уже свалили трех неуклюжих ниязовцев. Тут, подогретый победой, один из сыновей двоюродного брата Нуртая, стоящий среди зрителей, не выдержал, с гиком скатился с сопки и бросился на ниязовцев, седьмой. Это было полным нарушением условия. Тогда мой дядя, горячий Момынкул, молниеносно соскочил со своего коня, подбежал к моему отцу и потребовал, чтобы тот сошел со своей гнедой кобылицы. Отец, растерянный, подчинился ему. Дядя взлетел на кобылицу, схватил лежавший длинный кол и помчался на нуртаевцев. Он носился по полю битвы, как когда-то на диком кашагане, догоняя и сбивая нуртаевцев, и мгновенно выравнял счет. В конце боя дядя свалил с коня самого Нуртая, и Нуртай, потеряв сознание, остался лежать на земле. Исход боя был решен. Оставшихся в седле нуртаевцев дядя преследовал до самого аула. Мой отец бросился к Нуртаю и приподнял его голову. Нуртай, придя в себя, спросил:

— Это ты, Момыш?

— Ты же сам хотел этого, Нуртай, ты же не хотел по-мирному,— ответил отец.

Старик Нуртай, махнув рукой, слабым голосом сказал:

— Будь ты сам бием — судьей. Ах, как жаль, что этот дурак вмешался!

Отец дал знак прекратить бой, сойти с коней и на два дня разойтись и подумать.

---

[1] Чокпар — палица или булава — боевое оружие старины, тяжелая дубинка с шарообразным утолщенным концом.

На третий день Нуртай прислал гонца. Наши поехали в аул к Нуртаю.

Отец присудил небольшой штраф с Нуртая, как нарушителя пути, «протоптанного дедами и отцами». А Зейпе пришлось вернуться в ненавистный дом.

Дядя всю жизнь любил хвастаться своей победой, считал себя спасителем чести не только Даутбая, ниязовцев, но и нашего маленького рода усеновцев.

Отцу это не нравилось, поэтому он всегда укорял своего брата за неблагородный удар, нанесенный старику Нуртаю.

— А что тебе, сыновей его было мало? — говорил он.

Мне пришлось увидеть Зейпу через полтора-два года. От той женской удали и независимости в ее характере не осталось и следа. Она, видимо, не следила за собой, опустилась. Былой белоснежный головной убор ее потемнел, в ее движениях уже не было той грации, и глаза ее не смотрели так вызывающе и гордо, они потускнели. Говорили, что она покорно переносит теперь жужжание безумной Айдын, а уродливый муж даже покрикивает на нее, проявляя мужскую власть.

Так феодальный обычай, жестокий закон родового устройства и темная сила калыма по-своему укротили строптивую Зейпу, убили ее гордую человеческую душу и большие чувства. Она стала покорна своей женской судьбе.

...В 1943 году, когда я заехал в аул, чтобы выразить соболезнование семье моего умершего дяди, в числе запоздавших вошла в дом сутулая женщина с неряшливо опущенным на глаза платком. Я, не узнав еще, кто это, поднялся, чтобы приветствовать... Женщина с искренним движением души и ласковыми словами старшей обняла меня. Когда мы уселись на кошме, она начала расспрашивать, как мое здоровье в это «неровное время войны», и принесла извинение за свое опоздание. Тут, при свете керосиновой лампы, что была подвешена посреди комнаты, я узнал Зейпу. Она сидела изможденная. Тусклый свет под-

черкивал темные линии морщин; беззубый рот ввалился. Я не удержался от возгласа:

— Почему вы так быстро постарели?

Зейпа кивнула головой и сказала:

— Как же не постареть? Ведь я восемь щенков твоему родичу принесла! — Это было сказано с горечью.

Старик Ошакбай покачал головой и неодобрительно бросил:

— Из всех женщин аула ты, Зейпа, самая счастливая. В дверь твоего дома не постучала война: и муж с тобой и дети при тебе.

— Все, кто носит мужскую шапку, оказались годными и пошли решать судьбу народа, защищать его честь,— ответила с вызовом Зейпа.— А Даутбая, видно, мать родила лишь для того, чтобы сторожить меня.

В ее словах я услышал то великое презрение к насилию, которое в глубине души Зейпы — жертвы калыма — до сих пор еще не умерло.

* * *

Вернемся к замужеству моей сестры. После расторжения отношений с Мамытом, когда об этом стало известно, к нам стали наезжать из других родов искатели невест или их посредники — сваты.

— Пусть выберет сама, коль не захотела выйти замуж за Мамыта,— решила бабушка.

Сестра подросла. Ее освободили от черной работы, стали лучше одевать и посадили за рукоделие. Она выучилась искусству вышивки, изучила все узоры казахского орнамента, научилась ткацкому делу, стала носить множество серебряных украшений на шее и на груди, на косах, на всех пальцах рук и на шапочке с перьями. Она пела песни, участвовала в айтысах, повеселела от своей свободной жизни и на все предложения давала уклончивые ответы. Сестра и не заметила, как пошел ей двадцатый год. Ее даже стали упрекать, говорить, что она скоро станет старой девой.

Однажды к нам приехали двое верховых, один из

них был Балтабай — из рода батырбековцев, а другой, с редкими пробивающимися усиками,— неизвестный джигит лет двадцати. Отца дома не было. Гостей потчевали чаем. Молодой, когда пил чай, все время сидел молча, смущенно тянул чай из пиалы. Он проронил несколько неловких фраз, обращаясь к сестре.

После отъезда гостей мы с младшей сестрой начали их копировать. Старшая сестра сначала смеялась, а потом почему-то рассердилась. Нас это забавляло, и мы до того громко смеялись, что оба получили по тумаку. Вечером приехал отец. Мы воспользовались отсутствием Убианны и, перебивая друг друга, рассказали отцу о гостях, продемонстрировали перед ним их поведение, а младшая сестра сказала: «Наверное, Убианне понравился джигит, потому что она рассердилась и побила нас за представление». Отец нас выслушал, посмеялся и велел об этом забыть.

Он нам рассказал анекдот о неловком джигите. Был один бай, живший с достатком во всем, и у него рос балованный сын. Этот сын объездил всю округу, осмотрел всех красавиц, но он был до того надменен, любил только самого себя и считал себя умнее всех, что ни одна девушка не устраивала его: одна казалась ему некрасивой, другая неумной, а он хотел найти себе только умную и красивую. Но ни одна из встреченных девушек, по его мнению, не сочетала красоту и ум. Так долго он не мог подыскать себе невесты. Однажды он отпросился у отца в еще более дальний путь .Отец дал разрешение, и поехал джигит в эти дальние края, он побывал в сотнях аулов, глазел на всех девушек и опять ему ни одна не понравилась... Остановился он в один из дней у белой юрты. К нему навстречу вышла красивая девушка, пригласила путника сойти с коня. Он слез с коня и вошел в юрту, сел и залюбовался красотою девушки, которая спокойно приготовляла кушание для гостя.

Чай закипел. Девушка ловко и грациозно накрыла дастархан и начала угощать путника.

Джигит думал: красота ее мне подойдет, а умна ли она — дай-ка я ее испытаю.

Сквозь дверь юрты на дворе видны были несколько пней разного размера, лежащие на земле.

— Барышня, скажите мне, пожалуйста, вот этих пней сколько сможет поднять лошадь? — важно задал он ей вопрос.

— Хороший конь по одному, а плохой по два подымет,— ответила спокойно девушка.

Джигит подумал: «Вот так дура! Плохой по два, а хороший по одному. Нет, не подходит она мне!» И разочарованный, холодно попрощавшись с девушкой, уехал.

Приехал домой и рассказал отцу.

— Объехал я аулы за семь дней пути и нигде не встретил достойной меня невесты. Повстречал я одну красавицу, но она оказалась до того глупой, что на мой вопрос ответила, что хороший конь поднимет один пень, а плохой по два потянет.

Тут его прервал рассерженный отец:

— Дурак! Ты, значит, не понял ее слова! Она сказала, что ты по два баурсака тянул с дастархана. Не она, а ты глупец. — И он поколотил немножко своего неумного сына.

Этот рассказ отца нас рассмешил до слез. Мы с младшей сестрой прямо закатывались от смеха и в последующем разыгрывали встречу байского сынка с остроумной красавицей для всех аульных ребят. Это было веселое представление.

Через две недели снова приехал Балтабай, но на этот раз один. Поговорив о чем-то с отцом, он уехал. Нас, малышей, не вводили в курс этих разговоров и отсылали играть.

Как-то мы с отцом были в районе зимовки. Отец косил клевер. Под вечер мы собирались возвратиться в аул. Вдруг приехал Балтабай. Отец отослал меня поискать брусок, которым точат косу. Я искал, искал и никак не мог найти.

Вдруг я увидел джигита. Держа коня за поводья, стоял молодой человек, знакомый нам: он приезжал в аул вместе с Балтабаем. Молодой чело-

век подозвал меня, спросил, как зовут и подарил мне несколько конфет. Хвалил меня, говорил, что я хороший мальчик и делал все, чтобы польстить мне. Я почуял что-то неладное и начал осматривать его с любопытством. Он был крупного телосложения, грубоватый, узколобый, с припухшими веками, большим носом, загорелый. Пальцы его рук казались непомерно большими, и, когда он давал конфеты, я обратил внимание на огрубевшие, мозолистые ладони его рук. На этот раз он курил самокрутку из махорки. Одет он был неплохо, но чувствовалось, что эта одежда для него непривычна и сидит неловко. Когда я вернулся к отцу, Балтабай уже прощался с ним.

— Парень незнатный, простой и честный труженик, недавно вернулся из армии.

— Хорошо, Балтабай, мы подумаем. Дай нам время с сердцем согласовать,— ответил отец.

В сватании первые посредники при переговорах назывались жаушами. Жауши подыскивали подходящих девушек по просьбе жениха. Под каким-либо предлогом они приезжали в аул к девушке вместе с будущим женихом, чтобы молодые могли увидеть друг друга, не объявляя пока никому об истинной цели своего приезда. Если джигиту нравилась девушка, он повторял свой визит. Жауши рекомендовал жениха и добивался согласия родителей на переговоры о калыме.

Балтабай в этой роли приезжал еще несколько раз и через полгода добился согласия на переговоры. Кажется, за это время сестра и Аюбай имели несколько «случайных» встреч на тоях, вечеринках и других торжественных сборах соседнего аула. Когда сестру спрашивали, как она относится к этому кандидату на ее руку, она, потупив глаза, отвечала, что, мол, она — теленок на привязи у родителей, что воля бабушки и отца для нее священный закон. Даже и я тогда понимал, что это означает «да».

Недели через две Балтабай привел человек семь верховых из родни Аюбая с официальным визитом. Приехали свататься. Начались переговоры о калы-

ме. Традиционно установленное в наших земледельческих краях — шестнадцать кобылиц (в скотоводческих областях сорок одна) — обсуждению не подвергалось. Возможны были эквивалентные замены: так, одна кобылица равнялась двадцати баранам или двум-трем коровам. Весь ход переговоров мне не был понятен, но я знал, что отец настаивал на тое и проводах девушки не раньше, чем через полтора—два года. Сваты не соглашались.

Теперь, вспоминая все детали разногласий между сторонами, я думаю, что отец настаивал на этих сроках подкалымного периода, желая иметь достаточный резерв времени для свадебных приготовлений и подготовки достойного приданого, ибо он не был настолько богат, чтобы сразу закупить все необходимое. Возможно, он настаивал еще и потому, что эти годы до замужества были периодом игры в подкалымную, что в настоящем смысле этого слова означало «ходить в невестах», когда молодые встречались на началах равенства. От старших женщин я часто слышал: «Я в невестах ходила два года и только на третьем году замуж вышла». Этот период женщина вспоминала с гордостью, как трогательную юношескую пору. Возможно, отец хотел, чтобы у Убианны была именно такая пора. Но сваты стремились закончить все побыстрее: они не доверяли отцу, расторгшему уже одно данное обещание, и невесте, которая «вдруг возьмет, да и уйдет за это время к другому, по новому порядку, а потом — разбирайся». Все это усугублялось тем, что такие случаи уже были после официальной отмены калыма, и обычно родители «изменницы» не хотели и говорить о возвращении полученного скота, или же возвращали ничтожную долю. Официально предъявлять иск было рискованно, потому что калым был объявлен вне закона. Вот почему сторона жениха, чтобы не остаться в дураках, старалась получить невесту немедленно после уплаты калыма. Бывали даже такие случаи: сначала под честное слово брали невесту, а потом платили калым. Но честное слово тоже бывало неустойчивым. Как всякое беззаконие, калымные

переговоры совершались долго. Договаривающиеся с трудом преодолевали взаимное недоверие, потому что бывало и так: какой-нибудь прохвост свою дочь или сестру «закладывал» по нескольку раз, получая аванс от разных лиц в счет калыма, а после ничего не признавал.

Бывало, что получивший калым нарушал слово. Тогда обиженный находил в ауле обидчика какую-нибудь свою родственницу, которая была замужем за родственником обидчика, заманивал ее к себе в аул в гости и тогда бедную женщину всем аулом уговаривали не возвращаться домой, остаться в заложницах, пока обидчик не удовлетворит иск. Из-за сочувствия к обиженному, борясь за честь своего девичьего рода и за то, чтобы «не унижать свою кость», та соглашалась. Эта своеобразная барымта[1] женщинами была одним из средств заставить получившего калым сдержать слово или оплатить неустойку.

Попадались девушки и женщины, которые смело пользовались своими новыми правами, бросая вызов феодализму, разрушая установленные вековые законы. Несколько позднее я был свидетелем женских «забастовок и бунтов», что в свое время изложу в дальнейших записях. А пока я хочу сказать, что казашкам и казахам очень трудно было порвать гнетущую традицию, несмотря на то, что калым был запрещен после Октября.

Однажды после базарного дня к нам в аул приехало десятка два верховых из аула Аюбая во главе с их почетным старцем Онгарбаем, двоюродным дядей Аюбая. Резали баранов, угощение было более щедрым, чем в первый раз, делались взаимные подарки. Переговоры закончились соглашением. Сваты уезжали в хорошем настроении, пожелав счастливого исполнения всего, о чем было договорено. Через неделю нас пригласили в аул Аюбая за получением первой части калыма. Отец не поехал сам, поехал дядя в сопровождении десятка верховых из нашего аула. Через день они пригнали пять лошадей,

---

[1] Барымта — насильственный угон скота.

пару волов, тридцать баранов. Кроме того, были сделаны подарки — в ответ на наши, преподнесенные при последнем визите.

Убианна ходила грустная. Я не знаю, но, возможно, она переживала свое новое положение «подкалымной» (помолвленной), налагающее ряд ограничений. Может быть, она была огорчена и потому, что ее собираются выдать замуж. Я внимательно следил за ней, вначале с братским сочувствием к ее грусти, потом с любопытством, но, когда заметил, что все это притворство, я был очень огорчен, болезненно переживал первое столкновение с этой чертой женского характера. Моему разочарованию не было предела, потому что сестру я очень любил; она была мне не только сестрой, но и заменяла мать. Никто в нашей семье так не боялся ее ухода из дома, как я. Мой детский эгоизм и детский разум, видимо, полагали, что она вечно будет девушкой.

Полученный калым был немедленно продан. Дядя стал привозить с базара разные украшения и материалы для сестры. Убианна стала одеваться чище, наряднее и продолжала заниматься рукоделием. Наша юрта превратилась в своеобразную мастерскую, наполнилась узорными тканями, вышивками, ювелирными изделиями. Бабушкино «обязательное» — «со всем жилищем, постелью и домашней утварью на новое место приедешь» — я понимал как приданое.

Через шесть месяцев Аюбай со своим товарищем Ондасом в сумерках приехали для первой встречи с невестой. Жених остался невдалеке от аула в укрытой балке, а его товарищ с двумя сумками подарков пришел в аул и сообщил о цели их приезда: о первом свидании невесты с женихом наедине на всю ночь. С этого обычно начиналась игра с подкалымной невестой.

Увидев подарки, молодые женщины нашего аула поспешили достойно встретить жениха, готовили отдельную юрту для приема и вечеринки — это входило в обязанности подруг. Неожиданно сестра энергично запротестовала и отказалась встретиться с

женихом. Все ее уговаривали, но тщетно. Она, бледная, задыхаясь, с гневом в голосе, сказала:

— Как ему не стыдно! Почему он так спешит? Ведь впереди еще целый год! Передайте ему, что за такую поспешность я могу только презирать его! — Как же так? — спрашивала она с возмущением.— Как же без моего согласия, без всякого предупреждения он смел приехать?!

— Что ты, милая? Таков обычай наших предков, да покоятся их души в раю... Он ведь твой жених!— начала было увещевать одна из родственниц.

— Пока я в доме отца, я ему не жена! — бледнея, кричала Убианна.— Если он повторит еще раз свой визит, я ему не невеста! — отрезала она.— Так и передайте ему.

Я был поражен, я никогда не думал, что наша Убианна, всегда такая спокойная и уравновешенная, вдруг может бунтовать, требовать таким не терпящим возражения тоном. Я как-то по-новому посмотрел на свою сестру, как будто увидел ее впервые. Она стояла, опираясь рукой о сундук, словно кто-то мог ее схватить и силой увести. Ее продолговатое лицо с прямым, тонким носом и нервными ноздрями побледнело еще больше. Тонкие губы дрожали, взгляд в гневном протесте перебегал с лица одной женщины на лицо другой. Ее худая рука с тонкими пальцами перебирала конец длинной косы с шолпой, как будто она хотела ею замахнуться. Гладкие темные волосы, зачесанные на пробор, подчеркивали строгость ее лица. За высокий рост и тонкую талию она получила прозвище «Талшибык» — гибкая как прут. Эта гибкость и плавность в движениях придавали ей необыкновенную женственность и обаяние.

Получив отказ, жених, напрасно прождав часа три в балке, уехал со своим товарищем. Ондас хотел оставить сумки с подарками, но Убианна категорически запротестовала:

— Нет, нет! Никогда! Ради бога, умоляю вас, не оставляйте!

Поступок Убианны вызвал тревогу в ауле Аюбая. Оттуда начали засылать своих разведчиков — жен-

щин, чтобы узнать о настроении невесты. Видимо, там решали, следует ли продолжать платить оставшуюся долю калыма. Под разными предлогами женщины гостили у нас, говорили с нашими женщинами, с Убианной. Я к ним доступа не имел.

Женский мир наших аулов оживился: вступили в свои права уговаривающие, рекомендатели, устные почтальоны... Так прошло еще шесть месяцев. В нашем ауле продолжалась усиленная работа: катались кошмы, расшивались ткани, вышивались украшения... Приходили мастерицы, художницы по орнаменту, советчицы-старухи. Все готовые вещи вынимались и разворачивались перед ними, получалась целая выставка. Спрашивалось их мнение, женщины делали свои замечания, некоторые оставались помогать. Скот у нас все убавлялся и убавлялся, каждый базарный день что-нибудь да продавали и на полученные деньги покупали для сестры приданое.

Видимо, Аюбай через своих послов получил от Убианны согласие на въезд в наш аул. Как-то вечером снова появился Ондас с сумками. На этот раз все были с ним приветливы и вежливы, шутили, кокетничали, намекая на предстоящее свидание. На отлете от аула поставили юрту, Ондаса с сумками увели туда. Отау[1], где впервые должны были встретиться жених и невеста, был обставлен торжественно, туда пригласили Аюбая. Он и его товарищ сидели на почетном месте. Собралась аульная молодежь. Девушки и молодые женщины приоделись по-праздничному и приходили с «визитом вежливости» — знакомиться с женихом; каждая из них старалась блеснуть красноречием, остроумием или просто кокетством; они звонко смеялись, но держались тактично, чтобы не показаться невоспитанными.

Некоторые задавали Аюбаю хитроумные вопросы, облеченные в форму загадок, вроде: «Откуда сегодня взойдет луна?» Неловкий Аюбай отвечал: «Кажется, давно взошла луна, ведь стемнело!» Его просто-

[1] Отау — юрта молодых, или жилище отделившейся от родителей новой семьи.

душный ответ и прямое понимание образного намека на невесту вызывало общий смех. «С какой стороны от вас звезда Шолпан и луна?» Аюбай отвечал, что не знает, так как он сидит в юрте. Женщины опять смеялись. Аюбай беспомощно смотрел на своего товарища, как бы жалобно прося: «Спасай, тону!»

— Не родня ли вам созвездие Большой Медведицы? — не унималась одна из женщин, явно издеваясь над тупостью Аюбая. Она намекала на легенду об этом созвездии — об украденной невесте и женихе, несущемся по небесам,— и с деланной тревогой вопрошала: — Быть может, с вами опасно знакомить светлую звезду?

Окончательно сбитый с толку, Аюбай неуверенно бормотал, что этих созвездий он не знает, и что он никогда не был вором. Последние слова он произнес с ноткой обиды, что тоже вызвало смех.

— Вы когда ожидаете полнолуния? — спросила одна из женщин.

Аюбай ответил, что он не астроном и поэтому не знает и что в их ауле нет астронома, у которого он мог бы это спросить. Взрыв смеха потряс юрту и окончательно сконфузил Аюбая.

Тут вмешался его товарищ Ондас. Теперь с ним началась пикировка. Но Ондас оказался из «стреляных птиц»...

Подали чай, затем ужин. Аюбай, сконфуженный и смущенный, терялся все больше. Пот лил градом с его лица. Жених его вытирал то кушаком, то платком. После ужина Аюбая окончательно сконфузили в айтысе. Ондасу пришлось солировать. Аюбай только следовал за ним и подпевал. У него оказался грубый бас, и, несмотря на все старания, Аюбай с первой же ноты расходился со своим напарником, слов песни он тоже толком не знал.

Время приближалось к полуночи, и старшая тетка, управлявшая вечеринкой, дала нам команду — по домам, разрешив остаться только нескольким женщинам — подругам и взрослым девушкам.

Меня больше не выпустили из дома. О последующих

в эту ночь событиях я узнал уже спустя много времени от других.

Убианна, сидевшая в другой юрте, имела своих агентов и от них каждые пять-десять минут получала точные донесения из гостевой юрты. Когда подруги пришли за ней, чтобы повести ее к жениху и представить ему, она наотрез отказалась от свидания, и женщинам аула стоило много труда уговорить ее. Они сказали, что, мол, это нехорошо, так как жених и его товарищ приехали с ее согласия как гости и теперь сидят и ждут свидания с ней. Долго шли уговоры, мольбы, приводились доводы, и, наконец, под самое утро, перед рассветом ее уговорили и повели. Утомленные долгим ожиданием гости и в особенности Аюбай, которому порядком досталось на вечеринке, сидели подавленные и сонные. Когда ввели Убианну они с места не встали, как это требовали вежливость и такт. Убианна же наговорила им всяких дерзостей и, не подав руки, заявила, что, прежде чем в женихах ходить, нужно научиться отвечать на вопросы молодых женщин и девушек и уметь держать себя в обществе.

Резко повернувшись, Убианна ушла.

К этому времени уже начало светать, а по обычаю жених должен был покинуть пределы аула до рассвета. Женщины пытались успокоить Аюбая, говорили, что они сделали все возможное, что он сам тоже должен признать свою вину, что скоро гнев невесты пройдет, и она остепенится. Жених после обнадеживающих разговоров вынужден был выехать до рассвета, а его товарищ Ондас попросил женщин обо всем происшедшем не рассказывать.

На следующий день Убианна нервно швыряла все, что ей попадалось под руку, забросила работу над приданым и стала такой грустной, что мы все старались ее не раздражать. Спустя несколько дней, она заявила, что не пойдет за Аюбая, но отец дал ей понять, что второй раз свое обещание он не собирается нарушать.

Аюбай в это время проходил в своем ауле «школу». И через два месяца повторил свой визит, чтобы

выдержать экзамен. На этот раз женщины и девушки прикусили свои язычки, так что усиленная подготовка к новой встрече ему даже не пригодилась.

Время шло. Приезжал почти каждую неделю жених. Убианна, видимо, примирившись с тем, что «написанного на лбу не стереть», не бунтовала, как прежде. Приданое все прибавлялось и прибавлялось, а скот у нас убавлялся.

Свадьба была уже не за горами. Ее приурочили к середине сентября, к самому концу уборки урожая.

Свадебные приготовления не прошли гладко. Аульные и волостные власти вызывали отца на допрос о калыме, или же сами приезжали к нам, угрожая разоблачением, пугали и другими способами — приводили уполномоченных. Отец, видимо, знал, что и у них «рыльце в пуху», знал их психологию и понимал, что все это делается, чтобы получить взятку. Он говорил:

— Не я один в округе совершаю такие поступки, а если одному из вас дать кусочек, то завтра за такими кусочками явятся сотни подобных вам, а у меня не хватит состояния, чтобы угодить всем бездельникам. Всех боятся я не могу. Идите и доложите большому начальнику, а перед ним я готов ответ держать...

Спустя некоторое время привезли большого начальника (видимо, начальника участка милиции, куда входила и наша волость). И что же? Он с первого взгляда влюбился в Убианну и вместо допроса начал уговаривать отца выдать дочь замуж за него, обещая большой калым. Он был уже женат и хотел взять Убианну второй женой. Отец не мог пойти на это. Начальник часто к нам ездил, старался уговорить, но, убедившись в непреклонности отца, впал в другую крайность — начал угрожать.

Не знаю, каким образом этого блюстителя порядка и самодура перевели с нашего участка на соседний, расположенный на территории Киргизии. Там по средам бывали базары, и группа киргизских джигитов побила его публично, гоняя с одного конца базара на другой. Опозоренный начальник был немед-

ленно убран высшими властями и отослан к себе в аул без права занимать какие-либо должности. Отец мне ничего не рассказывал, но я подозреваю, что дело не обошлось без его рук...

Вскоре отец открыто объявил, что он выдает замуж дочь свою Убианну за Аюбая в такой-то день сентября и устраивает по этому случаю той, на который приглашаются все желающие весело провести два-три дня.

Недели за две до тоя Убианна отправилась в сопровождении двух молодых джигитов и трех женщин из нашего аула на «знакомство девушки» — прощаться со всеми дальними родственниками. Эта традиционная прогулка предусматривалась предсвадебным церемониалом. Она совершалась, по-видимому, для того, чтобы девушка в последние дни могла свободно подышать воздухом, повеселиться в окружении внимательных родственников как по женской, так и по мужской линии. У нас же, как и у других казахов, их был не один десяток: четыре сестры отца, два брата бабушки, мой родной дядя по матери, дядя и тетя по отцу, родня мачехи, родственники жен моих двоюродных и троюродных братьев. Короче, кровные связи и родовые корни были разбросаны в радиусе полтораста-двести километров от нашего аула.

Перед отправкой Убианны бабушка устроила своеобразную выставку приданого. День выдался ясный. Собрались все женщины нашего аула. Долго они советовались и наконец выбрали на отшибе близ аула зеленое поле и начали перетаскивать туда все приданое, раскладывать и разворачивать его на земле, как будто собирались сушить на солнце. Сначала развернули большой бабушкин ковер, который она подарила внучке к свадьбе. Цветистые узоры ковра яркими красками заиграли на солнце. Рядом с ним положили второй ковер, поменьше, ковер моей покойной матери, привезенный ею в числе другого приданого. Женщины отдыхали и любовались красотой только что воздвигнутого громадного остова юрты, пересеченного квадратами клеток, опутанного множеством крашеных канатов, лент, кистей и бахромой. Потом

накрыли юрту белыми кошмами, плотно подогнали их, укрепили веревками и петлями. Женщины приняли торжественные позы, и после маленькой паузы старшая из них обратилась к Убианне:

— Войди в свое жилище, светик мой! — пригласила она ее, указывая на дверь.

Сестра вошла первой, за ней остальные... Усталые от работы женщины присели на голую землю, и каждая по очереди начала выражать от всего сердца добрые пожелания счастливой жизни в этой юрте. Сестра смущенная и, видимо, огорченная тем, что отделяется от родных, прослезилась. Женщины тоже вытирали слезы, вызванные воспоминаниями об их былой девичьей поре...

Отдохнув с полчаса, женщины вышли и внесли два больших сундука и другие вещи. Начали убирать, стелить, укладывать, установили украшенную резьбой деревянную кровать, заправили ее, вытащили из сундуков свадебные одежды и развесили их над изголовьем кровати. В углу образовался своеобразный склад девичьего и женского платья. Женское платье было заготовлено, но сестра его еще не носила. Постелили кошмы, ковры на пол и, закончив внутреннее убранство новой юрты, все сели уже как гости. Внесли самовар, накрыли скатерть, рассыпали баурсаки[1], урюк. Началось чаепитие. От мужского пола представителями были только мы, мальчуганы.

За чаем женщины вели деловую беседу, обсуждали, что еще желательно было бы добавить к приданому, что подправить. К концу чаепития тети начали дарить Убианне разные вещи, говоря: «Мое присоедините на память». Одни дарили чашку, другие — пиалу или чайник, миску, нож или ножницы или еще что-нибудь, необходимое в домашнем обиходе.

— Вот и дом готов! — говорили женщины.— Со своей юртой, со своим хозяйством приедешь. Ни от кого не будешь зависеть, а одежда и постель у тебя есть на двоих. Будь благодарна бабушке и отцу. Не всем такая удача навстречу идет.

---

[1] Баурсаки — шарики из теста, отваренные в масле.

Начали расходиться. Я, увлекшись баурсаками, урюком и разговорами, оказывается, так долго сидел в новой юрте, что проглядел то, что делалось за это время на улице.

— Апа! Сопровождающие прибыли! — крикнул дядя, стоявший снаружи юрты.

Я пулей вылетел в дверь.

Разодетые две молодые женщины и девушка лет семнадцати, двое юношей, одетых прилично, но не парадно, были уже готовы к отъезду.

Женщины были одеты в ослепительные кимишеки и жаулыки, расшитые кораллами — маржанами. Под подбородками у них висели тумарша (серебряные треугольники, украшенные разьбой), на шпильках которых были нанизаны красные кораллы с круглой подвеской или монетой. Кундык-жаулык наматывался метров из десяти—пятнадцати материи, с кокардой-вышивкой в центре. Намотать кундык это целое искусство; материю наматывали так складно, что вечером кундык снимался, как корона, и не терял формы. Длинный хвост кимешека сзади висел как фата. На одной из женщин было пальто из черного бархата, опушенное спереди коричневым мехом и окаймленное серебристо-белым галуном. Из-под пальто видна была белая в оборках длинная юбка, пояс из красной материи с серебряной пряжкой пересекал в талии черный бархат. Другая была разодета тоже по-праздничному, только чапан у нее был из зеленого бархата, перетянутый расшитым многоцветным поясом с бахромой. Девушка была в высокой меховой шапке, с голубым бархатным верхом, расшитым кораллами. На шее в несколько рядов висели коралловые бусы. Бешмет с серебряной застежкой у пояса подчеркивал тонкость талии и складками разбегался книзу. Бархат по обеим сторонам был обшит серебряными украшениями. Девушка тоже была в светлой трехполой юбке, такой широкой, что если бы она взялась за концы ее и закинула руки над головой, веер юбки не открыл бы ног. Она была в сапожках из красной кожи, на каблучках.

По приглашению бабушки женщины вошли в юр-

ту. Подруга поздравила Убианну с новой юртой и сказала, что они прибыли сопровождать ее в «счастливую поездку». Джигиты же стояли у входа, так как им было не положено входить в юрту невесты. После обмена репликами приступили к одеванию Убианны. Светлорозовое со множеством широких оборок платье в тяжелых сборках, синий бархатный бешмет были надеты на нее. Совиные перья качались на меховой шапке. В косах, еще более удлиняя их, серебряными каплями звенели шолпы.[1] Убианна обулась в расшитые сапожки на высоких каблуках. На шее было столько бус, что, казалось, их нельзя сосчитать. Грудь была покрыта множеством серебряных украшений разного размера и узора. На всех пальцах было по нескольку колец, браслеты сжимали запястья рук. Тут я впервые заметил, что ногти сестры были покрашены красной хной. Для казахов этот обычай не был типичным, и только наш район перенял его от узбеков.

Бабушка вручила невесте отделанную серебром и медью камчу и пожелала счастливого пути. Все вышли из юрты.

Дядя подвел оседланного вороного иноходца. Сбруя коня Убианны отличалась от других более богатым убранством и блеском. Украшения Убианны, парадная сбруя для лошадей делались и чеканились руками моего отца, ему помогал дядя и даже я.

Дядя и джигиты помогли женщинам взобраться на коней. Подошел отец, по его знаку все молитвенно сложили руки и, выслушав пожелания счастливого пути, двинулись.

После отъезда сестры в ауле шли завершающие приготовления к тою. Дядя разъезжал по базарам, продавал скот и возвращался с наполненными сумками. Некоторые джигиты аула по просьбе отца отвозили зерно на помол. Отец взялся за ювелирные работы. Я был у него подручным и с удовольствием выполнял свои обязанности. Помогать отцу — было вершиной моих детских желаний.

---

[1] Шолпы — украшение из серебра, которое вплетается в косы девушек.

Сначала из глины делалась чаша нужной формы с продолговатой выемкой, туда клали серебряные монеты. Над чашей складывался маленький шатер из наколотой щепы, его поджигали, и я смотрел, как вспыхивала щепа и краснела чаша. Отец щипцами перекладывал угольки. Я помогал ему раздувать ручной домашний мех, сделанный из козьей шкуры. Потом над чашей появлялось синее пламя и внутри начинала блестеть, как ртуть расплавленная масса металла. Потом отец давал ей немного затвердеть и затем опускал серебро в чашу с холодной водой. Вода шипела, и пар поднимался над чашей. Отец ковал маленькими молоточками на наковальне, точил маленькими, разной формы, напильниками, выбивал выпуклости на кольцах или браслете, потом рисовал карандашом узор и тонкими лезвиями набивал насечку на серебре. В эти минуты в юрте наступала тишина. Я следил, затаив дыхание, боясь пошевелиться и помешать этой тонкой работе.

Но вот изящный рисунок ложился на серебро, и тогда отец начинал шлифовать его песком, протирать шерстью, припаивал застежки и потом, посыпав белым порошком, который он называл «мусятыр» (по-видимому, нашатырь), подносил к огню. Когда порошок вспыхивал, браслет или кольцо он протирал о колено, и очищенное серебро блестело. Быть может, в силу этого своего ювелирного таланта, отец в своих рассказах всегда особо останавливался на описании женских украшений и чеканке сбруи.

Слава об искусстве отца распространилась и за пределы нашего аула, но я не помню, чтобы отец чеканил что-нибудь для других, особенно украшения для коней. Он не считал это своей профессией и плату за работу не брал.

Вспоминается мне еще одна из работ отца — самодельный пистолет, который он начал делать, найдя где-то небольшой кусок стальной трубки. Я помню, как отец приделывал курок, украшал оружие, но, когда все было закончено, пистолет не выстрелил. Это было большим огорчением для отца. Позже он

разрядил несколько найденных патронов, набил их порохом и специально для нас, детей, сделал целый взрыв. Так кончилась судьба этого самодельного револьвера.

* * *

Убианна вернулась через две недели вместе со своими спутницами, а сопровождавшие ее джигиты вели нагруженного верблюда и четырех лошадей-двухлеток. К моему удивлению, они проехали мимо наших юрт и остановились у стоявшей на отлете юрты невесты и там сняли вьюки. Снова собрались женщины. Они приветствовали спутниц с благополучным возвращением и расспрашивали, весело ли те провели время, хорошо ли были приняты родственниками.

В юрту внесли непременный самовар. Основным «докладчиком» за чаепитием была Катшагуль, подруга Убианны, рассказавшая все по порядку, с последовательностью и со всеми подробностями: когда у кого гостили, какие вечеринки проводились и в каком ауле, кто и что пожелал Убианне, чем одарили ее, как устраивались проводы. Свой рассказ она пересыпала удачными запомнившимися ей шутками, песнями, услышанными на этих вечерах. Хвалила одних родственников за хороший прием и внимание, неодобрительно острила по адресу других за их недостаточное усердие и холодноватый прием и проводы.

Женщины слушали с напряженным вниманием, смеялись, удивлялись, одобряли, поддакивали, умилялись не только словами, но и мимикой, кивками и одобрительными жестами выражая свое отношение. Свой трехчасовой рассказ Катшагуль завершила показом привезенных подарков, которые вызвали новые восторги, возгласы, жесты и ужимки.

Оказывается, Серкебай подарил верблюда, а его брат Кульджабай — коня-двухлетку; одна из их жен — тускииз — надкроватную кошму, отделанную цветной материей; другая подарила перину с бархатным чехлом; сестра отца — маленький коврик и кожаный чехол для пиал; вторая сестра отца — парчовый халат

и серебряный поднос. И много еще других украшений и подарков показывалось любопытным зрителям.

Привезенные вещи были присоединены к приданому. Наговорившись и насмотревшись, женщины ушли, а Убианна, переодевшись в обычное свое платье, пришла к отцу с приветом. Отец встретил ее очень ласково, погладил по голове. Растроганная нежной встречей отца, взрослая Убианна заплакала и бросилась, как ребенок, к нему в объятия. Отец, сдерживая свое волнение, взял Убианну на руки, сел на кровать и начал укачивать ее, как маленькую, приговаривая успокаивающие ласковые слова. Младшая сестра Алиманна с торчащими по сторонам косичками стояла у изголовья кровати, и по лицу ее тоже катились слезы. Я, никогда еще не видавший проявления столь нежных чувств у отца к дочерям, пораженный слабостью всегда собранной и серьезной Убианны, замер на месте. Наверное, у меня был очень глупый вид, потому что Алиманна подбежала ко мне и стукнула меня кулачком со словами:

— Что ты не плачешь, бессердечный?!

Я тоже ее стукнул, но все же выполнил ее волю и тоже прослезился... Отец засмеялся и всех нас троих, плачущих, заключил в свои объятия.

На следующий день вокруг невестиной юрты стали устанавливать еще около десятка других юрт, выделенных нашим аулом для гостей, прибывающих на предстоящий свадебный той. К вечеру рядом с нашим аулом вырос другой аул, с новой юртой Убианны в центре.

Через день нас, детей, приодели, и весь аул начал готовиться к приему гостей. К вечеру приехал Аюбай в сопровождении семи джигитов. Он остановился в отведенной для него юрте. Юрта, где сидела Убианна, стала называться теперь юртой девушки, невесты, а юрта Аюбая — юртой зятя-жениха.

В юртах уже слышался оживленный, беззаботный говор. Каждый настраивал себя к веселью, доносился смех, звонкие голоса. Ржали на привязи кони гостей.

Я понимал, что той уже начался. Покинутый старшими, потеряв их внимание, чувствовал себя я не

лучше, чем кони гостей... Мы, малыши, бродили в темноте, стараясь где-нибудь увидеть или услышать что-то особенное, но у каждой юрты человек, дежуривший у самовара, нас отгонял:

— Эй, дети, чего вам тут делать!

Те, которые были подобрее, шепотом нас убеждали:

— Вы зачем тут, дети? Сюда маленьким нельзя! От кунаков стыдно будет.— И они тоже вежливо прогоняли нас: — Идите! Ступайте! Идите же!

Женщины с нами почти не разговаривали, куда-то торопились и спешили отвязаться от нас, сунув в руки нам свежие баурсаки или какие-нибудь сласти. Было обидно. Мы не уходили. Пытались потребовать к себе внимания. Но кроме баурсаков ничего не получали. Между собою мы говорили шепотом.

Увидев человека, однажды прогнавшего нас, бросались в разные стороны, но потом снова подкрадывались. Так, изрядно набегавшись и устав от своих неудач, поздно ночью мы вернулись в старый аул, молчаливые от злости на свой возраст, не дававший нам права присутствовать на тое.

* * *

Настало утро. Солнце, поднявшись над горизонтом, положило косые лучи на белизну юрт... Дымились очаги и самовары. Спавший аул начинал постепенно пробуждаться.

Гости просыпаются, идут один за другим к роднику, умываются, потягиваются после сна, лениво и важно возвращаются к юртам. Часов в двенадцать начинают пить чай. Пьют лениво и долго, важно обмениваются фразами, затем подают кумыс, который они пьют тоже долго и лениво. Никто не торопится: спешить некуда. Солнце медленно поднимается к зениту. Нет вчерашнего веселого говора. Все стали серьезными, кого-то ждут. Кого? Ждут часа, ждут новых гостей. Скатерть убрана. Гости, устав от скуки, отдыхают. Становится жарко. Поднимаются боковые кошмы у юрт, и сквозь клетки остова юрты мы видим издали всех гостей. Они отдыхают, лежа на расстеленных одеялах и подушках... Солнце скаты-

вается к западу. Снова дымятся очаги и самовары. Гостям подают чай. Они долго и медленно пьют. Затем подают бесбармак. Гости, не торопясь, едят, ведут беседы... Все это надоедает нам и мучительно медленно убивает наше любопытство...

Время бежит. Зной идет на убыль. Лучи солнца становятся снова косыми, но на этот раз они ложатся на другую сторону аула...

И вот наконец на горизонте показались люди. Идут разряженные женщины и девушки из соседнего аула, едут мужчины... Вот и с другой стороны показались всадники, вон вдали еще и еще люди — верховые, пешие, женщины, группами и цепью рассыпанные во всю ширину степи. Они окружают дальние подступы к аулу, постепенно приближаются, сужая «кольцо окружения»... Скука покидает нас, мы глядим вдаль, рассматриваем приближающихся. Аульные люди в почтительных позах стоят, готовясь к встрече. Вот женщины встречаются с женщинами, приветливо кланяются, чуть припадая на одну ногу. Мы слышим их голоса и улавливаем отдельные слова:

— Да пройдет той счастливо!

И слышим ответ:

— Да будет это совместно с вами!

Смех, звон шолпы, шелест платьев, плавное движение женских фигур. Нам кажется, что женщины не говорят между собой, а выводят какие-то напевы, воркуют, щебечут, что они не идут, а плывут по степи.

Их проводят к юрте невесты. Они поздравляют ее с торжественным днем: «Да будут все дни твоей жизни яркими, как этот день! Да не сойдут с тебя во всю жизнь твои украшения! Да будет всегда твоя юрта, как сегодня, наполнена гостями и радостью!»

Невеста благодарит их за добрые пожелания: «Приятные слова пленяют слух, окрыляют душу, успокаивают сердце, резвят надежды, ваши лица ласкают мой взор. Да сбудутся ваши слова. Я буду обязана вам навеки!»

Женщины с нескрываемым любопытством осматривают убранство юрты, вещи и невесту.

Оглянувшись назад, мы, дети, понимаем, что из-

лишне увлеклись звонкими переливами певучих голосов и грациозными движениями женщин и девушек: показалась толпа конных джигитов, перевязавших косынками головы. Мы замерли в безмолвном восхищении. Незнакомые лица джигитов, поджарые кони, перетянутые подпруги, врезавшиеся в грудь лошадям... Число джигитов все множится. Стараемся определить их количество, но, умея считать только до двадцати, трудно определить, сколько всадников. Увидев отдельную группу всадников на окраине аула, я говорю про себя: «Здесь будет два раза двадцать». Переношу взор на другую группу. «Нет, здесь будет больше, чем два раза двадцать» — поправляю себя, и пока высчитываю, сколько «двадцать» в этой группе, с двумя первыми группами сливается третья, или показывается четвертая. Джигиты не стоят на месте, и невозможно толком подсчитать их. Увидев еще одну приближающуюся группу, я окончательно сбиваюсь со счета, но все же упорно считаю, уточняю, округляю, отбрасывая «мелочи» в пять-шесть всадников, и, наконец, подвожу итог: «Много»...

Итак, их было, поверьте, много. Я и сейчас говорю «много», хотя, быть может, их было две сотни, три сотни, а может быть, просто скромная сотня. Пvсть будет последнее, если вас не устраивает мое самое точное «много».

Джигиты не сходили с коней, как это обычно делали приезжавшие гости, а если сходили, то не у юрт, а немного поодаль от них. Я искал знакомые лица, но все джигиты, перевязанные косынками, казались одинаковыми. Вдруг в проезжавшем мимо всаднике с засученными рукавами я узнал всегда дружившего со мной племянника моей матери по женской линии, моего крестного отца — черноусого Тиняли из наших батырбековцев, другой ветви Усена. Я радостно закричал: «Татэ!» [1]. Он обернулся, не останавливая своего коня, затем, узнав меня, повернул в мою сторону и, хитро улыбаясь, слегка придержал

---

[1] Татэ — уважительное обращение к старшему.

коня, на ходу поднял меня и усадил на коня впереди себя.

— А, мурза! Той кутты болсын! Праздник пусть будет счастливым! — и своими блестящими усами пощекотал мне щеку и шею.

Он начал расспрашивать, как я живу, наговорил мне много лестных слов, что, мол, я вырос и стал настоящим джигитом. Из его слов я узнал, что будет кокпар, и что они ждут прибытия атамана кокпара — старика Аккулы-Ата, сверстника моего отца.

Тиняли, мой крестный отец, считался после Аккулы вторым наездником, поэтому его и называли почтительно Шабандоз-Тиняли, то есть, лихой наездник Тиняли, а красивые усы принесли ему другую лестную кличку «жезмурт», что значит джигит с усами, сверкающими, как начищенная медь.

Конная толпа зашевелилась, раздались возгласы: «Аккулы едет! Аккулы едет!»

Тиняли при этой вести быстро ссадил меня на землю и помчался навстречу атаману. Всадники без команды приняли какой-то торжественный порядок, как солдаты, ожидающие вне строя своего грозного, но любимого командира. Имя Аккулы было волшебной силой, пресекавшей малейшую развязность. Каждый начал приводить себя в порядок.

Аккулы ехал крупным шагом на поджаром сухоголовом и короткогривом сером коне, на своем «сером горном козле», как называли у нас его коня. Его сопровождали старший сын Асылбай, тридцатилетний крупный мужчина, и мой крестный Тиняли. Когда Аккулы приблизился, толпа расступилась, давая ему дорогу. Все приняли почтительные позы, но он не удостоил никого даже взглядом своих серых глаз. Лоб его был туго перетянут белым платком, рукава бешмета засучены, обнажая загорелые жилистые руки. Длинная редкая борода закрывала его грудь. Он был туго подпоясан старомодным кожаным поясом. Сидел Аккулы в седле свободно и глубоко, чуть подав непринужденно корпус вперед. Ноги его, обутые в бескаблучные сапоги, держались в серебряных стременах свободно, и казалось, что это собранные крылья

его коня. Он прямо проехал к моему отцу, стоявшему в середине аула, в окружении гостей. Аккулы легким движением кисти руки осадил конь. Разгоряченный бегом, по инерции устремленный еще вперед, конь с навостренными ушами, большими черными глазами и чуть раздувающимися ноздрями застыл. Казалось, что серый конь в наборной серебряной сбруе и седой Аккулы были чем-то единым, слитым, напоминая неподвижно застывшую скульптуру.

— Будь в теле, Момыш! — приветствовал Аккулы своего сверстника.

— Да будь в живых, Аккулы!—ответил ему отец.

После поздравлений с началом тоя Аккулы попросил извинить, что заставил себя ждать. Потом, повернувшись к конной толпе и взмахнув в ее сторону сложенной вдвое камчой, он пренебрежительно произнес:

— Этой бестолочи пусть в самую жару, но только давай кокпар... Знают только одно — гонять по полю, скачут без толку друг за другом... Никаких правил, только загонять коней мастера. Хлещут бедное животное плеткой, колотят в бока ногами, поводья дергают. Да от такой езды не только лошадь, даже слон свалится! Нет благородного уважения к коню, потому и не понимают и знать не хотят, как обходиться с этим нежным существом, более хрупким, чем девушка!

Аккулы сердито посмотрел в сторону молодежи и поучительным тоном добавил:

— Нет того, чтобы коня в теле без лишнего жира держать, лишний пот согнать, во время скачки прислушиваться к его дыханию и цокоту копыт, управлять конем и самим собой: то придержать, то облегчить, приподняться чуточку при прыжке, поддержать легонько при повороте... Сидят, словно набитые мешки, несутся как угорелые, коня калечат и сами падают. Хороший наездник коню — его крылья, не тяжелый груз. Бывало, почую — участилось дыхание коня, сам не дышу, а ему вздохнуть дам; копытце не так стучит по святой земле — приподниму, поддержу... А они только о прыти думают... Нет, Момыш, нынче не та молодежь пошла, им только на быках да на иша-

ках ездить, а не на добрых карабаирах... А седла! Седла-то какие у них, ты только посмотри!

Тиняли сделал умоляющий жест, прося моего отца прекратить старческую болтовню славного наездника, и отец прервал длинную речь Аккулы, своего приятеля и одногодка, сказав:

— Ну что ж, Аккулы, новое время — новые люди. Заман[1] по праву принадлежит им, пусть веселятся и резвятся, как умеют. Научатся, у них все впереди...

Аккулы хотел еще что-то сказать, но тут, по знаку Тиняли, дядя внезапным возгласом: «Ла аумын. Ака!» — в позе просителя баты — благословения — обратил его внимание на темно-серого козла, предназначенного для кокпара, которого он удерживал между ногами.

Аккулы, сложив ладони и погладив бороду, произнес:

— Во имя всевышнего.

Дядя тут же проворно свалил козла, прижал его коленом и ножом отсек ему голову.

— Ты сегодня попридержи себя, Аккулы, дай молодежи позабавиться! — сказал отец.

— Сила отца не признает,— гордо ответил Аккулы.— Схватится, вцепится, сам не может вырвать добычи и другому не дает! А нет того, чтобы ловко, с рывка,— он показал руками этот рывок,— этаким способом,— его корпус плавно и грациозно наклонился в сторону воображаемой добычи.— Упираясь на сильный хребет коня, придерживая его вот так,— он показал, его носок чуть подался внутрь, в правое стремя.— Из десятка рук вырвать коз и, как острием клинка, рассечь толпу и вылететь пулей из окружения...

Дядино «Готово, Ака!» опять оборвало затянувшуюся болтовню Аккулы. Увидев подготовленного для кокпара козла, он забыл окончить недосказанную мысль, весь изменился и, как одержимый, покрикивая на дядю: «Чего ты медлишь, Момынкул? Давай живей!» — сорвался с места.

Дядя, волоча по земле тушу козла, побежал рядом

---

[1] Заман — эпоха.

с конем Аккулы. Всадники зашумели, оживились, тронули своих коней, некоторые из них про себя упрекали самолюбивого старика, однако, старались, чтобы Аккулы услышал их льстивые комплименты. Женщины высыпали из юрт посмотреть на начало кокпара.

Всадники отъехали от аула метров двести, встали широким полукругом, не загораживая сторону, обращенную к аулу. Дядя отбежал от Аккулы шагов на десять-пятнадцать и, высоко подняв тушу над головой, швырнул ее в сторону Аккулы. Тот, сжавшись со своим конем в один комок, стремительно бросился вперед, навстречу еще летевшей по воздуху туше козла и на лету поймал ее. Толпа одобрительно загудела...

Аккулы носился по кругу, искусно ведя коня галопом, изображал мнимую погоню за собою: перебрасывал козла с одной стороны на другую, увертывался от настигшего его опасного противника, который вот-вот вырвет у него добычу, валился на бок и вдруг вставал на стремена, рывком выхватывал добычу и ловким крутым поворотом уходил от преследовавшего его воображаемого соперника.

Толпа восхищалась искусством старика. В воздухе стоял гул голосов, а Аккулы продолжал показывать свое мастерство наездника, резко осаживая коня, и настигавшие его противники по инерции пролетали мимо. В тот же миг Аккулы круто поворачивал коня и стремительно уходил от воображаемый погони.

Мастерство наездника пленило не только мой детский ум, но и вызвало восторг, искреннюю похвалу и гордость за лихого старика у моего дяди Момынкула, который, стоял рядом со мной, топал ногами, взмахивал руками, издавал бессмысленные возгласы. Отец посматривал сердито на своего брата и только качал головой. Дядя весь жил искусной ездой Аккулы.

Аккулы сделал еще один круг, потом подъехал к центру полукруга всадников, возгласами восторга встретивших его, поднялся на стременах и, взмахнув над головой тушей козленка, с легкостью бросил ее вверх.

Всадники ринулись к этому месту, а Аккулы и след простыл. Началась кокпаровская кутерьма. Конная масса, то копошилась в одном конце поля, то трогалась с

места плотными рядами, то снова задерживалась, как на ледоходе во время распутья.

Аккулы подъехал к нам, с ловкостью циркача спрыгнул с коня на ходу и, подходя к отцу, сказал:

— Вот видишь, Момыш, послушай, как я дышу и как мой Кок-шолак дышит?

Действительно, они были только немного возбуждены и дышали легко и ровно. У Кок-шолака было горячее тело, но он не был потным. Когда его подвели к нам, он своими раздувшимися ноздрями начал нас обнюхивать. Аккулы похлопал его по шее, погладил по морде, разговаривая с ним, как с человеком.

— Погоди немножко, мы с тобой еще с этим кокпаром этим неуклюжим кислякам покажем, как надо одолевать бестолковых, рассеивая их по полю, словно зерна по вспаханной земле...

Кок-шолак отошел в сторону и начал переступать медленным шагом, словно его вел в поводу хозяин.

Дядя, смотревший восхищенными глазами на Аккулы, начал восторгаться говоря, что он — пир, духовный наставник джигитов, что его Кок-шолак—Долдоль Алишера, что над челом Аккулы духи легендарных Кырыкшылтенов. Это, видимо, подлило масла в огонь. Старого Аккулы, фанатика кокпара, задело равнодушное молчание отца, его самолюбие не могло с этими примириться.

Аккулы презрительно посмотрел на конную толпу и окликнул несущегося наперерез толпе молодого наездника. Тот незамедлительно повернул коня и перед самым носом Аккулы, в двух шагах, осадил доброго гнедого жеребца. Мы невольно отшатнулись, а Аккулы не тронулся с места. Разгоряченный конь взвился на дыбы.

— За ноги кокпара держался? — строго спросил Аккулы юношу.

Запыхавшийся от быстрой езды, растерянный юноша искренне ответил:

— Я только что... еще нет.

— Аккулы процедил:

— У самого сердце вот-вот выскочит, а конь весь в мыле. Пока ты добычи коснешься, вы оба ноги протяне-

те, а потом вас вместо козла можно будет драть!— крикнул он на юношу. Тот растерянно улыбался. Аккулы гневно скомандовал: «Езжай!», и юноша покорно повернул коня и поскакал.

— От неуклюжего верблюда никогда еще не рождался резвый тулпар! — бросил он вслед юноше, намекая на рыхлость его отца.

Дядя не мог удержаться от выражения восторга, бессмысленным возгласом: «Уаеа!» Отец снова строго посмотрел на своего брата, не сводившего глаз с Аккулы и начал убеждать старика в несправедливости его отношения к юноше, на что Аккулы ответил надменно:

— Вот ты сколько ни старался, а не научился с кораном так свободно обращаться, как я с конем. Он, видимо, сводил какие-то счеты с отцом за обиду в ранней юности, когда его колотил мулла за неуспеваемость. — Я не глупый мулла! «Не умеешь ездить — слезай с коня, не мучай животное»,— говорю я прямо. У меня две крайности: познай до конца и живи этим, или совсем не знай! Вот тебе и справедливость!

Отец засмеялся и сказал, что Аккулы рано поседел, а сейчас он переживает во второй раз свой юношеский возраст.

— Да, ребенком, юнцом хочу умереть! — отбрил Аккулы.

...Солнце садилось.

Кокпар продолжался, и всадники то удалялись, то приближались к аулу. Сухая земля взлетала из-под копыт коней. Сотни скачущих коней оставляли длинный хвост серой пыли.

Вот закружилась, завертелась на одном месте конная толпа, рывком тронулась из круга. Из толпы вырывались отдельные всадники, потом следующие, они, устремившись вперед, опережали оторвавшихся, задерживали их, сливались с ними, и снова возникал конный круг, вертелся и кружился громадным темным волчком на одном месте. Вдруг из толпы, рассекая ее, вырвался всадник, держа кокпар под путалищем.

— Вот так сила руки, вот так силища! — восторгался Аккулы.

Я думал, что старик полон самомнения и не спосо-

бен кого-нибудь хвалить, ведь для него все были «набитыми мешками», а не всадниками. А его справедливость — возглас, непосредственно вырвавшийся в силу спортивной страсти,— меня немного удивил, и с этого момента что-то изменилось в моем отношении к Аккулы, и моя обида за отца, которого он «отбил» быстро прошла. Всадник, вырвавшийся из толпы, носился по полю, восхищая всех своей удалью. За ним неотступно гнались наездники, иногда настигая его... Но как только самый передовой из преследователей приближался, всадник ловко поворачивал и уходил в сторону. Казалось, он дразнит толпу скачущих.

Все это время Аккулы был в движении. Из его уст я сотню раз слышал одобрительные возгласы: «Молодчина!»

Всадник еще раз повел толпу за собою по кругу, сделав несколько зигзагов из стороны в сторону, окончательно рассеял преследователей по всему полю и, оглянувшись по сторонам, помчался, направив своего коня прямо к нам. Мгновение — и вот он перед нами. На полном скаку, подняв над головой кокпар, он швырнул его в сторону Аккулы:

— Вот вам, Ака!

Тут я узнал по голосу дядю. Он был черный от пыли. Потный конь «торы ат» — гнедой мерин сделался вороным. Гнавшиеся за дядей всадники чуть было не наехали на нас, пеших, промчавшись так близко, что я в страхе прижался к отцу, закрыв глаза. Когда я открыл глаза, мы стояли, окутанные густым облаком серой пыли. Гул удалялся, все затихли, отчетливо стал слышаться людской говор. Когда пыль рассеялась, я увидел Аккулы, который держал избитое, грязное, растерзанное тело бедного серого козла, несколько часов тому назад мирно щипавшего на лужайке траву и с громким жалобным «ме-а-а!» потрясавшего своей длинной бородой и торчавшими на макушке загнутыми назад рогами.

Всадники рысью подъезжали со всех сторон.

Аккулы им дал знать: кокпар закончен!

Усталые и разочарованные, они неохотно разъезжались шагом.

...Сумерки. Пыль от кокпара давно уже осела, серой пудрой покрыв траву и юрты нашего аула. Вечерняя прохлада опустилась на жаркую землю.

У юрт невесты и жениха боковые кошмы, поднятые вверх по кругу и свернутые валиками, как толстые скатки, были прикреплены к самой вершине. Сквозь сетку хорошо была видна внутренность юрт.

Убианна, одетая во все праздничное,сидела посреди своей юрты в окружении девушек — подруг и гостей.

Аюбая в его юрте окружили сопровождавшие его джигиты и прибывшие на кокпар сородичи-байтанынцы.

Народу собралось много. Посредине аула группа мужчин о чем-то спорила. Я подошел к ним. Оказалось, байтанынцы и наши усеновцы оспаривали право начинать той. Каждый приводил свои доводы, но никто не хотел уступать. Наконец кто-то предложил бросить жребий, на что и согласились стороны.

Тиняли, прикрыв траву подолом бешмета, вырвал ее и начал «обрабатывать» в рукаве, никому не показывая что это за трава и что он с ней делает. То же самое сделал представилель Байтаны—Онал. Дядя снял шапку и, держа ее верхом вниз, подошел к сборищу. Мужчины, прикрыв концом рукава свои руки, бросили в шапку траву. Тогда хозяин шапки, прикрыв ее подолом своего бешмета, помешал рукой, несколько раз потряс шапкой, и увидев меня, стоящего среди взрослых, подозвал к себе и предложил вытащить с закрытыми глазами одну травинку. Я закрыл глаза, сунул руку в шапку, ощупью разыскал стебелек и вытащил его. Все присутствующие, как на всякой жеребьевке, затаив дыхание, ожидали результата. Высоко подняв перекрученный в двух местах зеленый стебелек осоки, хозяин шапки спросил:

— Чья это?

— Моя!— с радостью откликнулся Онал из рода Байтаны.

Толпа загудела. Онал, сопровождаемый всеми, направился к юрте невесты и, сев напротив Убианны, открыл той.

Обращаясь к Убианне, Онал запел о том, что он бе-

лый ястреб, который год тому назад услышал о предстоящем тое красавицы Убианны. Эта весть не давала ему ни покоя, ни сна, и он шесть месяцев тому назад тронулся в путь и, пролетев через просторы бескрайних степей и синеву морей, пересек хребты высоких гор и все несся на своих крыльях, чтобы во время поспеть к этому тою...

Мужчины, женщины и девушки, облепившие юрту плотной толпою, смеялись над воображением Онала, превратившего пятикилометровое расстояние между нашими аулами в шестимесячный путь для быстролетной птицы.

Убианна поблагодарила Онала за внимание, честь и пропела ему в ответ, что она тронута этим поступком благородного ястреба, и в свою очередь спросила благополучно ли он пролетел такое далекое расстояние, не устали ли его крылья, целы ли его когти,— словом, выражала традиционное «добро пожаловать».

Онал в ответ затянул: все в порядке. На пути его встречались враги, но он взмахами своих мощных крыльев, ударами своих сильных сжатых кулаков, острием своих восьми пик побеждал всех. И тут, в ауле красавицы, он увидел врага (тонкий намек на своего спорщика Тиняли), но и его победил в жестоких сражениях. Теперь враг валяется где-то невдалеке отсюда сбитый им наземь, и бьется, запутавшись крыльями в траве...

Толпа снова загудела от восторга.

Далее Онал воспевал красоту Убианны, выражая свое удовлетворение, восхищался ее речами и гостеприимством, говорил, что он видит перед собою играющую перламутровыми отсветами перьев райскую птицу, что столь дальний путь его даром не пропал и один взгляд ее очей и сладкий звук ее голоса — полное ему вознаграждение за все страдания, которые он перенес в пути...

Убианна снова благодарила его, просила быть почетным и желанным гостем и осчастливить своим присутствием день крутого поворота в ее жизни, который она собирается совершить по заветам предков. Она подарила Оналу шелковый платок и завернула в него несколько колец и браслет. Но пока платок пере-

давался в руки Онала, кольца были разделены между присутствующими.

Онал важно вытер лицо полученным платком и песенно открыл той, призывая присутствующих весело его провести, вознаградить друг друга приятными словами, шутками, звучными песнями. Когда он, размахивая платком, кончил куплет и встал со своего места, все закричали: «Той начался, той начался!»

Откуда ни возьмись на голову посыпались баурсаки и урюк, их на лету хватал каждый и тут же отправлял себе в рот, говоря: «Тояныш» (с торжественного стола).

Оказывается этот традиционный дождь из баурсаков и урюка означал своего рода первый торжественный тост, их рассыпали расставленные среди толпы мужчины и женщины нашего аула.

Той начался! Началось угощение, состязания в песнях. До поздней ночи во всех юртах звучала песня. Все шутили и веселились. Юрты виновников торжества были в центре внимания. В эту ночь нас, малышей, не отгоняли, как в прошлую. Мы бегали свободно по новому аулу, ныряя из одной юрты в другую, путаясь под ногами и мешая взрослым, но нас по-старому не удостаивали намеком на внимание... Это невнимание несколько ущемило наше самолюбие, но мы были довольны и тем, что никто нам не говорил оскорбительное: «Идите! Нечего вам тут делать!» Состязание певцов постепенно затихло лишь перед самым рассветом.

Я был разбужен Алиманной в десятом часу утра. В ауле снова было много народу. Началась борьба силачей. Народ стоял и сидел, образуя большой полукруг. Борцы выходили на арену, схватывали друг друга за пояса, сгибались и, упершись плечом в плечо, ходили по кругу широко расставленными ногами, выбирая удобный момент, чтобы свалить партнера. Вдруг один из них сжал бока противнику, а потом оторвал его от земли, поднял и завертелся по кругу. Он наклонял корпус, чтобы сбросить поднятого на воздух противника, но тот ловко успевал встать на ноги и не давал свалить себя на земю. И борцы снова, схватившись за пояса, ходили по кругу широко расставленными ногами. Наконец, одному из них удавалось одержать победу, и толпа

гудела, болельщики спорили между собой, а победитель получал приз — одежду или платок, деньги или скот.

Следом выходила новая пара борцов. Состязание завершилось борьбой десяти-двенадцатилетних мальчуганов. Они во всем старались подражать старшим, но мало что у них выходило по-настоящему. Борющиеся мальчуганы походили скорей на дерущихся маленьких петушков и смешили всех. Победившему мальчику тоже полагался приз—расшитая тюбетейка или лисья шапочка.

Солнцепек заставил людей укрыться в тени юрт... Снова, как вчера, наступила скучная пора ожидания, пока солнце не сойдет с зенита, и косые лучи его не смягчат жара земли...

После обеда происходили конные скачки. Назначалось три приза — конь, корова и теленок... В байге-скачках принимали участие до тридцати лошадей, кунанов, то есть, трехлеток,— по обычаю тоев коней старше трех лет не выпускали. Победители получали свои призы, после чего снова начиналось козлодрание — кокпар, как и вчера.

Вечер и ночь прошли в айтысах.

На другой день утром из юрты невесты донесся плач Убианны, взволновавший мое сердце. Это женщины снимали с нее девичьи одеяния и переодевали в женское белое платье, вместо розового девичьего, которое она носила.

Убианна песенно тянула свой плач по девичьей свободе.

В новом одеянии вышла она из своей юрты. Женщины поддерживали ее, приговаривая:

— Путь, протоптанный предками, дорогая! Ничего не поделаешь, девичье одеяние не вечно носится...

Уже начали разбирать ее юрту, а джигиты подвели коня для Убианны и верблюдов для приданого.

Отец, издали молча смотревший на эту картину, прослезился, а Убианнна все выла и выла тонким голосом. Мы с Алиманной стояли рядом с отцом. Я еле сдерживал слезы.

Но вот уже все погружено, подведены оседланные кони. Убианна затянула на еще более высоких нотах

свой плач, аульные по очереди подходили к ней, обнимали ее, причитали, скороговоркой шептали свои лучшие пожелания.

Отец подошел последним, обнял дочь, сказал ей ласковые слова дрожащим от волнения голосом и, скрывая слезы, отошел в сторону.

Убианну схватили двое джигитов из семи сопровождающих Аюбая, посадили на подведенного коня и, придерживая с двух сторон ее, качающуюся на седле, тронули коня с места.

Алиманна, увидев, что увозят сестру, заплакала. Какая-то женщина набросила на голову Убианны большую шелковую шаль. На вороном коне белым шатром покачивалась фигура невесты.

Бабушка, я и не перестававшая изливать свое горе Убианна в сопровождении семи аюбаевских джигитов, которые вели в поводу двух верблюдов, нагруженных приданым, тронулись в путь на новое место Убианны, в аул Аюбая.

Через два-три километра пути Убианна перестала плакать.

Мы проезжали мимо одного аула. Увидев издали свадебный поезд, на дороге нас уже встречали группы женщин и девушек. Они предложили нам принесенный в бурдюках кумыс, и пока все утоляли жажду, они осматривали Убианну и справлялись о приданом.

Когда мы подъезжали к аулу жениха, несколько десятков девушек и женщин вышло навстречу. Убианна сошла со своего коня. Сопровождавшие джигиты и мы с бабушкой отделились от окружавшей невесту толпы женщин и поехали прямо в аул, где нас поджидало мужское население во главе с высоким черным старцем в бараньей шапке и халате из верблюжьей шерсти, накинутом на плечи. Дед был немного согнут временем и опирался на палку. У ноздрей усы были выщипаны, у губ подстрижены, а подбородок был окаймлен редкой белизны, чистой как снег, длинной бородой, которую старик постоянно поглаживал большими жилистыми руками. Когда аксакал говорил, его борода по-старчески тряслась, но пожелтевшие крупные зубы напоминали о том, что у деда «стены во рту еще целы»...

Контраст между чернотой кожи и белизной бороды был разительный. Все звали старика «ата». Он оказался отцом Аюбая — Майлибаем, о котором я еще раньше слышал.

Нас ввели в большую юрту. Майлибай и бабушка сели на почетное место. Меня посадили по левую сторону от бабушки. Остальные родственники сели по старшинству... Все притихли, Майлибай хрипловатым басом обратился к бабушке с приветственными словами. Когда он заговорил, мне показалось, что в его горле булькает саба[1] с кумысом. Бабушка в свою очередь отвечала ему положенными приветственными словами. Потом старик представил своих сыновей: старшего, уже с проседью в бороде, второго, с очень редкой черной бородой. Третий и четвертый были помоложе, но тоже с бородами. Затем он представил по очереди своих родичей. Пили кумыс. Все время говорили дед Майлибай и бабушка, а остальные слушали в почтительных позах.

—Ата!— обратился его предпоследний сын,— говорят, все готово. Старик дал знак выходить из юрты. Он поднимался тяжело. Мы все вышли наружу. Невдалеке от большой юрты была установлена юрта, привезенная нами. Они вошли в отау, как теперь называлась юрта Убианны, и, осмотрев убранство, вышли обратно. Старик выразил бабушке благодарность за «уютное и разукрашенное гнездо» молодых, выражая этим свое удовлетворение приданым. Поминал он также имя моего отца и передавал ему благодарность за то, что он «в такое время» осчастливил его старость, предоставив его глазам, как яйцо, отау с «красным жасау». Бородатые сыновья поддакивали старику и хорошо говорили о моем отце.

Убианна, до этого сидевшая в окружении девушек и женщин, встретивших ее в лощине на окраине аула, после осмотра отау была приведена в свою юрту... Когда мы вернулись в большую юрту, мужчины в ней больше не появлялись, а стали приходить пожилые

---

[1] Саба — большой кожаный мешок (бурдюк) для квашения кумыса.

женщины. Майлибай каждую из них представлял бабушке, объясняя, кем она приходится ему. Все приветствовали бабушку.

— Ну, кара-джигит!— обратилась бойкая старуха к Майлибаю, называя его так по старой памяти, когда он еще был юным.— Младшего сына женишь — последнюю, быть может, в своей жизни радость переживаешь. Не жалей ничего, наполняй котлы, разливай жир с молоком!

— Да, женеше[1], у нас с тобой это, наверное, последнее, что видим...— со старческой грустью ответил Майлибай.

— Нет, нет! Ты один можешь отправиться туда пока, а я еще несколько таких свадеб хочу посмотреть, —шутя зачастила старуха.

— Пять сыновей да двенадцать внуков! — подхватила вторая старуха.— Конечно, тебе идти первым, а то говорят, твой отец и мать давно тебя поджидают там и скучают по тебе.

— Слава аллаху! — отвечал Майлибай.— Слава аллаху! Он меня не обидел. То, что положено прожить,— прожил, то, что надо было поесть,— поел, но дайте мне еще от дочери Момыша хотя бы одного внука поцеловать,— просил он у старух, как будто его смерть зависела от них.

— Ладно! Уж так и быть,— сказала первая старуха,— живи, целуй не одного, а еще трех внуков от младшей снохи! — Она говорила так, как будто бы от нее зависело решение вопроса о дне кончины.

Когда Отечественная война перешла уже за третий год, я часто слышал на фронте среди бывалых солдат шутки, похожие на эти.

— Хоть бы тебя, черта, первым убило!— обращался гвардеец к земляку.

— Ну что же, ты и хоронить будешь! — отвечал тот на шутку шуткой.

---

[1] Женеше — уважительное обращение к жене старшего брата.

— Дай табачку на папироску, а то не похороню!

Тот, отсыпая табак из кисета, просил:

— Дай до Берлина дойти, хоть посмотреть на это дьяволово логово!

На что, заворачивая самокрутку из газетного обрывка, собеседник отвечал, небрежно махнув рукой:

— Ладно! Так и быть, разрешаю...

Когда смерть близка и становится обычной по условиям времени, обстоятельств и возрасту, человеку, видимо, доставляет какое-то внутреннее удовлетворение шутить над нею. И это хорошо, что он смеется над смертью!..

Юрта Майлибая была восьмиканатная. Почерневшие от времени деревянный остов и кошмы, оборванные веревки и потрепанные ленты говорили о том, что эта юрта служит жилищем далеко не первый год, а заплаты, грубо нашитые на кошмы, свидетельствовали о том, что хозяйка ее не очень-то искусно владеет большой иглой. Как все старые юрты, и эта особых украшений не имела, а те, что были при ее сооружении, поблекли от времени, и только слабо различимые узоры напоминали о былой красоте...

Юрта была просторной и вмещала много народу. Под вечер она уже была переполнена. Кто помоложе — стоял, а старшие важно сидели по старшинству на расстеленных кошмах.

Во дворе была суета не меньшая, чем в нашем ауле, когда мы готовились к приему гостей. Варилось в котлах мясо, кипела в самоварах вода. Все готовились к церемонии «открытия лица невесты» и венчанию новобрачных.

Рядом с Майлибаем, между ним и бабушкой восседал рыжебородый, в белой чалме ходжи[1] с накрашенными сурьмой ресницами. К нему обращались не иначе, как «таксыр»[2]. Он называл всех мужчин «муртым»[3]. Я смотрел на его подстриженные рыжие усы

---

[1] Ходжа — духовное лицо, мнимый потомок Магомета.

[2] Таксыр — господин.

[3] Муртым — буквально: «усы мои», искаженное от арабского мурид (прихожанин).

и не понимал, почему все мужчины — его усы... Оказывается, он был пиром — духовным наставником, а все прихожане его мечети, куда ходили спасать душу,— поддуховными.

Но вот в юрту вошел среднего роста плотный мужчина лет сорока, с густой черной бородой на расплывшемся добром лице. Звали его Утеп. Появление Утепа вызвало общее оживление. Он широкой улыбкой приветствовал всех. Его посадили отдельно, на большую подушку, впереди всех. Широкая спина Утепа загородила от меня все происходящее, и я вынужден был встать, чтобы, опираясь на плечо бабушки, видеть происходящее в юрте.

Одна из женщин внесла сковороду, наполненную горящими углями, и поставила перед Утепом. Утеп, засучив рукава, сделал движение над сковородой, как будто согревая на огне руки. Потом он протянул правую руку в сторону, и ему вручили длинную палку, толщиной пальца в два, которой обычно раскатывают тесто для бесбармака.

По знаку Утепа открылась дверь, и две молодые женщины ввели покрытую белой шелковой шалью Убианну. Сопровождавшие ее женщины сделали поклоны во все стороны.

— Шагните вперед, милая сноха. Вы вошли в юрту свекра! — сказала одна из старух, нарушая торжественное молчание.

Убианна сделала два шага и встала перед Утепом. Их разделяла сковорода, угли на которой подернулись серым пеплом.

— Э-э-э-эй! — начал запев Утеп, размахивая своей палкой и требуя внимания гостей.

Сноха пришла, приходите!
За то, что увидите, подарок мне дадите.
После принесенного мне подарка
Вы снохи прекрасное лицо увидите...

— Дадим! Дадим! — раздались возгласы.

— Ты скорей показывай ее!..

Утеп отвечал стихами, что он словам не верит и, пока не посеребрят его руки, не прочистят ему горло

маслом, он не откроет лица прекрасной невесты...

Майлибай бросил к ногам Утепа несколько серебряных полтинников. Женщина поставила перед ним пиалу, наполненную желтым растопленным жиром. Другие в свою очередь бросали монеты: кто гривенник, кто двугривенный, и на кошме перед Утепом выростала горка серебряных монет.

Но Утеп пел, что этого ему еще мало, требовал больше, что пока перед ним не вырастет серебряная копна в рост снохи, он не откроет ее лица. Гости выражали деланный гнев, а Утеп пугал их, распевая, что вот улетит райская птица счастья, по его же волшебному жесту вспорхнет и улетит через отверстие шанрака.

Тогда все разыгрывали испуг, уговаривали его не делать этого и снова бросали монеты. Утеп опять указывал на разницу между кучкой лежавших монет и ростом Убианны.

И опять женщины бросали кольца, браслеты, серебряные или перламутровые пуговицы. Одна, видимо. по ошибке, бросила черную пуговицу. Утеп рассердился и отшвырнул ее в сторону. Присутствующие выразили свое негодование неряхе, и бедная женщина, чтобы смыть с себя позор и смягчить ошибку, сгорая от стыда, попросила у всех прощенья и взамен злосчастной черной пуговицы, сняв с руки два массивных серебряных браслета, бросила их в общую кучу. Этот жест убедил общество в ее искренности, и она была прощена.

Раздавался запев Утепа. Он начинал петь об Убианне, о нашем роде в хвалебном, эпическом тоне, рассказывал о нашей родословной, хвалил бабушку и представлял ее обществу как орлицу — мать славных орлят, в гнезде которой воспитывалась и росла сноха.

И бабушка под общее одобрение подарила Утепу золотое колечко.

Затем Утеп перешел к достоинствам Убианны: воспевал ее красоту, мягкий характер, доброе сердце, ее искусство в рукоделии, говорил, что скоро этот аул наполнится и приукрасится не только ее красотой, но и художественными изделиями и узорами ее вышивок.

Убианна из-под шали кивком головы благодарила певца.

Вдохновленный Утеп начал еще больше разжигать любопытство присутствующих, описывая стоящую перед ними под шелковым покрывалом сноху, лицо которой светлее луны, с бездонно черными глазами и жемчугом зубов. Он пел о гибкой талии, соперничающей с самым тонким тростником, о белизне тела, не уступающей нежному шелку, и требовал еще добавить ему серебра и золота.

Гости возмущались его ненасытностью, а Утеп заставлял их молчать своими новыми и новыми угрозами. Он распевал их в страстном боевом темпе, дирижируя своей палкой.

— Э-э-э-эй! — снова затягивал Утеп, призывая к вниманию.

> О, сидящий здесь на почетном месте
> Восьмидесятилетний Майлибай...

Он перешел к исполнению песен-скороговорок, распеваемых в стремительном темпе. Запел хвалебную песню о Майлибае и потребовал от Убианны низкого поклона свекру. Убианна покорно склонилась перед стариком. Каждый свой куплет он оканчивал словами: «Такому-то поклон».

Затем Утеп перешел к представлению своих сверстников, из майлибаевской родни, но представлял их уже в комедийном плане. Его эпиграммы на бедных ата, кайнага, абисын[1] имели такой успех, что юрта сотрясалась от громового хохота. Некоторые смеялись до слез. Особенно досталось от Утепа одному из сыновей Майлибая — сорокалетнему Жартыбаю, человеку с бледным лицом, вздернутым носом и жиденькой бороденкой, что, как кисть, торчала пучком на самом кончике подбородка. Утеп, издеваясь, сравнивал его блеклое лицо с пылающей розой на щеках молодой девушки; вздернутый короткий нос с круглыми, как блюдце, ноздрями он именовал орлиным; десяток тонких волосков, торчащих по углам рта, он сравни-

---

[1] Ата, кайнага, абисын — самая близкая родня жениха.

вал с густыми, лихо закрученными усами, доходящими до самых ушей; жиденькую метелочку на подбородке — с атласной густой бородой, покрывающей всю грудь до самого пояса.

Это вызвало новый взрыв смеха. Жартыбай бледнел, краснел и неловко теребил бороду...

Убианна все еще стояла под своим покрывалом, а поддерживающие ее две молодые женщины едва сдерживали приступы смеха.

Наконец Утеп произнес:

— И Жартыбаю один поклон.

Убианна поклонилась, а у бедного Жартыбая из груди вырвался облегченный вздох, отчего все снова засмеялись.

Утеп спокойно и с достоинством приступил к новой песне, в которой давал Убианне наставления, как обращаться с мужем, с людьми, как вести себя на новом месте, что следует молодухе делать и чего следует избегать, давал советы, учил ее...

Потом Утеп приподнял «жезлом» конец покрывала и сбросил его с головы Убианны наземь...

Народ зашумел, впился глазами в невесту.

Смущенная Убианна вылила на сковороду поданное Утепом масло из чаши. Оно зашипело, создавая «дымовую завесу» вокруг молодой. Люди, задыхаясь от едкого дыма и запаха, кричали: «Благослови!»

Этим древнейшим обычаем, дошедим до нас, по-видимому, со времен огнепоклонников, завершалась церемония «открытия лица невесты».

Утеп собрал все серебро, что было сложено перед ним, поднял белую шаль и вышел из юрты. Часть гостей бросилась за ним следом. Со двора донеслось:

— Мне! Мне!

Видно, певцу-импровизатору пришлось откупаться серебром от своих преследователей.

Майлибай пригласил Убианну занять приготовленное ей место. Она села с краю юрты, по правую сторону, где сидели женщины. Левую сторону юрты занимали мужчины.

Внесли самовар.

Ходжа все время сидел молча, коротко отвечал на

вопросы, обращаясь к говорящему со словами «да, муртым» с чисто узбекским акцентом. Он относился ко всему с равнодушием, ибо на своем веку много раз был свидетелем подобных церемоний...

Когда за беседой чаепитие пришло к концу, у ходжи испросили разрешения начинать венчание.

Принесли деревянную чашку, наполненную чистой водой, и поставили перед Майлибаем. Майлибай, опустив в воду серебряный полтинник, передал чашку ходже. Ходжа накрыл ее белым платком и, зажмурив глаза, прочел молитву, потом подул на чашу с водой. В это время два разодетых джигита ввели в юрту Аюбая. Он сел напротив Убианны на отведенное ему место на другой стороне юрты среди мужчин. Ходжа подозвал сопровождавших Аюбая джигитов и велел спросить имена бракосочетающихся. Джигиты подошли к жениху и невесте и задали им этот вопрос. Вернувшись, они встали перед ходжой и, сложив накрест руки, доложили ему:

— Жених — джигит Аюбай, законный сын от брака Майлибая с Зулихой, двадцати пяти лет от роду, правоверный мусульманин.

— Невеста — девица Убианна, законнорожденная от брака Момыша с Разией, двадцати одного года от роду, правоверная,— доложил второй джигит.

Ходжа спросил джигитов, готовы ли они быть свидетелями бракосочетания «здесь, перед народом, и там, перед богом?», совершили ли они омовение перед приходом сюда, перед тем как выполнить эту высокую обязанность.

Джигиты отвечали утвердительно и поклялись в правдивости своих слов.

Тогда ходжа велел спросить невесту и жениха, совершается ли их брак по доброй воле и согласию сердец.

Джигиты взяли в руки концы данного им белого полотенца и, медленно покачиваясь, пошли в сторону Убианны, читая нараспев:

Свидетели, мы — свидетели,
Мы ходим в свидетелях.

Сегодня перед народом,
На заре перед богом
Мы будем свидетелями.

Расстояние до Убианны они шли такими мелкими шажками, что успели пропеть все свое «свидетельство». Не доходя на шаг, они остановились перед ней и спросили об ее согласии на бракосочетание. Убианна молчала.

С теми же словами они подошли к Аюбаю и спросили его о согласии на брак. И так три раза повторяли те же слова и задавали те же вопросы. Наконец, получив от молодых согласие, они вернулись к ходже и засвидетельствовали, что брак совершается по доброй воле и с согласия сердец, чему они и есть свидетели.

Ходжа прочел молитву, снял с чашки платок и передал чашу с водой джигитам-свидетелям. Те понесли ее к Убианне. Убианна пригубила воду. Потом преподнесли чашу Аюбаю, который тоже отпил глоток. И сами свидетели пригубили воду... Далее чаша пошла по рядам, ее передавали из рук в руки, а монету, лежавшую на дне чаши, взял тот, кому досталась последняя капля воды.

После этого ходжа торжественно объявил, что бракосочетание свершилось.

Майлибай положил перед ходжой пачку денег, которую тот поспешно засунул за пазуху.

Вскоре в юрту внесли блюдо с бесбармаком, и началось угощение.

На следующее утро за чаем и кумысом старик Майлибай благодарил бабушку, просил не осуждать, если вышло что-либо не так, передал моему отцу просьбу удостоить в скором времени его юрту посещением, потому что он стар, чтобы самому совершать далекие поездки.

Бабушке был подарен старомодный парчовый халат, отрез на платье, а мне подарили двухлетнего жеребенка и отделанную серебром камчу.

Затем мы пошли из большой юрты прощаться с Убианной. Бабушка заголосила на весь аул, обняла плачущую внучку. Пожелав Убианне счастья на новом

месте, мы выехали из нового гнезда Убианны. Аюбай провожал нас до самого нашего аула. Он впервые был принят отцом в нашей юрте, заночевал у нас и на следующий день уехал к себе.

* * *

Последующие детали жизни нашей семьи интересны мне самому, когда я их вспоминаю, но во всех подробностях они, пожалуй, будут скучны для читателя. Поэтому я намерен в дальнейшем не придерживаться хронологической последовательности и излагать лишь главное.

Замужество Убианны и расплата с ее первым женихом—Момытом, которому наш отец вернул полученную ранее часть калыма, разорили нас основательно, и до моих зрелых лет наша семья не могла восстановить свое хозяйство. Особенно болезненно эту бедность переживала не слишком скупая на слова наша мачеха. Она укоряла отца, что у нее пищей не наполнен котел, что одеждой не укрыто тело и нет ничего, что удерживало бы ее в этом доме.

Разница в годах между отцом и мачехой была в двадцать пять лет. Отец, услышав слова мачехи, пригласил к нам в аул ее мать и дядю, объявил им, что он желает развестись с мачехой, и предложил на следующий же день увезти ее. Те встревожились. Старуха принесла извинение отцу за непочтительное обхождение с ним ее дочери и обрушилась на нее. Мачеха сидела потупившись, сначала молчала, а потом начала оправдываться, говоря, якобы эти слова она произнесла нечаянно.

Отец сказал, что он оставляет их одних для семейных искренних разговоров, и увел меня с Алиманной в бабушкину юрту.

Вся эта история очень расстроила бабушку. Она гневалась на сноху, вспоминала мою мать, начинала по ней плакать, как будто она умерла только сегодня, упрекала отца за то, что он не избил мачеху, как только та открыла рот, чтобы произнести «плохие слова», и не проучил ее на всю жизнь.

— Ах, почему аллах не призвал меня тогда вместо

кроткой, обходительной Разии! — говорила она, все более и более расстраиваясь.— Каково мне все это слышать и видеть?

— Апа! — строго прервал ее отец.— Языком не касайтесь аллаха!

В ответ бабушка, задыхаясь от гнева, обрушилась на отца:

— Ты что, мать учить собираешься? А! Я тебя научу, как пререкаться со мной! Я тебя выпорю! Я тебя за уши отдеру!

Отец посмеивался.

— Пожалуйста, апа, только вспомните, что мне давным-давно пошел шестой десяток.

А из соседней юрты доносился гневный крик другой старухи — матери нашей мачехи.

Этот семейный скандал закончился на следующий день. Мачеха принесла извинения за свои «нечаянно проroненные слова», а гостья, наказав отцу «бить жену, когда она сидит,— по голове, а когда стоит, — по ноге», отбыла восвояси... Но я не помню, чтобы отец исполнял наказы старухи.

* * *

Я часто посещал Убианну, а Аюбай нередко ездил к нам. Он оставался у нас на день, иногда — на два, помогал пахать, сеять хлеб, убирать, молотить. Своим родным он объяснял: «Шурин еще мал, а тесть — пожилой, я у него за старшего сына, помогать надо».

Через год заболела бабушка. На третий день болезни вызвала к себе отца. Она лежала на спине, дыхание ее было учащенным и тяжелым, щеки раскраснелись, глаза поблескивали. На подушке, сливаясь с белизной наволочки, лежали ее серебристые косы. Под подбородком мешочками висела морщинистая, старческая кожа. Держалась бабушка спокойно, не стонала, не жаловалась, в ее поведении, как мне показалось, была какая-то торжественность...

— Момыш! — обратилась она к сыну.— Пошли гонцов к дочерям моим и внучке, пусть приезжают попрощаться со мной.

— Что вы, что вы, апа! — начал было отец.

— Ты сначала выслушай меня,— властно прервала

его бабушка,— за лекарем посылать не надо. Муллу тоже не приглашай пока, вот когда у вас с Момынтаем будет свободное время, подойдите ко мне и поочередно кладите в мое ухо слова святого корана.— Бабушка немного задумалась.—Серкебая не приглашай, он на всех кричать будет. Но, если он сам приедет, пусть тогда Момынкул его не раздражает...

Отец хотел было что-то сказать...

— Иди, иди, делай, как я говорю,— спокойно и повелительно остановила его бабушка.

Время было зимнее. Мы все ходили на цыпочках. Отец и дядя поочередно дежурили у бабушки. Нас в ее комнату не пускали. Стирали бабушкино белье и платье, объясняя, что старуха требует все чистое, штопали и чинили ее одежду.

Через трое суток все были в сборе: две дочери бабушки и Убианна.

Однажды бабушка потребовала нас всех к себе. Когда мы вошли, она полулежала на постели.

— Ну, дети, мне скоро пора,— и, чуть улыбаясь, сказала:

— Покажите мне мое «приданое» и мое «свадебное платье».

Тут старшая тетка Пияш начала всхлипывать.

— Не плакать! — приказала бабушка.

Сначала отец развернул перед ней отрез белой материи на саван — «свадебное платье», белую тонко скатанную кошму, затем коврик, которым она впоследствии была покрыта, далее — все ее платья и одежду.

После осмотра бабушка подозвала к себе дядю и попросила его вслух почитать строки корана.

Мы очень растревожились, думая, что она сейчас умрет. Дядя, тоже взволнованный, дрожащими руками открыл книгу и начал читать коран.

— Эй, мальчик мой, куда же ты задевал «Во имя аллаха милосердного»? — прервала его бабушка.

— Хвала аллаху, господину вселенной...—сконфузившись, начал читать дядя нараспев традиционный эпиграф корана.

— Хорошо,— сказала бабушка.— Теперь читай.

Дядя прочел краткую главу, а бабушка, лежа, внимательно слушала. Окинув нас взором, она сказала:

— Теперь идите, дети, отдыхать, я сама позову вас еще раз.

Мы ушли в другую комнату. Через некоторое время пришел отец, которого сменил на дежурстве дядя.

Вдруг раздался крик:

— Плохо с апа! Плохо с апа!

Мы все вскочили с постели, разбуженные голосом дяди.

Отец побежал, одеваясь на ходу.

Когда мы с Алиманной перебегали расстояние, отделявшее наш дом от бабушкиного, предутренний рассвет прорезал женский крик, доносившийся из дальней хаты нашего соседа Айнабека.

Мы вошли, держась за руки, и увидели: отец сидит у изголовья бабушки и громко читает коран. Бабушка лежит с закрытыми глазами. Вокруг нее стоят все молча, встревоженные. Дядя хотел что-то сказать дрожащим от слез голосом:

— Апа! Апа!

— Не мешай ей слушать слова корана,— прикрикнул на дядю отец и продолжал чтение...

Бабушка чуть-чуть приоткрыла рот, слегка дернулся ее подбородок, и она застыла навсегда.

Отец произнес:

— Прощай! Прости, мать! — Он закрыл ее лицо белым платком и встал со своего места.

Дядя и тетки мои заплакали.

Вошел Айнабек и выразил соболезнование. Когда все несколько притихли, он сказал:

— Сегодняшним утром аллах призвал одну из нашего аула к себе, а другую прислал к нам!

Из этих слов мы поняли, что его жена родила девочку. Впоследствии ей дали имя бабушки, и девочка считалась ее дочерью. Пришедшие соседи расчистили двор от снега, затем установили юрту, туда вынесли бабушкино тело.

В нашем оседлом районе в зимнее время покойники последние сутки «гостили» в юрте. Не знаю, с чем

связан этот обычай: с желанием ли предков наших — в последний путь отправиться из юрты — любимого жилища кочевника, или с желанием живых — держать тело покойника в холоде. Но как бы то ни было, в нашем районе появление юрты у какой-нибудь зимовки служило сигналом, что в этом ауле кто-то отошел в вечность.

Бабушку положили по правую сторону юрты, и тело ее загородили ширмой из плетеного тонкого тростника. В юрте сидели пришедшие из ближних аулов старухи. Я и дядя, опираясь на палки, стояли около юрты. Отец был занят распоряжениями по подготовке к похоронам.

Со всех концов начали стекаться люди в наш аул, чтобы попрощаться с бабушкой. Они шли из соседнего аула группами и, приблизившись к нашему аулу, бежали с возгласом: «Бабушка моя! Бабушка моя!»

Подходившие к нам делали вид, что они тоже плачут, обнимались с нами, заходили в юрты, обнимались с женщинами, затем выходили оттуда. Плач прекращался, и тогда кто-нибудь из пришедших старших от имени своего аула выражал нам соболезнование и поминал добрым словом бабушку.

Приходила следующая группа, за нею еще, и так до самого вечера. Вечером мы с дядей сошли со своего поста «скорбящих часовых». По обычаю, в доме, в котором покойник, не варится пища, и наши соседи принесли нам еду и чай в своей посуде.

На следующее утро начали прибывать из дальних аулов верховые, чтобы присутствовать на панихиде. Мулла, седой старец, в чалме и белом халате прочел молитву. Старухи обмыли бабушку, одели в саван и, положив на белую кошму, завернули в нее тело. Отец роздал присутствующим «жыртыс» — отрезы материи и деньги. Затем он подозвал нас всех и дал по горсточке серебряных монет.

Отец с дядей пошли в юрту и на своих плечах вынесли «табыт» — покрытые ковром носилки с телом бабушки. Все присутствующие окружили их. Дети бросали горсточки монет на табыт. Люди подхватывали их на лету или просто брали с ковра.

Табыт установили на земле метрах в ста от юрты. Дядя подвел к табыту коня и шылбыр (веревочный чембур) передал в руки муллы. Мулла и все присутствующие отошли от табыта шагов на сорок. Мулла, ведя коня за повод, вернулся шагов на десять и сел на землю. К мулле подошел пожилой киикбаевец Эстеулет и сел напротив него. Мулла прочел молитву и отдал конец шылбыра Эстеулету и, не выпуская из рук шылбыра, начал ему «передавать грехи бабушки».

— Ты, раб божий,— говорил он Эстеулету: — Принимаешь ли на себя грехи покойницы?

Мулла перечислял грехи, виденные глазами, услышанные ушами, произнесенные устами, совершенные в мыслях и телом.

На каждый вопрос Эстеулет отвечал: «Принимаю».

После каждого «принимаю» мулла понемногу отпускал повод из своих рук. Когда же наконец все возможные грехи покойницы были взяты на себя Эстеулетом, мулла напомнил ему, что он обещал замолить у создателя все грехи, когда бы то ни было совершенные покойницей, усердными молитвами и выпустил из рук шылбыр.

Эстеулет встал и увел коня к себе домой.

Мулла подошел к табыту и призвал народ к молитве. Все выстроились и вслед за муллой помолились за упокой души бабушки.

Тогда к табыту подошли отец и дядя и подняли его на плечи. Похоронная процессия двинулась на кладбище. Шли только мужчины, женщины же остались в ауле. Шли молча, смотря вниз, на землю.

Свежевырытая могила на холме была уже готова.

Нынче в городах и в некоторых аулах гроб начал входить в обиход, но наши предки считали великим грехом заколачивать тело покойника в сбитые доски, говоря: «Из земли сотворенный, в землю должен быть возвращен, прах к праху присоединен».

Чтобы убедиться в исправности бабушкиной могилы, отец полез в нее, лег головой на запад, развел руки в стороны, приподнялся, сел, осмотрел ее и вышел. Так как отец мой был маленького роста, щупленький старик, а бабушка была покрупнее его, он

усомнился, видимо, в правильности своей «примерки» и потому дал знак дяде спуститься в могилу. Тот покорно проделал то же самое, что его старший брат, но чувствительный характер дяди не выдержал этой процедуры, и он начал всхлипывать, на что отец рассерженно прикрикнул:

— Теит! Не пачкай землю слезами! Вылезай живо!

Так оба сына сначала сами побывали в бабушкиной «комнате», прежде чем она сама вселилась туда навечно.

Завернутая в белую кошму, на руках своих сыновей бабушка плавно опустилась в свой покой. Развернули кошму, развязали узлы савана у головы и ног, открыли лицо, поправили голову, лежащую на запад. Отверстие ниши заделали кирпичом и начали засыпать «коридор». Каждый из присутствующих бросал землю, произнося прощальные слова и приговаривая: «Иманын жолдас болсын» (да сопутствует тебе добрый дух), «жаткан жерин торка болсын» (да будет твое место, где лежишь, мягким как пух)...

Дядя, рыдая, опустился наземь, и, ухватившись за голову, бормотал: «Ах! Там темно стало!»

— Перестань выть! Встань! — крикнул на него отец.

Дядя приподнялся и, все еще всхлипывая, лопатой стал сыпать землю, произнося положенные прощальные слова.

Вырос надмогильный холмик. Все опустились на колени вокруг могилы. Мулла сел у западного края могилы и прочел молитву. Все сидели молча еще минут пять после того, как мулла кончил молитву. Потом все встали и пошли. Отойдя шагов сорок, все внезапно повернули назад, и, подойдя к могиле, начали громко говорить добрые слова о бабушке: правоверная магометанка, она была честной женщиной, никого не обижала ее добрая душа. Потом отошли снова и более не возвращались.

Считалось, что когда люди отходят на сорок шагов, в это время в могилу входит архангел Жебраил для допроса покойника, и люди возвращаются «на выручку», чтобы в случае, если покойник растерялся и не-

внятно отвечает на вопросы божьего следователя, засвидетельствовать всем миром и убедить Жебраила, что умерший на земле был вполне добропорядочным человеком. Жебраил, поверив живым, прекращает допрос, покидает покойника и улетает, чтобы доложить создателю о том, что прибыла еще одна праведная душа, покинувшая его грешное стадо на лживом месте.

Все вернулись в аул. Женщины встречали нас с плачем. Подали чай, после него бесбармак, приготовленный уже нашим домом. Ели и читали молитвы по бабушке, говоря: «Тие берсін» (да дойдет до нее). В конце «бабушкиного ужина» отец положил перед муллой пачку денег, и от имени всех выразил ему благодарность за отправление молитвы по покойной.

Вещи и украшения бабушки положили в сундук и заперли.

Родня погостила еще три дня в траурной обстановке и разъехалась. Тетки мои и Убианна поплакали на прощанье по бабушке и просили нас не забывать, что объединяющий всех нас узел, каким была бабушка, развязан, и что теперь настала пора укреплять и поддерживать братские и сестринские чувства. В свою очередь наши ответили с должной вежливостью, что память бабушки налагает на нас еще большую ответственность в поддержании дружественных и родственных связей и в их укреплении.

На сороковой день после кончины бабушки был зарезан баран, приглашены все старухи, сидевшие в юрте у бабушкиного тела и обмывавшие его. Им были розданы ее одежда, украшения и вещи.

Каждую пятницу зажигались сальные свечи и читались молитвы.

Хотя казахи в шутку считают, что смерть старух — «торжественный акт», но все же мы кончину бабушки переживали глубоко, и нас всех, начиная от отца и кончая самым младшим в семье — мною, долгое время не покидало чувство осиротелости.

Бабушкина смерть была первой смертью, которую я видел, и ее похороны — первыми похоронами с соблюдением всех казахских церемониалов, в которых я участвовал.

* * *

После смерти бабушки наш дом долго хранил траур. Все грустили, всем чего-то не хватало. Домочадцы хмуро перекидывались между собой словами только по самым неотложным домашним делам. Все были молчаливы, как будто бабушка унесла с собою веселье, споры, драки и галдеж детворы, семейную суету, праздничность обедов и вечеров за ужином. Женщины молча варили пищу, разливали и подавали нам, а мы молча ели свои порции.

Особенно чувствительный дядя ежеминутно печалил нас всех тяжелыми вздохами. Когда дядя ложился прямо на пол и, уставившись неподвижным взглядом на потолок, глубоко вздыхал, отец исподлобья посматривал на него. Мы все, глядя на дядю, сидели в тяжелом молчании.

— Момынтай!— обращался тогда отец к своему брату.— Встань, иди, за скотом посмотри!

Дядя вставал и медленными шагами выходил из дома. На дворе он механически отвязывал лошадей и коров, выпускал баранов и коз. Те устремлялись к ручейку. Затем дядя брал из стога охапку сена и разбрасывал ее за изгородью. Скот бросался к корму, а он сидел на корточках и грустно смотрел на животных.

— Пойдем домой,— приглашал его отец. Дядя вставал и покорно шел за ним.

Нам всем не хватало бабушкиной власти, ее внушительного окрика, повелительных жестов, одобрительного смеха, доброй ласки, жесткой строгости и хороших минут, когда она рассказывала нам сказки, а в морщинах вокруг ее глаз прятались легкие и хитрые усмешки.

Как в бою внезапная потеря командира вносит растерянность в ряды, так и в обыденной жизни, у очага, где все мы родились, росли, воспитывались и привыкли к строго установленному бабушкиному распорядку, произошла заминка, растерянность, и никто из старших пока не осмелился взять на себя роль бабушки и заменить ее. Как-будто мы ждали ее, казалось, вот-вот она вернется, разбудит семью от тяжелого летаргического сна, даст живительный толчок. Но, увы, с

каждым днем мы убеждались, что она ушла от нас навсегда.

Дедовская почерневшая от времени кровать из массивного дерева, с резьбой и облезшими, изъеденными красками, стояла на старом месте в левой стороне комнаты. Она выполнила свой последний долг перед хозяйкой — служила ей смертным одром. Скромная постель бабушки была аккуратно заправлена. По обычаю. занимать кровать никому не полагалось.

По ночам мы больше не слышали ни старческого кряхтения, ни глубокого кашля, ни мирного сопения бабушки, и нас, малышей, никто больше ласково не заманивал.

Через две недели после смерти бабушки были зарезаны два жирных барана, приготовлен бесбармак, наварены баурсаки и приглашен весь наш аул. Старухи, обмывавшие бабушку, сидели на почетном месте, остальные — в порядке старшинства. Были прочитаны молитвы из корана по бабушке, и все пришедшие, пожелав ей «царства небесного», приступили к еде. За едой все молчали, но когда был подан чай, отец встал со своего места и прошел к центру полукруга среди сидевших гостей. Дядя встал рядом с ним. Сложив руки на животе, отец обратился к смуглой, в глубоких морщинах старушке в белом жаулыке, наверченном огромным воздушным пирогом на маленькой головке.

— Почтенная апа,— сказал отец,— вы со своими почтенными товарками,—он с уважением перечислил имена рядом сидевших с нею старух,—оказали нашей любимой матери и нам, вскормленным ее священным молоком, услугу, которую в состоянии оценить один бог...

— Все мы смертны, сын мой! Мы выполнили только свой долг,—прошамкала старуха дрожащим голосом. Ей поддакнули такие же, как и она сама, древние подруги.

— Мы в неоплатном долгу перед вами, апа,—продолжал отец, а дядя, почему-то сутулясь, кивал головой, как бы повторяя слова своего брата. Примите, почтенная апа, от всей души нашу благодарность!

Дядя и отец трижды глубоко поклонились старухам.

—,Принимаем, принимаем,—пробормотала седая женщина в белом жаулыке.— Уважаем вас за то, что вы выполняете перед матерью свой сыновний долг.

— Вы, Момыш и Момынкул, в неоплатном долгу не перед нами,—зычным голосом перебила ее другая, бойкая, старуха,—а перед своей матерью.

— Спасибо вам, дети. Вы хорошо устроили ее похороны,—в свою очередь добавила третья.— Дай бог и нам так окончить свою грешную жизнь, как ваша мать.

— Нет. Они еще недостаточно сделали!—снова прокричала бойкая старуха.— Разве дети могут оправдать хотя бы сотую долю материнского труда, когда она вынашивала их под сердцем, выхаживала их, каждую ночь разделяя свой сон на четыре. Нет, вы такими не родились, это мать поставила вас на ноги,—закончила она.

— Ну да, ну да, вы правы, апа,— ответил отец, а дядя, расчувствовавшись, начал всхлипывать.

Домочадцы принесли бабушкины вещи и горой положили перед старейшей. Тогда та, что-то нашептывая беззубым ртом, начала раздавать вещи старухам. Когда вещи были розданы и остались только украшения, старуха сделала паузу, осмотрелась и, сказав несколько слов, раздала их более молодым женщинам: одной серьги, другой кольцо, остальным браслеты, коралловые бусы, говоря: «Носи на память».

Когда все разошлись, двое мужчин вынесли из дома бабушкину кровать и поставили на крышу дома, где ее долго прожигало солнце и обвевал ветер.

После этого в доме не осталось ничего из вещей, что напоминало бы нам о бабушке.

«Вы в неоплатном долгу перед матерью»...— эти слова бойкой старухи глубоко врезались в мою память. Я понял, сколь многим — жизнью и существованием своим — мы были обязаны бабушке. Особенно это подчеркивалось неутешным горем дяди, который больше всех нас был потрясен смертью бабушки. Ведь бабушка при жизни больше всего покрикивала именно на своего младшего сына, и мне стало стыдно за себя, что я ее смерть переживаю не столь сильно, как дядя.

И я стал ходить следом за дядей, с детской иск-

реиностью подражая ему во всем, тем самым желая исправить свою ошибку, свой проступок, допущенный в отношении памяти бабушки. Я знал наизусть несколько молитв, которым научил меня отец, и, ложась спать, произносил их про себя, в душе посвящая их бабушке.

Через несколько дней отец, видимо, освободился от дел и хлопот, связанных с ее смертью. Все реже стали посещать наш дом соболезнующие нам, которые, не здороваясь, входили и без приглашения садились на почетное место, шептали слова молитвы, выражали сочувствие нашему горю: «Такова судьба человеческая!» «Да произрастают ее ветви!» «Благоденствуйте, живущие!»

Обычно гостя поили чаем, и отец или дядя провожали его, помогая ему влезать на коня.

Обычай запрещал появление кого-либо из членов нашей семьи в общественном месте, чтобы избежать встреч со знакомыми, еще не побывавшими у нас, не выполнившими долга выражения соболезнования.

«Только недавно похоронили родного человека, а уже разъезжают!»—так осуждали в народе тех, кому не терпелось сбросить траур.

«Ты до сих пор не посетил дом, который навсегда покинул человек, оставив в горе своих ближних»,—укорял народ тех, кто запаздывал с выражением соболезнования .

Мы стали домоседами, а люди, оказавшиеся поблизости от аула, спешили в наш дом, чтобы выполнить свой долг.

Выражение соболезнований по умершему делится на две категории:«Қоніл айту» (успокоительные слова говорить) распространяется на всех знакомых и близких покойника. Те из знакомых, которые не были на похоронах, выражают свое сочувствие, заехав в аул или при случайных встречах на базарах. Каждый вошедший в дом впервые после похорон свой визит начинает с чтения молитвы, выражения соболезнования и не разрешает себе никаких деловых разговоров или веселья. Дело, если оно имеется, откладывается до следующей встречи. Второй вид: «Бата оку» — чтение

молитвы по покойнику. Эта форма выражения соболезнования соблюдается всеми, имеющими какое-либо родственное отношение, и «тамырами» — задушевными друзьями.

Обыкновенно приезжали все взрослые из семьи соболезнующего в сопровождении трех-четырех человек из своих аульных друзей. Они привозили в коржуне зарезанного барана, баурсаки, чай, сахар и «бата окырлык» для чтения молитвы (скот или деньги).

Читались молитвы за упокой души умершего, устраивались угощения — поминки. Многие семьи тут же возвращали «бата окырлык», прибавляя от себя «жыртыс», который раздавался сопровождающим. Каждая из сторон старалась делать широкие жесты, подчеркивая, что они ничего не жалеют для упокоения души ближнего—что на этом ложном свете богатство не имеет никакого значения, и надо делать все, чтобы выполнить свой долг перед покойным, воздать должное его душе.

Поминальные церемонии по бабушке продолжались вплоть до годовщины ее смерти. Приезжали к нам все наши родственники от всех ветвей — как мне помнится, их было двадцать две семьи. На каждый месяц приходилось по два поминальных поезда. Эти визиты дали мне возможность познакомиться со всеми нашими родственниками из далеких районов. Среди них были и зажиточные, и середняки, и бедняки. Для последних этот акт обходился недешево — они привозили свое последнее. Отец и дядя к ним были особенно внимательны. Я помню, как приехал наш племянник Арыстан из-за Бурулдаев в сопровождении двух таких же оборвышей, как он сам. Привезли они несколько фунтов мяса, купленного, по-видимому, на базаре, пачку чая и фунт сахара. Положили на скатерть несколько пятерок и с виноватым видом сказали:

— У бедных руки коротки, но от чистого сердца бабушке ставим.

Они нами были приняты с почетом, пятерки им вернули обратно и прибавили вдвойне. Арыстан простодушно тут же разделил полученное поровну и роздал своим товарищам.

— Хорошо, что бедняку не сопутствует мерзкая скупость,— говаривал впоследствии отец, вспоминая скромность Арыстана и скупость богатого Кырыкбая и его правило: «Состояние накапливается из копеек». Да, действительно, как и у всех народов, наши бедняки пренебрегали правилами Кырыкбая и не были копеечниками...

Кырыкбай был богатым человеком, моя тетя Пияш была его второй женой. В семье Кырыкбая она не находилась на втором положении, но все же вынуждена была считаться с мужем.

Однажды дядя повез меня к ним в гости. Кырыкбай жил скупо и неряшливо. Среди юрты сидел болезненный старик и вмешивался во все дела домашней кулинарии. «Сварите десятка два баурсаков». «Положите щепоточку чая в чайник, чтобы не получилось густо, как прошлый раз». «Положите в котел вот эти куски мяса». «Побольше лейте воды в котел, чтобы всем домашним хватило сурпы». «Месите тесто в два кулака, для гостей этого будет достаточно». «Зачем так много чистого кизяка принесли?». «Куда столько соли кладете? Она же не валяется, как камни Кара-Тау». «Накормите батраков болтушкой». Так покрикивал он, и выкрики эти заполняли весь вечер. Все домашние покорно выполняли все его приказы. Этот сварливый старик никому не давал что-либо делать, не сопровождая своими замечаниями. Его жены, снохи и сыновья не возражали ему, но на их лицах была ненависть, а в глазах можно было прочесть: «Когда же ты помрешь? Скоро барабанные перепонки в ушах будут продырявлены твоими упреками».

Когда подали чай и рассыпали десятка два баурсаков на дастархане, Кырыкбай велел подать три куска сахару, сам расколол два на мелкие кусочки и рассыпал по скатерти, а третий вернул обратно, велел положить в сундук и справился, сколько еще кусков сахара осталось.

— Должно быть, двадцать,— ответила Пияш.

— Как двадцать? Утром было двадцать семь, два куска я сейчас расколол, один вернул, остаться должно двадцать пять,— заволновался Кырыкбай.

— Да ведь дом не без гостей,—оправдывалась Пияш. — Сегодня из соседнего аула гостили.

— А зачем соседок приучать к чаю с сахаром?!— возмутился Қырыкбай.

Слушая этот странный, непривычный для меня семейный разговор, я не заметил, как по знаку Қырыкбая убрали дастархан.

Қогда бесбармак сварился, Қырыкбай снова начал: «В эту тарелку вот этот кусок положить, в эту тесто положить, а этот остаток разрезать на мелкие кусочки и с остатком теста раздать остальным».

Нам подали чашу на троих. Қырыкбай, засучив рукава, начал разрезать мясо на куски. Қогда все было готово, он пригласил нас приступить к еде. Я попробовал — тесто было непомерно толстое и соленое. Видимо, сноха, месившая тесто, соль не рассчитала на «два кулака». Мясо было недоброго качества и чуть припахивало. Я во второй раз не полез в чашу. Дядя делал вид, что кушает, поднося пустую руку от чаши ко рту, а Қырыкбай, как голодный волк, уплетал бесбармак. Его многочисленная семья копошилась вокруг казана, протягивая руки и украдкой отправляя в рот полученные кусочки.

Қырыкбай очистил чашу до дна, вытер руки о голенища, выпил поданную сурпу и погладил бороду.

— Бап бопты! Бап бопты!—сказал он довольным от сытости голосом:—Қак раз, как раз, что надо вышло. Зачем напрасно лишнее готовить? Всегда делайте так! — поучал он недоумевающих жен и снох, а полуголодная семья, понурив головы, смотрела вниз.

В полночь я проснулся.

— Ты чего не спишь?— спросил дядя.

— Есть охота.

— Тише! Стыдно будет, потерпи немного, а утром поедем к Қелимбету, там тебя хорошо накормят.

Рано утром дядя поспешил под каким-то предлогом покинуть аул Қырыкбая. Уехали мы голодными.

Қелимбет был свекром младшей моей тетки Убикуль. Он жил верстах в двадцати от аула Қырыкбая в ущелье Қара-Тау Бор-казган, что значит известковое ущелье. Он также был многосемейным, но считался

бедняком, вернее, маломощным середняком. У них в ауле все было чисто и аккуратно. Вся семья встретила нас радушно. Нас искренне приветствовали и расспрашивали о здоровье.

Первым делом дядя заявил, что мы голодны. Тут, пока вскипел самовар, добрая худощавая смуглая старуха, свекровь тети, быстро подала нам хлеб, курт, масло, сливки, молоко.

Наевшись досыта, я посмотрел на дядю и сказал, подражая Кырыкбаю.

— Бап бопты! Бап бопты! Как раз, что надо вышло.

Дядя расхохотался и рассказал за чаем о вчерашнем вечере, проведенном у Кырыкбая. Вся семья Келимбета, дружно и запросто сидевшая за дастарханом, покатывалась от смеха...

Но я немного отклонился от темы. Итак, за год, прошедший после смерти бабушки, у нас побывали все родственники по всем линиям и ветвям. Приезд Серкебая был пышным и подчернуто эффектным. Серкебай привез щедро наполненные поминальные коржуны. На этот раз он был молчалив, не кричал на дядю. Он сходил на могилу к бабушке, часто вздыхал и охал, говоря, что теперь он один остался из старшего поколения нашей семьи, называл себя одиноким. Видимо, старик переживал, что настает теперь его черед по возрасту покинуть этот ложный свет. Он не пропускал времени намаза (молитвы), чего я раньше не замечал за ним. Теперь он не требовал, не приказывал, а просил дядю регулярно читать коран за упокой души предков. Он даже раза два ласково назвал дядю уменьшительным Момынтай, как иногда в добром настроении звала его бабушка. Смерть бабушки и одиночество укротили пылкий характер Серкебая, но не надолго...

Поминки по бабушке прошли почтительно.

Да, казахи умели радоваться появлению новорожденных, счастью новобрачных, осыпая их поздравлениями, и умели чтить память умерших. Это входило в нормы поведения, это был общественный долг, обязательный для всех.

Когда хлопоты в связи с поминками улеглись, и были совершены визиты всеми ближними, отец начал чи-

тать по вечерам в свободное время коран об упокоении души бабушки. Эти своеобразные панихиды совершались им серьезно и торжественно, и в них была вовлечена вся семья.

Чтению корана, как и молитве, предшествовало омовение. Из сундука отец доставал большую пожелтевшую книгу в кожаном переплете. Он нес ее осторожно и садился посредине разостланной чистой кошмы—текемета, отделанного орнаментом. Отец прикладывал коран ко лбу, к бороде и, принимая молитвенно-торжественную позу, начинал читать. Мы полукругом усаживались возле него и внимательно слушали. Он читал медленно и нараспев, почти по слогам непонятные нам арабские слова, делая особенно протяжный запев на последнем слове каждой строки.

Нас увлекала поразительная певучесть рифм, ритм непонятного, но благозвучного языка пророка, любимца бога, как нам с малых лет внушали о Мухаммеде — пророке правоверных мусульман.

Несмотря на то, что слова нам были непонятны, так же как и содержание читаемого, серьезная, сосредоточенная поза отца во время чтения, его взволнованный, дрожащий голос покоряли нас, и нам казалось, что действительно он через эту книгу, лежащую перед ним на большой подушке, разговаривает с богом. Мы не разрешали себе во время чтения ни одной детской шалости.

Чтение корана продолжалось час, иногда два. Отец отрывал руки от раскрытой книги, которую он перелистывал, и, закрыв глаза, наизусть произносил начало суры корана, подымая раскрытые ладони рук. Мы тоже вытягивали перед собой свои ручонки, слушая заключительные слова отца, которые он говорил по-казахски, на родном, понятном нам языке:

— О всемилостивейший и всемогущий создатель восемнадцати тысяч тварей, летающих в небесах, двигающихся по земле и плавающих в водах! О творец вселенной, священного солнца, серебристой луны, мерцающих звезд, неба и земли! О мудрый создатель света того и другого, твердыни земной и бескрайней синевы океанов и морей, бурных рек и покрытых узорами

цветов степных просторов, величественных гор и гранитных скал зубчатых!.. Мы, потомки твоей рабыни, одноутробные братья и сестры, внуки и внучки, склоняем перед тобою свои головы и обращаемся к тебе с молитвою от чистого сердца об упокоении души родительницы нашей, покойной матери нашей... Да прости ты ей не по заслугам, а по милости твоей все ее земные грехи и прими ее душу в светлые края твоего небесного царства. Аминь! Да дойдет наша молитва до твоих ушей и да будет принята тобою!

Произнося это, отец троекратно гладил свою длинную бороду с проседью, а мы — свои детские личики.

Я вспоминаю теперь, что заключительные слова отца производили особое впечатление на мой детский ум, и мое детское воображение устремлялось в дальние, далекие пути.

Когда он говорил о «его всемогуществе», мне представлялся великан с громадным молотом, дробивший огромные глыбы камней. Отец произносил: «О всемилостивейший» — и в моем воображении великан останавливался и расплывался в широкой доброй улыбке. «Создатель восемнадцати тысяч тварей»,— провозглашал отец, и перед моими глазами мелькали птицы, жуки, жеребята, ягнята, козлята, верблюжата...

«Творец морей и рек, суши, просторов степей и гор». При этих словах по мановению руки великана в степи возникали громадные водоемы. Вода, хлынув, разливалась в моря и реки. Огромной лопатой великан черпал землю, делал запруду, и эта куча земли превращащалась в гору.

«Сыновья и внуки твоей рабыни»... Это меня оскорбляло, я не хотел быть внуком рабыни. В моем воображении образ моей властной бабушки никак не мирился с понятием рабыни. Я не хотел ее представлять себе униженной и оборванной.

«В светлом уголке твоего небесного царства...» Я вспоминал крик дяди «Ой, темно!», когда засыпали могилу бабушки при ее погребении. Мне было тогда страшно, и было жалко бабушку, и теперь, искренне глотая слезы, я произносил с отцом: «Предоставь ей светлый уголок в твоем небесном царстве»...

Еще мне врезалось в память: когда умер мой двоюродный брат Аруан, единственный сын моей тетки Айса, старуха, бледная, обливаясь слезами и задыхаясь от гнева, рвала в клочья все на себе и, распустив седые волосы, в приступе неутешного горя, проклинала аллаха, называя его из ума выжившим старцем... Я был потрясен, и до сих пор еще остается в моей памяти, как выражение беспредельного материнского горя, этот протест против смерти, обрывающей молодую жизнь.

Всеобщая покорность старших аллаху, с одной стороны, и проклятия тетки, с другой, не умещались в моем детском сознании. Я иногда уходил из дома к роднику, и там на берегу представлял в своем воображении аллаха. Мне хотелось найти его, увидеть.

И вот, как бы идя навстречу моему воображению, в центре небосвода вставало большое белое облако в форме громадной сидящей фигуры. Вот он! Я, не отрываясь, всматривался в облако и лепил в своем воображении могучего старца в просторном белом халате, с лохматыми седыми вьющимися волосами и длинной бородой. Облако растягивалось, и я как бы видел в профиль его белые брови и длинные ресницы. Вот он поворачивается, и мне казалось, что он следит за всеми...

...Приехала погостить Убианна. Она помнила лучше всех нашу маму и попросила отца читать коран и по ней. Отец исполнил ее просьбу. Теперь читался коран не только по бабушке, но и по всем умершим нашим предкам, с упоминанием их имен и непременным повторением слов: «твоего раба», «твоей рабыни». О многих наших предках мы впервые слышали, и отец, ощутив наше равнодушие к их именам, после окончания чтения рассказывал, кем они приходятся нам, как провели свою жизнь, какие они были, и какой был у них характер. Мы с удовольствием слушали воспоминания отца. Он умел рассказывать интересно, и вечера стали не только молитвенными, но и в определенной мере литературно-художественными. Все мои воспоминания о нашей родне и некоторые предания о наших родичах почерпнуты из этой «вечерней школы» отца.

В это время отцу исполнилось шестьдесят лет. С мо-

мента, когда я начал помнить себя, отец уже был с проседью в бороде, но при жизни бабушки мне не приходило в голову, что он—пожилой, стареющий человек, так как он для бабушки, живой матери, всегда оставался ребенком, над которым она проявляла родительскую власть. При жизни бабушки он был в семье лишь старшим из детей. Когда есть в доме старик или старуха, все кажутся при них молодыми. Отец для нас теперь перестал быть молодым.

— Мы — семья, мы — народ,— говорил отец.— В семье старики умирают, молодые рождаются и живут, но народ не знает смерти. От матери нас в живых два брата, шесть сестер, а внуков у нее по всем линиям, слава богу, в живых двадцать три. Всего она оставила тридцать один корень. И у вас, дети мои, будут корни,— так он обычно кончал свои рассказы.

* * *

Весной наша семья ортачила вместе с русским мужиком Кузьмой Гончаровым, рыжебородым, с красными веками, морщинистым стариком. Он был многосемейным. Старшего сына мы звали Сашке, другого — Некоди, третьего — Тишко, четвертого — Керилля и моего сверстника — Василь, старуху — Матьке, а двух снох — Саньке и Маньке.

Казахи никогда не произносили имена и фамилии русских правильно, всегда их перекрещивали по-своему и давали им клички по внешним данным или характеру: Кызыл Жагор,— красный (рыжий) Григорий, Дмитрий — Метрей, Лука — Илуукэ.

С Кузьмой мы ортачили на таких условиях: земля наша, семена поровну, тягловая сила его. От нас во время сева и уборки работал дядя. Остальное неравенство во вкладах и в труде Гончаровы компенсировали молоком и мясом.

Гончаров приехал к нам в аул со всей семьей на двух бричках, с железными плугами и боронами. Они с отцом обмерили саженями землю, дядя помогал и учился собирать плуг, «амуничивать» коней хомутами, шлеями и постромками.

Начали пахать: два плуга один за другим волнами

разбрасывали землю и прокладывали глубокие борозды. Нам, привыкшим царапать землю омачами, казалось, что плуги прямо разворачивают землю «до дна». Я долго бегал, наблюдая, как плуги режут жирную землю и отбрасывают ее своими крыльями, оставляя глубокую прямую борозду. Четыре добрых рыжих коня тянули плуги. Мы с Василием ездили за плугами, волоча за собой борону.

Если при пахоте омачом оставались между бороздами прорехи и пахота пестрела ими, и кое-как пробороздённая дышлом земля лежала комьями, то теперь тяжелые железные бороны разбивали комья, и за нашим следом мелкими волнистыми рядами лежала ровная пахота. Я смотрел часто назад и любовался черными волнами земли.

Гончариха варила в чугунках пищу. Наши женщины с любопытством наблюдали за нею и дивились множеству овощей.

Более подробно о семье Гончаровых и нашей дружбе с ними я расскажу несколько позже.

* * *

Кончились зимние вечера...

Пришла весна. В этом году месяц наороз, первый день которого считается новым годом по самсатскому календарю, пришелся в самый разгар доброй весны, когда она начинала раскрываться во всей своей красе.

Стояли мягкие, ясные, солнечные дни... Зелень иглами пробивалась сквозь толстый покров земли. На ветвях деревьев, посаженных дедом, набухали почки. Ледяные вершины Ала-Тау ослепительно сверкали, отражая лучи солнца. Земля отдавала легким паром, со скотных дворов доносился прелый запах навоза. Уже появились и птички-певуньи и на все лады зачирикали и защебетали. Высоко в небе пролетали вереницы журавлей.

Коровы телились, овцы ягнились... Все радовались, суетились, повсюду принимали новорожденных. Коровы перед отелом становились какими-то особенными: их глаза блестели, раздувались ноздри, как бы к чему-то прислушиваясь, они, навострив уши, рвались на во-

лю... По этим признакам, которые казахи называют «бошалау», мы знали, что корова с часу на час должна отелиться, и следили за ней.

...Дядя, приняв рыже-красного теленка, тут же подул ему в лоснящиеся ноздри и осторожно положил его на солому. Корова, мыча и угрожая нам рогами, подходила к «младенцу» и шершавым языком лизала его мокрую короткую шерсть. Теленок пытался встать на свои длинные тонкие ножки с прозрачными хрящиками копытец и... падал; делал еще попытку и снова падал, все дальше уползая от соломенной подстилки. Мать оберегала его и не подпускала нас к нему. Но вот наконец теленок, шатаясь на тонких, как прутики, ножках, сделал первые два шага и, тыча мордочкой в брюхо матери, стал искать сосок вымени, но, не находя его, снова падал... Тогда дядя подходил к корове, строгим окриком прекращая ее ревнивый протест, пальцем оттягивал соски, чтобы прочистить их, и подносил теленка к вымени. Ощутив, что теленок сосет, мать успокаивалась и отдавалась блаженству первого кормления своего детеныша.

Все эти сценки вызывали умиление и восторг домочадцев...

Но вот стремглав несется к нам с криком радости сестра Алиманна. Шлепая босыми ножками, она несет новорожденного — черного кудрявого ягненка. От нее, отставая, бежит жалобно блеющая овца...

Исхудавшие за зиму, еще не перелинявшие жеребята паслись, пощипывая зеленую траву. Они резвились так забавно в своих, казалось, навыворот одетых, рваных шубенках.

Тяжелые воспоминания о зиме, были быстро забыты в общей радости зелени, животных и людей, которую принесла весна.

Дядя стучал топором, приводя в порядок примитивный сельхозинвентарь, готовясь к севу.

Женщины парили зерно пшеницы и колотили его в ступе, чтобы очистить от кожуры, ставили большие казаны и варили новогодний перловый суп, заправляя его молоком.

Начиналась встреча нового года — весны.

Из аула в аул шли люди поздравить с весной соседей и откушать «наороз коже». Каждый мог зайти в дом, поздравить с наорозом и получить от хозяйки миску супа. Гость садился и, приступая к еде, приговаривал:

— Благодарим судьбу за то, что встречаем в своей жизни еще один новый год.

Суп полагалось хвалить и съедать весь.

Попадались женщины, которые, отличаясь коварством и любовью к злым шуткам, специально хранили большую деревянную миску и, когда входил тот, на кого они имели «зуб», до краев наполняли ее супом и преподносили своей жертве. Тот суеверно, не смея отказаться, садился в угол и, не справляясь с такой солидной порцией «божьего пайка», ел его целый день до позднего вечера. Когда же он, обессиленный, останавливался, чтобы передохнуть, его торопила хозяйка:

— Ешь, ешь, мой мужественный герой, я желаю тебе в этом году столько счастья, сколько зернышек в твоей миске!

— Спасибо, дорогая, я же ем,— бурчал в ответ гость.

— Ешь, ешь, незабвенный, ешь пока горячо, не давай своему счастью остыть!

— Ешь, дорогой, пусть чаша твоих желаний будет такой же полной,— ехидно поддакивал хозяйке другой гость.

И пока первый мучился над огромной миской, остальные рассказывали анекдоты, острили, шутили, пели и читали стихи в честь весны. Это были своеобразные торжественные тосты...

Как весенней порою шумят тополя,
Ходит ветер, цветочною пылью пыля,
Все живое обласкано солнцем степным,
Пестроцветным ковром зацветает земля.
Верблюжонка верблюдица громко зовет,
Блеют овцы, в кустах птичий гомон встает,
Мотыльки — над травой и в ветвях тополей,
Заглядевшихся в светлое зеркало вод.
Сколько птицы! В любом приозерном пруду;
Тронь осоку —и лебедь пойдет в высоту.
Скачешь — смотришь, как спущенный сокол ручной
Из-под облака лебедя бьет на лету...

Кто лучше тебя, Абай, сказал о нашей казахской весне! Я впервые той весной услыхал твое имя. Отец за обедом рассказал, что далеко, «за семью реками», живет Абай, из рода Тобыкты, что он «болыс» — волостной управитель, что он самый умный из рода Тобыкты, и что он не только «болыс», но и сочиняет хорошие стихи, что он большой акын, и песни его поет вся степь.

Когда весеннее солнце пряталось за край земли, мигая косыми лучами, люди расходились, желая друг другу полного счастья в новом году...

* * *

Почтовая станция, где дядя в трудный год служил ямщиком, стояла на тракте Ташкент — Фрунзе. Этот тракт был прозван «черной дорогой», по-видимому, потому что она среди засеянных полей действительно прорезала черной лентой наши поля.

«Черная дорога» проходила по возвышенной местности, откуда берет свое начало «Тысяча родников». Насколько я помню, дорога эта на всем своем протяжении ни разу не пересекает ни одного из этих ручейков, пробивших свой путь в многочисленных балках. Она служила для нас границей двух угодий: посевного и пастбищного. Возвышенная местность идет на юг от этой дороги, к Ала-Тау. Почва здесь усыпана мелким щебнем, поэтому ее не пахали, а пасли на ней скот.

Весной наш аул, чтобы не травить скотом посевы и сенокос, всегда откочевывал на летовку и проводил все лето в нескольких верстах от дороги, заселяя возвышенность белыми грибами юрт.

Земледельцы, у которых было немного скота, не уходили к далеким подножиям Ала-Тау, потому что и здесь было достаточно корма. Они были привязаны к своим посевам и лугам — лето у них было трудовое. Обычно к Ала-Тау откочевывали более зажиточные.

Там, на небольшом клочке земли, радиусом не более пятнадцати-двадцати километров, на каждом отрезке, приближающемся к горам, весна запаздывала на несколько дней и недель, климат и растительность отличались ступенчатостью: чем выше, тем холоднее.

Эту особенность нашего края шутник нашего аула Токмырза приписывал рессеянности аллаха при сотворении мира.

— Сотворил аллах мир этот грешный,— рассказывал шутник одному из гостивших у нас степняков,— устал старец после трудов тяжелых и задремал. Очнулся, смотрит: забыл создать наш район. Нахмурился он, рассердился на себя. Сердясь, оторвал кусок ледника с Гималаев и швырнул сюда,— Токмырза показывал на Ала-Тау.— Пока бог оглядывался по сторонам, ледник начал таять, и потекли тысячи ручейков. Тогда он оторвал кусок от южных гор и влепил его сюда,— он показывал на Қара-Тау,— чтобы запрудить эти ручьи. Делалось им это торопливо, впопыхах, и получилось, как видите: ручьи уперлись в Қара-Тау. Қуда же им было деваться?.. И потекли они тогда по склону, с запада на восток. Вот поэтому та речонка и называется Терис, что значит обратная. Вот, уважаемые, почему у нас один клочок земли не похож на другой. А для того, чтобы в людях разнообразие было, привел он сперва из жарких, иранских, сторон в халате нараспашку — узбека, потом с берега Енисея — пухловеких киргизов, а вот совсем недавно—белобрысых русских. Это не то, что у вас, в степи, которая разостлана, как скатерть, на ровном месте, и лежит себе под солнцем, и живут там лишь одни казахи. А у нас, друг, все разнообразно: хочешь горы—вот тебе горы, хочешь воды—вот она, хочешь хлеба—вот тебе хлеб, хочешь фруктов разных—на тебе их, хочешь базар—вот он тебе каждый день, а не то, что у вас: степь, скот, мясо и... все...

Уже несколько лет почтовая станция Бекет, единственное кирпичное здание в волости, стала местом больших собраний. Туда съезжалось со всей волости на сходку несколько сотен верховых.

Приезд Садыка Абланова совпал на этот раз с Первым маем. Аблановых было трое. Старшего народ знал под именем Избасар и о нем отзывался как о необузданном самодуре, занимавшем в уезде какой-то пост, на котором он недолго удержался. Қогда стало

известно о его провале, многие не удержались от возгласов: «Так ему и надо!»

О Садыке Абланове народ отзывался как о степенном, прямом, неподкупно честном человеке. Говорили, что он знающий, обходительный, умный.

Первого боялись, но не уважали, второго — не боялись, но уважали. Народ определял свое отношение к братьям, особо подчеркивая их имена — Избасар Абланов, Садык Абланов.

Избасар приезжал с шумом, громом. На собрание он никого, кроме «депутатов», не допускал. Участников собрания он, как говорится, «тер в песок», оскорбляя, называл «шантрапой», «ослами», «верблюдами» и не стеснялся приукрашивать речи свои уличной бранью. Часто угрожал зачислением в «черные списки» и ссылкой в Сибирь. Все возвращались после собрания словно избитыми и, когда Избасар уезжал, смеялись над ним, каррикатурно изображая его походку, интонацию и жесты.

Собрания с Садыком отличались многолюдностью и скорее напоминали митинг. К нему спешили старые и малые и даже женщины. В народе говорили, что Садыка украшает вежливость и скромность.

Стоял ясный день. Накануне было объявлено, что завтра придет в Бекет Садык, и что он просил желающих из народа прийти послушать его — «Он сочтет для себя честью поделиться новостями с братьями и сестрами».

Отец и дядя решили забрать и меня с собой. Я быстро оделся и, радостный, поехал на коне, сидя позади дяди. По дороге мы догнали группу всадников, среди которых на своем Кок-шолаке ехал Аккулы. Он поздоровался с отцом своим обычным:

— Будь здоров, Момыш!

— Будь жив, Аккулы.

— Садыка слушать едешь?

— Да, Аккулы.

Аккулы, увидев меня сзади дяди, воскликнул:

— А, молодой джигит... Ты куда?

Заметив, что я растерялся, дядя, почтительно приподнявшись на седле, ответил за меня:

— Садыка послушать, Ака.

— Да...— протянул старик.— Хорошее слово услышать — это полсчастья!

Тут Аккулы заметил, что один из его молодых спутников, когда кони перепрыгивали через канаву, качнулся в седле. Аккулы с гневом обрушился на него:

— Ты что коня мучаешь?! Это тебе не качели! Коня послал, а сам на месте остался! Ведь ты мог благородному животному хребет переломить!

— Он ведь нечаянно, Аккулы!— примирительно вмешался мой отец.

— Ах, оставь, Момыш! Оставь ради аллаха! Ездок не только себе, но и коню случайности разрешать не должен!— ответил Аккулы и еще раз гневно взглянул на покрасневшего до ушей юношу.— Какая нынче молодежь пошла, Момыш! Прямо — мешок да мешок, да еще какой мешок!.. Ах, как печально видеть под таким бедного коня.

Так почти до самого Бекета старик болтал, всякий раз подчеркивая свое превосходство над всеми в верховой езде. Все почтительно слушали его, старались ехать как можно ровнее, дабы не получить язвительных и колких замечаний.

У меня испортилось настроение еще в тот момент, когда мы выехали из дома: я злился на дядю, который не разрешил мне оседлать коня. И теперь, сидя сзади него на крупе лошади, я глядел на широкую спину дяди и презирал его, но речи строгого и придирчивого Аккулы примирили меня с моей несамостоятельностью.

Мы въехали в Бекет. Все пространство вокруг станции было окружено сотнями забутованных коней. Люди собрались у холма и, подстелив полы халатов под себя, рассаживались. Народу было много: седобородые старики, мужчины, джигиты, юноши, а в стороне скучилась группа женщин из ближних аулов.

Все в ожидании смотрели на здание станции.

— Идет! Идет!— раздался шепот в рядах.

В сопровождении почтового начальника в форменном картузе старого покроя и нескольких казахов из волостного управления шел мужчина среднего роста, в серой шинели нараспашку и без шапки. Я, как толь-

ко его увидел, так же, как и другие, впился в него глазами. Он шел, спокойно переговариваясь с одним из сопровождавших. Лицо у него было бледно-желтое, нездоровое, широкий лоб, лысеющая круглая голова, коротко подстриженные черные усы, усталые, с легкой припухлостью глаза.

Садык поднялся на холмик и за руку поздоровался со стариками, потом, приложив руки к груди, поклонился обществу.

— Привет вам приношу, общество,—сказал он гортанным голосом.— Как поживаете, почтенные аксакалы, как ваше здоровье? — обратился он к старикам.

— Благодарим тебя, Садык. Как ты сам поживаешь?

— Как твое здоровье, Садык?

— Как дети твои растут? — расспрашивали его старики.

— Спасибо,—показывая в улыбке белые зубы, отвечал Садык.— Пока здоров... Как ваш Кок-шолак, Ака?— обратился он к известному наезднику (по-видимому, Садык и раньше знал Аккулы).

— От твоих милиционеров прячу,— язвительно отвечал старик под общий хохот.

Садык Абланов улыбнулся.

— Пусть никто не тронет вашего Кок-шолака, Ака. Скажите, что я так велел,— спокойно ответил Садык.

— Благодарность тебе, Садык... А то от них и русским подводам и нашим коням — покоя нет... Все несутся, как угорелые, загонять только коней мастера...

— Садык сказал уже свое слово,— прервал Аккулы мой отец.— Дай теперь мы его послушаем.

Аккулы зло посмотрел на отца, но промолчал. Садык склонился, как бы извиняясь перед Аккулы, и поднялся на самую вершину холма. Оглядевшись вокруг, спокойно и уверенно начал:

— Почтенные аксакалы, если вы разрешите, я хочу сказать слово,— обратился он к старикам.

— Говори, Садык, говори!— хором ответили те.

— Почтенные аксакалы, сверстники мои, и вы, молодые джигиты, и вы, дорогие женщины,— обратился

тепло.— Именно в этот день, когда обновляется природа, тридцать три года тому назад, рабочие и все, кто трудится, на весь мир объявили, что этот день навечно будет праздником труда, свободы, дружбы и братства людей...

Потом он очень просто и доходчиво рассказал о празднике трудового народа — Первое мая. Кратко, но доступно обрисовал, что делается внутри страны и во всем мире и, почтительно называя имя Ленина, рассказал нам, почему Ленин— великий вождь для трудящихся всего мира. Он говорил о равенстве и братстве народов, о том, что несет революция трудовому казахскому народу...— Счастлив тот, кто свободен! Этого хотят большевики для всех наших народов!— так закончил он свою речь.

Все слушали его с огромным вниманием, не пропуская ни одного слова. После паузы раздались одобрительные возгласы:

— Правильно сказал Садык!

— Хорошее время выбрали для праздника!

— Умно решили!

Садык еще раз оглядел народ. Насколько мне помнится, он вместо слова «товарищи» говорил «родичи мои».

— Родичи мои! Я ваш! Я вам не враг, а родня и брат. Я один из тех казахов, которые вступили в партию коммунистов. Я, как вы, люблю свой народ и, как вы, желаю ему всяких благ. Хороший сын русского народа (а русский народ по численности намного больше нас, казахов), товарищ Ленин учит нас, большевиков, служить верно и честно своему народу. Товарищ Ленин провозгласил свободу, равенство и дружбу между народами. Ни один человек не должен притеснять другого, никто не должен отбирать плоды трудов у других. Все люди должны трудиться так, чтобы в конце концов согнать с лица земли бедность, голод и страдания. Законы должны быть справедливыми. Вот почему я и мои товарищи пошли за Лениным, вступили в партию коммунистов... Все, о чем мы мечтаем и за что боремся, сбудется в скором времени. Мы убеждены в том, что, если мы правильно поставим дело, и народ пойдет за

нами,— достигнем намеченной цели. Мы убеждены, что наше завтра будет лучше, чем сегодня. Если не мы, то во всяком случае наши дети будут жить лучше нас, а внуки еще лучше. Кто же, кроме злодея, может желать плохого детям и внукам своим?

Вы знаете нашу поговорку о том, что «под тенью раскидистого дерева, когда-то посаженного дедом, прохлаждаются внуки». Мы, большевики, хотим, чтобы народ хорошо трудился, чтобы плоды труда принесли ему хорошую и счастливую жизнь... Надо сажать новое дерево, надо его выхаживать, как мать выхаживает младенца... Пусть наступит животворная весна и радостное лето и в жизни казахов!

Я к вам по важному делу приехал, но об этом после. А сегодня давайте праздновать Первое мая.

— Козла будем драть! — крикнул Аккулы.

— Кокпар! Кокпар! — загудела молодежь.

Садык широко улыбнулся и махнул рукой. Народ затих.

— Кокпар! — восторженно пронеслось по толпе.

Присутствие Садыка призывало всех к вежливости. Даже наши грубоватые милиционеры и надменно-язвительный «абсолютный чемпион по конному спорту» Аккулы, казалось, «на вершок присели» и старались быть вежливыми.

Кокпар был многолюдным и назывался «Май кокпары», то есть кокпар в честь майского праздника. Аккулы, как всегда, верховодил. Его присутствие держало игру в рамках строгих правил. Как вихрь, масса всадников носилась по ровному полю за тушею козла. Старики все, кроме Аккулы, разумеется, и в том числе мой отец, окружили Садыка и представляли из себя «судейскую коллегию» из зрителей.

Садык ехал на вороном карабаире и с веселой улыбкой наблюдал за ходом игры.

— Мы, большевики, хотим, чтобы у всех было весело на душе. Мы хотим, чтобы молодость наших юношей и девушек была счастливой и задорной. Наши враги клевещут на нас, что мы хотим отобрать счастье у людей, да и в наших рядах, к сожалению, попадаются невежды, которые на руку врагам портят колею сво-

ими кривыми колесами! Нет, мы хотим, чтобы все благородное и хорошее, что есть в народе, невиданно расцвело...

Садык говорил, как бы между прочим, следя внимательно за игрой на зеленом поле.

Теперь я сидел уже на крупе коня позади отца, так как дяде нужно было вдоволь побеситься на кокпаре. Приступ оскорбленного самолюбия не оставлял меня. Единственным утешением для меня было то, что я, как ни говорите, а нахожусь в обществе Садыка Абланова.

Вдруг как будто клинок рассек густую конную массу, и из гущи ее, как стрела, вырвался Аккулы. Мы не успели оглянуться, как он осадил своего серого коня и, швырнув Садыку тушу козла, крикнул:

— На, Садык!

Затем, подняв на дыбы своего коня, он отскочил в сторону. Кок-шолак, пружиня на тонких ногах, заплясал на месте, удерживаемый короткими поводьями. Конная толпа рассеклась надвое о нашу группу, как волна рассекается об утес. Я казался себе таким ничтожным, обида точила мое сердце, хотелось сразу стать взрослым и поскакать со всеми.

— Вы, Ака,— душа кокпара,— говорил Садык старику Аккулы.—Я не хочу, чтобы наступил тот день, когда ваше искусство стало бы легендой для молодежи!

— Я пока не собираюсь в те края,— произнес обиженно Аккулы.— Нет, извольте не торопить меня, Садык!

Все засмеялись. Садык протянул Аккулы красный шелковый платок:

— Это вам, как лучшему джигиту! Первомайский приз!

Аккулы, взволнованный, приподнялся на стременах и принял подарок Садыка. Кок-шолак, как бы аплодируя своему седоку, стал ударять оземь копытом передней ноги.

— А теперь, Ака, побудьте со мной,—попросил Садык.—Пусть молодежь повеселится.

И Аккулы покорно до конца кокпара оставался в обществе Садыка.

Кокпар продолжался почти дотемна. Садык не отрывал глаз от носившихся по степи всадников. Казалось, он был увлечен кокпаром, но его спокойные и сдержанные слова говорили о том, что он вдумчиво искал ответа на тревожившие его вопросы о судьбе этой волнующейся в страстях кокпара конной толпы.

— Момеке,— обратился он к моему отцу.— Я хочу у вас найти покой на ночь.

— Я буду рад, если ты осчастливишь мой очаг своим приходом, Садык,— ответил отец.— Я приму это за честь, и ты найдешь покой под моим кровом.

Все с завистью посмотрели в нашу сторону, и я забыл, что сижу на крупе коня позади отца. Я гордился, что выбор Садыка пал на наш дом.

Отец знаком позвал дядю, и тот подлетел к нам в бешеном галопе на взмыленном коне. Он резко осадил потемневшего от пота и пыли гнедого.

— Садык у нас будет гостем,— сказал отец своему брату.

При последнем слове отца дядя круто повернул коня и поскакал в направлении нашего аула.

Кокпар закончился.

— Прошу вас поделить с Садыком соль и вкус[1] у моего очага,— обратился отец к окружающим.

— Ну что вы, Момеке, много народу приглашаете,— сказал было Садык.

— Слава богу, и нас, бахтияровцев, немало, неподеленное у нас наследство,— перебил его отец.

Да, бахтияровцев было немало: три дома наших и дома двоюродных, троюродных, четыре дома назаровцев, три дома тасырбаевцев, четыре дома ниязовцев,— всего четырнадцать юрт — очагов, с населением в семьдесят человек. Мы могли принять гостей и «дать пищу гостям» — двадцати всадникам, сопровождавшим Садыка Абланова.

Он ехал в середине строя, по бокам двумя шеренгами — сопровождавшие его казахи.

Огромный красный шар солнца скрывался за гор-

---

[1] «Соль и вкус» — эквивалентно русскому «поделиться хлебом, солью».

бами гор Кулан-Тау. Степь постепенно покрывалась мягкой вуалью сумрака. Я, проведший целый день на крупе лошади, с трудом превозмогал усталость, и, когда конь, держась в строю, трусил мелкой рысью, я испытывал боль во всем теле.

От очагов вокруг домов нашего аула в этот безветренный вечер поднимался серыми столбами дым. На загоне копошился вернувшийся с пастбищ скот. По полю несся вороной жеребец с развевающейся гривой, загонявший в табун непослушных кобылиц. От аула неслись запахи приготовляемой пищи: варили в жиру баурсаки, в котлах готовился бесбармак, дымились трубы самоваров.

Мужчины в почтительных позах стояли группами у наших юрт, поджидая гостей. Женщины суетливо мелькали между юрт.

Когда подъехали гости, люди нашего аула, как по команде, бросились к ним навстречу и, подхватив под уздцы коней, помогли им сойти, поддерживая под руки. Когда же гости соскакивали со стремян,— уводили коней. Усталые седоки, чуть покачиваясь, делали несколько медленных шагов, разминая ноги.

— Добро пожаловать, Садык, вот моя юрта!—указал отец на откинутый полог двери.

— Да будет благополучие в вашем гостеприимном доме, Момеке,— ответил Садык на приглашение и предложил войти первыми в юрту старшим по возрасту, говоря каждому: «Дорога вам, аксакал!»

Так, пропустив перед собой пять-шесть аксакалов, Садык перешагнул и сам порог нашей юрты.

Соблюдение Садыком этих тонкостей степного этикета произвело на всех благоприятное впечатление и расположило к нему каждого, кто при этом присутствовал.

Остальных гостей развели по другим юртам. Разумеется, я вбежал в нашу юрту последним и с изумлением остановился: мне показалось, что я попал в другой дом — так изменилась обстановка нашей юрты. Дядя цыкнул на меня:

— Эй, Бауржан, ступай в большую юрту.

— Он ваш наследник, Момеке? — спросил у отца Садык и с улыбкой посмотрел на меня.

— Да, мой сын, Садык, — ответил отец.

— Пусть остается с нами,— мягко остановил дядю Садык.— Было бы невежливо с моей стороны отказать в нашем обществе молодому человеку в его собственном доме, тем более, что он провел почти целый день вместе со мной.

Так Садык оградил меня от дядиного преследования. Я получил возможность спокойно начать осмотр поразившей меня новой обстановки нашей юрты. На полу, буквой «П», от самого порога были разостланы ковры, на коврах — атласные одеяла, по ним были разбросаны большие подушки, на стене юрты блестела развешанная посуда. В центре юрты была подвешена большая керосиновая лампа, которая ярко горела. По узорам я узнавал, какие вещи кому принадлежат.

Честолюбивый дядя мобилизовал напрокат все лучшее в нашем ауле и так украсил и обставил юрту, что наш дом производил впечатление самого богатого во всем округе.

Гости расселись, подобрав под себя ноги.

Хвастливый дядя любовался созданными уютом и красотой и, поглядывая на своего брата, явно напрашивался на одобрение, как бы говоря: «Каково, а? Хорошо устроил?»

Дядя так расставил людей, что все шло как по расписанию: сначала разносили воду в кувшине, и гости мыли руки, потом была расстелена большая скатерть. Одни рассыпали баурсаки, другие принесли бурдюк с кумысом, третьи подавали пиалы, наполненные кумысом, Все исполняли свои обязанности, не мешая друг другу, и, сделав то, что от них требовалось, бесшумно уходили.

Ужин начался с утоления жажды. За прохладным кумысом шла беседа о майском кокпаре, своеобразном соревновании на ловкость в верховой езде. Садык Абланов с тактом и знанием дела вставлял свои замечания, предоставляя последнее слово «главному судье»— Аккулы. Старик был на седьмом небе и на этот раз

мудро немногословен. Преклоняющийся перед Аккулы дядя невпопад пытался высказаться, но заметив обращенный к нему укоризненный взгляд старшего брата, поспешно вышел из юрты. Он вернулся через полчаса и, держа между ногами блеющего белого барана с черной головой, молитвенно протянул руки вверх в позе просителя «баты» — благословения.

— Аумиин? — произнес он.

Все с нескрываемой тревогой посмотрели в сторону большевика Садыка, так как «бата» было связано с религией и, как все старое, запрещалось другими ранее гостившими представителями власти.

Садык, поняв этот безмолвный вопрос, мягко улыбнулся в свои короткие черные усы и протянул молитвенно руки.

— Ака, ваша дорога старше моей, доставьте нам удовольствие услышать ваше благословение гостеприимному дому.

Аккулы, озадаченный, на миг задумался, но не растерялся, поднял молитвенно руки и начал нараспев:

О, создатель! Я к тебе обращаюсь первому. Пусть вечно сияет солнце над нашей замлей, как тебе это было угодно в этот день! Пусть народы процветают в счастье под этим солнцем и радуются жизни! Пусть юность ликует и резвится, и пусть старость пройдет в покое и довольствии, окруженная красотою жизни! Пусть будут равны перед тобою, как говорил сегодня Садык (при этих словах Садык смущенно глядел вниз), дети разных племен и народов из рода человеческого. Всели в их сердца доброту и братскую любовь друг к другу! Изничтожь бесов, сеющих дух вражды между людьми и народами! Наполни нашу степь сочными травами и жирными стадами! Дай нам богатый урожай! «Озелени подолы наших жен» и наполни юрты наши шаловливыми детьми! Одари наших джигитов крылатыми скакунами!..

Под конец старик, чуть смутившись, остановился, видимо не зная, как завершить свое благословение.

Все рассмеялись, ибо он запнулся именно на скакунах. Тогда Аккулы рявкнул: «Во имя бога!» И барана увели.

Все знали, что Аккулы никогда не отправлял религиозных обрядов, и поэтому его «благословение» не было похоже на обычное.

Садык, желая подбодрить смущенного Аккулы, не успев погасить улыбку в углах губ, произнес:

— Хорошо сказали вы, Ака, самые лучшие пожелания, и мы, коммунисты, народу желаем то же самое, что сказано вами.

— А мы не подозревали, Аккулы, за тобой такого поэтического таланта,— пошутил кто-то.

— Дух песни живет на седле, а не прячется в юбках,— отпарировал Аккулы, намекая, что пошутивший был известным бабником.

Все засмеялись.

— Но наш Ака мыслит не только как поэт, он у нас и политик,— сказал Садык и, как бы между прочим, добавил: — А ведь наша политика — это и есть сокровенные пожелания народа — братство и дружба между людьми при взаимном уважении друг друга. Вот, к примеру, взять русских. Простой мужик от зари до самой темноты трудится в поле, или возьмем рабочего, руками которого построена в нашем крае железная дорога. Они такие же люди, как и мы: на них никто не работает; свои хлеб и похлебку они зарабатывают своими руками.

— Твоя правда, Садык, русские любят и умеют работать...

— Дай же Садыку речь кончить.

— Русские — народ хороший, и если кто из них притеснял казахов, так это были царские чиновники. Теперь совсем другое стало: сами русские с трона свалили ненавистного царя.

— Значит, Ленин, выходит, правильный, прямой человек.

— Да,— сказал Садык,— наш Ленин— очень правильный человек...

— Что, он, Ленин, теперь самого царя заменяет? Раньше был Николай, а теперь Ленин, да? — спросил кто-то, на что Садык, улыбнувшись, ответил:

— Да, теперь Ленин, но он не царь, а вождь, он самый умный человек из всех правильных людей.

— Скажи, пожалуйста, Садык, вот твой брат, Избасар, как приезжает, начинает с того, что «аллаха нет», «вы — темнота», «вы ничего не понимаете», и когда кто-нибудь, у кого он остановился, по нашему обычаю, приводит барана и просит у него благословения, он махнет рукой и со злобой скажет: «Эх, темнота, уведите барана и режьте»... Царь царем, их много было, трон троном, а при чем же тут аллах — ведь он один. Зачем портить веру? Зачем портить обычай?

— Ты что развел здесь всякие неуместности? Избасар же родной брат Садыку,— прикрикнул Аккулы на вольнодумца.

Садык, широко улыбаясь, поднял правую руку, как бы оберегая говорившего от гнева Аккулы.

— Что вы, что вы, Ака! Зачем вы перебиваете правильную речь?

— А вот Ленин верует или не верует?— закончил свою речь вольнодумец.

— Я сам не встречался с Лениным, но те, кто знают его лучше меня, все говорят, что Ленин очень прямой и честный человек. Не знаю, верует ли он в бога, но он, как говорят все, очень верит в народ. Думаю, что поэтому за ним и пошли все.— Садык слегка улыбнулся и добавил: — В отношении брата я слов не имею, он мне приходится старшим. Но вы знаете, что Избасара осудили товарищи и сняли с работы...

Неловкую паузу нарушил Аккулы:

— Ай да молодец! Хорошо и правильно говоришь ты, Садык. Раз Ленин верует в народ — это самое главное.

— Раз Ленин в народ верит, то и народ его не подвел,— вставил вольнодумец. Им был тот самый наш аульный шутник и остряк Токмырза, веселый старик, постоянный тамада на вечеринках, однолошадный бедняк...

— Вы правильно говорите, Тока, вот я и приехал к вам, чтобы посоветоваться с вами, что и как делать, как нам следует жизнь направлять.

— Говори, Садык.

— Не знаю, годимся ли мы тебе в советники...

— Годитесь, я думаю, что очень годитесь. Мы се-

годня неплохо отпраздновали Первое мая — драли кокпар по вашему совету...

— Славный был праздник, Садык,— прервал его Аккулы,— теперь каждый год будем праздновать Первое мая!

— Ты что, Аккулы, каждый год хочешь получать майский приз? — пошутил Токмырза.

— Нет, я не такой жадный, как ты,— и, вынимая из-за пазухи красный шелковый платок, подаренный Садыком, Аккулы сказал: — Я буду беречь этот платок и в день Первого мая следующего года подарю его лучшему джигиту. Думаю, что ты к этому времени научишь своего сына не набивать спины коню,— отбрил он Токмырзу.

— Да что же вы сбиваете беседу с правильного пути! Дайте Садыку досказать свои слова. Он же у нас хотел совета просить,— вмешался отец.

— Да, я у вас, почтенные аксакалы, хочу совета просить... У вас за плечами много лет жизни, хочу, чтобы вы помогли мне лучше объяснить нашему народу новые порядки.

— А твои милиционеры почему зря губят лошадей? — вспыхнул Аккулы.— Несутся, как бешеные, хлещут бедное животное плетками. Если уж на твоего коня сел милиционер, не жди ничего доброго. Он обязательно должен только галопом скакать.

— Ну, Аккулы, тебе же насчет коней Садык еще днем ответ дал.

— Ты меня, Момыш, не учи когда что говорить... Я бы на месте Садыка давным-давно повесил бы этих шалопаев...

Под общий смех Садык спокойно ответил Аккулы.

— Я, Ака, милиционеров вешать, конечно, не буду, потому что советская власть и Ленин не разрешают этого делать. Но тех, кто из них дебоширит, видимо, придется отстранить от службы.

— Да, да, Садык,— взволновался Аккулы,—обязательно сними их с коня и вели им всю жизнь пешком ходить.

— Так и сделаю, Ака,— улыбаясь, ответил Садык.— Ака и все говорили правильно, хорошие мне

советы дали. Первое: решено в дальнейшем праздновать день Первого мая как день весны и радости. Второе: раз наши милиционеры обижают народ, значит, надо их обуздать. Спасибо вам, почтенные аксакалы, что вы сегодня своими советами помогли мне правильно решить два вопроса...

— Говори, Садык, говори,— вырвалось у сконфуженного гордого Аккулы,— прости меня, старого болтуна, и нас всех, кто задерживал в твоих устах хорошие слова.

— Есть еще два вопроса,— медленно произнес Садык.— Два вопроса есть, которые мне без вашего совета решить трудно...

— Говори, Садык...

— Я моложе всех вас, почтенные аксакалы, и я вам не старшим братом, а всего лишь младшим прихожусь. Надо с русскими людьми уладить наши отношения. До сих пор некоторые из наших горячих людей по старинке недолюбливают русских. Как ни базар, так и драку затевают...

— Что, Садык, теперь и в новое время поклон за поклоном прикажешь? Снова казацкую нагайку по моей спине разрешишь?..— задыхался Аккулы.— Нет, уволь, раз твой Ленин сказал: «все люди равны»,— я твоим русским шалопаям спуску не дам! Коль он не уважает мою седую бороду, ты, Садык, не держи мою плетку...

— А ты, Аккулы, сам старый казахский шалопай...— начал было отец.

— Ты в своем доме мне не учитель! Ты хочешь, чтобы я ушел...— крикнул отцу Аккулы.

— Ака, Ака! — умоляюще обратился Садык.— Если можете, уважьте мою просьбу. Раз мы хотим говорить серьезно, зачем же резкость и горячность?

— Аккулы, извини меня, я неуместное слово бросил. Давай послушаем Садыка,— сказал отец.

— То-то,— пробурчал Аккулы,— а ты, Момыш, не щекочи меня под ребром.

— Вот как бы нам по-хорошему, по-братски уладить все дела с простым русским человеком? Ведь,

Ака, как мне передали, Тимофей Водопьянов ваш друг? Разве это неправда?

— Тимошка? Он прямой и хороший человек, а вот его родня Иван — плохой человек.

— А мы с Кузьмой Гончаровым вместе землю пашем, сено вместе косим, другу к другу в гости ездим,— вставил отец,— мой брат у Гончаровых научился многому...

— Жагор меня спас в голодные годы,— сказал Токмырза...

— А мой Метрей хату мне построил...

Садык улыбался и слушал терпеливо высказывания по адресу русских.

— Тимошка, Кузьма, Жагор, Метрей и другие, по вашим же словам, хорошие люди, а вот родня Тимошки Иван — плохой человек,— расхохотался Садык и, обращаясь к Аккулы, спросил:

— А сколько же у русских хороших людей и сколько плохих?

— Выходит, хороших больше чем плохих. Да ну его, этого Ивана! — пробурчал Аккулы.

— А сколько у нас «казахских Иванов?»

— Что и говорить,— вмешался Токмырза,— и у нас всякой шантрапы хватает.

— Подумайте,— сказал Садык,— рассудите и дайте мне совет, как уладить взаимоотношения между русскими и казахами... Второй вопрос, по которому я хотел бы с вами посоветоваться,— это земля. Земли у нас много, а порядка в пользовании ею нет. Ленин сказал, что земля должна принадлежать тем, кто на ней работает. А как у нас? У одних больше, чем надо, а у других и клочка нет. Разве это справедливо? Вот и я хотел бы от вас услышать мудрые советы, почтенные аксакалы. И по этому вопросу я вас прошу подумать и через два-три дня дать мне совет от имени общества.

— Твоя правда, Садык, твоя правда,— загудели в юрте,— дай нам время посоветоваться, а потом сказать свое слово...

Далее Садык непринужденно и весело рассказал, как он сидел в тюрьме, отбывал ссылку в Сибири,

рассказал о восстании казахов в 1916 году, тепло говорил о своих русских товарищах.

Я, примостившись около отца, слушал его, затаив дыхание, но мой детский ум не все воспринимал.

Приемы и проводы Садыка в нашем доме помнятся мне до сих пор: они были самыми интересными и многолюдными.

Дядя в этот вечер показал себя как энергичный и умелый организатор, и с тех пор бразды правления домом перешли в его руки.

Весь вечер и всю ночь также стихийно, как кокпар после митинга, возникали айтысы в честь Первого мая. Садык и Аккулы впервые в нашей волости превратили май во всенародный праздник, а в последующие годы это уже стало традицией.

* * *

Собственническое отношение к земле возникло у казахов лишь с появлением в наших краях русских переселенцев, за которыми царское правительство закрепляло лучшие угодья, отбирая их у казахов.

Была установлена межа. Русские крестьяне страдали от табунов и отар, что бродили по степи без особого присмотра. Тогда русские, чтобы приучить казахов следить за своим скотом, поставили на своих землях объездчиков. Объездчики угоняли скот, который переходил межу, и возвращали его только после уплаты штрафа натурой. Размер штрафа устанавливали русские.

Казахи недоумевали:

«Божья земля, божья трава, божий скот?»

Русские недоумевали в свою очередь:

«Моя земля, мои травы, мой посев! Как казахи не понимают, что это мое!»

Русские объездчики стали злоупотреблять доверием общества и довольно часто угоняли скот, даже не побывавший на крестьянских угодьях. Несправедливость эта возмущала казахов, они устраивали погони и отбивали свой скот силой.

Тогда объездчики вооружились дробовиками. Взаимные столкновения обострились. Часто споры кончались дракой, бывали даже убийства. Казах в каждом русском начал видеть своего притеснителя, прогнавшего его с исконной отцовской земли. Русские переселенцы в лице казахов видели обидчиков, которые своими бесчисленными стадами травили посевы, уничтожали плоды их тяжелого труда. Интересы обеих сторон страдали, и обе стороны были по-своему правы.

Так земля стала причиной раздора между русскими и казахами.

На стороне русских была колониальная политика царизма, и это довлело над всем. На новой земле в деревнях переселенцев кулаки росли, как грибы, они, как голодные волки, набрасывались на «свободные» земли. Земельные уделы казахов все более ограничивались. Тогда, чтобы земля не оставалась «свободной», небогатые казахи начали оседать. По примеру русских, они стали обрабатывать землю и косить травы на корм для скота. Так казах постепенно стал привязывать себя к земле, зараженный стихией собственничества: «Моя земля, мой сенокос, мои посевы!»

Я родился, когда у казахов утвердилось это слово «мое», выражавшее новое отношение к земле. Земля давала зерно и фрукты, которые можно было не только есть, но и продавать за деньги. Деньги стали волшебной силой, на них можно было купить все.

Казахи робко попытались эксплоатировать землю. Появились покупатели и арендаторы. Возникли спрос на землю и продажа ее. Правда, на пастбища частная собственность не распространялась у казахов до самых последних дней. Объектом купли и продажи были пахотноспособные земли и сенокосы. Но казах еще долгое время не мог привыкнуть к этому и считал зазорным продавать землю и травы, и многие их просто уступали безвозмездно тем, кто нуждался в пашне и лугах. Время, однако, брало свое, и постепенно возник своеобразный «мандат» — «Ата коныс жерим» («Стан моих предков»), ставший основой права собственности на землю. «Стан моих предков» длинной

полосой тянулся по маршруту, некогда бывшему путем кочевий предков.

Итак, собственность на землю у казахов возникла сначала как общинно-родовая, а потом постепенно становилась подродовой и, наконец, частной. Появились земельные банки, выдававшие ссуды под это недвижимое имущество.

Позже борьба за землю и владение ею велась уже не только с русскими, но и между казахами. Земельно-водные конфликты все разрастались и тянулись вплоть до коллективизации. К началу революции и среди казахских декхан уже имелись безземельные и малоземельные, распродавшие за гроши когда-то полученные им наделы из «стана предков», и богатые землевладельцы, прибравшие к рукам земельные наделы бедняков.

Наша семья владела пятьюдесятью десятинами пахотной земли из «стана предков». Отец из-за суеверия бабушки и своего собственного не разрешал себе ни купли, ни продажи. Легкомысленный же дядя однажды, еще при жизни бабушки, в один из трудных годов предложил продать часть земли, за что бабушка гневно прикрикнула на него:

— В тебе, видно, злой дух сидит, щенок! От меня трое сыновей, от вас будет по трое, от них если будет по трое, куда тогда прикажешь правнукам моим деваться?! Ты первый из нашего поколения заикнулся о продаже божьей земли, типун тебе на язык!

После этой сцены я не слыхал в нашей семье ни одного слова о продаже или сдаче в аренду земли, и это завещание бабушки не нарушалось вплоть до земельной реформы.

На собрание по вопросу о земле, которое проводил Садык, дядя меня не пустил: «Иди, играй с детьми да присматривай за ягнятами, как другие мальчишки!» На мой жалобный взгляд отец отвернулся и тем самым подтвердил приказ дяди.

Земельная реформа, или как ее называли казахи «жер белу»— раздел земли, продолжалась в течение всей первой половины мая 1921 года. Это было второе крупное политическое мероприятие Советов после вве-

дения новой избирательной системы. Во все стороны, из аула в аул, с собрания на собрание то и дело носились верховые. Борьба развертывалась вокруг «Атаконыс» («Стана предков») сначала между родами, потом между подродами, далее она перерастала в борьбу между отдельными семьями, у которых был общий дед или прадед. Разгоралось страстное пламя родовой распри из-за «божьей» земли.

Садык лавировал между этими волнами средневековья, что гнали друг друга и рождались одна от другой. Быть может, ему и приходилось хлебнуть «соленой воды», но он был утесом на новом берегу, к которому, обгоняя друг друга, неслись волны, разбивались о него и, падая к подножью, пытались снова биться, но они уже были пенистые и слабые.

Садык, как человек большого такта, настойчиво проводя свою линию, давал казахам возможность успокоиться самим от разыгравшейся в них родовой вражды. Он терпеливо ждал, когда уставшие в этой борьбе люди сами обратятся к нему, чтобы заговорило слово закона. Он ждал, когда они сами с радостью начнут делать то, против чего так бурно протестовали и чему сопротивлялись.

«Золото — на дне терпения», «Терпеливый дойдет до цели, а поспешивший лишь пожнет стыд».

Да, Садык не торопился, не перегибал. Советом и терпением он уничтожал пережитки, которые плавно сгибались перед законом. Он терпеливо ждал момента, когда его «так надо» не будет раздражать, и народ сам скажет: «Так этому и быть!»

* * *

Однажды дядя вернулся к обеду с зимовки, куда он ездил выполнять какие-то хозяйственные работы, и лег отдыхать. Мне он велел чисто подмести наш загон, и я выполнял его поручение со всей тщательностью. Напевая какую-то песенку себе под нос, я так увлекся своим занятием, что опомнился только тогда, когда толпа во главе с Аккулы, вооруженная палками, была недалеко.

— Эй! Подлый кобель, Момынкул, выходи на суд праведный! — крикнул Аккулы.

Вид возбужденной толпы, сопровождавшей Аккулы, и его свирепый голос так напугали меня, что я стремглав бросился в юрту, где спал дядя, и с дрожью в голосе начал его будить.

— Дядя! Дядя! Аккулы пришел тебя побить!

Спросонья дядя ничего не понял. Он вскочил и пробормотал:

— А?.. Что ты глупости несешь?

В это время донеслись голоса:

— Ага! Ты трусишь, заячья душонка! Выходи, говорят тебе, живо!

— Не прикрывайся под родным шанраком! А ну выходи!

— Мы размозжим твою дурную башку!

По нашим обычаям, драка в юрте была не принята, поэтому группа Аккулы стояла в двадцати шагах от юрты, выкрикивая свои угрозы и занимая позицию для боя.

По этим же неписанным законам, преследуемый мог всегда найти убежище в любой юрте, куда ему удавалось укрыться от своего преследователя. Ворваться в юрту считалось оскорблением чести очага, где варится «неподеленный удел» наших общих предков. Если преследователь не унимался, то его упрекали в неуважении к крову, под которым проживали сородичи его же предков. «Даже воробей находит убежище под кустом. А что для тебя моя юрта? Она ничто по сравнению с кустом!»— говорили преследователю, требовавшему выдачи его врага.

— Трус! Трус! Трус!—кричал старший сын Аккулы широколицый, большеротый Жаксыбай, с искаженным от гнева лицом, напоминавшим маску безобразных буддийских божков.

Я помню, как его слова задели меня за живое, и, преодолевая страх, я выбежал из юрты и крикнул толпе:

— Он не трус! Он спал, и сейчас оденется и выйдет!

— Ах, мелочь, марш свои шары катать!— прикрикнул на меня Жаксыбай.

Испугавшись его страшного вида, я шмыгнул в юрту.

Дядя поспешно одевался, то и дело откликаясь на брань:

— Сейчас! Сейчас я выйду, чтобы наполнить кровью твой поганый рот!

Быстро оглядев юрту и не найдя ничего подходящего для боя, дядя с голыми руками выбежал наружу, крикнув противникам:

— Вот и я!

В то же мгновение аккуловцы набросились на него с палками, посыпались удары, послышались крики.

Аккулы, как полководец, стоял в стороне, наблюдая за избиением моего дяди и размахивая палкой.

Дядя, прикрыв голову руками, отбивался ногами, нанося удары. Меня трясло, как в лихорадке, от бессильной злости и жалости к дяде. Меня душил гнев возмущения этим неравным боем.

Наши женщины закричали, но их возгласы и плач потонули в крике дерущихся.

Вдруг дядя вырвал у одного из нападающих палку и прорвался сквозь кольцо окружения. Отбежав в сторону, он круто повернулся и с разбегу, как коршун, напал на аккуловцев. Он так сноровисто и ловко работал палкой, что она мелькала, как у жонглера. Он выбивал оружие из рук противника и, обезоружив троих, начал яростно колотить поодиночке остальных. Последним был свален крепким ударом Жаксыбай.

Я злорадствовал, я упивался поражением аккуловцев.

«Старый полководец», увидев, как его сын растянулся на земле, сам бросился на моего дядю. Дядя отбросил в сторону свою палку и встал против подбежавшего старика, расставив ноги и заложив руки назад. Аккулы с размаху ударил дядю палкой по голове. Из рассеченного лба хлынула кровь и залила все лицо Момынкула. Аккулы размахнулся палкой еще раз, но затем опустил ее и, закрыв лицо руками, отвернулся и пошел согбенный в направлении своего аула, ни разу

не оглянувшись на нас. Битые его «воины» один за другим поплелись за ним.

Дядя с окровавленным лицом подошел к очагу, отрезал кусок кошмы, подпалил ее и начал прикладывать дымящуюся, с едким запахом, шерсть к своей ране.

Вечером приехал отец. Мы наперебой начали рассказывать ему о «сражении», которое разыгралось возле нашей юрты. Дядя долго убеждал отца, что он ничего не знает о причине такого нашествия. Отец только укоризненно покачивал головой...

Выяснилось, что причиной послужила улика: в одной из многих лощин на сенокосном угодье была злосчастная яма с густой и высокой травой. В глухом месте трава была повалена и прибита к земле,— там кто-то лежал. Один из проезжающих мимо заметил это и обратил внимание, вспомнив, что когда он подъезжал, то видел издали, как мой дядя проходил через эту балку, а спустя некоторое время оттуда вышла женщина — жена Жаксыбая. Этот человек сделал неопровержимый вывод, что помятая трава могла быть только следом прелюбодеяния моего дяди и жены Жаксыбая. Он счел своим долгом немедленно оповестить всех о своих подозрениях.

После происшедшего сражения между двумя соседними аулами началась «холодная война»! Общение было прервано. Так продолжалось целую неделю.

Избитая мужем бедная женщина нашла приют в юрте своей подруги, и последняя, пользуясь правом «святости» шанрака, не выдавала ее мужу, который жаждал мести.

Аккулы прислал к моему отцу человека с просьбой разрешить конфликт, оформить развод его сына со снохой и привлечь виновных к ответу, как нарушивших святость и неприкосновенность брака. Отец ответил, что ему ничего неизвестно о вине брата и этой женщины. Так как истцом был Аккулы, и именно он на старости лет заварил эту кашу, то за ним остается право приглашать судей для разбора дела. Что же касается его самого, то он явится на суд как ответчик, по вызову. Суд состоялся через две недели после происшест-

вия. По обычаю, судьи были старейшими из нейтрального подрода, имеющими одинаковое родственное отношение к сторонам. Председательствовал старший из них — Жаримбет. Высокий и тучный, он смотрел на всех исподлобья и был очень мрачен.

Группа истцов — ближайшие родичи Аккулы — сидела с правой стороны, а ответчики — с левой стороны. Как полагалось, женщины в судебное присутствие при таких важных делах не допускались.

— Много бывает печальных историй и горя в жизни человека,— начал Жаримбет.— Человек греховен, но каждый, совершивший грех по своей молодости, должен раскаяться и своим искренним признанием смыть горечь вражды, что возникла между родней... Вы,— обратился он к сторонам,— дети одного отца и матери, люди очень близкие... На мою долю выпала тяжелая обязанность — примирить вас, братьев, по столь непозволительному для родни спору. Говорите правду, помогите мне найти правильное для вас слово. Первым говори ты, Аккулы.

Аккулы насупился и, ткнув концом камчи в землю, начал:

— Что же тут говорить, Жареке? Дело известное, оно черным позором лежит на мне, и я не могу поднять глаза и открыто посмотреть на свет!— Внезапно Аккулы вспыхнул и, размахивая плетью, стал выкрикивать:— Этот нечистый кобель осквернил честь моей семьи, честь моего рода. Словно дегтем поганым загрязнил мою седую бороду!..

— Если ты, Аккулы, намерен браниться,— строго прервал его Жаримбет,—или снова, на моих глазах, затеять драку, то попроси лучше нас удалиться из твоего аула!

Аккулы смутился. Жаримбет посмотрел на него и уже более мягко, сочувственным тоном добавил:

— Подумай, Аккулы! Ты сам, слава богу, покрылся серебром седины, имей же уважение и к нашим белым бородам.

Аккулы молчал.

— Говори, Момыш,—обратился Жаримбет к моему отцу.

— Я, Жареке, сожалею, что не могу вам рассказать все обстоятельства этого дела, ибо все совершилось в мое отсутствие. Поэтому пусть мой брат отвечает за себя, он для этого уже достаточно взрослый.

— Говори, Момынкул,— обратился Жаримбет к дяде.

Дядя не растерялся и, встав в почтительной позе, начал:

— Жареке! Я не смею судиться с Аккулы, он мне— старший брат и мой учитель. Только могу сказать вам, что этот печальный случай является просто недоразумением, рожденным злым языком: я и эта бедная женщина — совершенно невинны, и подозрение на нас — сущая несправедливость.

— Я презираю тебя, щенок!— крикнул Аккулы.

Жаримбет строго посмотрел на него и сказал:

— Может быть, ты сядешь на мое место, Аккулы?

Аккулы снова умолк. Воспользовавшись этим, дядя продолжал:

— Я вас любил и люблю больше родного брата, Ака,— сказал дядя, поправляя на лбу повязку.— Вы, конечно, можете думать обо мне, что угодно, но я уверен, что злые люди ввели вас в заблуждение. Моя совесть перед вами чиста. С вами я не дрался и не в обиде на вас за то, что вы мне тогда рассекли лоб... от остальных я только защищался...

— Я тебя не обвиняю, что ты побил всех этих...— Аккулы с презрением посмотрел на своих подручных. —Всех этих!—Он запнулся и впился взглядом полным ненависти в своих помощников.—Гнилье! Гнилье! — крикнул он в бешенстве.

Дядя, отвечая на вопросы Жаримбета, с тем же спокойствием рассказал со всеми подробностями, как произошло «сражение». Жаримбет, внимательно выслушав его, нахмурился, сдвинув седые брови. Потом он бросил зло взгляд на Аккулы и наконец сказал:

— Почему ты, Аккулы, разрешил себе напасть на безоружного?! Десятку — на одного человека? Это твоя первая вина! Почему ты, Аккулы, сам напал и нанес удар человеку, который из уважения к твоему воз-

расту отказался поднять на тебя руку и бросил свою палку? Это твоя вторая вина!

Аккулы молчал, низко опустив голову.

Вдруг из крайней юрты показалась стройная женщина в праздничной одежде. К удивлению всех, она направилась к запрещенному для женщины месту суда. Аккулы узнал в ней свою сноху и замахал руками, в растерянности, умоляющим голосом упрашивая:

— Назад! Назад, дитя мое! Назад, дитя мое!

Да, в его голосе скорее звучала просьба, чем приказ, но женщина с гордо поднятой головой продолжала идти решительным шагом.

Подойдя ближе, она отвесила низкие поклоны старикам, с презрением посмотрела на мужа, который сидел возле своего отца, и, бледная, с блестящими от гнева глазами, начала:

— Светлый отец!— обратилась она к Жаримбету. Ее движения и голос были до того решительны, что никто от изумления не мог перебить ее.— Я тоже дитя своих родителей! Не моя вина, что я родилась женщиной, но я не стыжусь, что я женщина. Вы — отец своих детей. Разве вы меньше любите свою дочь, чем сына? Разве для вашего родительского сердца и чувства не все ваши дети были равными?! Разве ваши снохи не приносят вам счастья, рожая вам внуков?! Я пришла сюда, как ваше дитя. Надеюсь, что мой приход не оскорбит вас, аксакал. Да, я слабая и беспомощная женщина. Я одна, и некому заступиться за меня. Вот почему любому мужчине легко побить меня. Не трудно вам прогнать меня отсюда. Но найдете ли вы в себе силы выслушать меня?

Все эти слова она говорила четко и раздельно, еле сдерживая гнев, голосом, каким может говорить только правый человек. Вид у нее был торжественный, она была вся подтянута и собрана, она вся была олицетворением протеста. В ее одежде ничего не было лишнего, даже глупые безделушки и украшения не привлекали и не манили мужские глаза. Все превратилось в ее оружие. Бледное, как полотно, лицо с мраморно-синеватым оттенком под глазами выражало волю и решительность.

Жаримбет, как и все собрание, был загипнотизирован этой смелой женщиной. Он смотрел ей прямо в глаза, но она не отводила их, блестевших от гнева и возмущения.

— Говори, мое дитя, говори! — сказал Жаримбет в растерянности, поглаживая обеими руками бороду.

— Я пришла,— сказала Зейнеп голосом, полным достоинства.—Я пришла не судиться. Если в этом будет необходимость и истцы доведут дело до этого, то на это есть другой суд, суд власти, советский суд, где я по новому закону, как равная с мужчинами, смогу защитить свои права. Я пришла, чтобы объявить перед вами моему мужу свое решение. По его стараниям, наши с ним отношения стали гласными для всех. Я оскорблена незаслуженно. Власть мне дала право на полную свободу, и я решила воспользоваться этим, предоставленным мне законом правом: я решила уйти от своего мужа.

Вздох пронесся после ее слов по рядам сидевших.

— Я пришла поблагодарить вас и проститься с вами, ата!— обратилась она к Аккулы.

— Что вы, что вы, дитя!—голос Аккулы задрожал, но Зейнеп не слышала его слов; она обратилась к Жаримбету:

— Не можете ли вы, ата, велеть кому-нибудь проводить меня до моего аула, где я родилась? — Затем она, посмотрев в упор на мужа, бросила ему:— А к вам в дом я живой никогда не войду!

Еще раз извинившись перед стариками, она ушла в юрту, провожаемая изумленными взглядами присутствующих.

Все долго молчали. Жаримбет в затруднении перебирал пальцами. Наконец, он промолвил:

— Бедное дитя, как она оскорблена! — Потом он приказал отвести ее в аул.— Пусть она там немного поживет, успокоится, одумается! Я под старость лет не могу отказать в просьбе беспомощной женщине.

Возвращаясь домой, каждый из нас по-своему переживал выступление Зейнеп... Вдруг мне показалось, что за моей спиной раздался голос бабушки: «Хоть ты и дурак, но вел себя сегодня, как умный!»

Я оглянулся, думая, что увижу мою бабушку, и был очень удивлен: эти слова говорил мой отец своему брату, шедшему с ним рядом.

Дело Зейнеп тянулось более года. Шли бесконечные переговоры, но она была неумолима и настояла на своем, прекратив тяжбу тем, что вскоре вышла замуж по своему выбору и без калыма. Аккулы же до конца своей жизни переживал уход Зейнеп.

История с Зейнеп была самой нашумевшей в нашем округе. Когда Аккулы по этому вопросу обратился к Садыку Абланову, тот вежливо выпроводил его из своего кабинета, выразив соболезнование и сожаление, что он ничем помочь ему не может, и отослал его к самой Зейнеп — первой женщине в нашем округе, отстоявшей свои права по новому закону, воспользовавшейся равноправием, предоставленным ей советским законом.

* * *

Гончаровы работали с нами на сенокосе.

В назначенный день они приезжали на двух бричках — с косами, вилами, молотками, брусками и прочими инструментами, необходимыми для сенокоса. Вся семья Гончаровых ходила босиком, только старик был в сапогах, отравляя воздух запахом дегтя. Его сыновья носили короткие холщовые рубахи без пояса. Босоногие женщины были повязаны белыми платками. В широких холщовых рубахах возились они со своими походно-кухонными погремушками и налаживали ручные деревянные грабли. Их волосы выгорели на солнце, и мне казалось, что это не женские волосы, а пучки конопли. Наши женщины с брезгливостью смотрели на голые ноги гончарих и между собой шептали, осуждая их: «Да быть тебе в темнице, неверная!», «Как ей не стыдно голоногой ходить! Тьфу, бесстыжая!»

...По приезду Гончаровы отказались от угощения: торопили наших поскорее ехать на сенокос.

— Работать надо, Момыш,— говорил старик Гончаров,— бесбармак поесть успеем!

До сенокоса было недалеко — всего километра три.

Отец и дядя поехали верхом, а я попросился к Гончаровым, в их огромную арбу. Я впервые ехал на арбе и поэтому не без волнения уселся сзади. Когда арба тронулась с места и затарахтела по дороге, я вцепился в край ящика. Заметив мой страх, женщины засмеялись и начали меня успокаивать. Василий, чтобы подбодрить меня и одновременно похвастаться, начал ходить взад и вперед по арбе, как бы говоря мне: «Смотри, смотри, какой я молодец!» Но тут Тишко гикнул на своих гнедых, и лошади прибавили шагу. Я еще крепче уцепился за край ящика.

— Тишко, ты что! — крикнула Манька.— Погоняй тихонько, а то у киргизенка глаз лопне!

Тишко обернулся в мою сторону и, засмеявшись, натянул вожжи. Кони остановились, а я как угорелый выскочил из арбы и побежал прочь. Василий догнал меня, схватил за руку и, уговаривая, начал тащить к арбе. Я упирался...

— Василь! — крикнула ему Манька.— Да брось ты этого чертенка, поехали!

Василий, разозлившись, ударил меня по лицу и побежал к своим. Я бросился за ним, догнал его и вцепился в рубашку... Мы дрались отчаянно. Подошел Тишко, дал нам по тумаку и, разняв нас, увел своего брата к повозке.

Я стал вслед им кидать камни. Один из них угодил в Маньку. Та завизжала, в мою сторону посыпалось вроде: «Киргизенок! Чертяка! Сатана!» Я тут же запомнил ее слова и в ответ начал чертыхаться. Повидимому, я до того искажал русскую ругань, что все не могли удержаться от смеха. На этом состоялось примирение. Тишко подтолкнул меня к Василию, а потом посадил рядом с собой.

Луг наш — большой и ровный. Гончаровы распрягли лошадей и тут же взялись за косы. Старик пригласил к себе моего отца и, усевшись на землю, начал показывать, как надо отбивать косу, а Мефодий учил дядю точить косу бруском и подгонять по росту рукоятку. Вскоре все косы были отбиты и отточены.

Старик Кузьма взялся за косу, примерился, взмахнул ею по воздуху, постучал молотком, что-то подправ-

ляя, и пошел косить. Широко расставив ноги, он высоко взмахнул косой и опустил ее, чуть сгибая корпус. Коса змеей спряталась в густую траву, раздался как бы скрежет, и, слегка колыхнувшись, трава повалилась волной к ногам Кузьмы. С каждым взмахом косы старик медленно продвигался вперед. Пройдя шагов десять, он остановился и крикнул старшему сыну:

— Сашко! Що ты косу посадив недобре и рукоятку трохи сдвинул, аж можно хребет поломать!

Сашко подбежал к отцу с молотком и начал налаживать косу, приговаривая:

— Сейчас, батько, сейчас наладимо, як бритва буде...

— Роби сынок, роби гарно,— бормотал старик ласково.

Сашко ловко стучал, подгоняя клинья, коса при каждом ударе молотка издавала протяжный мелодичный звон. Затем он отпустил рукоять и начал передвигать ее по черенку.

— Трохи повыше, сынок,— наставлял старик.

— Я так и роблю, батько,— отвечал ему Сашко, поплевывая на рукоять и затягивая сыромятным ремнем. Затянув сыромятину, он проверил крепость рукоятки, покачав в разные стороны.

— Теперича гарно, батько, побачьте, як зробил.

Старик взял косу и, примерившись, широко размахнулся, посмотрел на сына и похвалил:

— Добре, сынок, добре!

Он пошел к уже начатому им ряду и, почти не сгибаясь, начал плавно косить. У него теперь работали лишь руки. Высокий взмах, коса плавно падала, срезая под самый корень траву, которая с легким свистом покорно ложилась в ряд. Пройдя таким образом шагов сто, Гончаров крикнул сыновьям:

— Ну-ка, хлопцы, начинайте!

По этой команде и Сашко, и Мефодий, и Тишко взялись за косы. Первым пошел старший — Сашко. Когда он прошел шага два-три, размахнулся косой Мефодий, потом Тишко, а за ним и мой дядя.

Старик стоял, поджидая их, то и дело покрикивая на косарей:

— Легонько Сашко!
— Як ты размахнувся, Мефодий!
— Бери ровней, Тишко!
— Момынкул, ты погано косишь, що сгорбився!

Четверка шла все слаженнее и слаженнее. Дядя мой старался изо всех сил, но у него не получалось, как у других косарей. Старик, не выдержав неловкости силача — «разрушителя гор», подошел к нему и отобрал косу, потом пошел ровным, плавным шагом за своими сыновьями. Так же ровно и плавно ложилась к его ногам трава. Шагов через пятнадцать он остановился и, возвращая косу дяде, сказал:

— Вот як надо робить, Момынкул! Що ты силы дарма тратишь?

Тишко перевел эти слова своего отца дяде.

Гончаровы продолжали свой легкий и ровный шаг. Дядя, правда, не отставал от них, но был весь в поту. Он настолько устал, что его коса виляла в воздухе и часто тыкалась концом в землю.

Так прошли второй, прошли третий ряд. Дядя обливался потом и шел к началу нового ряда усталый, задыхаясь и вытирая мокрый лоб. Гончаровы же шли как ни в чем не бывало — спокойно и ровно.

В середине четвертого ряда дядина коса врезалась в землю, и у него в руках остался лишь обломок рукоятки. Да и сам он, потеряв равновесие, чуть не уткнулся носом в землю. Конечно, коса не выдержала его грубой силы и сломалась.

Кузьма начал кричать на дядю, называя его единственным словом, которое старик познал в казахской лексике: «Ахмак!»—дурак. Потом, быстро жестикулируя, он заговорил по-русски, обращаясь к своим сыновьям. Тишко не успевал переводить слова своего взволнованного отца, который часто перебивал его. Я снова услышал слова: «Черт! Сатана!» Дядя, виновато потупившись, стоял перед стариком и бормотал что-то по-казахски, но слов я не разобрал.

— Отец говорит,— переводил Тишко, когда старик, выпалив все гневные слова, отошел в сторону,— что Момынкул — большой дурак, у него башка мала-ма-

ла работает, он может поломать не только косу, но и бричку.

Дядя услышав, что старик отдает должное его силе, широко улыбнулся и попросил Тишко передать старику, что он завтра поедет на базар и купит несколько запасных кос для себя, ибо, видно, ему еще не одну косу придется поломать, пока научится, но он просит Кузьму, чтобы тот делал ему почаще замечания, если он не будет справляться со своей работой.

Кузьма смягчился и предложил дяде свою косу. Не отставая от него ни на один шаг, Кузьма наставлял его при каждом взмахе.

Отец выполнял обязанности кузнеца и, сидя под тенью телеги, отбивал косы на наковальне. Мы с Василием носились по полю за бабочками, позабыв, что еще несколько часов тому назад подрались и были врагами.

На нас лежала обязанность следить за лошадьми, которые паслись на лугу.

Затем Василий стал рассказывать мне, как звонят в церкви. В это время звонарь начал усердствовать, и звон колоколов деревенской церквушки доносился к нам, как отдаленная мелодия. Мы прислушивались к стройному хору колоколов. Я внимательно слушал объяснения Василия. Когда доносилось к нам басовое протяжное «б-у-ум-м», Василий говорил, что это ударили в самый большой колокол. Но вот звонарь брал все выше и выше, взбирался на самые высокие ноты по своей веревочной клавиатуре, наполняя трезвоном всю степь.

— Слышишь, слышишь?..— кричал Василий.— Слышишь, вот это маленький, а этот еще поменьше голос подает, а вот этот самый махонький! Слышишь, дзинь, дзинь! — он щелкал пальцами в такт ударам колоколов.

Мы пришли к обоюдному выводу, что лучше всех поет самый маленький колокол, издающий такой нежный перезвон.

Я спросил Василия:

— А можно мне будет поехать в деревню и колокола посмотреть?

— Нет, батько в церковь басурманов не пускает!

Я спросил, почему его батька не пускает в церковь мусульман. В ответ Василий рассмеялся и объяснил, что говорил не о своем родном батьке, а о русском мулле. Мне сделалось грустно от ответа Василия, так хотелось посмотреть на русскую церковь, а главное— на маленькие колокола.

Василий свободно объяснялся на казахском языке, правда, несколько хуже своего брата Тишко. Остальные же из семьи Гончаровых были «немыми», как говорили у нас в ауле, потому, что они, не зная казахского языка, объяснялись мимикой и жестами, когда отсутствовали Тишко и Василий.

Мы лежали с Василием в траве. Навес, образовавшийся из густых и высоких трав, как шатер спасал нас от солнцепека. Кони паслись на лугу, люди косили. Изредка к нам доносилось лязганье кос, когда они натыкались на грубые сорняки, да еще режущий свист, когда Сашко ловко и быстро точил притупившуюся косу.

Лежа в высокой траве, мы с Василием говорили обо всем на свете. Вдруг Василий спохватился и, что-то вспомнив, перевернулся на другой бок, засунув руку в карман своих штанишек.

— На! —и он насыпал мне в ладонь полную горсть жареных семечек. Семена подсолнуха у нас почему-то называли «фисташками». Василий достал и для себя семечек и начал их быстро лузгать, сплевывая шелуху себе под нос.

Я никогда раньше не пробовал семечки, но от угощенья друга не смел отказаться. Набрав их полный рот, я начал старательно жевать, не догадываясь, что их надо лузгать, кончиком языка отделять зернышки от шелухи и выплевывать шелуху, как это виртуозно проделывал Василий. Я старательно прожевал все, что было во рту и выплюнул колючий комок. Василий отпрянул от меня, посмотрел вопросительно и с удивлением, потом дико расхохотался и, вперемежку бросая русские и казахские слова, что-то начал говорить. Но я ничего в его мычанье не понял. Он смеялся долго и громко, потом, еле удерживая приступ смеха, стал ме-

ня обучать, как надо лузгать семечки. Я долго упражнялся в этом, а Василий уже кончал всю свою порцию. Проглотив несколько раз шелуху вместо зернышек, я все же одолел угощение Василия, но от вновь предложенной горсточки отказался: у меня болел кончик языка.

— Василь, Василь!

Крик старика Кузьмы заставил нас встрепенуться. Василий вскочил на зов отца.

— А-а-у-у! Я здесь!..

Старик стал бранить сына за то, что мы забыли о конях, а те, наевшись сочной травы, начали валяться на лугу. Василий стрелой помчался и с гиком, свистом погнал их с луга. Кузьма еще долго бранился, грозил кулаком, что-то кричал нам вслед.

Больше половины луга уже было скошено. Скошенная трава лежала, как гребни застывших волн.

Женщины варили обед. Из-под повозки доносился стук молотка отца, отбивающего косы. Кузьма вернулся к косарям и, как вожак, встал во главе и ровным шагом, тяжело передвигая ноги при каждом взмахе, двинулся вперед, за ним уступами пошли другие. Вся пятерка шла стройно, ритмично передвигаясь, словно они шли по льду, и как бы по команде, одновременно поднимая и опуская косы.

К полудню пятерка добилась полной слаженности, мой дядя, как и прежде, шел замыкающим.

—.Смотри,— дернул меня за рукав Василий,— как Момынкул стал хорошо косить!

Да, мой дядя теперь не ежился, не тужился, как прежде, а шел прямо и свободно, как будто он выполнял привычные упражнения. Я вспомнил, как еще недавно Кузьма называл его дураком.

— Ха, мой батька всех обзывает дураками!

— А он бьет тебя? — спросил я Василия, вспомнив, как его отец свирепо грозил кулаком.— Очень бьет, да?

— Бьет! — подтвердил Василий с иронической усмешкой и классическим спокойствием.— Бьет,— повторил он.— Но я такого стрекача даю! И появляюсь лишь тогда, когда он забывает, что хотел меня побить.

— А ты не ходи к нему сейчас, а то он тебя поколотит.

— Нет,— уверенно ответил Василий.— Мой батько уже забыл, что мы с тобой проглядели коней. А твой батько,— спросил в свою очередь Василий,— бьет тебя?

— Мой отец ни разу не бил меня,— гордо ответил я.

— А ты кого больше боишься: батько или дядю?— допрашивал Василий.

Я ответил, что больше боюсь дядю.

— А я своих братанов ни вот столечко не боюсь,— заявил Василий.— Ежели только они посмеют меня тронуть, батько завсегда за меня заступается.

Солнце стояло в зените и пронизывало все вокруг прямыми, как иглы, лучами. Было ослепительно ярко, и жара стояла такая, что даже мухи и кузнечики облепили траву с теневой стороны...

Кузьма дал «отбой». Косари, усталые и распаренные, вяло шагали к телегам. Разморенные, они бросались на свежую траву в тень от телег.

Мы поехали к себе домой, отказавшись от обеда у Гончаровых.

Гончаровы вернулись убирать сено через неделю.

Казахи обычно не складывали сено в стога прямо в поле, как это делали русские, а вязали его в небольшие снопы, а потом складывали на крыши, и каждый стог, сложенный на крыше или в загоне, измерялся количеством снопов. «В этом стоге тысяча снопов»,— говорили наши. Сложенный стог служил измерителем порции корма для лошади. Казах знал, что на день ему надо выдать скотине столько-то снопов сена, чтобы растянуть корм до зелени, когда скоту можно будет кормиться свежей травой.

...Трава, лежащая на лугу в рядках, пожелтела, подсохла. Гончаровы приехали на телегах укладывать сено, наши работали с ними.

— Ну что, Момыш, будем скирдовать? — спросил Кузьма.

Отец, соглашаясь с ним, кивнул головой, но дядя,

обойдя своего старшего брата, поспешил обратиться к переводчику Тишко со словами:

— Я буду по-нашему — вязать снопы, а вы скирдуйте по-своему.

Тишко перевел. Кузьма, нахмурившись, сердито ответил:

— Що це таке, кто тут хозяин, Момыш, чи вин?— и он развел руками, взглянув на отца.

Отец объяснил, через Тишко, что Момынкул ведет хозяйство, и уход за скотом лежит на нем, поэтому пусть он убирает сено, как он считает удобным для себя.

Тишко долго объяснял слова моего отца. Кузьма горячился, приводил какие-то доводы, страстно жестикулируя. В разговор вмешались и женщины, на которых отец и дядя смотрели неодобрительно, как бы говоря: «Что это вы в мужские дела вмешиваетесь?» Мы просили Тишко перевести, что говорит его батько, но тот отвечал только «сейчас» и ждал окончания семейного спора. На наших глазах на неизвестном для нас языке шел семейный совет Гончаровых. Кузьма кричал на своих, горячился, быть может, бранился, а те спорили с ним, уговаривали его, убеждали.

Наконец Гончаровы пришли к единогласию, и Тишко перевел нам:

— Батько говорит,— начал он,— у нас нет времени вязать снопы, да и снопы бывают разные.—Тут Тишко остановился и призадумался: как бы получше и подипломатичнее перевести грубые слова своего отца. — Он говорит, зачем Момынкул ортачил с ним, если он все собирается делать по-своему? Он, конечно, не может заставить Момынкула стоговать и скирдовать сено, но он также не может и вязать снопы по-казахски.

— Давайте поделим так...— предложил дядя свой план.

— Тишко, що вин казав?— вмешался старик Кузьма.

— Он говорит, что луг неровный, рядки не одинаковые, и говорит, как надо делить.

— Очень просто,— живо ответил дядя.— Вашу од-

ну треть начнем справа.... Две гряды наши, одна — ваша, кому какая попадется — ну, и ладно...

Тишко перевел предложение дяди. Кузьма, немного подумав, махнул рукой:

— Нехай буде так, як вин казав! — но предупредил, что они больше нам помогать не будут, и пусть Момынкул сам себе вяжет снопы, коль ему так хочется.

Дядя ответил, что он согласен.

Все пошли на правый фланг гряды. Кузьма шел впереди, меряя землю широкими шагами, а мой отец, не привыкший ходить пешком, мельтешил за ним. Кузьма отсчитал две гряды и внимательно осмотрел третью своими безресничными красными глазами. Отодвинув носком сапога конец гряды, он как бы сказал: «Это моя».

На четвертой остановке ему попалась жиденькая гряда. Тут Кузьма, размахивая руками, закричал на своих сыновей. Сыновья пытались показать на наши, тоже жиденькие гряды, но старик разошелся до того, что мой отец и без переводчика догадался в чем дело, махнул рукой и показал, что Кузьма может брать следующую добротную гряду. Кузьма уж было подошел и занес ногу, чтобы завернуть край гряды, как его сыновья и женщины завопили на него, повидимому, упрекая его в жадности и в нарушении предложенных условий. Старик топнул ногой, погрозил им кулаком и завернул край той гряды, которая по жребию полагалась ему. Не переставая ворчать, он пошел дальше...

Гончаровы взялись за грабли и вилы. Мужчины вилами сворачивали гряды, а женщины шли за ними, подчищая граблями остатки сена. Вскоре в конце длинных гряд стали образовываться одна за другой копны, которые почему-то назывались «чумелеями». Когда к полудню все «чумелеи» были сложены, мужчины вилами стали таскать сено в одно место, а женщины под командой Кузьмы начали складывать настоящую скирду...

Мы приступили к вязанию снопов. Рядом находился еще нескошенный луг, и мы пошли туда, чтобы выдернуть высокие травы с корнями. Из них стали делать

перевязи. Разложив их вдоль гряды, через каждые три шага, отец и я начали складывать сухое сено на перевязи, дядя же, как самый сильный, шел сзади нас и вязал снопы, придавливая охапку сена коленом. Работа шла быстро, и к вечеру мы связали более трехсот снопов.

Так продолжалось три полных трудовых дня. Подбадриваемый отцовской и дядиной похвалой, я впервые участвовал в общем труде.

— Настоящим джигитом стал наш Бауржан,— хвалил меня дядя.

— Иди, надергай еще травы для вязи, только выбирай подлиннее,— посылал меня отец.

Я, конечно, уставал сильно, но мне так приятна была их похвала, что я старался изо всех сил...

* * *

Храбрый воин и лихой спортсмен часто бывают людьми риска. Большая часть из них умирает не своей естественной смертью, и редко кому на долю выпадает участь расстаться с жизнью на постели, у себя дома. Жизнь у них, как натянутая струна, которая обрывается при полном аккорде и, издав последний звук уже оборвавшейся жизни, умолкает.

«Джигит без коня, что птица без крыльев», боевой скакун — крылья джигита, кто без коня, тот в плену мук и унижений,— таково было отношение к коню у казахов. Казах предпочитал теперь любые лишения, но не разрешал себе безлошадности. «Жалғыз атты ребең» — однолошадный бедняк — предел бедности, безлошадных называли «Қу томар» — сухой пень.

Каждый казах умел ухаживать за конем и проявлял большую заботу о лошади. Он никогда не поил и не кормил коня разгоряченным. Выстойка после еды была обязательной. До коллективизации казахи вообще не работали на лошадях и на базаре не покупали русских лошадей, считая, что у них набита холка и помяты хрящи лопаток. Конь у казахов предназначался для езды только верхом. Ни один казах не доверял своего

коня никому. На скакунов не сажали женщин из-за «тяжести их подолов».

Потеря любимого коня оплакивалась казахом так же, как и потеря дорогого человека. С древнейших времен конь воспевался наравне с легендарными героями. В народном эпосе казахов рядом с именами героев сохранились легендарные клички их коней: Тайбеву-рыл — конь Кобланды-батыра, конь Алпамыс-батыра, Дол-доль — Алишера, конь Тулегена и т. д. Еще до сих пор в народе поют песню «Кулагер» — о гибели коня, печальная мелодия которой полна трагизма и скорби. В сказках, песнях, музыке, поэмах вы не найдете ни одной строки, где бы казах не отводил почетное место коню. Про хороших коней до сих пор говорят: «Конь, стоящий невесты!» Это предельное восхищение конем и безграничная любовь к нему наследуются у казахов из поколения в поколение.

Знаменитый Кок-шолак был в жизни Аккулы последним его конем, а он — его последним седоком. Они, как верные друзья, покинули наш аул навсегда в один и тот же день, и нельзя было разобрать, кого из них больше оплакивал народ. Словами Аккулы, произнесенными им при последнем вздохе, были:

«Накройте меня шкурой Кок-шолака!»

Итак, о смерти Акуллы и гибели его коня Кок-шолака начинаю я повествование.

Старшую дочь моего деда и бабушки звали Айша. Она была на десять лет старше моего отца. Ее выдали замуж за Джантуре из рода Шегир, населявшего подножье горы Казыгурт.

Путь в аул к зятю Джантуре лежал через перевал Чокпак — Кремень. Так назвали его из-за множества светлых кремневых камней, которыми до сих пор играют дети в темноте, высекая из них снопы искр.

Далее на пути дорога пересекала долины Майликент и Тюлькубас, проходила через ущелье Масат и по долине реки Ак-Су, которую русские называли «Белые воды» из-за белого ила, который она несет с вершин гор, откуда и берет свое начало. Потом дорога пересекала плоскогорья Сайрам и Ленгер и поднималась на Казыгурт.

Верхом это расстояние преодолевалось в три дня. Айша и Джантуре считались у нас самыми далекими по расстоянию родственниками, и их визиты были самыми редкими.

Джантуре овдовел очень рано. Ему было только шестнадцать лет, когда его первая пятнадцатилетняя жена умерла от родов, оставив мужу маленького сына Булата.

Мой дед был в дружественных отношениях с отцом Джантуре. Его сын Булат приходился нам племянником, так как мать его была из нашего рода. Было решено не терять и в дальнейшем родственных связей, и нашу Айшу, которой было в то время семнадцать лет, выдали замуж за Джантуре.

Джантуре был в первый раз назван женихом в четырнадцать лет от роду. Его отец считал нормальным женить сына в этом возрасте, который, по мусульманскому обычаю, считается совершеннолетием.

Много рассказывалось о том, кто когда женился и сколько лет было его невесте, приводилось множество примеров, говорили, что вот такая-то имела своего первенца на тринадцатом году жизни. Наконец, рассказывали, что даже сам святой Магомет женился на одной из своих жен, когда ей было всего семь лет. Как видите, развратная жизнь самого пророка приводилась казахами, как образец чего-то святого. Она и являлась основанием для оправдания раннего замужества и женитьбы и многоженства. Правда, казахи не соглашались со своим пророком в одном: бракосочетании единокровных — женитьбе двоюродных братьев на двоюродных сестрах — и презирали тех, кто допускал такие браки.

Первая жена Джантуре приходилась двоюродной сестрой Аккулы, по линии каких-то бабок, а ее сын Булат, коренастый черный старик с реденькой седой бороденкой, которая, как лучи, расходилась во все стороны на его худом, точеном лице, приходился Аккулы племянником.

Булат родился, когда его отец был в юном возрасте. Он мужал и старел вместе со своим отцом. Они но-

сили кличку «два старика», а для различия в ауле их звали «стариком-отцом» и «стариком-сыном».

Джантуре и Булат были заядлыми кокпаристами. Они были столь же легендарными спортсменами в своем округе, как Аккулы у нас.

В этот день мы все были дома. Заходящее солнце косыми лучами ярко освещало наш стан. Вот под бугром показалось четверо всадников. Они темными силуэтами выделялись на фоне солнца. Одним из всадников была женщина в белом. Ехали они шагом, неторопливо.

— Что за спутники? — с волнением спросил отец и, приложив руку к глазам, всматривался вдаль.— Кажется, Айша едет. Иди, Момынкул, распорядись о приеме. — Он еще пристальней посмотрел в сторону дороги.— Да, это они! Вон Джантуре, я его по посадке узнаю, а это Булат, что едет немного сгорбившись, а вот и Аскар, свечой сидит на коне. Большую юрту готовь для гостей! — крикнул отец вслед уходящему дяде. — Айша не захочет войти в малую. Готовьте все быстрей, а то они будут скоро тут.

Всадники приблизились уже «на рывок скакуна». Не было сомнения, что едут именно они! Айша ехала иноходью впереди на гнедой красивой кобылице, мужчины же, еле поспевая за ней, трусили мелкой рысью. Айша сидела на коне уверенно и гордо, полная сознанания, что ее конь стучит копытами по земле предков.

Отец, не отрывая глаз, смотрел на приближающихся путников. Вот он бросился бегом и, когда Айша придержала иноходца, взялся за повод ее коня. Старуха разволновалась, растрогалась и, невнятно что-то бормоча, с умилением смотрела на своего брата.

У отца, тоже сильно взволнованного, дрожали колени. Он, придерживая левой рукой коня, правую протянул сестре со словами:

— Сойди, акпэ.

С дрожью в голосе он продолжал:

— Ты, должно быть, устала от долгой езды, сойди, ангел мой, сойди, моя нянюшка!

Его слова вконец растрогали старуху, и она опус-

тилась с коня на руки брата. Отец ловко взял ее на руки и, поддерживая, успокаивал:

— Не надо так сильно волноваться, акпэ... Ты устала... Пойдем в дом — там отдохнешь...

Бледная, коротконосая, с небольшими припухлостями под глазами, острым подбородком и тонкими дрожащими губами, старуха слабым голосом спрашивала у отца:

— О, где же теперь моя драгоценная мать?

Эти слова особенно растрогали дядю, и он, до тех пор спокойно стоящий в стороне, начал всхлипывать, вытирая глаза.

— Ну, хватит, Айша! Довольно давать волю родственным чувствам! — вмешался румяный белый старик с красивой атласной седой бородой в серой меховой шапке.— Святая была женщина мать Айши, покойница, но ведь никто из нас не может всю жизнь пройти рядом с родителями! — так говорил Джантуре — муж некрасивой старухи, нашей Айши.

Стоявший несколько в стороне худой коренастый старик Булат почтительно вмешался:

— Вы же обещали мне вести себя хорошо.

Поддерживая под уздцы стройного и сухого вороного мерина, стоял, вытянувшись в струнку, бронзовый, голощекий, остроносый, тонкогубый, узкоглазый джигит с чуть вытянутым лицом. Он был в бешмете и остроконечной сусликовой шапке. Это был Аскар — родной сын Айши.

На нас, детей и домочадцев, никто не обращал внимания. Старики в пылу трогательных излияний забыли об окружающих и вспомнили о нас лишь после обычных приветствий: «Как была дорога? Покойно ли несли вас ваши кони? Здоровы ли дети ваши? Благополучно ли с вашими стадами?»

Обиднее всего было то, что старуха, так ласкавшая моего старого отца, не знала даже моего имени. Поманив меня, она, рассердившись на себя, «потьфукала» по сторонам и положила свою сухую, морщинистую руку на мой лоб.

— А это твой сын, Момыш? — спросила она.— У меня тоже такой взбалмошный внук растет!

— Дай бог, из него хороший джигит выйдет,— добавил Булат.

Отец был растроган лаской сестры и встречей. Джантуре продолжал шутить с отцом и со своей женой. Булат изредка вмешивался в разговор, а Аскар не проронил еще ни единого слова. Дядя во дворе был занят хлопотами по приему гостей.

Перед чаем Айша созвала всех наших домочадцев, раскрыла привезенные коржуны и начала раздавать подарки. Женщинам досталось по отрезу на платье, мне и дяде она подарила цветастые тюбетейки, которые тут же собственноручно надела нам на головы, отцу же подарила каракулевую шапку собственного шитья и под общий смех начала кормить его и угощать, как ребенка, разными сладостями.

— Что ты делаешь, старая?— смеялся Джантуре.— Ты лучше раздай сладости детям.

— Да подожди же,— ответила старуха, оберегая узелки со сластями,— сначала я отдам долю Момышу, а уж потом пусть каждый берет, что хочет...

— Боишься, что Момыша могут дети обидеть? — расхохотался Булат.

Отец, смеясь, принимал в горсть подарки сестры.

— Ведь я же для него привезла,— серьезно отвечала старуха,— и должна вложить ему в руки...

Пока шел этот забавный дележ, вошел, приветствуя приехавших, Аккулы. Трогательно обнявшись со всеми, он сел рядом с Джантуре. После обычных приветствий Аккулы виновато взглянул на старуху и сказал:

— Грешен я, Айша-апа, перед этим шанраком, грешен... Но меня влекла сюда непреодолимая сила, когда я услышал о вашем приезде. До вас дошли, вероятно, вести о том, что между нами прошел холод раздора... Я заставил себя через силу перешагнуть этот порог. Слыхано ли, какой позор меня окутал?

Джантуре на слова Аккулы осуждающе покачивал головой и молчал. Булат, тяжело вздохнув, опустил глаза и начал внимательно рассматривать разостланную перед ним скатерть. Аскар продолжал сидеть в позе индийского божка.

— Ты хорошо сделал, Аккулы, что пришел. Я от души рад этому,— начал отец.

Но старуха, задыхаясь, вскричала:

— Где же уродище из моего гнезда?! — и обрушилась, размахивая кулачками, на дядю, который вносил в эту минуту в юрту самовар.— Какая нечистая сила занесла тебя в мое гнездо? Какой дьявол вселился в тебя, отщепенец? О! О! Что же ты мне уготовил на старость, перед смертью? Ты мне как острым ножом разрезал сердце! Зачем тебя в пеленках не унесла какая-нибудь поганая болезнь? Почему не сразили тебя злые духи, что окутали черную твою душу? Какой позор! Какой позор, что ты мне одноутробным братом приходишься!

— Айша! — строго окликнул ее Джантуре.

— О, я больше не Айша! — в слезах закричала старуха.— Покинь меня, я сестра этого дьявола! — Она сухим, морщинистым пальцем показала в сторону дяди и, отплевываясь, отвернулась, вытирая слезы концом платка.— Тьфу, тьфу, тьфу, неверный! Пусть не станет на тебе лица! — говорила она совершенно опешившему дяде.

О, зачем, зачем, я только жива и сижу сейчас здесь, под родным шанраком?! — вопрошала она.— За что меня так жестоко наказывают, за какие грехи?! Каково мне видеть это наглое лицо? — она снова несколько раз плюнула в сторону дяди и закричала, взмахивая руками:— Вон с моих глаз. Вон! Вон!

— Иди, Момынтай, иди, брат мой! — сказал отец дяде, который растерянно смотрел на него.

Дядя покорно вышел из юрты.

Такова была тяжелая доля младших среди казахов: покоряться старшим во всем и не сметь возражать им никогда, ни при каких обстоятельствах.

Мне было до того жаль дядю, что я юркнул во двор следом за ним.

Бедный дядя с широко раскрытыми глазами, весь багровый от стыда и гнева, стоял посреди двора, бессмысленно уставившись вдаль...

Бабушка всегда его ругала. Серкебай его сек и пилил, даже мой отец однажды назвал его дураком, а

эта коротконосая старуха при всех разнесла его в пух и прах и выставила из его же собственного дома.

Мне так хотелось в чем-нибудь помочь дяде, принять на себя хотя бы часть тех ударов, что сыпались на него от старших, но я не посмел к нему подойти, а он продолжал стоять неподвижно с устремленным вдаль взглядом. Потом, заметив меня, он тихо сказал:

— Иди в юрту, помоги отцу чай разливать...

Когда я вошел в юрту, все уже мирно пили чай, только на лице Айши-апа лежала пелена бледности: старуха все еще, по-видимому, не могла преодолеть какого-то внутреннего противоречия. Чай она пила жадно, не оттого, что проехала длинный путь,— она заливала, казалось, какую-то свою нерешительность.

— Почему ты не предупредил меня об этом раньше?! — упрекнула она отца.

— Но ведь ты же не дала нам и слова вымолвить! — оправдывался он.

— Все это тяжелое и печальное недоразумение. Айша-апа,— грустно сказал Аккулы.— Злой язык оклеветал их... Крутой был характер у моей снохи, а я поддался злым словам. Ежели бы это было правдою, я никогда бы в жизни не переступил порога этого дома. Да, она права была, моя красавица, отомстила мне, старому дураку,— продолжал Аккулы. «Коль меня не пожалели, то и мне вас жалеть незачем!» — передала она нашему посланцу.

— Вы оскорбили женщину, оскорбили жестоко и без жалости, Аккулы,— старуха выпрямилась и резко добавила:— Женщину оскорбить не надо много ума. Мы все — жертвы раздоров и мелких ваших сплетен! Как тебе, седому, не стыдно?!

Она гневно смотрела на Аккулы. Аккулы сидел, уничтоженный, как-то ссутулясь и вобрав голову в плечи.

— С толку сбили меня, Айша-апа! Черт за душу дернул... Обида душила.

— А теперь, я вижу, ты доволен своим позором! Сам накликал на себя все! — выпалила старуха со злобой.— Мальчишка несчастный, вот ты кто?

Шестидесятилетний «мальчишка» сидел насупив-

шись в углу и, посапывая, глотал горячий чай, нервно постукивая по дну пиалы.

— Я его ругаю, ругаю, а он и слова не возразил мне, мой родной! — Айша-апа всхлипнула и повторила сквозь слезы: — Ни слова не промолвил против меня, мой родненький, а он ведь у нас самый меньшой... Смотрит он на меня растерянными глазенками и молчит, как бы я его ни обзывала! — Тут Айша уже заплакала.— Как же я посмела обидеть самого меньшого?! А когда я, старая дура, крикнула вон!..— Голос ее задрожал, и затрясся морщинистый подбородок.— А-а-а! Он, милый, покорно вышел из родной юрты.

— Ну, довольно тебе,— строго остановил Джантуре жену, которая заливалась слезами.— Наругалась, расстроилась, наплакалась — кажется, всеми удовольствиями насытилась...

— Ты со мной так не говори! Я тебе здесь не жена! — вспыхнула старуха.— Под шанраком моих святых родителей ты у меня не хозяйничай! В этом доме я тебе только невеста!

При этих словах старики и старухи расхохотались, даже молчаливый Аскар схватился за живот.

— Сиди, как порядочный жених! — прикрикнула она на Джантуре под смех присутствующих.

Джантуре, хлопнув себя по коленке, воскликнул:

— Ай, какой молодец ты, старая! — Он шутливо принял позу застенчивого жениха и деланно молодым голосом начал обращаться к Айше, как к барышне-невесте:— Вы всю эту юрту освещаете своей красотой! Вы наполнили эту обитель соловьиными напевами! Долго ли вы будете еще чирикать, свет очей моих, Айша? — иронически добавил он и заключил уже строго:— Если ты сама не устала от своих напевов, то пожалей других!

В этот момент в юрту вошел дядя. Видимо, он прислушивался к разговорам и, когда настал удобный момент, счел возможным вернуться. Увидев его, Айша-апа снова дала волю своим слезам и словам.

— Садись, мой миленький, садись, садись, мой мальчик.— Она, всхлипнув, вытерла концом платка

глаза и протянула руку с пустой пиалой:— На, Момынтай мой, налей мне чаю, дорогой братик!

Разрешением налить себе чаю она как бы извинилась перед дядей, но одновременно в тоне ее было подчеркнуто, что она права, и что ее поступок не подлежит обсуждению младших.

Дядя почтительно взял пиалу, налил чай и также почтительно подал ей.

И в дальнейшем Айша-апа, пользуясь правом старшей в нашей семье, не отказывала себе в удовольствии распоряжаться, давать наставления, указывать, а иногда и покрикивать на нас и даже на своих, включая и Джантуре. На вопросительные взгляды мужа и недоуменные его вопросы она отвечала во всеуслышание:

— Я была первым ребенком, рожденным в этом доме. Я первая принесла радость своим родителям. Меня первую нянчили под этим шанраком!

Для ответа на эти доводы у наших не хватало слов и оставалось лишь покориться воле старухи.

* * *

Семья Джантуре, так редко посещающая наш аул, буквально ходила по рукам родичей всего нашего подрода. Их то приглашали попробовать «вкус соли», то они сами шли поздравить какую-нибудь семью с новорожденным, или новобрачным, или же с разделом от большой юрты в «отау», то есть созданием новой семьи. Долг вежливости предписывал в такие дома идти без приглашения. Вообще, если в доме произошло какое-нибудь заслуживающее внимания событие, казахи никого не приглашали, оставляя дверь открытой для всех желающих выразить свои чувства и радость по этому поводу.

Каждая юрта, как правило, встречала семью Джантуре бараньей головой и бесбармаком из только что забитого в их честь барана... Мы, сопровождавшие их, наедались до отвала свежим мясом.

У двоюродного брата Аккулы Дембая родился первенец — сын. Плоский, утконосый, рыжебородый, с ко-

роткими кривыми ногами Дембай, еще до моего рождения женился на высокой, стройной, худой и черной, как мумия, женщине, которую в ауле прозвали «шестом» за прямизну и очень высокий рост. Дембай и его жена долгое время были бездетными и тяжело это переживали, поэтому с таким трепетом он и его друзья ждали, кого подарит ему жена. Рассказывали, что когда, после первого крика новорожденного, одна из женщин выбежала из юрты с радостной вестью, что родился мальчик, бедный многострадальный Дембай, услышав это, обнял женщину и разрыдался у нее на шее, как ребенок. От счастья потеряв всякую способность владеть собой, Дембай перебегал от одного к другому и каждого вопрошал:

— Неужели это правда, что я отец? У меня сын! Сын у меня будет расти! Сын родился! Сын родился! О создатель, как я тебя благодарю!

И в наш аул прибежал юноша с этой вестью. Он также был заражен общей радостью своего аула: бездетным супругам «бог подарил» сына. Глотая концы каждого слова, юноша доложил.

— Аккулы-ата просит вас, Айша-апа, быть крестной матерью, а Джантуре-ата — крестным отцом новорожденного...

Все наши, во главе с Джантуре и Айша-апай, отправились в аул Аккулы. В ауле уже дымились очаги, и из стада волокли барана. Мы шли медленно за Айша-апай и Джантуре, не смея обогнать с достоинством шагающих стариков, с трудом сдерживая пыл своего любопытства.

Народ, собравшийся в ауле Аккулы, смотрел в нашу сторону, поджидая нас. Женщины перебегали с посудой из юрты в юрту. Как обычно, одинаково, как и в тревожные дни, так и в радостные, они суетились и перекликались между собою.

Аккулы стоял в середине в белом халате из верблюжьей шерсти, полы которого были так широки, что, казалось, это стоит не Аккулы, а серо-мраморная статуя дела. Широкополая белая шляпа из войлока придавала ему внушительность. Когда мы были в двадцати шагах от них, Аккулы тронулся навстречу нам, и

свита его последовала за ним. Он шел быстро, порывисто, полы его нового халата развевались по ветру, и как-то все его величие мигом пропало в моих глазах.

— Здравствуй, старшая сестра,— обратился он к Айше.

— С радостью вас всех, родные мои, с радостью! — ответила Айша-апа.

Перебивая друг друга, мы начали поздравлять всех аккуловцев с новорожденным. Вдруг из соседней юрты выбежал, ковыляя на кривых ногах, и сам Дембай.

— Айша-апа! Айша-апа-а-а-а-а-а! — как ребенок, с криком бросился он в объятия старухи. Его начали успокаивать, но он продолжал всхлипывать.

Набралось народу уже больше полусотни. Появились женщины с подносами в руках и с возгласами поздравления начали подбрасывать вверх свежие баурсаки. Их ловили на лету, подбирали с земли и со смехом отправляли в рот. Так открылось торжество по случаю рождения у Дембая первого сына.

На третий день после рождения младенца, на потеху степным спортсменам, что бесновались на конях, покатилась еще одна голова козла из стада Дембая. Кокпар начался после обеда, когда лучи солнца косыми пальцами ласкали землю. Джантуре, Булат, Аскар, дядя сами седлали своих коней, не доверяя другим. Подтягивали стремена, укорачивали путалища. Подпруги врезались в грудь коней, сжимая им дыхание. Все были по-особенному внимательны и ласковы к своим скакунам. Шла подготовка к кокпару.

На этот раз и у меня были свой конь и свое седло. Дядя помог мне оседлать трехлетнего темно-серого жеребца.

— Держись только подальше от толпы,— предупредил он меня.

Джантуре и его сыновья оказались азартными и ловкими наездниками. Красивый старик с тушей козла вырвался из толпы и, чуть подав корпус вперед, понесся по полю, увлекая за собой всех всадников. Казалось, его конь плыл по воздуху, выбрасывая вперед ноги.

Аккулы, как староста аула, на этот раз стоял в чис-

ле болельщиков в стороне и встречал каждый из приемов Джантуре восторженными восклицаниями:

— Как он плавно повернул! Конем только управлять умей! — строго наставлял он окружающих.— Конь дальше и сам все сделает. Не мешай животному, дай только знать толком, что ты от него желаешь... О, святая твоя белая борода, Джантуре! — восклицал он, когда Джантуре, резко осадив коня, пропускал мимо себя догоняющих и, тут же, круто повернув в сторону, обманывал толпу, которая вихрем пролетала мимо него.— О, старое поколение лихих джигитов! О, старая школа наша! — шептал Аккулы.— Видели, видели? — снова кричал он болельщикам, показывая на Джантуре.

А Джантуре носился по полю, водя за собою конную толпу. Но вот из толпы к своему отцу вырвался молодой Аскар на сером коне и, догнав его, протянул руку: «Дай мне!»

Джантуре на полном скаку швырнул тушу козла в сторону сына. Аскар так ловко схватил ее на лету, что в толпе болельщиков снова раздались возгласы восторга.

Джантуре скакал рядом с сынов и, видимо, наставлял его, как надо вести коня ,какой следует совершить маневр, когда приблизятся преследователи... Так в паре носились они по полю, волоча за собой, как длинный шлейф, конную массу. Вдруг оба их коня рванулись одновременно ввысь, совершая головокружительный прыжок. Отец и сын пронеслись над препятствием и, одновременно приземлившись, поскакали дальше. Гнавшиеся за ними всадники шарахнулись в сторону: впереди была широкая, глубокая канава, прорытая быстрым течением горного потока.

В восторге загудела толпа болельщиков. Джантуре, заметив, что они одни по ту сторону рва, повернул обратно и вторично, с сыном, перелетел через эту пропасть так складно и одновременно, что, казалось, сама земля застонала от восхищения лихостью наездников.

— Никогда в жизни не видел я таких лихих джигитов — удивлялся один.

— Не кони, а крылатые птицы! — восторгался другой.

— Ах, у меня сердце прямо замерло! — волновался третий.

— Да, для благородного коня лихой наездник не обуза, а крылья! — заключил Аккулы.

Произошла небольшая пауза в игре, ибо никто уже более не пробовал оспаривать у Джантуре и Аскара права на победу.

Но вот включился в дело сам Аккулы, вызвав новые восторги своей лихостью и ловкостью. Джантуре не вытерпел похвалы, что сыпались на Аккулы, и стремительным рывком послал своего коня вдогонку. На «поле боя» остались только два убеленных сединами джигита, что боролись за славу и первенство. Но вот, когда Аккулы поворачивал коня, Джантуре, коварно подкравшись, неожиданно вырвал из его рук тушу козла. Аккулы был ошеломлен. Но, опомнившись и увидев, какую шутку сыграл с ним Джантуре, одобрительно помахал ему рукой и придержал Кок-шолака. Джантуре в это время, описав широкий круг, носился вокруг Аккулы, поддразнивая его и выделывая разные фигуры. Вот на полном скаку подлетел он к Аккулы и швырнул ему кокпар. Тот, подхватив тушу козла, обратно перебросил ее Джантуре, так оба старика, к удовольствию всех присутствовавших, носясь по широкому полю, жонглировали тушей козла, увлекая за собой конную толпу.

Схватив в последний раз у Джантуре тушу козла, Аккулы внезапно повернул в сторону и понесся прямо к канаве, которую перелетел стрелой. Толпа весело загудела. Мчавшиеся за Аккулы всадники снова остановились у препятствия, и лишь Джантуре, войдя в азарт и разозлившись на Аккулы за то, что тот так ловко его провел, перемахнул через ров и снова начал преследовать Аккулы. Борьба между стариками завязалась всерьез. Джантуре вот-вот догонит Аккулы и уже протягивает руку, чтобы ухватить добычу, но Аккулы ловко перебрасывает тушу козла на другую сторону. Тогда Джантуре всем корпусом перебрасывается через круп Кок-шолака и тянет кокпар к себе. Вот,

встав на стремена, он уже почти окончательно вырывает у Аккулы добычу, но тот успевает вцепиться в ноги кокпара. На полном галопе летят всадники, ведя борьбу и не уступая первенства. Они несутся, перевалившись корпусами в противоположные стороны, и их кони бегут как будто по наклонной плоскости.

Все взоры были направлены на скачущих стариков, которые повернули своих скакунов к оврагу. Джантуре, обогнав Аккулы, первым перемахнул на нашу сторону. Аккулы, который спешил преодолеть преграду раньше Джантуре, отпустил поводья Кок-шолака и пригнулся к его шее. Вдруг конь и всадник исчезли из поля зрения, как будто земля проглотила их.

— О-ох! — простонала толпа и бросилась к месту, где исчез славный джигит.

Это была волчья яма, прорытая подпочвенным течением горной воды. Аккулы с конем провалился в нее. На дне образовавшегося оврага стояла густая пыль, за которой ничего нельзя было различить.

Старшие спешились.

— Снять все чумбуры[1],— скомандовал Джантуре, отвязывая свой чумбур.

Все последовали его примеру.

Перед Джантуре кучей легли скрученные из конских волос чумбуры, блестевшие, словно змеи. Джантуре ловко начал их связывать по две, покрикивая на помогавшего ему Аскара:

— Подавай скорей! Тяни этот узел! Еще раз обмотай!

Пока связывали веревки, пыль рассеялась и, как сквозь дым, стали видны копыта Кок-шолака.

— Кок-шолак лежит на спине! — с тревогой вырвалось у кого-то.

Джантуре сделал несколько петель и ловко, одну за другой, набросил на ноги коня. Конь задергался, отбиваясь.

— Тяните! — скомандовал Джантуре.

---

[1] Чумбур — длинный повод в уздечке, за который привязывают или на котором водят верховую лошадь.

Вот на поверхности показалось потное тело Кок-шолака. Конь лежал неподвижно, раза два попытался поднять голову, но, со вздохом, похожим на стон, снова опускал ее на землю. Его большие черные глаза, запорошенные пылью, часто мигали.

— Смотрите, он глазами ищет хозяина!

— Эх, эх, эх, эх! — рыдал Дембай.

— Осторожно, осторожно! — закричал Джантуре.— Осторожней, дети мои, он еще не пришел в себя.

Я обернулся. Джантуре весь в грязи и в крови нес на руках запорошенное серой пылью тело Аккулы, за которым спускался на дно оврага. За ними волочилась веревка, привязанная к поясу Джантуре. Глаза Аккулы были закрыты.

— Что вы столпились?! Дайте воздуху! Разойдись! — крикнул Джантуре.

— Ой, ай, мой родной отец! — завопил Жаксыбай.

— Я его сюда, сюда положу...— и Джантуре опустил тело Аккулы на землю рядом с Кок-шолаком.

Прискакал гонец из аула, посланный за водой.

Джантуре поднял голову Аккулы и обрызгал его лицо водой, вытирая капли большим цветастым платком...

На зеленом поле, покрытом мелким серым щебнем, лежали рядом в беспамятстве старый бледный Аккулы и весь в глине, тяжело храпевший Кок-шолак. Вокруг стояла, понурив головы, недавно безумствовавшая и бесновавшаяся толпа: молодые и старики, юноши и джигиты. Они глотали душившие их слезы, что подступали к горлу, боясь раньше времени отпевать своих любимцев и вожаков в азартной народной игре.

Аккулы не подавал признаков жизни. Джантуре держал его голову на руках, продолжая освежать лицо старика водой.

— Аккулы, Аккулы! — звал он.— Ты меня слышишь?

Аккулы молчал. Но вот толпа затаила дыхание, старик зашевелил губами.

— Аккулы, Аккулы! — продолжал звать Джантуре.

Аккулы очнулся, слабым голосом спросил:

— Это ты, Джантуре? Ты со мной?

— Да, Аккулы, мы все здесь возле тебя...

— Хорошо...— еле слышно произнес Аккулы.— Пить!

Джантуре поил его ключевой водой. Вода текла по седой бороде Аккулы, а голова его продолжала беспомощно лежать на руках Джантуре. Он прошептал что-то невнятное, но Джантуре понял его и велел расседлать Кок-шолака, затем разостлать на земле потники и положить вместо подушки седло.

Джантуре с осторожностью перенес Аккулы на эту постель.

— Надо дать ему прийти в себя, прежде чем переносить в аул,— сказал Джантуре.

К этому времени большой красный шар солнца более чем на четверть утонул за хребтами Чокпака, украсив мягким красным отсветом его вершины.

Знатоки определили перелом позвоночника у Кок-шолака. Вот почему он не мог двигать конечностями. Его оттащили подальше от Аккулы и, со слезами на глазах, отсекли голову и сняли шкуру. Его жилистую, пропитанную потом тушу разобрали на мелкие куски, как мясо священной птицы.

Когда громадная тень горы побежала в нашу сторону и солнце утонуло за Чокпаком, в сумерки пришедшего в сознание Аккулы на натянутой между двух коней шкуре Кок-шолака повезли в аул. Эскорт всадников в молчании сопровождал умирающего до его родной юрты.

О, джигитство, соревнование в силе и ловкости, великий спорт степей, как ты сближал людей! Прав был тот, кто сказал: «Наша жизнь — игра! Наша дружба в игре!»

Аккулы в последний раз переночевал в своей юрте, а наутро его душа стремительно понеслась навстречу восходящему солнцу.

* * *

Чему меня отец научил,— это арабскому и русскому алфавиту и цифрам. Читать я не умел, а писал из-за интереса выводить буквы, то есть, вернее, пачкал

бумагу, стараясь воспроизвести то, что написано было в книге. Букваря в нашей библиотеке не было, а имевшиеся книги были напечатаны мелкой арабской вязью, и мне не удавалось начертить на бумаге что-либо похожее на буквы, так как в арабской вязи неискушенному трудно выделить отдельные буквы. Очень скоро у меня отпало всякое желание копировать что-либо из книг.

Отец стал меня учить читать. Так как название букв резко отличалось от гласных и согласных звуков, и арабские знаки «зер», «забар», «уртут», «тэштут», «сэкун» и прочие приставки к буквам, придающие им определенную гласность, долготу или краткость, путали меня всякий раз, то я лишь механически запоминал их. Тогда отец выбрал другой метод и, предварительно объяснив мне значение этих знаков, заставлял выучить все буквы в трех слогах. Например, алиф забар а, алиф зер и — будет аи; Алиф пеш о — аио; бе забар ба, бе зер би — баби, бе пеш бо — бабибо; дал забар да, дал зер ди — дади, дал пеш до — дадидо; те забар та, те зер ти — тати, те пеш то — татито...

Это понравилось мне, и я охотно взялся учить эти забавные сочетания на каждую букву алфавита и, сидя на корточках, положив перед собою на подушке написанный отцом на листе бумаги алфавит, я напевал:

— Ре забар ра, ре зар ри — рари, ре пеш ро — рариро; хаб забар ха, хаб зер хи, хахихаб пеш хо — хахихо.

Алиманна, сидевшая за рукодельем, прыснула и, не сдержав давно душившего ее смеха, повалилась и начала неудержимо хохотать. Когда она, вдоволь нахохотавшись, наконец, успокоилась, отец ей сделал выговор и в наказание тоже посадил ее рядом со мной учиться, и велел мне научить ее по всем ранее пройденным мною урокам. Протесты Алиманны не повлияли на настойчивость отца, и она в слезах села со мной учить уроки.

Способная девочка за короткое время догнала меня и впоследствии отцом была поощрена за усердие. В часы досуга мы ради забавы учили, как прибавление

а, и, о к каждой согласной образует какие-то бессмысленные три слога, и, произнося их, мы смеялись, хватаясь за животы. Наше учение превращалось в развлечение. Через неделю отец дал нам урок по словообразованию путем соединения или слияния, как он объяснял, этих трех гласных сначала с одной согласной, а потом с двумя:

— Алифты теге алиф забар — ат (ат по-казахски лошадь).

— Алифты теге алиф зерар — ет (мясо).

— Алифты теге алиф пеш — от (огонь).

Это нас заинтересовало больше, так как, соединяя буквы, мы получали какие-то слова, правда не всегда слова, а чаще всего слоги отдельных слов и, желая скорее постичь искусство полного словообразования, мы с Алиманной за неделю выучили заданный нам урок «скрещивания» гласных с согласными. Отец одобрил нас и задал нам уроки на полное словообразование, начиная опять с несложных простых слов:

— Қабты теге кабзар — кет (уходи).

— Хабты теге хап забар — хат (письмо).

— Бени реге бе забар — бар (иди).

Все названия букв и знаков, придающих им гласность, повторялись и произносились, чтобы получить из их сложения какое-нибудь слово. Мы с большой охотой учили уроки.

Однажды отец привез древесный уголь толщиной в палец, аккуратно отточил его конец ножом и велел мне принести лист чистой бумаги. Когда я подал ему бумагу, он положил ее на поднос, разгладил на ровной поверхности и осторожно начал выводить крупные буквы арабского алфавита. Мы смотрели на каллиграфические упражнения отца, затаив дыхание. Когда отец кончил писать вторую строку, он велел нам прочесть написанное:

— Алиф забар — А, Лям зер — ли,— начала читать Алиманна,— али, мим забар — ма, Алима.

Не дочитав до конца, она захлопала в ладоши, затараторила:

— Ой, это мое имя написано, мое имя, мое имя!

Вторую строку читал я.

— Бе забар — Ба,— тут я запнулся,— как дальше у соединить с р? А Алиманна, воспользовавшись моим замешательством, придвинулась еще ближе и начала читать:

— Бе забар — Ба, уауды реге уау зер ер бауер, джумды нунга джум забар жан — Бауржан,— торжественно закончила она. Я, сконфуженный, сердито посмотрел на сестру, и она, как бы желая сгладить свою вину, попросила отца написать еще одно имя, чтобы я прочел его самостоятельно. Отец написал, я прочел.

— Алифти кабка алиф забар — Ак, каб каб пеш — ку акку, лям зер ли — Аккулы. При произнесении мной этого имени, отец вздрогнул, как бы обращаясь к Аккулы, взволнованно произнес:

— Да сопутствуют тебе, Аккулы, добрые духи. Твое место невосполнимо пустует в нашем роде. Царство тебе небесное.

Тут он, приняв серьезную позу, прочел по Аккулы короткую молитву. Такой конец нашего урока испортил нам радость, испытанную при первом чтении нами своих собственных имен. Отец, заметив это, спохватился, но поздно. И, наставляя нас на самостоятельное учение уроков, как бы извиняясь перед нами, добавил:

— О памяти усопших, дети мои, забывать не полагается...

Я описал специально некоторые подробности моего начального образования для того, чтобы было понятно, какая примитивщина существовала у казахов не только в ведении хозяйства, но и в обучении грамоте.

* * *

Выпал первый снег. Дядя привез отрез сукна, несколько аршин белой материи. Мне сшили пальто и белье. Убианна прислала мне лисью шапку. Я в новом одеянии ходил по соседним домам. Все осматривали и хвалили мою одежду...

Однажды дядя привел рыжебородого старика и с почтением обращался к нему не иначе как «молда еке». Старик подозвал меня и, похвалив, насыпал в мою горсть сушеного изюма. Он был со мной чрезмерно ласков. Дядя был необыкновенно внимателен ко мне и

хвалил меня перед стариком. Я принимал все это как должное, только не понимал слов старика, как бы с упреком говорившего дяде:

— Надо было немного пораньше, чуть перерос парнишка.

— Ничего, молда еке, вот брат все время жалел, а ведь дальше нельзя, молда еке. Сделайте нам одолжение, пожалуйста,— как бы оправдываясь, отвечал дядя. Отец почему-то не появлялся в доме. В очаге готовилось угощение для гостя.

Дядя постелил на пол одеяло, положил подушку и, аккуратно заправив приготовленную постель, предложил мне раздеться. На мой недоумевающий вопрос, он ответил, что мне надо немного отдохнуть, что на дворе слякоть, что пока с молда еке он будет беседовать, чтобы я немного поспал. Когда я лег, «молда еке» зажег кусок синей тряпки. От ее едкого дыма я отвернулся и вдруг чувствую: старик раскрывает у ног моих одеяло и руками добирается выше, вытягивает мне ноги. Когда я в ужасе хотел поднять голову, то почувствовал на своих плечах сильные руки дяди:

— Ничего, ничего,— успокаивал он меня,— прижимая силой мои плечи к подушке.— Ничего, просто молда еке хочет посмотреть, все ли у тебя там в порядке. Мне в плену этих двух злодеев ничего не оставалось, как повторять за стариком бессмысленные слова о том, что был я неверным, а теперь стану правоверным. И вдруг я почувствовал жгучую боль, от которой вскрикнул и хотел вырваться. Но дядя навалился на мои плечи, а старик прижал мне ноги. От боли я продолжал орать, а они все продолжали давить меня, посыпая рану пеплом сожженной синей тряпки и, перевязав, оба отошли в сторону, говоря мне, что обрезание по закону правоверных мусульман совершено, что я отныне мусульманин, что меня они больше не тронут, и чтобы я только лежал спокойно...

Подали на дастархан кушанье. Пришли гости, пришел отец, поздоровался со всеми, а они его поздравили с обращением сына в правоверные. Больше на меня не обращали внимания, ели, вели беседу, а старик рассказывал, как он совершал подобные злодеяния

над другими мальчиками. Все смеялись. Видимо, при этих рассказах каждый вспоминал свою мальчишескую участь. Мне, конечно, было не до смеха. Это было первое насилие, совершенное надо мной и торжественно отмеченное в моем же родном доме.

Я бы опустил этот краткий раздел своих воспоминаний, если бы этот дикий обряд не ушел в область предания, и если бы он не имел отношения к моему дальнейшему учению. Как я после узнал, мой будущий учитель категорически отказался учить необрезанного мальчика, так как это перечит законам мусульман, и отец мой согласился на эту операцию, от которой воздерживался столько лет, жалея меня.

Когда я окончательно поправился, приехал Аюбай. Он был в новом лисьем тумаке. На нем была дубленая шуба с шалевым воротником из черного барашка. Борта и подол новой шубы были на ширину ладони обшиты черным бархатом. Аюбай привез свой обычный подарок — пачку чаю и фунт сахару, как он это делал всегда, когда приезжал к нам. Он стал подкручивать усы и одеваться чище и аккуратнее прежнего. На следующее утро после чая дядя оседлал мне коня и объявил, что я поеду в аул Аюбая, тот меня отдаст мулле, и я буду жить у Убианны. Отец благословил меня, наставляя, чтобы я хорошо учился. Мы с Аюбаем, провожаемые всей нашей семьей, выехали в путь.

За ночь выпал снег. Небо было хмурым. Стоял безветренный день. По дороге наши лошади прокладывали первые следы. Когда мы отъехали от нашего аула километра четыре и пересекли один из глубоких оврагов на нашем пути, Аюбай вдруг рванул вперед и поскакал в сторону от дороги, негромко крича: «Тюльке, тюльке! Лиса, лиса!» Действительно, отчетливо выделяясь на снегу, вдали от нас бежала лисица. Я кинулся за Аюбаем и вскоре догнал его. Он, обернувшись, крикнул: «Придержи своего коня, ты все равно не собьешь тюльке!» Говоря это, он на полном скаку, возился у левого шенкеля. «Не торопись, она все равно по такому глубокому снегу от нас не уйдет!» — кричал Аюбай, а его конь продолжал скакать во весь опор. Вдруг Аюбай выпрямился на седле. Его левая

нога свисала, и я, поравнявшись с ним, увидел в его руках стремя с путалищем. Расстояние между нами и бежавшей по снегу лисицей все сокращалось и сокращалось. Когда лисица повернула в сторону оврага, чуть приотставший Аюбай крикнул:

— Скачи наперерез! В овраге, наверное, у нее нора...

Я, нахлестывая коня, рванулся в сторону, куда теперь бежала лиса, и, громко крича, поскакал, не разбираясь, напрямик. Когда до лисицы оставалось шагов сто, я проскочил через какой-то бугорок и перерезал бежавшей лисице путь к оврагу. Она круто повернула и побежала назад, прыгая, как заяц, в глубоком снегу. Подоспевший Аюбай догнал лису, размахнулся путалищем с тяжелым стременем на конце и, не попав в лисицу, проскочил мимо, качнулся, видимо от того, что у него с одной стороны не было стремени, но все же удержался в седле. Лисица, юркнув из-под его коня, снова повернула в сторону оврага. Я бросился вдогонку и снова перерезал ей путь. Аюбай снова перескочил через лису, не задев ее. Загнанный зверь барахтался в снегу, кидаясь из стороны в сторону, и наконец, выбившись из сил, остановился, оскалив зубы на своих преследователей. Когда мы подъехали к лисе, она, сидя на снегу, щелкала зубами, злобно сверкала глазами, вертела головой, визжала, словно протестуя против приближающейся смерти. Аюбай, не сходя с коня, размахнулся и железное стремя ударило по голове зверя. Лиса повалилась. Аюбай, нагнувшись, поднял ее за хвост и приторочил к седлу. Возбужденные скачкой и азартом погони, мы повернули на дорогу.

Это было первое мое участие в охоте и первый случай в моей жизни, когда я был участником преследования и свидетелем убийства живого живым...

Дом Аюбая был новым и просторным. Он строил свой новый дом по образцу русских, с печкой, и изнутри выбелил белой глиной. Убианна меня встретила хорошо, как всегда, заботливо развязала мой кушак, усадила меня на почетное место, на ходу задавая вопросы о здоровье всех наших. Пришел дед Майлибай, пришли его другие сыновья и снохи, все справлялись о

здоровье наших. Аюбай им рассказал про нашу охоту, отдавая должное мне, все хвалили меня за то, что я не растерялся. Когда Аюбай предложил деду свою добычу, тот осмотрел лису, любуясь гладил мех сухими руками, а потом своим булькающим старческим голосом сказал:

— Пусть эта лиса будет у того, кто впервые охотился.— И, обращаясь ко мне, добавил:— На, светик мой, она твоя, а я в жизни много видал этих лис, дай бог, чтобы ты дожил до моего возраста...

Его старший сын Жартыбай взялся обработать мех.

После еды Майлибай и его сыновья и снохи ушли.

— Хорошо, что наш дед подарил тюльке Баурджану,— сказала Убианна мужу, вернувшемуся со двора после вечерних хлопот со скотом.— Когда поведешь его к мулле, пусть он подарит мех свему учителю.

Немногословный Аюбай одобрил это предложение жены. Убианна, уложив меня в постель, села возле меня и расспрашивала, как отец, как мачеха, как растет Алиманна, как она занимается рукоделием, как ведет себя дядя... Отвечая на ее многочисленные вопросы, я, уставший за дорогу, вскоре заснул крепким сном.

* * *

Была пятница. Утром пришел маленький, юркий, с глазами на выкате, со вздернутым носиком мальчик Дюмшебай — один из внуков Майлибая. Он в этот день не ходил в школу по случаю пятницы — праздничного дня у магометан. Убианна угостила нас сытным завтраком и попросила Дюмшебая рассказать мне про школу, куда я приехал учиться.

— Наш мулла,— начал было Дюмшебай, но тут влетела его маленькая сестренка и, запинаясь на каждом слове, затарахтела:

— Дюмшебай, приехала наша бабушка, пойдем скорее, пойдем!

Дюмшебай сорвался с места и побежал. Оказывается, действительно приехала их бабушка с материнской стороны, от которой Дюмшебай не отходил целый день, и наша беседа с ним не состоялась.

* * *

Духовным наставником рода Байтана был ташкентский ишан Сейд-Акбар, старший брат того рыжебородого хаджи, что венчал Убианну с Аюбаем. Из разговоров Аюбая с Убианной я узнал, что мулла, к которому меня должен повести Аюбай, приходится сыном ишану Сейд-Акбару. Эта весть меня немного встревожила, так как в то время об ишанах ходило много легенд, как о чудотворцах и святых. Мне самому ни разу не приходилось видеть человека в таком духовном сане, но я слышал много рассказов взрослых об одаренности ишанов каким-то сверхчеловеческим духом, об их «святости». Даже в намеках запрещалось говорить что-либо нелестное по их адресу. Говаривали, что ишаны, сидя у себя дома, видят всех и слышат всех, что для них нет никаких тайн. Отец мне рассказывал, что когда моя мать заболела нервным расстройством, и, по его выражению, душу ее задели злые духи, и когда он, после безуспешных попыток вылечить ее у аульных знахарей, повез ее в Аулие-Ата к ишану, то моя мать, переступив порог дома ишана, вела себя необычайно спокойно. Ишан оставил ее у себя и предложил отцу приехать за ней через полтора месяца. А когда отец приехал за матерью, ишан показал ему совершенно здоровую маму, и они оба, щедро отблагодарив ишана, с радостью поехали домой. Мать по дороге сообщила отцу, что ишан обращался с нею хорошо, следил, чтобы она постоянно была занята вышиванием или какой-нибудь другой работой.

Этот случай из маминой биографии и другие рассказы взрослых в моем детском сознании возводили ишана в сан обожествленного, и это было подкреплено изучением биографии Магомета по книге, подаренной моему отцу Жаримбетом-хаджи[1]. Я был маленьким фанатиком. Меня немного тревожило и пугало то, что я теперь буду учиться у сына ишана. Я робел перед наследником святого человека, к которому Аюбай

---

[1] Хаджи — лицо, совершившее паломничество в Мекку.

должен был меня отвести. После долгих раздумий я поделился с сестрой своими переживаниями.

— Что ж, другие мальчики тоже ходят к нему учиться,— сказала Убианна,— разве ты хуже их?

Ее слова задели мое самолюбие и я повторял их: «Разве другие мальчики лучше?» Взяв себя в руки, я отогнал мучившую меня робость и решил пойти учиться к сыну ишана. Но все же во мне продолжал жить фанатик, и мне казалось, что сын ишана видел меня, когда я с Аюбаем гнался за лисицей, видит и теперь и знает, что мех от этой лисицы, по решению Убианны, предназначается ему.

День таких переживаний не прошел даром. Ночью я спал тревожно. Рано утром, одевшись как можно аккуратнее, с кораном под мышкой, я шел за Аюбаем.

Школа помещалась в ауле Калдыбая, старшего брата Майлибая. Зимовка Калдыбая была в одном километре от аула Майлибая у Шынг-булака — Овражистого ручья. Трудолюбивый дед вывел множество арыков и на большом участке посадил много деревьев, и теперь потомки пожинали плоды его трудов. Зимовка была окружена высокими деревьями. Глинобитные хаты были разбросаны по всей этой громадной усадьбе. Величественный вид усадьбы и высоких деревьев, скрывающих за своими толстыми стволами разбросанные повсюду домишки, на меня произвел впечатление города. Мы подошли к большой кибитке с верандой и двумя окнами и тут услышали хор учеников, нараспев читавших коран. Меня снова охватила робость, и я беспомощно смотрел на широкую спину шедшего впереди Аюбая. Он подошел к украшенной резьбой двери из некрашенного дерева и, обернувшись, позвал меня и открыл дверь. Галдеж учеников сразу прекратился.

— Салям алейкум, таксыр,— приложив руку к сердцу, приветствовал Аюбай муллу. Я за ним машинально повторил все то, что он проделывал, здороваясь с муллой.

У самой стены посреди просторной комнаты на возвышении восседал молодой узбек в цветастой тюбетейке, со сросшимися бровями. На его худом лице

выдавался очень острый и тонкий нос. Черные усики, подстриженные перед ноздрями, спускались по краям тонких губ. Полосатый халат висел на худых плечах. Волосатая грудь, как у всех узбеков того времени, была открыта: узбеки носили рубашки с вырезными воротниками.

Перед муллой на большой подушке лежал раскрытый коран. За его спиной к стене была приставлена пара длинных лоз. Вдоль двух стен на циновках сидели мальчики на корточках с раскрытыми книгами и с любопытством смотрели на меня.

Мулла подал кончик руки Аюбаю, а потом мне, безразлично посмотрев на нас своими желтыми бараньими глазами и, обращаясь к мальчикам, тонким голосом произнес: «Азат». Видимо, это было сигналом на перерыв. Мальчики тут же встали и вышли из комнаты.

Аюбай взял меня за руку и обратился к мулле со словами:

— Таксыр мулла еке, привел я вам своего шурина. Его зовут Бауржаном. Недавно совершено обрезание. Отец его, мой тесть, мулла Момыш, просил вас научить его сына чтению святых книг пророка...

— Яхши,— произнес он по-узбекски.

— Вот, мулла еке, он. Его вам вручаю,— продолжал Аюбай и, потянув меня за руку поближе к мулле, добавил: — Мясо его ваше, а кость наша.

Так он заключил свою речь традиционными словами, означающими, что мулла с этого момента распоряжается мною со всей полнотой власти. Это означало, что мулла должен был меня учить, имел право меня бить, но без перелома костей.

— Яхши,—снова безразлично пропищал мулла.

Аюбай положил перед ним деньги — первый взнос за учение и сообщил, что дома у него обрабатывается лисий мех, и как только мех будет готов, он сам принесет его мулле.

— Яхши,— еще раз повторил мулла и, осмотрев мой коран, указал мне место на циновке с правой стороны. Аюбай, посадив меня на отведенное место, наставлял, прощаясь, чтобы я вел себя примерно и

делал все так, как велит мулла. Я смотрел на широкую спину уходившего Аюбая, теряя свою последнюю надежду на защиту. Вошли ученики и, приложив руки к сердцу, произносили: «Адер, таксыр», спрашивая тем самым у муллы разрешения занять места на циновках. А мулла с безразличием кивал им головой в знак разрешения. Все мальчики заняли свои места, раскрыли книги, но любопытство брало верх и они, тихонько подталкивая друг друга локтями, смотрели на меня. Я сидел растерянный и чувствовал себя, как в клетке, и, надо полагать, у меня вид был весьма глупый. Мулла, осмотрев аудиторию, вдруг сорвался с места с криком:

— Эй, бачаляр, что же вы не учите уроки?

Все дети, согнувшись, невпопад начали читать вслух. Комната наполнилась гулом, но мулла не ограничился окриком, схватил одну из лоз и со злостью начал бить всех подряд, а ученики, подставив свои спины, продолжали читать вслух. Когда мулла обошел первый ряд, у него в руке от длинной лозы остался лишь ничтожный конец. Он со злостью швырнул обломок, взял вторую лозу и начал ею хлестать наш ряд. Последним он ударил меня. Я почувствовал боль между лопатками и очень оскорбился, сознавая свою непричастность к тому, что другие мальчики не сразу приступили к чтению. Обозленный, я открыл коран и начал мычать что-то, подпевая своему соседу, голос которого яснее других слышался мне в этом галдеже.

Мулла сел на свое место, отдышался и позвал к себе Дюмшебая. Тот подошел с раскрытой книгой, опустился на колени.

— Читай,— приказал мулла. По этому сигналу все остальные ученики замолчали, а Дюмшебай дрожащим от страха голосом начал читать суру корана. Когда он кончил читать, мулла строго спросил его:

— Что ты делал вчера?

— К нам бабушка приехала... Я... я, мулла еке,— стал было оправдываться перепуганный мальчик.

— На тебе, «мулла еке», на тебе!..

Мулла с этими словами размахнулся и дал пар-

нишке две звонких пощечины. Дюмшебай качнулся и заплакал.

— Не сметь плакать!—заорал мулла и пнул мальчика ногой. Мальчик упал и, защищаясь, сквозь слезы, лепетал: «Простите, таксыр, больше не буду»...

Мулла приказал Дюмшебаю взять коран и идти на свое место, а остальные ученики снова забормотали урок. Мулла сидел на своем месте, перелистывая коран. Ученики загалдели с еще большим усердием. У меня начала кружиться голова от этого нестройного хора. Вдруг мулла окликнул самого взрослого ученика:

— Эй, Дуненбай!

Тот встал с места и, сложив руки, ответил мулле: «Ляпбай таксыр (Слушаю, господин)». Ученики притихли.

— Вот что, иди и срежь пару крепких лоз,— приказал мулла Дуненбаю.

— Хоп, таксыр,— поклонился Дуненбай и направился к двери, а ученики снова заголосили нараспев.

Один мальчик с узенькими глазками встал со своего места и, сложив руки на груди, обратился к мулле:

— Адэп, таксыр?

— Чего тебе? — строго спросил мулла.

— На двор, таксыр,— ответил мальчик, кивая головой в сторону двери.

— А что тебе надо на дворе?

— Писить мне, таксыр,—жалобно промычал мальчик. Видимо, его ни дома, ни здесь не учили иносказательному, и он говорил по-простонародному, называя отправление надобностей своим собственным именем.

— Не лопнешь,— ответил мулла и на жалобный взгляд мальчика крикнул:

— Сядь, тебе говорят!

Бедный мальчик сел.

Вошел Дуненбай и, положив перед муллой две крепких лозы, отошел на свое место. Мулла поочередно пробовал лозы, размахивая ими в воздухе, а ученики начали еще быстрее произносить слова из корана. Приставив лозы к стене, мулла вышел во

двор. Один из мальчиков на цыпочках бросился к двери, как только она прикрылась за муллой, и, прильнув к ее щелочке, сказал остальным:

— Пошел к оврагу.

Ученики перестали читать, а узкоглазый мальчик юркнул в дверь. Ему вслед кто-то крикнул: — Ты, Абиш, стой там и следи за муллой!

— Тише, ученики,— сказал курносый мальчик в малахае, обращаясь ко всем.— Вот что я вам скажу.— Тут он подмигнул Дуненбаю и почти шепотом продолжал: — Давайте-ка, ребята, подрежем незаметненько лозы насечкой, и, когда мулла будет нас снова бить, они сломаются!

— Ты что, муллу обманывать хочешь? — возразил один, но на него обрушились все с угрозами:

— Ишь ты, какой честный нашелся?!

— Мы тебя после урока сами отлупим хорошенько, коль у тебя спина чешется...

— Не беспокойся, мы для тебя толстую лозу специально заготовим, так что попляшешь у нас...

Ученик побледнел и, насупившись, опустил глаза в книгу.

Дуненбай вынул из кармана нож и быстро начал подрезать лозы через каждые пятнадцать-двадцать сантиметров, делая это так ловко, что кора казалась не поврежденной. Закончив работу, он поставил лозы на прежнее место. Вбежал Абиш.

— Идет, идет,— шептал он, садясь на свое место. Остальные тоже бросились по местам и громко загалдели, чтобы идущий мулла убедился, как усердно его ученики читают коран. Мулла вошел, важно сел на свое место, перевернул несколько листов, громко крикнул:

— Эй, вы! Обратите слух ко мне...

Все притихли.

— Откройте следующую страницу,— приказал мулла и, когда все открыли, начал читать нараспев, выводя каждую гласную, растягивая каждый слог. Кончив чтение непонятной нам суры корана на арабском языке, он велел всем повторять слова за ним. Он читал, а мы хором повторяли. Это было проделано

дважды. Потом мулла велел к завтрашнему дню все прочитанное выучить наизусть и, погладив свои висячие усики, наконец произнес: «Азат». Все ученики бросились к двери.

Я просидел без перерыва три или четыре часа. Так началось мое ученье у сына ишана. Не стану описывать дальнейшие подробности этого дня, лишь скажу, что когда мы с Дюмшебаем шли обратно, он рассказывал, что все то, что сегодня произошло,— это обычное явление в «школе», это повторяется изо дня в день, и просил меня держать в тайне от его родственников то, чему я был свидетелем. Я обещал.

Убианне, встретившей меня после первого моего урока с распростертыми объятиями, после ужина я рассказал, что мулла бьет учеников и выразил свою обиду на это. Она сначала забеспокоилась, а потом начала меня утешать, что, мол, на это не следует обижаться, что мулла учит святым словам корана, а то место на теле, к которому прикоснулась, причинив боль, палка муллы, на том свете не будет чувствовать боли от огня. Тут вмешался Аюбай:

— Лишь бы мулла научил тебя произносить слова святой молитвы по душам предков,— говорил он,— тогда все обиды, все побои будут отплачены.— Учись, учись, не будь таким темным, как я, не умеющим промолвить ни единого слова молитвы даже во имя спасения души своей...

И я учился у этого муллы целых два месяца, зубря отдельные суры корана, не понимая ни их значения, ни смысла.

Трогателен один факт, которого я не могу забыть до сих пор. Однажды вечером Убианна, укладывая меня спать, положила мне под голову коран, говоря, что за ночь содержание суры, которую я так и не смог выучить наизусть, за что получил от муллы два удара палкой по спине, перейдет мне в память, и я ни разу не запнувшись прочитаю ее мулле наизусть. Утром она, отправляя меня в школу, надела на меня под пальто меховую куртку и на мой вопрос, зачем одевать куртку, если и так тепло, ответила:

— Если сегодня мулла снова побьет тебя, то пусть

он колотит эту шубенку, все-таки тебе будет не так больно от ударов его палки...

Разумеется, за ночь у меня в памяти ничего не прибавилось, а мулла все-таки побил всех нас, и моя шубенка пригодилась как нельзя более кстати: я почти не чувствовал ударов палки....

За месяц я соскучился по родному дому, и Аюбай обещал выхлопотать у муллы отпуск на несколько дней. Я с нетерпением его ждал...

У Убианны росла замечательная дочка Қатира, первый ребенок в семье. Она была очень забавная, пыталась что-то говорить, но у нее еще ничего не получалось. Все майлибаевцы забавлялись с девочкой, которой недавно исполнился год. Вечером Аюбай ставил ее на ножки на свои огромные ладони и, приговаривая «кыз, кыз», держал ее в воздухе. Девочка улыбалась, стоя на ладони отца, и размахивала ручонками. Убианна в ужасе бросалась к мужу, называя его сумасшедшим, но Аюбай продолжал свою забаву с дочерью, отстраняя жену.

Қогда я однажды вернулся вечером из школы, Қатира лежала в кроватке. У нее все личико было красное и в волдырях. Девочка задыхалась. За оплывшими веками не было видно ее прекрасных глазенок, которые привлекали всех.

Я спросил сестру, что случилось.

— Заболела... не знаю...— в слезах ответила она.

Отец и мать в тревоге не отходили от девочки. Заполночь я задремал, и вдруг меня затормошил Аюбай с тревогой в голосе:

— Бауржан, Бауржан, вставай, встань! Прочти отходную... Қатира уходит... Я вскочил с постели и побежал к детской кроватке. Девочка уже не дышала. Мы все заплакали... Не знаю, сколько прошло времени, но я опомнился лишь тогда, когда вошел в шубе дед Майлибай, и Убианна бросилась к нему, говоря, задыхаясь от слез:

— Ата, Атаа-а-а... Қатира умерлааа..., ааа...

Старик подошел к детской кроватке, взял мертвого ребенка на руки, как бы нянча его, сел на пол и, качая его, произнес:

— Что же ты, младенец, решила покинуть своего деда?

Что он говорил дальше я не расслышал. Немного успокоившись, он положил ребенка на место и сказал рыдающим родителям: «Успокойтесь, дети мои, на то, видно, воля божья. Вы еще молоды, даст бог, не последний у вас ребенок». Сказав это, он подошел к кроватке Катиры, вынул из кармана большой платок и накрыл ей лицо.

С рассветом пришли все майлибаевцы, и каждый из них оплакивал смерть общей любимицы Катиры.

Как выяснилось после, накануне девочку начало лихорадить. На лице, вокруг рта, появилась сыпь. Родители понесли дочку к знахарке, тучной и глупой старухе, и та окурила ребенка ртутными парами.

В связи со смертью Катиры я два дня не ходил в школу. На третьи сутки Аюбай оседлал мне коня и, сказав: «Пусть ее второй дед узнает о смерти своей внучки»,— отправил меня домой, велев вернуться обратно через три дня. Я приехал домой в мрачном настроении, рассказал отцу все от начала до конца. На следующее утро отец объявил мне о своем решении не посылать меня к мулле. На этом закончилась моя учеба в «мусульманской духовной семинарии».

* * *

Остаток зимы, весну и все лето отец сам учил меня. К осени я свободно читал по-арабски, по слогам читал по-русски, но смысла того и другого не понимал, решал простые арифметические задачи.

В этот год Гончаровы опять ортачили с нами. Год был удачным. Все в нашем ауле были здоровы. Скот, нагулявшись на сочной траве, резвился на полях. Урожай хлебов был небывало хорошим.

Как-то приехал верхом Кузьма Гончаров. Вместе с отцом объехал поля. Не слезая с лошади, сорвал несколько колосьев, потер их в грубых своих ладонях, пересыпая из ладони в ладонь, подул, чтобы отделить шелуху, и долго рассматривал крупные зерна, пробовал их на зуб.

— Якши, Момыш, якши,— говорил он, так как кроме этих слов, видимо, не знал других. Дальше старик начал объясняться мимикой и жестами, из чего мой отец, не знающий русского языка, понял, что пшеница вполне созрела, и Кузьма после базарного дня приедет со всей семьей на уборку. Отец к этому времени должен, как это было условлено, приготовить барана. Отец ему ответил единственным русским словом, которое он знал и произносил по-своему:

— Хараша, Кузьма, хараша.

Действительно, через неделю Гончаровы приехали на своих бричках, к которым были прикреплены пароконная лобогрейка и одноконные грабли. У нашей зимовки было выбрано место для тока. Расчистив ровную площадку, женщины залили ее водой. Мы с Василием помогали им, таскали воду из ручья. Взрослые сыновья Гончарова в это время налаживали инвентарь: кто лобогрейку, кто грабли, кто каменные катки, а старик с моим дядей ладил хомуты, шлеи и постромки. Отец ремонтировал ручные деревянные грабли. К вечеру все приготовления были закончены. Тишко и Василь поехали с нами в аул за обещанным бараном. Когда мы прибыли в аул, с пастбища возвращались отары и стада, вокруг аула носились табуны коней.

Я помогал женщинам подводить к ведрам овец, придерживал рвущегося к матке ягненка, пока она доилась, отпускал ягненка, отвязывал очередного. Василь тоже помогал женщинам, проделывал то же самое. Телята и ягнята, уткнувшись мордочками в вымя маток, высасывали остатки молока, после чего, довольные, отходили в сторону и мирно пощипывали траву. Перед сумерками отец велел Тишко выбрать любого барана.

Василь изъявил желание остаться у нас, но Тишко ему не разрешил, уговаривая поехать с ним к току. Отец упросил Тишко оставить Василя у нас на ночь.

— Ну, Василь, ты сегодня у нас кунак,— сказал ему отец, указывая на почетное место,— вот, сядь здесь, у нас кунаки тут сидят.

Василь смущенно принял приглашение. Начался наш семейный ужин с молодым кунаком. Мы угощали Василя кумысом, баурсаками, а затем бесбармаком. Пришел соседский мальчик, который пригласил меня на игру «ак суек», и отец велел мне идти с Василем.

Стояла темная тихая ночь. Аульные ребята были в сборе. Началась игра. Сущность ее заключалась в следующем: брали белую голенную кость быка, и один из взрослых, размахнувшись, кидал ее. В тот же момент все дети бросались в ту сторону, куда она полетела, и на черной земле искали белеющую кость. Тот, кто находил, бросался бежать, остальные — вдогонку за ним. Догнавший старался отобрать кость, первый не давал, и тут завязывалась борьба. Все наваливались гурьбой на того, у кого находилась кость. Он прятал ее, куда только мог. Кость переходила из рук в руки. Овладевший ею вырывался и бежал, остальные догоняли, сваливали его, и опять продолжалась борьба за обладание костью. Наконец, кому-нибудь удавалось вырваться из этой свалки и добежать до того места, где стоял кинувший кость во тьму, и передать ему свою добычу. Игра повторялась снова. «Белая кость» — это своеобразный детский кокпар ночью. В этой игре у детей вырабатывались ориентировка, сноровка в схватках и бег. Наигравшись вдоволь, усталые, мы расходились по юртам.

Василю эта игра очень понравилась, и он несколько раз был лидером ее. В одном из поисков завязалась драка между ним и одним нашим мальчиком. Я заступился за своего гостя и розням их. Оказалось, что поводом для ссоры была хитрость Василя: он нашел кость и побежал, а догнавшему его сунул в руку белый камень. Тот, почувствовав обман, возмущенный нечестностью Василя, кинулся в драку...

С тех пор, как Василь погостил у нас, между нами завязалась крепкая дружба. Он, видимо, рассказал своим родным, как был принят в ауле, как мы играли ночью, как я заступился за него, потому что на следующий день я почувствовал особое внимание семьи Гончаровых к себе: каждый из них старался ме-

ня называть по имени — кто Бажан, кто Бардан или Буржан и Баржан вместо прежней клички «киргизенок». Василь поправлял их, правильно произнося мое имя. Его мать, добрая старуха, которую мы все звали мамашей, еще смешнее искажала мое имя, называя меня Буроуржаном.

Началась косовица хлеба: на одном участке — лобогрейкой, на другом — вручную. Применение лобогрейки и кос для нас было новостью, так как мы раньше жали серпами.

На женщин и на меня с Василем была возложена подготовка тока. Немного подсохшую после вчерашней поливки землю трамбовали сначала вручную, а потом, после посыпки площадки мелкой соломой, мы с Василем впрягали коней и утрамбовывали ток катками — ездили по кругу один за другим. Женщины после наших нескольких заездов убирали солому, поливали землю водой, снова сыпали солому, а мы опять ездили по кругу, волоча каменные катки. К обеду работа закончилась, с площадки вымели солому, и ток заблестел на солнце.

Два дня подряд продолжалась косьба, а третий и четвертый дни ушли на то, чтобы свезти скошенное с поля на ток. На току выросли три громадные скирды. На пятый день началась молотьба. Со скирд на ток вилами сбрасывали пшеницу, мы с Василем заезжали с одного края, направляя своих коней по кругу. Сначала мы ехали по вороху разбросанной пшеницы, тяжелые катки, которые мы волочили за собой, придавливали солому. Следом за нами взрослые вилами ворошили солому, женщины охапками относили солому с тока. Молотьба продолжалась три дня. Привезли ручную веялку, за два дня пропустили ворох через нее, и на току выросла целая гора крупного чистого зерна.

В честь окончания работ зарезали барана. Под вечер приступили к дележу. Уборка и дележ не вызвали каких-либо споров, и Гончаровы со своей долей довольные уехали к себе в деревню. На прощание они пригласили нас приехать в следующее воскресенье в гости.

В воскресенье утром из Евгеньевки доносился в наш аул звон колоколов деревенской церквушки. Отец и дядя разрешили мне поехать с ними на базар. Из дальних аулов мимо нашей зимовки ехали верховые, гнали коров, лошадей, баранов. К одной из таких групп дядя присоединил четырех баранов из нашей отары, предназначенных на продажу.

Одевшись по-праздничному, мы поехали. По дороге, догнав несколько всадников, отец и дядя поздоровались с ними. Путники пожелали друг другу удачного базара.

В то время базар был для казахов не только местом обмена, покупки и продажи, но и общественным местом, где встречались знакомые, велись деловые разговоры.

Базар был расположен на том месте, невдалеке от станции Бурное, где в голодные годы дядя попытался заняться торговлей. На громадной вытоптанной площади собиралось множество людей, животных, повозок — сюда приезжали из всех русских деревень и казахских аулов трех волостей. На одной из окраин площади мы, забутовав своих коней, влились в людскую толпу. Поток людей, как ледоход при заторе, кружился и растекался в беспорядке в разные стороны. Площадь была разбита на участки, на одном из которых узбеки-лотошники на постланных на полу скатертях разложили галантерейные товары. Они сидели в два ряда, громко приглашая покупателей. За ними тянулся ряд фруктовых лавчонок на больших узбекских арбах, хозяева которых наперебой расхваливали свой товар. Еще дальше торговали арбузами и дынями. Позади этих рядов стояли русские повозки с овощами. В стороне был отведен участок для продажи зерна, а за ним участки для продаваемого скота: баранов, коров, лошадей. Народу было так много, что, казалось, базарная площадь стонала под тяжестью такой людской массы. Отец не отпускал меня от себя, боясь, что я могу заблудиться, но потом, когда я немного осмотрелся, разрешил ходить по базару самостоятельно, вложив мне в руки несколько монет. Я с любопытством бродил по базару, разглядывая ря-

ды. Когда я с изумленными глазами проходил мимо русского ряда, кто-то схватил меня сзади и закрыл мне глаза руками. Это был Василь, который, увидев меня, подкрался и так пошутил...

— Пойдем,— потянул он меня за руку,— там мои батько и мамо сидят.

Действительно, на краю ряда стояла их повозка, нагруженная арбузами, а разодетая хозяйка Гончарова, в нескольких широких юбках из цветастой материи сидела на краю повозки и торговала. Она, занятая своими покупателями, не обратила на нас внимания, а Василь, подведя меня под тень повозки, усадил на дерюге и угостил арбузом. Возле другой повозки на земле сидели несколько мужиков и распивали водку, а на другой стороне стояли разодетые девушки в ярких платках, а перед ними — парень в новом картузе, вышитой косоворотке и сапогах, пахнущих дегтем. С гармошкой в руках он хорохорился перед девушками, говорил им что-то, а те смеялись, кокетничали. К ним подошли еще два разодетых парня, и гармонист заиграл. Девушки пустились в пляс. Проделав круг, они останавливались перед кавалерами и топали ногами, вызывая их. Гармонист все играл и играл. Это веселье привлекло много народу, и собравшиеся зеваки загородили плясунов от нас.

Мы с Василем пошли по бакалейным рядам, и один узбек уговорил купить у него пару конфет длиною с карандаш, завернутых в цветную бумагу. Мои монеты перешли в руки узбека. Посасывая конфеты, мы пошли бродить по базару. Встретился Аюбай, спросил, где отец, уговаривал меня ехать к нему, но Василь ответил, что мы приглашены к ним в гости. Аюбай купил нам фунт сушеного урюка и велел передать привет нашим, потом он затерялся в толкучке...

После полудня сутолока стала редеть. Я, распрощавшись с Василем, пробивался в условленное место для встречи с отцом, вдруг кто-то бросил клич, требуя внимания. Утеп, наш знакомый еще по церемонии венчания Убианны с Аюбаем, ехал в сопровождении двух всадников между рядами и, поднимаясь на стре-

менах, рифмуя слова, громко объявил собравшимся, что у одного из сопровождающих его (с ним он песенно знакомил всех) в прошлую субботу пропал конь. Также песенно он перечислял приметы коня, пел, что хозяин просит увидевших потерявшегося коня сообщить ему за вознаграждение. Сопровождавший его, как бы подтверждая слова Утепа, ехал рядом и кивал головой. Оказывается, Утеп свои поэтические способности применял и на поприще глашатая. Во втором заезде он объявлял, что через неделю один из сопровождавших его устраивает поминки по своему отцу и приглашает на них всех желающих.

Как видите, базар был и местом для объявлений...

Сделав покупки, мы поехали в Евгеньевку к Гончаровым. До этого я в русских деревнях не бывал, видел их лишь издали. По дороге мы обгоняли возвращавшихся с базара евгеньевцев, ехавших на повозках и шедших пешком. Вся дорога пестрела от разодетых в цветастые платья женщин, мужчин в картузах и вышитых косоворотках. Двое мужиков вели под руки пьяного, без шапки, со взъерошенным чубом, растрепанного. Он сопротивлялся, не мог передвигать ноги и во все горло орал на своих спутников, видимо, бранился, потому что девушки при его словах шарахались в сторону. В нем мой дядя узнал «бузык-Ивана» — хулигана Ивана. Последний, увидев нас, вырвался и с бранью метнул в нашу сторону комок земли, который угодил по крупу дядиного коня. Дядя повернул коня и хотел было броситься на «бузык-Ивана», но отец прикрикнул на него и приказал не ввязываться в ссору с пьяным. «Бузык-Иван» метнул второй комок земли и, бранясь, пригрозил нам кулаком. Оказывается, они с дядей были давнишними врагами.

— Я этого подлеца еще раньше лупил плеткой, когда он был объездчиком, а теперь, слава богу, равные...

— Брось болтать,— прервал его отец,— не для драки, думаю, предоставлено равенство...

— А если задевает, что, ему спускать? — горячился дядя.

— Момыш, здравствуй! — крикнул с телеги, мимо которой мы проезжали, пожилой мужик в соломенной шляпе.

— А, Тимошка, аман, аман,[1] — ответил отец и спросил, почему он остановился.

— Да этого дурака хочу подвезти,— ответил старик, как бы извиняясь за своего односельчанина, и добавил: — Беда с ним, каждый базар напьется и хулиганит.

— Дядя Тимофей,— орал в это время пьяный,— лови Момынкула, я ему башку свер-р-ну.

— Ну, езжайте,— сказал Тимофей нам, махнув рукой в сторону пьяного.

Мы тронули коней и, сопровождаемые бранью «бузык-Ивана», поехали...

По склону холма, за которым возвышалась гора Ала-Тау, тянулась прямая и широкая улица. Чисто побеленные крестьянские хаты скрывались за высокими тополями, росшими вдоль арыков в два ряда. Казалось, мы едем по широкой аллее тополевой рощи. Каждая усадьба была обнесена плетеной изгородью, въезд во двор обозначен подмостком из камня или деревянным настилом. Белые хаты с соломенными крышами и с надворными постройками мне показались дворцами по сравнению с нашими приземистыми кибитками, разбросанными у каждого ручья. Улица была полна людей в праздничных одеждах, они шли группами, пели песни, в некоторых группах плясали под игру чубастого гармониста.

Мы трусили на конях по деревенской улице. На третьем квартале я узнал у бревенчатой арки нашего знакомого — Тишко. Он поманил нас рукой. Мы заехали во двор Гончаровых. Двор, большой и чисто выметенный, был окружен глинобитными надворными постройками с соломенными крышами. Посреди двора возвышалась деревянная надстройка колодца с журавлем. Сыновья Гончарова увели наших коней в конюшни. Кузьма со старухой пригласили нас войти в дом. В чисто выбеленной хате с земляным полом,

---

[1] Аман — здоро́во.

с большой русской печью стояла широкая деревянная кровать, накрытая самодельным одеялом, высокий сундук, стол под белой холщовой скатертью, пара скамеек и несколько табуреток. У печки висело длинное льняное полотенце. Я, как только вошел, сразу увидел иконы, висящие в углу. Впервые, с нескрываемым любопытством смотрел я на них. Металлические рамки образов были начищены до блеска. Из рамки выглядывал бог-отец с седой бородой и, казалось, он смотрел на меня. Справа от бога-отца висело изображение богоматери с младенцем на руках. Слева — Иисус Христос. Все это завершалось внизу выпуклым изображением распятия, под которым горела тоненькая восковая свеча. Иконы окаймлялись живыми цветами...

Мое любопытство, видимо, было до того заметно, что отец счел необходимым разъяснить мне:

— Это изображения русских богов,— начал он,— этим картинам они молятся. Старик, что с белой бородой,—бог-отец, а вот эта красивая женщина — мать Иса-пайгамбара[1], что держит его еще младенцем на руках. А вот сам Иса-пайгамбар, а внизу изображено, как его распяли иудеи... Потом, немного подумав, он добавил: — Конечно, русские стоят на неверном пути, поклоняясь рисункам, что они сами нарисовали. Бог создал человека, а не человек бога,— заключил он свои разъяснения.

Пока отец говорил с Кузьмой о каких-то делах, я не мог оторвать глаз от русских икон. Стол был накрыт, большой пузатый самовар шипел на краю стола, хозяйка полотенцем перетирала чашки. Молодые женщины, Манька и Санька, раскладывали ножи и вилки, резали хлеб, вносили вареный картофель, пироги. И наконец внесли чугун, окутанный паром.

Гончаровы перекрестились перед иконами и сели за стол. Старуха начала разливать чай. Старик, что-то говоря и жестом показывая на стол, обратился к моему отцу. Тишко его слова перевел так:

— Он говорит, что на столе нет ничего из свинины. Вот хлеб, сахар, вот картошка, фрукты, в чугуне

---

[1] Иса-пайгамбар — Иисус-пророк.

птичье мясо. Так что Момыш может, как хороший знакомый, кушать все. Старый Кузьма не подведет...

После перевода Тишко хозяйка засмеялась.

— О чем они говорят, Тишко? — спросил дядя.

— Да они говорят, что Момынкул недоверчиво смотрит на них,— ответил отец и предложил нам закусывать.

Обед прошел дружно и весело. Василь поманил меня глазами во двор. С разрешения отца я вышел.

— Хочешь, покажу тебе все, что у нас имеется? — спросил меня Василь, как только мы вышли из хаты.

Он подвел меня к колодцу, открыл крышку. Я нагнулся и посмотрел вниз. Стены колодца были выложены камнем, а на дне сверкала темная зеркальная поверхность воды. Василь, подпрыгнув, схватил конец висевшего на журавле длинного шеста с крюком, прицепил за крюк ведро и показал мне, как нужно вытаскивать воду из колодца с помощью «журавля». Вода была чистая и холодная. Потом он повел меня на конюшню, в амбар, показал маленький садик и огород. Эта экскурсия произвела на меня глубокое впечатление: хозяйство Гончаровых показалось мне образцовым по сравнению с нашим примитивным двором и загоном. Когда я попросил показать мне деревянную церковь, Василь заколебался, а потом ответил:

— Ладно, как-нибудь в следующий раз, а сегодня нельзя...

* * *

После осенних дождей землю сковали заморозки. Дул обычный в здешних местах западный ветер, который летом поднимает пыль, осенью пронизывает насквозь своим холодным дуновением, а зимою поднимает метель. Видимо, поэтому наша станция и носит название Бурное. Правда, многие недоумевают, почему Бурное — в нарушение всяких правил правописания,— а не Бурная. Приходится догадываться, что при даче названия исходили не от станции, а от места: бурное место, отсюда и станция Бурное.

Однажды вечером отец серьезно говорил со мной об ученье.

— Вот если бы тебя отдать в ученье русскому мулле! — говорил он мне. Думаю, что там детей учат практически, как надо применять знания в жизни, а не как наши муллы, которые сами вызубрили только несколько глав из корана. Там тебя научат считать, писать и читать. Среди русских ребят, у русского муллы научишься русскому языку и будешь свободно общаться со всем народом, что населяет наш край, и никто — ни русский, ни казах — тебя обижать не будет...

Дядя, поддакивая отцу, высказал, однако, сомнение: позволительно ли правоверного мальчика отдать в учение мулле неверных русских? Ведь русский мулла не будет учить законам мусульманским, и сородичи будут осуждать моего отца за то, что он отдал своего единственного сына к русскому мулле...

— Давай не будем обращать внимания на это,— сказал отец своему брату.— Ведь предки святого пророка тоже были неверными, а наш Бауржан, слава богу, кое-что знает и не станет, думаю, вероотступником из-за того, что получит знания у русского муллы, который учит детей лучше, чем наш, и не бьет детей, как наши самодуры... Да и новые порядки призывают, чтобы детей учили по-новому, во всяком случае, не по корану...

На возражения дяди он привел в пример Садыка.

— Разве народ его не уважает? Он со всеми может поговорить, и с русскими он говорит не хуже, чем с нами, дело знает, умный человек: сам пишет, сам читает на двух языках...

Весь вечер прошел в спорах о моем предстоящем ученье, и братья пришли к выводу, что меня надо отдать в школу «к русскому мулле». На следующий день дядя съездил в Евгеньевку. Вернулся к вечеру. За ужином он сказал отцу, что я буду жить у Гончаровых, что «русский мулла» согласился учить меня за плату: пуд муки, пуд крупы, пуд гороху и за учебные пособия — бумагу и карандаши — одного барана. А Гончаровы отказались от какой-либо платы за проживание, но предупредили, что у них нет в запасе ни

баранины, ни говядины, и дядя им обещал привезти одного барана.

Утром мы собрались с дядей в путь. Приторочив к седлу одеяло и подушку, чтобы защититься от холодного ветра, что дул с запада, мы поехали. По дороге встретился один из наших земляков и на слова дяди, что он меня везет в русскую школу, покачав головой, сказал:

— Значит, крестить везешь. Ай, ай, как нехорошо, какое нехорошее время пошло, коль такой разумный человек, как Момыш, своего единственного сына в русскую школу отдает. Кто же по нему молитву будет читать, когда он умрет? — крикнул он вслед нам, придерживая коня. Дальше дядя ехал молча, а когда проезжали мимо мусульманского кладбища, он на ходу прошептал молитву по душам покойников, потом, погладив усы, посмотрел на меня и сказал:

— Нет, Бауржан, тот прав. Поехали домой. Будешь расти, как и твои остальные сверстники, в ауле,— и повернул коня. Я последовал за ним...

Этот случай отложил мое ученье на целых два месяца. Дядя настойчиво возражал против моего обучения в русской школе и требовал, чтобы я вернулся в аул Аюбая продолжать учиться у мусульманского муллы, но против этого были отец и я.

В тот год зима была необычайно сурова. Выпал глубокий снег, держать скот на подножном корму было невозможно, поэтому часть скота дядя отогнал за Кара-Тау, под присмотр наших родственников, где зима была всегда сравнительно мягкой. Запас кормов быстро уменьшался, топлива — тоже. Пришлось для скота и для очага ввести жесткий минимум, чтобы прожить эту суровую зиму. Корм скоту выдавался строго по норме, а печь топили только для приготовления пищи. Зима была весьма тревожной для скотоводов. Дядя часто ездил к скоту, который находился на отгоне, и обычно возвращался из своей поездки мрачным. После одной из поездок он рассказывал, как купил стог сена у одного русского, проживающего в этом районе, в деревне Головачевка, как, отдав ему задаток, сам поехал на базар продавать скот,

чтобы выплатить остальную сумму, и когда вернулся с деньгами через три дня, русский продал этот стог сена другому, по более дорогой цене. Возмущенный таким поступком, дядя поднял скандал, и дело кончилось дракой. Обоих забрали в участковую милицию, продержали сутки. Допрашивал его работник милиции, не владевший казахским языком. Дядя не мог объяснить ни сути дела, ни своей правоты.

— Я этому начальнику говорю, что этот подлец брал у меня задаток, значит, стог мой. Отдав его другому, он нарушил свое слово... А начальник разводит руками и говорит мне: «бельмей»[1], потом что-то бормочет по-своему, я ему тоже отвечаю, что не понимаю его, так же, как он меня. До сих пор обидно! — горячился дядя.

— Ну ладно, хватит переживать,— успокаивал его отец.— Благодари бога, что тебе еще бока не наломали и начальник не посадил тебя в тюрьму за дебош, который ты там поднял.

— Меня сажать? — недоумевал дядя.— За что? Ведь я же сдержал свое слово...

Этот случай, видимо, был одной из главных причин, вырвавших у дяди согласие на мое ученье в русской школе. Но он открыто не выражал этого, а лишь ходил мрачный, переживал случившееся, часто называл себя глухонемым.

Особенно переживал он свою неудачу, когда кормил скот, разбрасывая ему скудные порции сена, а на жалобное мычание коров, которые как бы просили добавочного корма, говорил:

— Больше нельзя. Понимаете, что больше нельзя!

Когда корова подходила ближе, обнюхивала рукава, как бы умоляя о дополнительном корме, дядя гладил ее морду и успокаивающе говорил:

— Ну, ладно, бедняжка, больше не могу, а вот настанет весна, вырастет сочная трава, тогда и наешься вдоволь, а пока довольствуйся тем, что тебе дали. Как-нибудь до весны дотяни...

Голодное животное лениво отходило и начинало щипать сухие былинки, оставшиеся кое-где на земле.

[1] Бельмей — не знаю.

Подул западный ветер, кругом замело. Почти неделю носилась по полям вьюга. Общение между соседями прекратилось. Только дядя, укутавшись в шубу, выходил из дому, чтобы кормить и поить скот или сходить за водой к ручью. Он возвращался весь в снегу и долго отряхивался в углу.

— Фу, кругом замело, даже соседский дом не видать,—говорил он,— прямо взбесилось все...

Мы сидели, завернутые в шубы, и коротали время от еды до еды за рассказами и сказками...

* * *

Дядя привез меня к Гончаровым. У них было тепло. По улице бежали ребята с сумками и кидали друг в друга снежки. Среди них я увидел Василя. Он, дав отбой своему «противнику», побежал домой. Увидев меня, Василь радостно воскликнул:

— А, Бауржан приехал! — и, схватив меня за руки, потащил в хату.— Пойдем, чего ты тут стоишь?

...В сопровождении Василя и Тишко мы с дядей направились к «русскому мулле». «Мулла» оказался высокой, худощавой пожилой женщиной с гладкой прической, открытым лбом, большими серыми глазами и острым, чуть крючковатым носом. Когда мы вошли, она месила тесто и разговаривала с нами, не вытерев рук, держа их за фартуком. Тишко представил нас. Разговор был коротким. Она посмотрела на меня и по-русски задала мне несколько вопросов, на которые я не ответил. Потом обменялась несколькими словами с Тишко, который нам после перевел ее слова:

— Она говорит: очень плохо, что Баржан не знает русского языка. Как она его будет учить, когда сама не знает по-казахски?

— Если бы Бауржан знал русский язык, зачем бы нам его приводить сюда? — ответил дядя.

Учительница засмеялась и сказала:

— Ну, ладно, коли они его хотят учить по-русски, пусть оставляют. Посмотрим, может быть получится..

И, обращаясь к Василю, она спросила:

— А ты будешь ему помогать? А то ему трудно будет учиться.

— Буду,— ответил Василь.

Дядя, наказав мне хорошо вести себя, быть усердным и осторожным — не есть свинины, не молиться русскому богу,— пожелав успеха, уехал домой.

Хозяйка определила мне место и показала, на каком табурете я буду сидеть, а спать — вместе с Василем, на печке. Чуть призадумалась и спросила меня:

— У тебя «баранов» много?

Не понимая ее вопроса, я назвал количество наших баранов. Она засмеялась, вынула из-за пазухи мнимого насекомого и начала «давить» его, говоря:

— Вот такой «баран» есть у тебя?

Сконфуженный и обиженный, я тут же содрал с себя рубашку и протянул ее старухе. Она осмотрела внимательно швы и, не обнаружив ничего, вернула рубашку мне, как бы извиняясь за свой вопрос, пошлепала меня по голой спине и предложила одеваться. Одеваясь, я не смог преодолеть обиду и заплакал. Старик начал ругать свою старуху, а остальные Гончаровы тоже напали на нее, упрекая в невежливости. Бедная хозяйка оправдывалась... Видимо, желая утешить меня, она заставила тут же раздеться и Василя, и все, несмотря на его брыканье, начали осматривать его белье. Я никак не мог успокоиться, и все старались сгладить нанесенную мне обиду.

Вечером после ужина Василь учил свои уроки, а Тишко открыл мой букварь и начал мне объяснять алфавит. Я знал этот алфавит, но только так, как учил меня отец: для меня между «б» и «в» между «к», «г» и «х» между «с» и «ц», между «е», «и» и «й» никакой разницы не существовало. Первые я произносил как «б», вторые — как «к», третьи — как «с» четвертые — как «и». О «ь», «ы» и «ъ» вообще не имел никакого представления. Братья долго, до поздней ночи, сидели со мной, объясняя, но мне это давалось очень туго.

— Вот скажи Василий.

— Басиль,— говорил я.

— Да нет, не Басиль, а Василий,— повторял Тишко,— понимаешь В, Ва...

— Бесиль,— отвечал я и спрашивал: — Так ли?

— Нет, не так опять произносишь. Не бе, а ва, Ва-си-лий. Понимаешь?

Они приводили множество примеров, где были перемешаны русские и казахские слова, где встречались эти «премудрые» буквы, но я понимал все же с трудом.

Так начался мой первый урок русского языка.

* * *

Василь забрался на печку и позвал меня. Там было очень тепло. Одеяло, которое я привез, было из верблюжьей шерсти, толстое, двухспальное, а Василь до этого накрывался своей тужуркой и тоненьким байковым одеялом.

— Ну, что,— сказал он,— твое постелим, а моим будем одеваться? Здесь очень тепло.

Я согласился.

От непривычки ли спать в тепле, или от новой обстановки, или от дум о предстоящем ученье у русской учительницы мне долго не спалось. Я вертелся с боку на бок, а Василь спал непробудным сном. Мне было душно, я откинул одеяло, которым мы накрывались, и лежал с открытыми глазами. Я думал о том, что я здесь задыхаюсь от жары, а там, у нас дома в холодной комнате, спят под толстыми одеялами. Приходила одна мысль за другою, воспоминания за воспоминаниями, пока наконец у меня все не перепуталось, и я заснул, словно в бреду.

Утром меня тормошил Василь. Сквозь сон я слышал его голос:

— Бауржан, тур, тур, вставай, в школу пора...

Я бормотал что-то и отталкивал его. А когда ему надоело возиться со мной, он стащил меня за ноги с печки, и, только очутившись на полу, я проснулся. Я сидел в нижнем белье и спросонья тер глаза.

— Да тормоши его, еще вин не проснувся, вот це киргизенок,— засмеялась звонко Санька.— Вин як у себя в кибитке веде себя. Тилько що з него штаны задрати, може тогда вин проснется...

— Чого вона, мамка, регочет над ним? — сердился Василь,— хиба ему не хочется просыпаться, вин просто заспався.

— Як ты хочешь, Василь, а с цього киргизенка у

вашей учителки ничего не выйдэ, як вы ни учите, так вин киргизенком и останется.

Многих слов этой злоязычной женщины я, разумеется, не понимал, а о смысле догадывался по интонации ее голоса. Когда я окончательно проснулся и оделся, по жестам и интонациям также почувствовал, что старуха и Василь были за меня и в чем-то упрекали Саньку, а та бойко огрызалась и доказывала что-то им. Старуха топнула ногой и приказала снохе замолчать. Та покорно выполнила требование своей свекрови.

Хозяйка нас накормила завтраком, в наши сумки положила по бублику, подвела Василя к углу, где висели иконы, перекрестилась сама и заставила его тоже перекреститься, поцеловала его в лоб, а потом, обращаясь ко мне, сказала:

— Ну что же, Бурбуржан, хоть ты и бусурманский дитенок, да благослови тебя бог,— и погладила меня по голове.— Якши надо учиться, Бурбуржан, хорошо надо учиться,— этим она закончила свое напутственное слово. Потом наказала своему сыну, чтобы он не оставлял меня без присмотра и русским ребятам в обиду не давал...

Мы с Василем побежали в школу. Когда вышли из дома, со всех дворов с сумками шли ребята. Одних мы перегоняли, другие присоединялись к нам, но, как правило, все рассматривали меня и спрашивали Василя:

— Що це за киргизенок, куда ты его ведешь, Василь?

— Вин сын нашего знакомого, Момыша. С нами буде учиться,— отвечал Василь.

— Хиба вин по-русски розумие?

— Трохи розумие, а после научится, и побачимо...— серьезно отвечал Василь.

— А вин букварь знае? Чи ни?

— Тоже трохи знае.

— Як у него с русской мовою?

— Як тебе учила наша учителка?— обрушился на него Василь.— Як вона тебе учила? Хиба «мова», а не язык...

— А як тебе училы, Василь,— прервал его другой,— не «хиба», а ежели, али, як вона поправляла Миколу Водопьянова, «если». Вот як вона велела на уроке говорить!

— А вин, Василь, де будэ жить? — прервал его другой мальчик.

— У менэ, со мной буде жить,— ответил Василь.

В это время раздался звон колокольчика, и все ребята кинулись бежать к школе. Подслеповатый старик в шапке с вытертым мехом, в старенькой тужурочке стоял у крыльца и бренчал колокольчиком...

В класс я вошел последним. Ученики раздевались, вешали свои тужурочки и шапки на вешалку. Следуя их примеру, я тоже разделся и свой халат и шапку повесил на самый крайний гвоздь. Вошла учительница. Все ученики встали со своих мест. Она поздоровалась. Ученики ответили хором, но невпопад: «Здравствуйте, Мария Ивановна!» Учительница встала перед висевшей на стене черной доской. На ней было длинное черное платье с белым воротником и широким поясом из черного бархата. Она посмотрела на всех учеников, как будто пересчитывая присутствующих, и ее взгляд встретился с моим.

— Подойди сюда, мальчик,— позвала она меня. Я подошел к ней.— Вот что, ученики,— обратилась она к остальным,— этот киргизский мальчик будет учиться у нас. Вы его не обижайте, он один среди вас. Относитесь к нему, как к своему. Он сын знакомого наших Гончаровых.

— Да вин трохи понимае по-русски,— за меня ответил Василь.

— Ну, хорошо, значит, будем учиться,— сказала она и указала мне на свободное место рядом с синеглазой девочкой с бантиками в косичках.

Когда я сел на указанное место, моя новая соседка посмотрела на меня и отодвинулась.

Начался урок. Учительница села, открыла букварь, вызвала к доске мою соседку, и та начала отвечать заданные на дом уроки. Впервые я видел, как мелом пишут на черной доске крупные буквы. Написав несколько несложных слов, девочка стерла написан-

ное и вернулась на свое место. Затем мальчик проделал то же самое, но он допустил несколько ошибок, которые были исправлены учительницей... Разумеется, я не понимал тогда многих слов, что писали мои новые товарищи.

Наша школа находилась против деревенской церквушки, которая давно возбуждала мое любопытство звоном своих колоколов. Церковь, выстроенная из обыкновенного кирпича-сырца, была с большими сводчатыми окнами, с крыльцом, с деревянной лестницей. Над железной крышей возвышался купол, завершенный большим крестом. Рядом с церковью стоял поповский дом с надворными постройками. Церковная площадь была величиной в два-три усадебных надела. Церковь возвышалась над остальными деревенскими домами. Во время перерыва между уроками ученики резвились на прицерковной площадке.

На втором уроке учительница дала задание ученикам, вызвала меня к столу, посадила возле себя, открыла букварь и начала мне объяснять.

— Вин знае букварь,— сказал Василь.

Учительница спросила меня. Я ей назвал весь алфавит. Она меня поправляла, говорила, как нужно правильно произносить «ве, ка, ха, це, ша, ща, че, ю»,— повторила учительница те буквы, которые я произнес неверно, и заставила меня повторить. Потом она аккуратно переписала эти буквы и сказала:

— Вот, выучи их, а писать и читать будем потом.

Затем открыла страницу букваря, прочла вслух медленно несколько предложений, разъяснила их смысл, еще раз прочла все и велела всем ученикам самим прочесть про себя.

Третий урок — арифметика — прошел более живо. В начале урока она спросила, все ли решили заданную накануне задачу. Ученики хором ответили, что решили все. Учительница написала на доске задачу и спросила:

— У всех так написано?

— У всех,— ответили хором.

Она проверила тетради, внесла исправления и показала решение на доске. Потом учительница объяс-

нила новую задачу и дала задание на дом. Задачников у учеников не было. Пока они переписывали с доски задание в свои тетради, учительница подошла ко мне, села рядом и аккуратно вписала в мою тетрадь цифры до десяти.

— Один — бир, два — еки, три — уш, четыре — торт,— начала она мне объяснять с переводом. Когда она заставила повторить цифры, я без запинки прочел все написанное по-русски, так как счет по-русски я знал до ста. Учительница воскликнула:

— Вот молодец, оказывается, ты знаешь!

Ученики посмотрели в мою сторону, а учительница, как бы отвечая им, сказала.

— Да, он знает цифры по-русски.

Одобренный ее похвалой, я просчитал по-русски до двадцати.

— Хорошо,— одобрительно сказала она,— но только не «дбанасат», а двенадцать, тринадцать, не «шешнасат», а шестнадцать не «дебатнасат», а девятнадцать. Понял? — спросила она и дала Василю задание научить меня правильно произносить цифры.

Так начался и кончился первый день моего учения в русской школе.

С помощью Гончаровых я учился неплохо. Вся семья, кроме старика Кузьмы и хозяйки, которые сами были неграмотными, шефствовала надо мной. По арифметике я преуспевал, хотя последовательно решения задач в тетради не записывал. Я решал в уме и записывал в тетрадь сразу ответ. Это доставляло много хлопот учительнице: каждый раз нужно было объяснять мне ход действий. Незнание мною языка, естественно, делали ее объяснения непонятными, но она каждый раз терпеливо повторяла. Букварь я читал и кое-что переписывал в тетрадь. Многие слова мне были непонятны. Запоминал я их механически, не понимая значения, так как мои шефы и переводчики искусством перевода книжных слов не владели...

С каждым днем я все теснее сближался с русскими ребятами, моими школьными товарищами.

О том, как дальше складывалась моя жизнь, будет рассказано в следующей книге.



ЗА НАМИ МОСКВА

В этих записках я хотел поделиться не только опытом, но и рассказать о некоторых своих ошибках.

Автор

Осеннее утро. Хмуро небо. Лужи подернулись тонкой коркой льда.

Батальон в строевом ритме шагает по улице проснувшегося города.

Только что из теплой постели, наспех прикрывая плечи, женщины смотрят через настежь распахнутые окна. Они встревожены, в их глазах удивление. Чему удивляться? Я оборачиваюсь назад: идут стройные колонны, по четыре в ряд, рота за ротой. Нас — шестьсот. Между колоннами, взапряжку по два, по четыре, цокая копытами по мостовой, наши тридцать шесть пар коней тянут орудия, зарядные ящики, двуколки, повозки. Строй замыкает широкая санитарная линейка, с облепленной грязью эмблемой Красного креста на ящике.

Загорелые, сосредоточенные, с воспаленными от бессоницы глазами, потемневшими от пыли бровями, обветренными лицами, с потрескавшимися губами и поросшими жесткой щетиной щеками, идут люди в строю. На плечах — русские винтовки. Серые от утреннего морозца штыки колышутся над колонной. Шаги не дробят, а ритмично и тяжело-равномерно чеканят мостовую.

Бойцы идут, выбрасывая ноги с вытянутыми носками грязных сапог, стремительно, до отказа отмахи-

вая рукой. Кажется, под тяжестью шагов растянувшейся колонны гнется улица, качаются дома...

— Запевай! — командую я.

Рядом шедший со мной Толстунов дергает меня за рукав и шепчет:

— Что ты, комбат?

— Запевай! — повторяю я, как бы отвечая ему.

— За-пе-вай!— повторяют команду ротные командиры и слышится подсчет:

— Ать, два! Ать, два...

Слушай, рабочий, война началася,
Бросай свое дело, в поход собирайся,—

простуженно и хрипло начинает запевала первой роты, и... его голос вдруг срывает последнюю ноту куплета. Тут же, не давая умереть сорвавшемуся звуку, подхватывает басом его сосед:

Вот и окопы, трещат пулеметы,
Но их не боятся советские роты!..

Он поет подчеркнуто, держа ритм песни под левую ногу.

— Вот это голосище, — говорит мне Толстунов, улыбаясь.— Прямо, как Михайлов. Его перебивает хор строя, подхватывающий припев:

Смело мы в бой пойдем за власть Советов,
И как один умрем в борьбе за это.

Городок, недавно казавшийся мертвым, от эха многоголосого припева быстро оживает. Люди выходят на улицу, угрюмо смотрят на нас. Некоторые, удостоив нас коротким взглядом, отворачиваются, огорченные и подавленные, уходят по тротуару.

— Как неприятно,— шепчет Толстунов. В его голосе чувствуется боль и обида.

— Что ж, товарищ старший политрук, им же больно смотреть на нас, отступающих,— отвечает ему Бозжанов.— Ведь отсюда до Москвы рукой подать.

Высыпавшая на улицу детвора, сначала робко прячась за матерями, которые вытирали слезы концами платков и шептали что-то своим детям, смелеет, выбе-

гает на середину улицы и целой ватагой идет с нами рядом, подражая солдатам, идущим в строю.

Колонна идет, колонна поет...

Мы проходим мимо открытых настежь дверей магазинов, с наваленными на тротуаре осколками битой посуды, кусками тканей, разбросанных разных товаров... Проходим мимо свежих развалин... Проходим мимо пепелища сгоревшего домика, мимо сорванных и висящих на последнем гвозде вывесок...

Мы идем по улице, мы поем:

Смело мы в бой пойдем за власть Советов...

Эта октябрьская песня 1917 года через четверть века, в осеннее утро октября 1941 года, звучит гимном, и ее последние слова — «и как один умрем в борьбе за это» — повторяются поющими, как клятва...

— Откуда к ним пришла эта старая песня? — спрашиваю Бозжанова.

— Вид города, вид населения, товарищ комбат,— кратко отвечает он, не вдаваясь в подробности.

Из числа женщин, стоящих у крыльца маленького домика, построенного в екатерининском стиле — с арочками, балкончиками, нишами, маленькими оконцами, отделилась седая женщина. Она шла прямо к нам. Ее старомодное платье с кружевами на воротнике и рукавах потеряло былую свежесть. С ее плеч сползал теплый пуховый платок. Она мелкими шажками подошла к нам, идущим в голове колонны, и, торопливо шагая рядом с нами, обратилась к Бозжанову:

— Миленькие, родненькие,— задрожал ее голос от подступивших слез,— откуда вы идете, родимые?

— С войны, мамаша, с войны идем, мамаша,— ответил ей Джалмухамет.

— А немец скоро придет сюда? — спросила она.

— Завтра-послезавтра, мамаша, но мы их здесь встретим, мамаша...

— Вчерась раненько он здесь бомбил,— она указала на разрушенные дома.— Один раз даже в церковь угодил. Безбожники проклятые, басурманы этакие, даже церковь не пожалели, бомбят, проклятые, бомбят...

— Откуда знать старухе, что большинство идущих потомки мусульман?— сказал я по-казахски Толстунову.

Услыша незнакомый говор, старуха пристально и вопросительно посмотрела на меня и в нерешительности спросила:

— А вы-то наши?

— Конечно, ваши, мамаша. А чьи же думаете? — смеясь ответил ей Бозжанов.

— Наши черномазые казахи и киргизы,— смеясь сказал Толстунов,— да и русских тут немало, мамаша. Разве не видите? Своих не узнаете?..

— Да сохранит вас бог, наши защитники,— сказала старуха и, отстав от колонны, долго провожала нас глазами...

Мы шли по улице Волоколамска.

Мы идем по главной улице, мы проходим по ней с песней.

Когда мы, оставив окраину города позади, подходили к пригородной деревне Возмище, небо брызнуло дождем. Мы идем...

Впереди, во дворах деревни, виднеются люди в военной форме. Они тоже издали удивленно смотрят на нас. Мы идем... Дождь лениво моросит прямо в лицо.

Когда голова колонны проходила мимо чисто выбеленного домика с дощатым забором, кто-то меня окликнул. Я обернулся. Ко мне бежал адъютант генерала Панфилова.

— Здравствуйте, товарищ старший лейтенант,— запыхавшись, с радостной улыбкой подбежал молодой розовощекий лейтенант.— Вас генерал... товарищ старший лейтенант.

Поручив Рахимову вести дальше батальон, я остановился и отошел в сторону. Роты по-прежнему, как и в городе, шли стройно за своими командирами. Дождь моросил бойцам в лицо. На мокрых щеках людей сквозило сознание выполненного долга, в глазах мелькал еле уловимый блеск радости путника, вернувшегося издалека к своим близким... Да, мы прошли сквозь бои, пробираясь по тылам противника к своим товарищам, к нашим. Мы пришли. Мы соверши-

ли то, что еще прошлой ночью казалось несбыточной мечтою. Все пережитое нами за эти дни теперь осталось позади. Молчаливыми взглядами проходившие в строю поздравляли меня, я поздравлял их. Они прощали мне мои окрики, я им прощал попытки неповиновения. Нам казалось теперь все смешным: мне — мои окрики, им — их обида. Зачем была вся эта натянутость в отношениях, когда мы такие понимающие друг друга люди? Да, хорошие были солдаты!..

— Сюда, сюда, товарищ старший лейтенант,— заботливо указывает мне калитку адъютант.

Пройдя через сени, я открыл указанную адъютантом низкую дверь. Переступив порог, я было вытянулся, чтобы по форме доложить, но генерал Панфилов быстрым движением шагнул мне навстречу, взял мою руку обеими руками, тепло, по-отечески пожал ее и знакомым мне тихим голосом перебил:

— Смотрю в окно — войска идут. Откуда, думаю, столько? Вдруг в голове колонны узнал вас...—Тут он опустил руки и, провожая меня к столу, продолжал: — Признаться, сначала не верил своим глазам. Вы меня очень обрадовали, товарищ Момыш-улы, очень обрадовали... Хорошо, что пробились...

Взволнованный генерал как бы осекся и предложил мне раздеться.

Я был смущен приветливой речью генерала, его радостью и отеческой лаской после долгой и трудной боевой разлуки. Для меня это было все неожиданно. Я шел в тревоге, думал, что генерал с меня взыщет за то, что я потерял с ним связь в дни боев, потерял связь с соседями, со своим командиром полка, вел бои в одиночку, в отрыве от других, отстал в тылу у врага... Несколько раз в своем воображении я представлял нашу встречу совершенно не такой, совсем иначе, по-другому. Мне казалось, что генерал, узнав о нашем прибытии, не удостоит меня такой теплой встречей, а просто прикажет майору Елину, командиру полка, отстранить меня, быть может, и разжаловать. А если встретит, то он вызовет меня к себе. Я не думал, не допускал мысли, что генерал будет гневно кричать на

меня: никогда мне не доводилось видеть его в запальчивости. Нахмурив брови, чуть громче и отчетливее, нежели обычно, сделает он замечание, и эти слова будут жечь больнее окриков. Он скажет, думалось мне:

«Вы сами, товарищ старший лейтенант, напрашивались на батальон... Я вас предупреждал, что вам будет батальоном командовать нелегко... Теперь вы убедились, товарищ старший лейтенант, что батальон — это не батарея... Тут ваше «правее ноль-ноль, левее ноль-ноль» гораздо шире. Тут тактика, батенька, а не «четыре снаряда — беглый огонь...» Я вам верил, а вы оказались неспособным командиром... Вы столько нам напортили дела: вывели из боевого порядка целый батальон, потеряли связь, остались в тылу партизанить... У меня, товарищ старший лейтенант, не партизанский отряд, а дивизия регулярной армии. Я не могу позволить такой роскоши, чтобы у меня каждый старший лейтенант растаскивал из общего боевого порядка по батальону и мешал мне, как командиру дивизии, осуществлять замысел... Как командир батальона вы мне больше не нужны...»

Так я представлял нашу встречу, и с боязнью последние пять суток спешил на такой суд. Вместо этого генерал не дал мне доложить по форме, быстро шагнул навстречу, взял мои руки, пожимал их обеими руками по-казахски, долго не отпускал, смотря на меня взволнованными, чуть по-монгольски, немного вкось прорезанными глазами, ласково сияя весь в радостной улыбке. Я не верил, мне надо было разобраться, что происходит, но тут я услышал снова голос генерала:

— Садись, товарищ Момыш-улы,— указал он мне на стул, стоящий рядом со столом, покрытым развернутой топографической картой. — Садитесь, пожалуйста... Чаю не хотите? Подкрепиться не откажетесь? — Не ожидая ответа, он раскрыл дверь и кому-то приказал...

Генерал за это время, что я его не видел, похудел, сделался еще меньше, сутулее. Ворот его кителя стал словно на два номера больше; брюки с лампасами ви-

сели, как шаровары от широкой пижамы. Лицо загорело, морщины углубились, на коротко остриженной голове ежилась седина, нос и подбородок немного заострились, всегда аккуратно подстриженные квадратиком усы пучком торчали на верхней губе. Генерал впервые показался мне стариком.

Тут я вспомнил своего покойного отца, такого же малорослого, сутулого, седого... Вспомнил наши с ним последние встречи в 1938 году, когда я через сопки Приморья, леса Уссури, пересекая полосу вечной мерзлоты у Сковородино, Волочаевки, ленту Амура, через шестьдесят туннелей на берегу Байкала, через горы и равнины Сибири, из Владивостока, пятнадцать суток пробирался к родному своему аулу у подножья киргизского Ала-Тау, чтобы повидаться с самым родным человеком — со старым моим отцом... Вспомнил, как он тогда взволнованно и ласково встретил меня: брал мои руки в свои худые маленькие ладони, долго не отпускал, жал их, гладил, целовал мои ладони, прикладывал к своим блестевшим от волнения глазам... Вспомнил, как он дрожавшим голосом, не спрашивая у меня ничего, говорил нашим домашним: «Скорей поставьте самовар, пошлите в отару за бараном, стелите мягче сиденье»,— как будто я ехал голодным и «сначала надо накормить проголодавшегося ребенка». Да, действительно, я из Дальневосточного края каждый год приезжал домой в отпуск, изголодавшись по ласкам отца, по старомодному пузатому самовару. Я приезжал, чтобы есть мед отцовской ласки и пить чай из вкусной чистой воды нашего родника, из того источника, где впервые меня купали, меня поили, меня любили, мне верили...

— Садись, товарищ Момыш-улы,— прервал мои воспоминания генерал.— Садитесь и рассказывайте. Много людей потеряли? — Тут он как бы опомнился, забеспокоился, его брови круто сдвинулись. Потом он виновато перебил себя: — Простите, пожалуйста. Как, на кухне продукты у вас есть?

Я ответил, что двое суток в наших походных кухнях ничего не варилось. Генерал резко встал, поднял телефонную трубку, приказал:

— Велите немедленно накормить батальон Момыш-улы горячей пищей и устройте бойцам отдых в домах.

Генерал вернулся на свое место, сел против меня и, протянув открытый портсигар, повторил свой вопрос:

— Много людей потеряли?

Я доложил о потерях.

— А раненых вывезли?

— Они здесь, товарищ генерал,— ответил я.

Генерал поднял трубку, приказал начальнику штаба доложить в штаб армии о том, что мой батальон прибыл, пробившись из тыла противника.

— Так и доложите, Иван Иванович, что батальон полноценный, что он не пропал, в Волоколамск прибыл организованно, с артиллерией и обозом.

Эти слова генерала успокоили меня, и я осмелился перебить его:

— Товарищ генерал, из шестисот человек девяносто не наши, мы их подобрали по дороге.

Генерал сделал знак, чтобы я не мешал ему слушать, и я неловко умолк. Он стоял и, слушая по телефону доклад начальника штаба, поглядывал на развернутую карту, что лежала на столе.

— Да, мм... да... Нет, нет, нет,— вдруг запротестовал он.— Я не думаю, я не верю этому спокойствию. Запросите еще раз, Иван Иванович, уточните... Перед бурею всегда тихо. Пошлите к ним офицера, да... да, да, капитана Гофмана, или майора Старикова...

Положив трубку, генерал склонился над картой, взял карандаш, неторопливо сделал несколько пометок. Брови у него снова сдвинулись, он нахмурился и концом карандаша постучал о стол, повторяя задумчиво:

— Да, да... так, так...

Затем, спохватившись, он взглянул на меня:

— Что вы хотели сказать, товарищ Момыш-улы?

Я рассказал о тех девяноста бойцах и сержантах, которые к нам поодиночке или группами присоедини-

лись по дороге, что некоторые из них от самой границы идут, что я их вел почти под конвоем, отдельной колонной. В этом месте моего доклада генерал невольно нахмурил брови.

— Я так не думаю, товарищ Момыш-улы, как вы,— сказал он серьезно.— Кто такие бойцы, в одиночку пробивающиеся из окружения? Это наши люди, наши несчастные бойцы, части которых разбиты. И вот он — один, без командира, без товарищей, предоставленный самому себе, беззащитный, голодный, пробирался к своим. Это люди, товарищ Момыш-улы, люди честные, преданные, они идут к нам, они не хотят оставаться с врагом. Одно то, что они пробираются к своим с лишениями, риском, страданиями,— одно это уже говорит о многом. Они — наши люди. Многие из них не виноваты, что им не удалось выйти из окружения организованно. Они идут, чтобы вновь встать в наши ряды, чтобы вновь пойти в бой...

Я устыдился за свои резкие слова об этих солдатах и сержантах при докладе генералу, и мне стало больно за свои строгие действия по отношению к ним во время похода. Я вспомнил: когда я приказал построить их отдельной колонной и приставить несколько бойцов из нашего батальона, один обросший высокий детина в форме пограничника запротестовал и бросил мне в лицо: «Что мы, товарищ старший лейтенант, пленные что ли?» Я хотел было на него крикнуть, но другой товарищ, переодетый в гражданское платье, ласково и добродушно сказал ему: «Ничего, Иван Митрофанович, слава богу, что хоть к своим в плен попали».— «Ладно,— согласился пограничник,— построимся, товарищ старший лейтенант, через фронт перейдем, нам оружие дадут и снова в строю будем воевать».— «Где твое оружие?» — крикнул я на него. «Вот,— сказал он, вытаскивая из-за пазухи револьвер, и, вертя его на ладони, добавил.— Только, товарищ старший лейтенант, два патрончика осталось, на всякий случай, месяц берегу. Думалось, что в случае чего, один — для немца, другой — для себя».

Он погладил револьвер и снова засунул его за пазуху. Об этом эпизоде вначале я забыл доложить ге-

нералу, а теперь просто утаил, чтобы не дать ему в руки козырь после его слов о наших бойцах.

— Я к ним, товарищ Момыш-улы, как старый солдат, отношусь с уважением, за это время со многими встречался,— продолжал генерал.— Это люди волевые, сильные люди. Ведь представьте себе: они тысячу раз имели возможность сдаться в плен или просто остаться на оккупированной территории, но они идут, вдосталь терпя горе; они идут, чтобы встать снова в строй, они не от войны бегут, а к войне идут, потому что в сердце своем верят в нашу победу. А если бы они были уверены в поражении советской власти, им незачем было бы мучить себя, рисковать собою. Вы сделали правильно, что собрали их и привели.

Генерал сделал паузу, как бы обдумывая сказанное. Признаться, до меня не сразу дошли убедительные слова генерала,— я был ослеплен обидой, что из-за этих девяноста я получил от генерала весьма деликатный и тем более тяжелый для меня выговор.

— Ну, рассказывайте, рассказывайте,— сказал генерал. Его «рассказывайте» я принял за деликатное «аудиенция окончена», и я сам чувствовал, что злоупотребил вниманием очень занятого человека. Не желая больше отнимать у командира дивизии времени и отвлекать его от дел, я решил доложить как можно короче. Мне думалось, что генералу, здесь, на окраине города, на улицах которого не сегодня-завтра разыграются жестокие бои, и который ждет разрушения от посыпавшихся на него бомб, снарядов и пожаров,— генералу в такой обстановке, естественно, не до меня.

— Двадцать третьего октября вечером,— начал было я, перескочив через неделю...

— Нет, батенька, погодите вы с вашим двадцать третьим,— перебил меня генерал.— Начинайте от Житахи и Синькова, вот они,— показал он эти пункты на карте.— Помните нашу спираль-пружину?— спросил он меня.— Как она действовала у вас? Вот об этом, с этого и начинайте.

Я кратко доложил ему о боях наших взводов, выс-

тавленных далеко вперед, под командой лейтенантов Донских и Брудного и об их подвигах.

Донских, который в бою получил девять ранений и оставался в строю, генерал приказал мне представить к награде и написать письмо его родным. Про Брудного генерал слушал молча, но неспокойно. Он вынул из кармана часы и, не взглянув на них, гладил большим пальцем правой руки стекло. Этот жест ничего хорошего не предвещал. Я решил доложить подробно обо всем, что случилось с этим лейтенантом. Рассказав все, я сделал паузу. Генерал тоже молчал. Он положил часы на стол, подвинулся и, как бы разговаривая сам с собой, сказал:

— Есть понятие — требовательность... Есть понятие — жестокость... Требовательность — закон... А жестокость—беззаконие... Впрочем...—сказал он, растягивая слоги этого слова и глядя на меня прищуренными глазами. Я не отвел глаз.— Впрочем,— повторил он,— вы отчасти правы...— Не досказав, в чем я прав, он с минуту помолчал, обдумывая, что хотел сказать, в чем я прав. Взяв часы со стола и снова потерев стекло, он продолжал свои мысли: — Вы знаете, что война часто путает эти два понятия, и это закономерно. Вы от Брудного и от девяноста окруженцев справедливо и настойчиво требовали выполнения долга. Настойчивость в военное время иногда стирает грань между требовательностью и жестокостью...— Он эти слова подчеркнул.— Конечно, на войне некогда голосовать, излишне гуманничать,— война требует, бой требует решительных действий и строгих эффективных мер... Но надо иметь чувство меры.

— Товарищ генерал, в чем же я неправ?— не выдержал я.

— Вы были, товарищ Момыш-улы, правы, когда приняли решение, но вы оказались неправы, когда ваше решение, ваша воля командира остались так благополучно выполненными. Брудный был виноват, слов нет, виноват перед вами, а когда вы его прогнали, и он в отчаянии совершил подвиг, искупил с лихвой свою вину, не ушел, а вернулся к вам же, теперь вы оказались перед ним виноваты. Вы оказались к нему

жестоким. А если бы он, выполняя ваше «иди к немцам, ты мне не нужен», погиб или, не дай бог, пошел на путь измены Родине, то что тогда?..

— Я бы всю жизнь мучился, товарищ генерал, что толкнул человека на гибель или на преступление.

— Вот в том-то и дело, товарищ Момыш-улы, в том-то и дело. Хорошо, что вы сами это говорите.

— Вы же мне подсказали, товарищ генерал.

— Подсказать-то можно, а понять, осознать, что подсказывают, гораздо труднее... А вот многие из наших людей, не желая зла, перегибают палку — и баста. Вы тут немного превысили свою командирскую власть. Я вам рекомендую Брудного восстановить и оправдать его перед товарищами. Знаете, вообще избегайте в дальнейшем без особой надобности перемещать людей. Все-таки воин привыкает к своему командиру, к своим товарищам, к своему полку и на войне дорожит всем этим, как родной семьей. Брудный вернулся потому, что он к вам привык,— тут он ткнул в меня указательным пальцем, и я невольно отпрянул назад. Такого жеста я раньше за ним замечал. — Он на вас, безусловно, обижен, но вы ему дороги.

— И он мне очень дорог, товарищ генерал.

— Вот в этом-то и дело, что вы полюбили его.

— Конечно, товарищ генерал, я превысил свои права.

— Вот, попробуйте без превышения власти командовать. У меня-то власти больше, чем у вас, но я пока никого не прогнал из дивизии,— этими словами генерал окончательно выразил свой выговор мне за Брудного.

— Виноват, товарищ генерал.

— Не виноваты, горячеваты вы, товарищ Момыш-улы, горячеваты. Ну, рассказывайте дальше. Не бойтесь, я же вас пока ни разу не ругал,— при этих словах хитрая усмешка пробежала у генерала по губам, преобразив его прежде серьезное лицо.

— Конечно, нет,— ответил я тоже с иронией. Мы оба засмеялись.

— Расскажите, как воевали и чему научились? Это самое важное для нас, товарищ Момыш-улы.

Я ему рассказал о новых боях под Новлянским, Васильевом. Генерал уточнял отдельные детали обстановки вопросами, вносил исправления на своей рабочей карте и вдруг, отложив карандаш, спросил меня, знал ли я капитана Лысенко.

Я знал капитана Лысенко еще в Алма-Ате и спросил генерала, что с ним случилось.

— Он со своим батальоном героически погиб,— грустно ответил генерал.

Тут вошел начальник оперативного отдела капитан Гофман, низкого роста, с коротко подстриженной курчавой шевелюрой, очень моложавым и добрым лицом. Я встал, мы с Гофманом поздоровались.

— Да, нашего полку, товарищ Гофман, прибыло,— сказал генерал.— Вот сижу и слушаю его, уточняю и поправляю ваши картинки.— Он указал на карту.— Он, товарищ Гофман, живой свидетель. Мы тут с вами нарисовали не то, иногда не то докладывали начальству.

— Я вам, товарищ генерал, всегда докладывал лишь только наши предположения,— смутившись, ответил Гофман.

— Конечно,— сказал генерал,— многие данные совпадают, но некоторые и не совпадают... Ну, что у вас? —спросил он Гофмана.

— Доложить, товарищ генерал? — Гофман глазами показал на черную папку, которую он держал в руках.

— Ах, простите,— засуетился генерал, обращаясь ко мне,— мы до того увлеклись, что про ваш обед, вернее завтрак, забыли. Идите, товарищ Момыш-улы, кушать,— он указал на дверь соседней комнаты,— а мы с товарищем Гофманом о кое-каких делах поговорим...

Я сидел за низеньким круглым столиком, повар подал тарелку щей, заправленных сметаной.

— Стопочку не желаете ли, товарищ старший лейтенант?— шепотом заботливо спросил меня адъютант.

В соседней комнате слышался голос Гофмана, докладывавшего генералу. Я не прислушивался к сло-

вам. Машинально хлебая щи, я думал о капитане Лысенко. Помню, в первые дни формирования нашей дивизии он прибыл в штаб. Как-то я выходил от генерала Панфилова. В приемной сидел выхоленный кавалерист с гладкой прической, удлиненным лицом, с лихо закрученными блестящими черными усами. Он мне напомнил портрет Чапаева без папахи. Кавалерист сидел на стуле вразвалку, расставив маленькие ноги носками врозь. На задниках щеголеватых сапог блестели аккуратно подогнанные шпоры. Я на ходу отдал ему честь, направился к выходу.

— Слушай, старший лейтенант,— он остановил меня с кавалерийской фамильярностью, подошел и, взяв меня за локоть, как будто мы с ним давно были знакомы, склоняясь, шепотом спросил:

— Как он?

— Вы о ком? — не понимая, спросил я его.

— Ты как думаешь, к нему без доклада можно войти? — Он указал было глазами на дверь кабинета, как вдруг оттуда выглянула голова генерала. Капитан вытянулся, звякнул шпорами.

— Вы ко мне, товарищ капитан? — спросил его генерал.

— Так точно, к вам, товарищ генерал,— отрубил капитан.

— Войдите,— пригласил генерал, отойдя от двери.

Капитан, чеканя шаг, звеня шпорами, направился в кабинет. У самой двери он остановился и, знаком подозвав меня, сказал:

— Ты меня подожди,— и вошел к генералу.

«Что за привычка у этих кавалеристов щеголять вовсю и со всеми быть на «ты»? — думал я, но остался ждать. Через десять-пятнадцать минут капитан вышел недовольный и, подойдя ко мне, сказал:

— Ну, пойдем.

Я был шокирован его обращением и думал, что не собирается ли он из меня своего адъютанта сделать.

— Знаешь что? — сказал он сдавленным голосом.— В пехоту командиром батальона посылает.

— Ну что ж, хорошо, товарищ капитан, я сам напросился в пехоту.

Он удивленно и гневно посмотрел на меня и прошипел:

— Ты в своем уме был или нет?

— В своем,— ответил я.

Он молчал, мы шли в тени по тротуару.

— Знаешь что,— сказал он,— я в этих пузолазовских делах ничего не понимаю... Готовился, десять лет в коннице служил, высшую кавалерийскую школу кончал... Что, я все это делал для того, чтобы в пузолазы идти?! — тут он чуть не крикнул на всю улицу.

— Не пузолазы, а пехота.

— Ишь ты какой патриот пехотинский стал! — усмехнулся капитан и, нервно погладив усы, спросил: — Ты лучше скажи мне, где тут у вас можно пожрать?

— Овса или комбикорма? — спросил я его.

— Ты, вижу, парень, в фуражах разбираешься...— и мы оба рассмеялись.

Так состоялось наше первое знакомство. С этого дня мы с ним подружились. Впоследствии на учениях я его часто дразнил:

— Ну как, капитан, в пузолазовских делах разобрался?

На что он весело отвечал:

— Малость начинаю кумекать.

Однажды мне в шутку рассказали его однополчане, что он от солдат требовал кавалерийского щегольства и быстроты коня, что он вместо «вещмешок» часто говорил «переметная сума», что однажды в походе вместо «становись» он скомандовал «по коням»...

Меня позвал генерал и, предлагая сесть, спросил:

— Ну как, подкрепились?

Я поблагодарил генерала.

— Я вам начал говорить о капитане Лысенко,— заговорил генерал.— Знаете, что ему и его батальону мы многим обязаны?..

Генерал подвинул карту и рассказал мне, что он после боев в районе совхоза Булычево приказал полковнику Капрову, командиру второго полка, вывести батальон капитана Лысенко и в тылу, в районном центре Осташова, через который проходил большак и где имелся мост через реку Рузу, организовать

узел сопротивления с круговой обороной, включая в его состав предмостный опорный пункт. По замыслу генерала, в случае, если нашим частям не удастся, отходя, закрепиться на рубеже Рузы в этом районе, этот заранее подготовленный к обороне узел пересечения большой дороги и реки с его свежим гарнизоном должен был задержать противника на некоторое время и дать возможность нашим частям сосредоточиться после отхода и успеть закрепиться на новом рубеже. Обойти Осташово противнику было не так-то легко. Осташовский мост в этом районе был единственной переправой через реку Рузу.

Двадцать первого октября после двухдневных упорных боев противник, по пятам преследуя полк Капрова, наткнулся на батальон капитана Лысенко. Полк отступал, а противник его преследовал. Противник шел уверенно, нагло и неожиданно наткнулся на узел, обороняемый батальоном капитана Лысенко. Неоднократные попытки передовых отрядов немцев с хода преодолеть этот узел не дали положительных результатов. Батальон Лысенко осаживал противника. Рассказывая об этом, генерал сказал:

— Должен признаться, Момыш-улы, я переоценил силу Лысенко и злоупотребил старанием его бойцов.— Генерал грустно опустил седую голову над картой, как бы чтя память погибших.— И это была моя роковая ошибка. Я держал пружину слишком натянутой, зная, что она вот-вот лопнет...

Далее генерал, показывая на карте, рассказал о действиях батальона капитана Лысенко. По рассказам генерала и по нанесенной на карту обстановке я так представляю бой батальона капитана Лысенко.

Перед осташовским мостом несколько подбитых немецких танков. В кюветах шоссе валяется несколько мотоциклов. Там и сям — трупы в мышино-серых шинелях. Это передовой отряд немцев, стремившийся с ходу захватить мост и обеспечить переправу через реку Рузу своим главным силам...

Лысенко, туго подпоясанный, в кавалерийской венгерке, в ушанке набекрень,— на своем наблюдательном пункте, под кирпичным домом на окраине

Осташова, по другую сторону моста. Он смотрит в бинокль. Перед его глазами лафеты двух орудий из кургановского артиллерийского полка, хоботы двух станковых пулеметов на площадке. В траншеях мелькают каски перебегающих наших бойцов. Кругом оглушающие взрывы вражеских снарядов. Немецкий танк упрямо идет на мост, за ним уступом еще два, поддерживая первый огнем с коротких становок.

— Почему молчат? — кричит Лысенко на входящего адъютанта.

— Товарищ капитан,— отвечает запыхавшийся адъютант,— немцы обходят справа и слева...

— Не докладывать, а бить надо! — кричит Лысенко и, не слушая адъютанта, выбегает из блиндажа.

— Эй вы! — кричит капитан на артиллеристов, вскакивая на бруствер окопа.— Что же вы не стреляете?!

Орудийный расчет выскакивает из ниши, и сержант командует:

— По головному! Есть, по головному,— отвечает наводчик.

Выстрел оглушает Лысенко, воздушная волна чуть не сбивает его с ног... Блеск под башней головного танка, танк заволакивается дымом... Рядом затрещал пулемет и вдруг замолк. Лысенко оборачивается и видит безжизненно опустившего голову на рукоятку пулемета наводчика. Он одним рывком бросается на площадку и, отодвинув мертвого пулеметчика, ложится на его место. Стукнув по рукоятке замка, кричит второму номеру: «Подавай!» Сквозь прорезь прицела Лысенко видит перебегающие немецкие цепи... Он нажимает на спуск. Пулемет застрекотал.

— Так, так, так! — поддакивает Лысенко пулемету и косит вражескую цепь длинными очередями, рассеивая огневой ливень по фронту и в глубину...

* * *

Ночь. Вокруг выстрелы и разрывы снарядов. Лысенко сидит на табуретке, без шапки, с перевязанной головой. На нем окровавленная венгерка. Она расстегнута.

— Нас окружили,— говорит он сидящим на полу и на скамейке командирам.— Вторые сутки немец на нас жмет, жмет и сжимает кольцо.— Стукнув кулаком по колену, гневно произносит: — Нет, не удастся им это! Пока жив—ни моста, ни Осташова не отдам.— Его голос устало падает.— Живыми, хлопцы, ни моста, ни Осташова... Вы понимаете меня? — спрашивает он командиров. В это время открывается дверь и, к удивлению всех, входит немецкий офицер с белой повязкой на рукаве. Вытянувшись во фронт, прикладывая руку к козырьку, на ломаном русском языке он спрашивает:

— Кто здесь есть командир?

— Я,— вставая отвечает Лысенко. Немец улыбается, снова прикладывает руку к головному убору.

— Очень, очень приятно,— говорит он.— Я есть парламентер, майор Кандель.

— Капитан Лысенко.

— Мы с вами знакомы, господин капитан,— говорит немец.

— Как же, господин майор,— иронически улыбаясь через усы, отвечает Лысенко,— слава богу, наша дружба уже четвертые сутки тянется.

— О, дружба! — хохочет немец.

— Чем могу быть полезен, господин майор?

— О, очень многим, очень многим, господин капитан.

— Слушаю вас, господин майор.

— Вам, господин капитан, сопротивляться больше бесполезно.

— Так вы думаете? — перебивает его Лысенко.

— Это есть факт, господин капитан. Вы есть один, нас много. Ваш дивизии нет, мы заняли Волоколамск, завтра возьмем Москау. Мой генерал предлагает вам сдаться. Он обещает вам хорошие условия и пост...

— Передайте вашему генералу,— гневно прерывает Лысенко,— что мы здесь приняли бой не для того, чтобы сдаться. Хорошие условия и пост пусть он предлагает предателям, а я и мои солдаты не предатели. Мы,— оглядывая сидящих командиров, твердо продолжал он,— мы не сдадимся. Мы будем драться!

— Безумно, безумно, господин капитан, как мощно...

— Нет, господин майор, по-нашему разумно драться... Он поворачивается в сторону немца, приказывает лейтенанту: — Проводите господина майора через нашу линию.

Немец откозырнул.

— Прощайте, господин капитан, ауфвидерзейн!

Когда закрывается дверь за немцем, Лысенко, обращаясь к сидящим командирам, повторяет свои слова:

— Ни моста, ни Осташова, пока мы живы, товарищи!

— Ни моста, ни Осташова! — как клятву, повторяет несколько голосов в темных углах блиндажа...

* * *

— Двадцать второго октября немцы окружили батальон Лысенко плотным кольцом,— продолжал свой рассказ генерал, показывая острием карандаша синее кольцо неправильной формы на карте вокруг Осташова.— Я тогда только хватился за ум, но уже было поздно...

Командир полка полковник Капров после тяжелых отступательных боев в районе совхоза Булычево на промежуточных рубежах в районе деревень Игнатово, Федосино, Княжево и других не сумел, вернее, не имел возможности своевременно оказать помощь капитану Лысенко.

Генерал Панфилов, узнав, что батальон окружен плотным кольцом, бросил на выручку то, что у него было под рукой, сформировав отряд в сто человек под командой лейтенанта Каюма Гарипова. Гарипов не смог прорваться к Осташову. Отряд гранатами подбил семь вражеских танков и почти весь погиб в рукопашном бою. Из отряда вернулось только шесть человек раненых.

Я вспомнил лейтенанта Гарипова — командира роты третьего батальона нашего Талгарского полка. На него я обратил внимание еще на берегу горной речуш-

ки Талгарки, на полковом стрельбище. Смуглый татарин, среднего роста, в неподогнанном новом обмундировании, с открытым лицом, щурясь от яркого солнца, неловко заложив большой палец руки за плечевой ремень портупеи, непривычно суетясь, ходил на огневом рубеже. Пистолет в кобуре оттягивал слабо затянутый широкий офицерский ремень. На нем все было ново. На нем все висело. Военный костюм был для него до того непривычным, что Гарипов, казалось, не знал, что делать в своем одеянии. Своим людям он приказывал неуверенно, не повелевал ими, а как бы уговаривал, приглашая жестом, вступал с подчиненными в долгие разговоры, убеждая их в чем-то. Бойцы из его роты задерживали стрельбу батальона.

— Товарищ лейтенант, ко мне! — приказал я ему.

На мой зов Гарипов шел старательно, но медленно. Подходя, он неловко приложил руку к съехавшей на затылок пилотке и мягким тенорком неторопливо доложил:

— Я вас слушаю, товарищ старший лейтенант.

Мои замечания он слушал смущенно, мигая добрыми карими глазами, и на его веснушчатом продолговатом лице выступал пот.

— Если вы будете так нянчиться с вашими людьми, то вы, товарищ лейтенант, свою роту за это время ничему не научите. Надо требовать, а не уговаривать...

— У меня пока не выходит, товарищ старший лейтенант,— беспомощно, но честно признался Гарипов и добавил: — Я на людей не умею кричать. Я педагог, товарищ комбат.

Тут я узнал, что Гарипов лет пять тому назад окончил педагогический институт и все время до войны был учителем в средней школе.

Через месяц я его застал журящим одного младшего командира.

— А теперь кричать на людей научились? — смеясь, бросил я ему.

Он тоже улыбнулся и, четко отдавая честь, ответил мне:

— Так точно, товарищ старший лейтенант.— За-

тем, как бы оправдываясь, виновато добавил:— Приходится, товарищ комбат, иногда... Некоторые сами напрашиваются.— А сержант стоял перед ним навытяжку.

Вот о нем, о бойцах его отряда теперь рассказывал генерал, как он, выручая товарищей из беды, геройски погиб в неравном бою...

Батальон Лысенко дрался трое суток. Все эти три дня и три ночи орудийный гул, трескотня пулеметов, шум моторов, зарево пожара возвещали, что там, в Осташове, идет неравный, жестокий бой...

— Пленный немец, унтер-офицер, показал,— продолжал генерал,— что он не видел пленных красноармейцев из Осташова. Батальон капитана Лысенко и рота лейтенанта Гарипова,— заключил генерал,— это первое подразделение в нашей дивизии, проявившее массовый героизм... Они на трое суток задержали противника на одном из важных для нашей дивизии направлений, изрядно потрепав не меньше танкового батальона и полка пехоты немцев. Вот почему я говорю, что мы многим и многим в нашем теперешнем положении обязаны этим героям.

Я рассказал генералу подробности боя в роще вблизи совхоза имени Сталина, о том, как мы огнем четырех орудий обрушились на немецкую колонну с артиллерией, идущей по дороге от Сафатова. Генерал передал мне свой двухцветный карандаш из коробки «Тактика» и показал на карте Сафатово.

— Нанесите на мою карту, товарищ Момыш-улы, то, что вы рассказываете,— приказал он.

Я склонился над картой и нанес положение нашего батальона в лесу, расставил орудия, потом на коричневой линии дороги нанес синим концом карандаша немецкую колонну — стрелку с тремя черточками — и написал черным карандашом число и время боя.

— Да, да,— говорил генерал.— Значит, здесь проходили два батальона пехоты и дивизион артиллерии?

— Так точно, товарищ генерал,— ответил я.

— Хорошо, рассказывайте дальше... Вот вам, товарищ Момыш-улы, и второй собеседник,— сказал он,

указывая на карту. Рассказывайте и наносите,— предложил он.

Ход нашей беседы изменился. Я рассказывал и отмечал на карте красным концом карандаша — наших, синим — противника. Я рассказывал, генерал слушал. Такой характер беседы освободил меня от прежней натянутости и робости...

— Вот здесь нас, товарищ генерал, выручила винтовка,— докладывал я, указывая на карте на деревню Миловани, и рассказал о нашем переходе через шоссе, через поваленную нашим залповым огнем немецкую колонну...

— Постойте, постойте, батенька,— перебил меня генерал.— А когда это было, в каком часу? — спросил он. Я ответил ему.— Мм, да... теперь мне ясно кое-что. Дайте мне карандаш...— И, отчеркивая карандашом извилистые линии на карте, не глядя на меня, он продолжал: — В это утро полк Капрова и артполк Курганова вели бои за Рюховское и Спас-Рюховское,— он указал на эти населенные пункты, расположенные на шоссе, ведущем к Волоколамску. Теперь снова рассказывал генерал, я слушал.

Полк Капрова и остаток дивизионной артиллерии поспешно перешли к обороне в районе указанных населенных пунктов. Из резерва командующего армией влился полк Курганова, истребительно-противотанковый дивизион: Рюховскому и Спас-Рюховскому наше командование придавало большое значение, как важному узлу на данном направлении на подступах к Волоколамску. Поэтому генерал со своим командующим артиллерией подполковником Марковым приехал в этот район увязать взаимодействия артиллеристов с полком Капрова. Орудия были расставлены в боевых порядках пехоты. Мыслилось здесь дать бой противнику, задержать его подольше, чтобы дать другим частям возможность подготовить Волоколамский район к обороне.

На следующее утро полк бомбардировщиков противника делает пять заходов на эти пункты, и после короткой двадцатиминутной артиллерийской подготовки противник атакует шестьюдесятью танками.

Они сначала идут в лоб, но артиллеристы встречают их огнем, подпустив на расстояние прямого выстрела. Снова обрушивается на наши боевые порядки артиллерия противника, снова идут танки с пехотой с флангов, беря в клещи наши позиции. И пехотинцам и артиллеристам приходится очень жарко — противник ожесточен; атака следует за атакой.

— Товарищ генерал, полку больше не удержаться,— докладывает Капров.

— Товарищ генерал, пятьдесят процентов орудий вышло из строя, боеприпасы на исходе,— докладывает Курганов.

Генерал сам видит неравенство сил. Он приказывает частью сил прикрыться и отойти на следующий рубеж...

— Вдруг натиск противника ослабел,— продолжал генерал свой рассказ. — В чем дело? Что за пауза?.. Оказывается, виновниками были вы, ваш батальон.

— Я не знал, товарищ генерал...

— Я вас не виню. Вам надо было перейти шоссе. И вы правильно перешли.— Тут генерал чуть задумался, улыбнулся и продолжал: — Впрочем, о залповом огне вы рассказываете, как о своем открытии. Конечно, для вас это открытие, но я вам должен сообщить, товарищ Момыш-улы, что это совсем не ново, это старина, которую, к сожалению, почему-то мы забыли. Вот хорошо, что война сама напомнила ее нам. Мы еще в старой армии вели огонь залпом. Стреляли по команде: «Рота, залпом, пли!» — Еще немного подумав, он добавил: — Но это не в обиду вам, товарищ Момыш-улы, учите людей этому и в дальнейшем действуйте так.

Он встал, прошелся, вернулся к столу, склонился еще раз над картой и, как бы сам себе, сказал:

— Какое счастливое и чисто случайное совпадение.— Он посмотрел на меня, как бы ожидая моих слов в подтверждение его мыслей, но я не понимал, о чем говорил генерал, и поэтому молчал.

— Какое чисто случайное совпадение,— повторил он.— А как жаль, что это именно только случайное совпадение...

— Вы о чем, товарищ генерал?— осмелился я спросить.

— Я о том, товарищ Момыш-улы,— ответил он,— что в одно и то же время вы в Миловани, мы в Рюховском бились с одним и тем же противником, не подозревая об этом. Нам надо было отбиваться, а вам — пробиваться в этот лес,— он указал на карту. Совсем рядом, рядышком были, выходит... Но взаимодействие... Да, мы не могли взаимодействовать, мы же не знали друг о друге. А немец, наверное, подумал, что это делается нарочно, преднамеренно, по плану, потому и испугался. И, наверное, это приписывает мне, как нечто заранее продуманное.— Генерал разразился хохотом и, вытирая платком прослезившиеся от смеха глаза, добавил: — История знает много чудес, когда полководцу приписывались, как его замысел, случайные стечения обстоятельств.— Немного подумав, он сказал: — Это нам с вами урок на дальнейшее. Правда, связь у нас неважная, пока мы радиостанциями не обеспечены,— грустно добавил он.— Но если бы мы с вами тогда были связаны по радио, то мы его в Рюховском денька, ну, по крайней мере, два-три поплясать заставили бы...

Зазвонил телефон, и генерал поднял трубку. Видимо, о чем-то докладывал начальник штаба. Я, считая неудобным прислушиваться к разговору, вышел...

— Товарищ Момыш-улы,— окликнул генерал,— куда вы ушли?

— Покурить, товарищ генерал,— ответил я, войдя к нему.

— Курите здесь,— сказал он.— Ведь мы с вами еще не кончили разговор.

— Товарищ генерал, вы же заняты, вам работать надо...

— Что вы?— перебил генерал, не дав мне досказать.— Когда я разговариваю с вами, я разве не работаю? В этом моя работа, товарищ Момыш-улы, я совместно с вами разбираюсь, когда и что происходило. Давайте разберемся во всем,— предложил он.

Я недоумевал, в чем же надо дальше разбираться,

но, уловив мое недоумение, генерал продолжал свои мысли:

Вы знаете, что мы в мирное время после учений целыми днями делали разбор. Помните?

— Помню, товарищ генерал.

— Вы думаете, что на рассказы и разговоры я трачу время зря? Нет. Я работаю. Что, по-вашему, война не требует разбора? А? Именно здесь, после каждого боя надо разобраться и разобраться во всем детально, серьезно. И вам советую, товарищ Момыш-улы, разбираться, советоваться, прислушиваться к мнению, советам других.

* * *

Генерал на прощание дал некоторые указания и приказал представить к наградам отличившихся в боях.

— Если кто достоин Героя Советского Союза,— сказал он,— не стесняйтесь, представляйте.

Я шел от генерала. На улице моросил нудный дождь, кругом было сыро. На окраине деревни встретил меня мой коневод Синченко. Он повел меня в дом, где разместился штаб. Когда я вошел в дом, на полу, разостлав шинели, подложив под головы сумки противогазов, развесив портянки на голенищах сапог, лежали Рахимов, рядом с ним розовый блондин, досрочный выпускник Ташкентского пехотного училища, младший адъютант нашего батальона лейтенант Тимошенко, Бозжанов и несколько связистов. Тяжелый воздух ударил в нос. Все спали крепким сном.

— Кушать подать? — заботливо спросил меня Синченко.

— Я уже поел,— коротко ответил я.

Я сел на табурет и смотрел на спящих. Рахимов лежал на спине, скрестив руки на груди, как покойник в гробу, бледный. Лицо Тимошенко пылало, он часто дышал. Голова Бозжанова сползла с противогазной сумки, и он лежал на боку, подперев щеку ладонью правой руки. Боец-связист прикорнул, прислонившись к стене. У его ног стоял полевой телефон-

ный аппарат, ушанка съехала набок, телефонная трубка лежала на полу. Осторожно, чтобы не разбудить кого-либо я вынул папиросу и закурил.

Да подожди же, говорю,— слышался голос Синченко за дверью,— только что от генерала пришел.

— Долаживай, тебе говорят! — громко, вызывающим тоном требовал кто-то.

— Кто там?

— Да вот они,— виновато сказал Синченко, открывая дверь и косо глядя на входящих.— Не понимаю, что за люди, прямо без спросу лезут...

За дверью стояла целая делегация от девяноста присоединившихся к нам по пути бойцов во главе с пограничником. Я разрешил им войти.

Первым вошел пограничник и, приложив руку к козырьку, рявкнул:

— Товарищ старший лейтенант!..

Вошедший за ним бородач в гражданском платье дернул его за рукав, указывая глазами на спящих. Пограничник запнулся и ладонью виновато прикрыл рот. Затем на цыпочках подошел ко мне и прошептал:

— Товарищ старший лейтенант, спасибо от всего нашего общества,— сказал он, и выпрямившись, с широкой улыбкой объяснил, указывая на остальных толпившихся у дверей своих товарищей: — Я от них вроде за главного. Спасибо,— повторил он,— крепко пожурили нас, но зато вывели из окружения, напоили, накормили, теперича разрешите нам на формировочную, одежонку обновить,— тут он хитрым взглядом указал на бородача,— винтовочки получить и, как следует быть, по форме с немцем воевать.

— Спасибо, товарищ старший лейтенант,— заговорило несколько его товарищей,— до своих довели...

Я не помню, что им говорил в ответ, но помню одно, что я на этот раз не грубил, говорил не свои слова, а слова генерала о том, что они шли к своим. Помню, что они ушли довольные.

— Истинно богатырским сном спят,— раздался голос рядом.

Я поднял голову, рядом со мной, улыбаясь, стоял Толстунов.

— А ты почему не спишь? — спросил я его.

— А ты сам?

— Я у генерала был.

— А я только что от комиссара.

— Знаешь, Толстунов, — перебил я, — генерал мне задачу дал...

— А что, снова бой?

— Да подожди, выслушай сначала, — остановил я его. — К награде отличившихся приказал представить.

— Ну что же, представляй.

— Ну что же! — передразнил я Толстунова. — Кого? Кого? Кто, по-твоему, отличился?

— Как, кто?—недоуменно воскликнул Толстунов.— Донских, Рахимов, Муратов, Севрюков, Ползунов, Бозжанов, — тут он запнулся, добавил: — Брудный, — и, перечисляя других, сказал: — Мало ли кого...

— Может быть, по-твоему, весь батальон к награде представить? — иронически спросил я.

— А почему бы и нет? — с обидой в голосе ответил он. — Ты, комбат, всегда...

— Нет, Толстунов, нет. Если кто хорошо действовал в бою,— перебил я его,— так он обязан так воевать! Ему за это не только награду, а спасибо не скажу, потому что он обязан честно и хорошо выполнять свой долг...

— Как ты странно рассуждаешь, комбат, — возмутился Толстунов.

— Нет, это ты странно рассуждаешь. Мы все время отступаем, за что же представлять? За то, что мы отступаем? — крикнул я ему в ответ.

Толстунов замигал, растерялся и, глядя мне прямо в глаза, сказал:

— Ну, если так думаешь, так и доложи генералу.

— Доложил, — ответил я ему, — но он говорит, что солдат ждет теплого слова за честную службу, что проявленное каждым мужество в бою следует отметить... Ну и в заключение приказал представить.

— Значит, так и надо, раз приказал, — сказал Толстунов и примирительно добавил: — Ведь генерал

третью войну воюет, ему лучше знать, чем нам с тобой, что должно, что не должно...

— Я понять хочу, как и за что представлять, может быть, ты мне объяснишь это...

— Назад! Тудыть твою!.. — вдруг закричал Краев спросонья, потрясая кулаком. — Я вам дам по деревням харчи искать! — Он, открыв глаза, окончательно проснулся и, увидев нас с Толстуновым, растерянно оглядывался вокруг.

— Вы на кого так, Краев?

— Да, товарищ комбат, эти окруженцы опять хотели разойтись, — ответил Краев хриплым, заспанным голосом.

Мы с Толстуновым засмеялись. Краев, натягивая сапог, ворчал себе под нос:

— Они мне всю дорогу кровь портили, аж здесь приснились. Вот особенно тот, пограничник, — кряхтел он, натягивая второй сапог.

— Он, товарищ лейтенант, приходил сюда, — сказал Краеву Синченко. — Перед уходом просил вам привет и благодарность передать и очень жалел, что вы спали.

— Ну, бог с ними, пусть идут дальше, — сказал Краев.

— Краев, как по-вашему, у нас герои есть? — спросил я.

— Как же, товарищ комбат! Есть, и немало. К примеру взять бойца Блоху, чем не герой?

— Рахимов! Встаньте! Краев, будите всех, — приказал я.

Небо, как опрокинувшийся котел, нависало над землей и лило крупным дождем. Вокруг было темно, издали доносились звуки канонады. Мы спешно строились на улице Возмища...

Четыре дня шли упорные бои на улицах и в окрестностях Волоколамска. Враг был силен и напорист. Ему удалось овладеть городом, а нам — с трудом закрепиться у ближних деревень и на опушке густого леса. Все дальнейшие попытки немцев прорвать нашу оборону не увенчались успехом. Видимо, противник выдохся. Захват города стоил ему больших потерь, и теперь нем-

цы производили перегруппировку, ожидая подкрепления. Такую вынужденную остановку на длительное время на армейском языке называют «оперативной паузой». Фронт стабилизировался.

* * *

Осень уступает свои права зиме. С запада дует ветер, он обжигает лицо, насквозь пронизывает тело. Невольно ерзаешь, выпрямляешься, дуешь на руки, потираешь лицо, на месте топаешь ногами — все для того, чтобы согреться.

Земля окаменела. Когда-то нежно журчавшие ручейки и речки застыли в ледяном безмолвии. Все вокруг окуталось снежным пухом. Зима своенравно, круто вступила в свои права. С непривычки мы сильно продрогли. Поеживаясь, прячем руки в рукава. Пытаясь спастись от пронизывающего ветра, жмемся к стенкам домов, окопов. Но это продолжается недолго. Война остается войной. Ее не препоручишь другому, за всем должен сам уследить, все должен делать сам. «Сам погляди, сам узнай и сам сделай», — это закон войны.

А стоит почувствовать себя немного свободным от всего, как человек углубляется в самого себя, отдается во власть воспоминаний, размышлений, мечтами и мыслями уносится далеко от окружающего.

Я очнулся от своих глубоких грез и, окончательно придя в себя, заметил, что Лысанка шла быстрой рысью, цокая копытами по неровному окаменевшему проселку.

— Остановись, подожди! — услышал я знакомый голос и, резко натянув поводья, оглянулся. Ко мне бежал Мухаметкул, неуклюже спотыкаясь о мерзлую колею дороги, придерживая рукой пистолет в кобуре.

Мухаметкул Исламкулов был красивым джигитом среднего роста, немного полноват, с высоким открытым лбом, с большими карими глазами и крупным носом. В Чимкенте, когда я еще только заканчивал среднюю школу, он был одним из ответственных работников губернского аппарата. Последние годы до войны он работал литературным сотрудником газеты «Социалистик Қазахстан». Он был старше меня лет на пять, очень

выдержанный и уравновешенный, и мы его чтили как старшего брата.

Мы не встречались с самого начала боевых действий нашего полка и знали один о другом лишь понаслышке. Я почувствовал вдруг, как сильно соскучился по нему. Узнав его, я тут же бросил поводья Николаю, соскочил с коня и побежал навстречу.

— Родной мой, — воскликнул Мухаметкул, — ты все такой же, не загордился. — Тяжело дыша после бега, он крепко обнял меня и прижал к своей груди. — Слава отцу твоему, воин, слышали про ваши дела, гордимся и славим... Куда спешишь? Почему не заедешь к нам? Ведь принято живых поклоном встречать, погибших добрым словом вспоминать. Да, совсем забыл, как там Жалмухаммед, Хабибулла, Семен Краев? Живы?.. Такое уж время — вчера не похоже на сегодня, и не знаешь, что будет завтра. Ну, как там у вас? Кто жив? Кто?..— и он засыпал меня вопросами, не давая вымолвить слова.

— Мухаметкул, не обижайся, но я через полчаса должен быть у генерала.

— Ну, если такое дело, не задерживайся, садись живо на коня! — и он подсадил меня в седло.

— Я вернусь, наверное, часа через полтора. Если не занят, пройди ко мне в штаб, поговори с ребятами и обязательно дождись меня.

— Хорошо, хорошо. Торопись...

Почувствовав шпоры, Лысанка бросилась вперед. Едем рысью по лесной дороге. Ветви устремленных ввысь елей запорошены уже отяжелевшим снегом и склонились, напоминая невесту под белым высоким головным убором в обрядовом поклоне. Вся природа словно покрыта гигантской белой пуховой шалью. В воздухе с воем пронеслась мина, шлепнулась где-то справа, метрах в ста пятидесяти, и в немом молчании леса отдалось эхо резкого взрыва. Вздрогнули, словно в испуге, ветки, и на нас посыпался снег. Над нами прожужжали назойливыми мухами несколько осколков, не причинив зла. А когда два-три из них просвистели совсем рядом, мы невольно вздрогнули...

— Я заметил, что у немца вот уже два дня стало

привычкой через каждые пятнадцать-двадцать минут бросать на эту дорогу парочку-другую мин, — сказал мой коневод Николай.

— А что же, по-твоему, он должен обстреливать пустой лес? — пояснил ему адъютант. — Он обстреливает дорогу, чтобы запугать нас, затруднить наше передвижение по ней.

— Ты прав,— вымолвил я, и все снова замолчали.

Едем... Путь нам преградила большая, глубокая свежая воронка от крупнокалиберного снаряда. Огромные ели по обе стороны дороги были искалечены, с корой, ободранной осколками.

— Какое зрелище! — сказал Николай по-казахски. — Метеор и тот, наверное, не так разворачивает землю.

«Трудно себе представить более совершенное овладение неродным языком, как этот красноармеец», — подумал я. Когда мы перескочили через лежащую поперек дороги сосну, поравнявшись со мной, он продолжал по-казахски:

— Видели, с корнем выворотило?

Я промолчал. Заметив, что я молчу и не собираюсь говорить, он натянул поводья, попридержал своего гнедого и занял свое место рядом с адъютантом.

Деревня Шишкино, куда мы ехали, показалась как только кончился лес. Терроризовать не только войско, но население любыми средствами — было у немцев привычным приемом. Они обстреливали населенные пункты, расположенные далеко в тылу, из дальнобойных орудий. Этой участи не избежало и Шишкино.

Как известно, в русских деревнях дома деревянные. Перед нами на окраине деревни дымились, догорая, два дома, разрушенные и подожженные прямым попаданием тяжелых снарядов. Один из красноармейцев, перебегающих от дома к дому, делал нам какие-то знаки.

— В воздухе не видно самолетов, чего он нам машет руками? — не смолчал Синченко.

Перед домиком, к которому, словно паутина, были протянуты телефонные провода, мы спешились. Не успел я спросить часового, стоявшего на углу дома:

«Генерал у себя?», как услышал знакомый, чуть хрипловатый голос генерала:

— Почему задерживается Момыш-улы?

— Я здесь, товарищ генерал.— И, увидев в дверях седеющую голову генерала, я отдал ему честь.

— Никогда бы не подумал, что вы можете опаздывать, — упрекнул он, но тут же приветливо добавил: — Ничего, ничего, как раз вовремя прибыли, проходите сюда, ко мне.

У окна, на большом столе, будто вышитая скатерть, лежала развернутая военная топографическая карта. После приветствий генерал подошел к столу, оперся на него пальцами широко расставленных рук, при этом чуть приподняв плечи, и молча, сдвинув брови, впился глазами в карту. Затем черным карандашом сделал в двух-трех местах жирные пометки.

— Вы не голодны? — спросил он, обернувшись ко мне.

— Спасибо. Я сыт. Поел перед выездом к вам, товарищ генерал.

— И все-таки выпейте чайку. На дворе очень уж морозно, — продолжал генерал, не отрываясь от карты.— Там, в углу, накрыт стол. Не помешает выпить стопочку водки... Я тут еще, оказывается, не во всем разобрался... Погодите малость.... — говорил он, не поднимая глаз от карты, и, как бы сам с собой, продолжал: — Да... так, так... пожалуй, так будет вернее... да, да... отсюда он едва ли пойдет... или надумает?.. Надо преградить ему дорогу здесь... Стойкому условия местности — верный помощник... — рассуждал он, делая при этом пометки на карте.

Я сидел в углу за маленьким столиком и молча пил чай.

— Напились, товарищ Момыш-улы? Подойдите-ка сюда, потолкуем и посоветуемся...

— Едва ли я гожусь в советчики вам, товарищ генерал!

Не успел я вымолвить это, как он выпрямился, глядя в мою сторону, и произнес дружелюбно:

— Коль иногда на деле неплохо у вас получается, наверное, сможете посоветовать кое-что. — Он снова

склонился над картой и неожиданно спросил: — А как, по-вашему, когда начнут немцы наступление?

— Я не полностью знаком с обстановкой, товарищ генерал, надо бы ознакомиться, подумать.

Генерал продолжал:

— Верно, надо ознакомиться, подумать. Командир всегда должен знать обстановку, думать, рассуждать, предполагать, разгадывать мысли противника, который старается держать их за семью замками. Ну, что ж, посмотрите на карту, подумайте... Теперь мой черед чаевать, — закончил он, улыбаясь.

Затем генерал удобно устроился за столом и принялся пить чай, прикусывая мелкие кусочки сахара, которые он сам тут же крошил щипцами.

Я склонился над картой и приступил к изучению обстановки. С западной стороны деревень Строково, Ченцы, Мыканино, Ядрово, Дубосеково проходила, плотно примыкая к лесу, красная полоса линии нашей обороны. На карте отчетливо выделялось расположение полков и за всем этим — узлы пересечения дорог в Горюны, Матренино, к высоте 151.0. Эти районы были обведены карандашом. Я пригляделся еще внимательнее и прочел написанное рукой генерала: «Батальон Момыш-улы». Теперь я понял, зачем вызывал меня генерал. Мне показалось немного обидным, что он хочет переместить нас с передовой в тыл. Параллельно нашей красной полосе проходила синяя линия — передний край противника, с указанием районов расположения частей и соединений. Я впервые видел на карте такие относительно полные данные о противнике. По этим данным, силы противника превосходили наши в три, а то и в четыре раза. Теперь понятно, почему немцы целый месяц не двигались с места: накапливали силы. Такой напрашивался вывод.

Генерал точно прочел мои мысли и заговорил, вставая из-за стола:

— Подробнее знакомьтесь с силами противника. Нужно знать, с кем предстоит встретиться. А как вы думаете? — спросил он, бросив при этом беглый взгляд на карту. — Когда он на нас пойдет?

— С картой ознакомился. Но не могу сказать, что

подробно изучил, во всем разобрался. Не по плечу мне оценить эту обстановку на вашей карте. Едва ли одолею ее без вашей помощи, товарищ генерал, — признался я и добавил, — разобрался лишь в одном: куда вы решили послать меня.

Генерал громко рассмеялся.

— Это-то и нужно было мне. Значит, поняли куда и зачем пойдете? — спросил он.— По имеющимся у нас данным, противник собрался с силами, закончил подготовку и в ближайшие дни пойдет в наступление. Я думаю, он сосредоточит свои основные силы на Волоколамском шоссе, чтобы кратчайшим путем прорваться к Истре, а оттуда — к западным окраинам Москвы. По тому, как долго и тщательно враг накапливал силы, надо предполагать, что он рассчитывает уже не задерживаться до самой Москвы. Смотрите! Если верить вот этим данным, на нашу дивизию пойдет три-четыре вражеских дивизии. Я думаю, что на этом направлении на нашу долю будет не меньше, если не больше. Разумеется, и у немцев есть данные о нас. Надо ожидать, что враг начнет наступление с полной уверенностью в осуществление своего плана. Говорят, что немцы получили приказ ставки любой ценой прорваться к Москве. Если это в действительности так, то предстоят очень тяжелые бои. Нам приказано упорно обороняться. Прежде всего, нужно использовать все выгодные условия местности. Упорной обороной мы обязаны выигрывать время, не дать противнику возможности овладеть шоссе, навязывать бои, отвлекать его силы от шоссе, снижать темпы продвижения вперед. Но делать это нелегко. Мы добьемся этого, если будем действовать стойко, с умом, умело и ловко...

Генерал еще некоторое время знакомил меня со своими выводами из оценки обстановки, давал советы, разъяснял.

— Если обстановка неожиданно изменится, у меня нет резерва. Своими превосходящими силами враг вынудит передних отступить. А привести в порядок отступающих, сами знаете, нелегкое дело. Я веду все это к тому,— продолжал он,— чтобы вы поняли, что мы не должны дать возможности противнику овладеть доро-

гами. Мы должны всячески сдерживать продвижение врага вперед. Если мы будем держать шоссе в своих руках, то его танкам нелегко будет продвигаться через лес, по бездорожью. Итак, ваш батальон должен до двадцатого числа продержаться здесь, на стыке трех дорог, даже в случае окружения противником.— И генерал показал мне на карте свои пометки, пояснив их еще раз.

— Товарищ генерал, разрешите?

Панфилов кивнул головой.

— Признаться, товарищ генерал, меня смущает вопрос: как это можно с одним батальоном удержать линию фронта протяженностью в пять-шесть километров

— А я вам этого не говорил. На эту высоту поставите одну роту, сюда, на станцию — вторую, а в Горюны — третью,— пояснил он, указывая карандашом на карте и, глядя на меня, спросил: — Где тут пять-шесть километров, о каких пяти-шести километрах вы говорите?

— Но ведь между этими опорными пунктами промежутки по три-четыре километра, я должен их охранять и контролировать. Роты разбросаны далеко друг от друга, как же я буду управлять ими?

Подумав и сдерживая, как я заметил, приступ гнева, генерал ответил:

— Руководить, управлять— это значит самому уяснить задачу, оценить обстановку, выработать и принять правильное решение, довести это решение до сознания каждого. Командир не может, и вовсе ему это не нужно, быть всегда при солдате, у него много командирских дел. Обдумать, приказать, разъяснить, контролировать, управлять, вмешиваться и требовать от всех выполнения приказа! Вспомните наш опыт. Разве я был с вами, когда вы четыре раза оказывались в тылу противника и относительно благополучно выходили? Разве я лично руководил тогда всеми вашими действиями? Нет! Но зато до этого мы с вами вместе обдумали и договорились, в каких случаях как следует поступать. И впредь я не могу быть с вами рядом.

Потому и вызвал, чтобы обсудить все подробно. Есть, есть сомнения, высказывайте, товарищ Момыш-улы.

— Сомневаться не в чем, товарищ генерал. Я понял вас,— и, немного подумав, я добавил:— Если немцы начнут наступление шестнадцатого, наши на переднем крае продержатся до семнадцатого, я же должен действовать восемнадцатого, девятнадцатого, двадцатого и, оставшись даже в тылу врага, не должен покидать шоссе... И пока отступающие наши полки приведут себя в порядок, сосредоточат силы и смогут занять новые рубежи, я должен оставаться на месте, чем бы это ни кончилось. Все ясно, товарищ генерал.

— Вот и хорошо. Вы поняли меня. Так и предполагается, что наступление начнется не позднее шестнадцатого-семнадцатого.

— Разрешите ехать, товарищ генерал?

Командир дивизии проводил меня до самых дверей и, положив руку на плечо, произнес ласково:

— Как говорится, ни пуха, ни пера! Предстоят трудные дни. Держаться надо вам до двадцатого.

— Понимаю, товарищ генерал. Благодарю за доверие.

* * *

Мой штаб был расположен в деревне Рождественское. Вернувшись от генерала, я застал гостящего у нас Мухаметкула. Дав нужные указания командирам, пояснив на карте, кто куда должен направиться, я обратился к Мухаметкулу, все это время молча слушавшему наши разговоры.

— Ну, Мухаметкул, будьте гостем. Пока роты будут готовиться, мы сможем поговорить с вами часок. Рассказывайте первые страницы вашей боевой биографии. О нашей, вижу по глазам, вам уж разболтал Джалмухаммед.

При этих словах Джалмухаммед смутился и, как бы оправдываясь, сказал:

— Я, товарищ комбат, все рассказал, как на самом деле было. Ей богу, ничего не прибавил и ничего не убавил.

— Значит, ты выдал военную тайну? — нарочито строго упрекнул я Бозжанова.

Исламкулов раскатисто, по-степному, расхохотался.

— Да, Жолтай действительно до твоего приезда не дал мне и рта раскрыть, выдавая все твои «военные тайны».

— Его раскатистый смех был непосредственен, прост и широк, как простор степей, и глубок, как синева океана. Для непривычного слуха этот смех показался бы диким. Я заметил, что рассерженный Бозжанов мгновенно преобразился — он смущенно улыбался, смотря на Исламкулова и, должно быть, вспоминая вот такой же смех деда, отца и дяди — вольных степняков.

У нас, у казахов, «культ старшинства»: «не перечь нравам старших» и «старшие всегда правы» был очень развит, и это на войне очень помогало — соблюдение дисциплины и уважение к старшим нам прививалось с детских лет.

Я извинился перед Исламкуловым, а Бозжанов — передо мною. Мое извинение Мухаметкул принял не без удовольствия и, как старший, с достоинством начал:

— Да, кто знает, встретимся ли еще. Как говорится по-русски, «неровен час», или, как у нас говорят, «прокладываем путь по лезвию бритвы». В войне трудно предвидеть и предсказать. Сколько прекрасных жизней уже унесла эта прожорливая война!.. Подвиги немногих стали достоянием народа, а сколько славных, но безымянных героев отдали жизнь на алтарь отечества. От смерти не посторонишься. Страхов много, смерть одна. Я не верю, что человек привыкает к опасностям, к смерти и делается безразличным,— нет, не верю. Новый приказ генерала, как я понял, это новое и большое испытание: или вы погибнете, выполняя приказ, или вернетесь, овеянные славой. И то, что старик не скрыл от вас предстоящей опасности,— хорошо. Генерал, видно, понимает, что вера и гору с места сдвигает, оправдайте, ребята, его доверие.

— Спасибо, Мухаметкул, за доброе слово. Спасибо. А теперь расскажите, как жили это время? — перебил его Бозжанов, не сумев скрыть лукавой, до-

вольной улыбки и озорного блеска в глазах.— Хочется и о вас узнать, а то минут через пять комбат погонит всех нас отсюда.

— Роты двинулись по назначенному направлению, товарищ комбат,— доложил вошедший Рахимов.

— Разговор придется, Мухаметкул, продолжить в пути,— прервал я, и мы вышли из штаба.

* * *

Вот уже два часа мы изучаем высоту 151.0, знакомимся с окружающей местностью, оцениваем ее с точки зрения предстоящего боя. На армейском языке это называется рекогносцировкой.

Командир второй роты Семен Краев — светловолосый джигит, высокий, худощавый. У него впалые щеки, большие уши и зеленоватые глаза со светлым, острым взглядом. От холода его небритое лицо посинело, и он кажется еще более худым, чем в действительности. Мы стоим у моста на перекрестке двух дорог.

— Итак, Краев,— говорю я,— надо полагать, что враг пойдет по одной из этих дорог. Кругом, сам видел, бездорожье. Ему будет очень удобно воспользоваться густым лесом и подойти вплотную. Но ты не воюй в лесу. Нет никакой надобности, имея восемьдесят человек, играть с противником в прятки. Ты отступи, выйди из села вот сюда, на прогалину. На открытой местности удобнее встретить врага прицельным огнем в упор.

— Но ведь и ему, товарищ комбат, будет легко, прикрываясь лесом, открыть огонь по нашим людям. Он может использовать особенности местности в свою пользу,— заговорил Краев с тревогой.

— Эх ты, голова,— оборвал я его, повысив голос.— Разве я тебе говорю, чтобы ты вышел на опушку и подставил грудь под пули? Как ты не можешь понять мое «встретить»? Надо подождать, пока немцы метров на сто пятьдесят-двести выйдут из леса, и тогда открыть огонь.

— Теперь понял, товарищ комбат! — воскликнул он, еле удерживая улыбку.

— Вот и прекрасно. Враг тоже не дурак, и его не легко будет заманить в ловушку. Для начала он выш-

лет разведку... Как ты поступишь с ней? — спросил я его неожиданно.

Краев постоял, подумал и вместо ответа сказал:

— И то правда, что же мне с ней делать, товарищ комбат? — спросил он.

— Подпусти разведку как можно ближе к себе и уничтожь ее до последнего, чтобы ни один солдат не вернулся.

— А тех, кто сзади, в лесу?..

— Подожди, выслушай до конца. Едва ли их будет больше батальона. Надо полагать, что основные силы противника на шоссе. Он некоторое время будет обстреливать холм, где вы расположитесь. А ты не отзывайся, лежи молча... Как только немцы окажутся на открытой поляне, подпусти их ближе и бей в упор из пулеметов, винтовок — прими их в огневые объятия... Посмотрите, что выйдет. К чему дальняя перебранка? Чем ближе, тем вернее. В таких случаях выигрывает тот, кто не боится ближнего боя. Итак, надо решиться твердо, без колебаний.

— Пусть будет так,— согласился он.

—Ты еще обдумай сам. Подумай, Краев, чтобы не допустить оплошностей.

— Вы правы, товарищ комбат, тут еще подумать надо,— сказал он.— Ничего не пожалеем, отстоим,— и, немного помявшись, спросил:— А какая от вас будет помощь? Что делать, если обстановка осложнится?

— Ты хочешь знать правду? — спросил я его.

— Конечно, товарищ комбат, а как же...

— Не жди у моря погоды. Если связь по телефону не будет нарушена, я смогу помочь...— Но Краев не дал мне высказаться до конца и прервал торопливо:

— Постараемся держать линию связи в исправности.

— Да, я смогу поддержать тебя окриком, а в критический момент и бранью.

Краев улыбнулся.

— А кроме этого чем еще? Другой помощи, товарищ комбат, не будет?

— Другой помощи не будет, Семен. Ничего у меня нет... Наоборот, если положение наших в Матренине

и Горюнах ухудшится, то я заберу у тебя человек тридцать-сорок. И об этом помни. Ты все-таки сравнительно в стороне. Здесь будет легче, чем на шоссе.

— Но вы нас не забывайте, товарищ комбат,— попросил Краев, слегка побледнев.— Ваш голос в трудные минуты всегда поддерживал меня,— добавил он менее уверенно.

— Ты что, прощаешься со мной? — прикрикнул я на него.

— Нет, что вы, товарищ комбат,— улыбнулся он,— без вашего приказа мы не отойдем, будем держать эту высоту.

— Желаю успеха. Каждому бойцу разъясни задачу...

* * *

По дороге в деревню Матренино я встретился с командиром первой роты Филимоновым, поговорил с ним и лишь с наступлением темноты добрался до лежащих у шоссе Горюнов.

Когда целый день пробудешь на морозе и войдешь в теплую комнату, щеки и губы начинают до боли гореть, всего тебя одолевает усталость, ты не в силах поднять окаменевшие веки, клонит ко сну. Но обстановка требует бодрости, собранности, бдительности. Начатое не доведено до конца — душа неспокойна. Какой может быть сон, когда на душе неспокойно!

— Только что прибыла третья рота. Танкову разъяснил, где и как располагаться,— доложил Рахимов, входя в комнату.

Я ему подробно сообщил о положении дел в первой и второй ротах, показывая по карте их позиции и дав указания, как держать с ними связь, вышел с Бозжановым на улицу.

Тишина. Темная ночь. Все вокруг покрыто снегом. Лес погружен в безмолвие. Лента дороги тянется словно новая тесьма на станке — прямая, без изгибов. Вдоль дороги темнеет строй изб. Ни звука. Подошел лейтенант Танков. Втроем обошли деревню дважды. Утомленные бойцы, постелив в окопах солому, лежат, тесно прижавшись друг к другу, некоторые крепко

спят. Лишь дежурные стоят на своих постах, пританцовывая от мороза.

— Я разрешил ребятам малость передохнуть,— доложил мне Танков.

— Это хорошо, пусть вздремнут. Вы успели засветло ознакомиться с местностью, придумали, как организовать оборону? — спросил я лейтенанта.

Танков начал подробно докладывать, кто, где и как должен обороняться. Я выслушал его молча. Что я мог увидеть в непроглядной тьме ночи, что мог исправить?

— Хорошо, утром видно будет. Занимайтесь своими делами, — отпустил я Танкова, и мы вернулись в штаб.

Прилежный Рахимов уже подготовил всю необходимую документацию.

— Для связи со второй ротой, кроме телефона, выделил двух конных и двух пеших связных. И с первой наладить такую связь, или штаб разместится в Матренине?— спросил меня старший адъютант.

— Штаб останется здесь. Хотя Матренино расположено в центре нашего района обороны, по-моему, в данной обстановке будет вернее расположиться нам здесь.

— Да, аксакал, самое интересное развернется здесь, на шоссе,— вставил неугомонный Джалмухаммед.

— Ты прав, и потому двух «максимов» и пушки оставьте здесь,— ответил я, просматривая бумаги, внося в них свои поправки и замечания.

— Разрешите? — ворвался кто-то.

Пытаясь разглядеть гостя при тусклом пламени свечи, я пристально вгляделся в вошедшего. Это был рыжий курносый коротышка, большеротый, с крупными зубами и с маленькими юркими глазами; он был в грязной стеганой телогрейке, туго перетянутой широким желтым ремнем.

— Товарищ старший лейтенант, команда истребителей танков в двадцать пять человек прибыла в ваше распоряжение. Лейтенант Угрюмов! — отчеканил он, представляясь по уставу.

Мы невольно улыбнулись, глядя на этого расторопного малого.

— Присаживайся, герой,— указал я на стул перед собой.— Ну, батыр, докладывай, какое у тебя противотанковое вооружение.

Мой гость сразу притих, даже вспотел от смущения.

— Гранаты... С десяток бутылок...

Все присутствующие засмеялись.

— И это все? Жидковато для танков-то!

— Вообще нас послали к вам... Мы справимся и с танками и с пехотой... Посылайте нас по обстановке,— заговорил он гордо, защищая уязвленное самолюбие.— Мои ребята — исправные бойцы, не подведут. Я верю в них, товарищ комбат.

— Это хорошо. Если и солдаты верят в своего командира, что может быть лучше! Да, вера, вера... Вера в человека — самое дорогое, самое ценное...

— И они мне верят, товарищ командир, спросите вот у политрука,— прервал меня Угрюмов.

Стоявший в углу молодой светлый парень улыбнулся, словно говоря: «разумеется» и с любовью посмотрел на лейтенанта. Встретившись со мной глазами, он спохватился и, козырнув, представился:

— Политрук Георгиев.

— Хорошо. Подождите немного, мне нужно посмотреть эти бумаги, а потом поговорим. Извините, но здесь спешные дела,— ответил я им, указывая на лежащие передо мной бумаги, и принялся просматривать план обороны...

Угрюмов попросил разрешения закурить, и тут же ударил в нос крепкий дым самосада. Угрюмов частыми глубокими затяжками жадно курил наспех свернутую из газеты самокрутку в палец толщиной. Из больших ноздрей валил густой едкий дым. От избытка удовольствия нос лейтенанта покрылся капельками пота.

— Ты случайно не тот самый разведчик Угрюмов? — спросил я его.

— Да, был когда-то разведчиком, но меня выгнали из разведки,— ответил он, смутившись.

— За что же это?

— Если можно, я расскажу с самого начала, как было. Вы, наверное, не слышали? — начал он не торопясь.— Пошли мы однажды в разведку. В деревне, куда

мы пришли, еще не было немцев. Один колхозник сообщил нам, что они в соседней деревне. Переодевшись в деревенскую одежду, оставив своих двадцать бойцов в деревне, я пошел к немцам. Видно, я долго гулял там, и когда вернулся в деревню, где оставил ребят, немцы уже хозяйничали там. Ищу своих — и след простыл. Смылись вовремя. Побродил по деревне, закурил у встречного немецкого солдата и лишь к вечеру добрался до нашего штаба. Доложил все, как было, что видел. Командир долго ругал меня, а потом отстранил от должности. «Солдаты даются командиру, чтобы он руководил ими, использовал их для выполнения боевых задач, а ты пошел сам, а солдат бросил»,— сказал он мне на прощание и отпустил...

Мы рассмеялись.

— А теперь, надеюсь, не покинешь своих людей, не будешь баловаться? Разместите по домам бойцов, отдохните. Что вам делать, узнаете утром,— прервал я его повествование и отпустил их.

С воющим свистом упали посреди деревни два снаряда и с грохотом взорвались один за другим. Воздушной волной выбило оконные стекла. Свеча на столе вздрогнула, замигала, но не погасла.

— Судя по звуку, не менее ста пяти миллиметров,— заметил спокойно Рахимов, направляясь к двери.— Пойду посмотрю место взрывов, товарищ комбат, узнаю, есть ли жертвы?

— Вот, черти, выбили окна, застудили комнату! — возмущался Бозжанов, завешивая окно плащпалаткой.

До самого утра через каждые десять-пятнадцать минут немец бросал на нас два-три снаряда.

Утром, часов в десять, на западе разразилась гроза артиллерийской канонады. Все вышли на улицу, прислушиваемся к залпам. Чуть было приутихли раскаты взрывов, но тут же возобновились с новой силой. Кругом заухала, застонала земля. Особенно сильно обстреливали наших левее Ядрова. В воздухе кружилось около двух десятков вражеских самолетов. Время от времени они сбрасывали над лесом мелкие бомбы, пикируя, поливали наших свинцовым дождем. А высоко над ними, словно коршуны над добычей, плавали в небе, наб-

людая все происходящее на земле, два самолета.

— Любопытно, куда направят основной удар?— произнес Бозжанов, подходя ко мне.

Я рукой показал влево...

Позвонил генерал.

— Враг направил первые удары на Капрова. Дважды были отбиты атаки. Но сбить напористость не удается. Теперь, мне думается, он пойдет на Ядрово, приготовьтесь,— предупредил генерал с обычной неторопливостью, спокойно.— Да, вот что еще. Вчера в ваше распоряжение была послана команда истребителей танков. Где они сейчас?

— Они здесь, товарищ генерал.

— Отправьте их немедленно в Ядрово. У Елина очень мало людей, пригодятся залатать какую-нибудь дыру.

Я вызвал Угрюмова и сообщил ему новый приказ.

— Товарищ старший лейтенант, нам давно хотелось повоевать вместе с вашими ребятами, но никак не удается,— сказал он на прощанье, улыбаясь.

— Счастливого пути, ребята! Надеюсь, еще встретимся.

Ребята тепло распрощались с нами.

III

Стоим на улице. Земля вокруг гудит, содрогается от взрывов. Впереди идут жаркие бои. В воздухе, подобно хищным птицам, кружат самолеты. Завидев снизу жертву, они срываются в пике, сбрасывают бомбы и, выровнявшись, снова устремляются ввысь.

Все гремит, грохочет, гудит... С каждым часом нарастает сила боя, грохот и гул усиливаются. Над лесом застыли столбы черного дыма. Бои идут в районе Ядрова и Дубосекова. Впереди вступили в жаркую схватку с врагом полки нашей дивизии, дерутся не на жизнь, а насмерть. Мы стоим на своих позициях. Нас генерал держит в стороне, мы во втором эшелоне. Бойцы роют окопы, готовятся к бою. Постоят, прислушаются, что там, впереди, происходит, и с новой силой, с большим рвением вонзают лопаты в землю.

Я иду на окраину села. Проходя мимо русского бойца лет тридцати, который замер с лопатой в руках, вслушиваясь в звуки боя, я окликнул его:

— Курбатов, ты что уставился?

Он вздрогнул от неожиданности и, улыбнувшись, ответил:

— Товарищ комбат, когда сам участвуешь в бою, многое не слышишь, не замечаешь, а вот глядишь со стороны, жутковато получается.

— Ты что-то глупости начинаешь говорить. Если тебе, бывалому орлу, жутковато, то каково же другим? —заметил шутливо Бозжанов, шедший позади меня.

— Что вы, товарищ политрук,— возразил смущенно Курбатов.—Если я орел, то вас можно назвать львом.

— Довольно. А то получается: «Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку»... Сегодня-завтра и мы начнем. Дело покажет, кто орел, а кто лев,— оборвал я их, а они словно обрадовались чему-то, разразились веселым смехом...

Поднялись на вершину холмика. Наблюдаем. Бой не утихает —наоборот, становится все жарче. Не прошло и несколько минут, как беспокойный Бозжанов взволнованно заговорил:

— Товарищ комбат, и чего мы здесь стоим?

— Разговариваем с передними,—ответил я, не оборачиваясь.

— Вы хотите изучить обстановку?—не унимался Бозжанов.

— Замолчи же!—прикрикнул я, не глядя на него.

— Хорошо, не буду перебивать ваши мысли,— произнес он обиженным голосом.

Рахимов не обмолвился ни единым словом. Я посмотрел в его сторону — он, кажется, погружен в грустные мысли. Взгляд устремлен вперед. Перед нами, у леса, взметнулись высоко несколько столбов дыма и пламени, и вслед за ними грохнули взрывы.

— Вон, видели? Теперь он замахивается на нас, — заметил Бозжанов, уже забыв о своей обиде.

— Хабибулла, пойди узнай по телефону, что там происходит!—послал я Рахимова в штаб.

Он резко повернулся и пошел было, но я его задержал: — Если наступление началось, приступай к подготовке и наших.

— Есть, товарищ комбат! А как сообщить вам?

— Мы не задержимся здесь долго...

Пусть Рахимов и Бозжанов обходят батальон, проводят подготовку. А мы с вами, читатель, пойдем вперед — туда, где развернулись бои и до наступления темноты посмотрим, что там происходит.

* * *

По дороге к деревне Мыканино шагало семнадцать бойцов. Во главе их шел маленький со вздернутым носом, белобрысый, наш старый знакомый молодой лейтенант Петя Угрюмов. Он идет, не оглядываясь по сторонам и назад, идет широкими шагами, как бы отмеряя расстояние. Он идет, как будто его не касается то, что происходит вокруг.

Тонкий бледный юноша быстрыми шагами нагоняет строй. Это политрук Григорий Георгиев...

Кругом грохочут, вздымаясь огненно-черными фонтанами, взрывы артиллерийских снарядов и авиационных бомб, воют мины, свистят пули, горят отдельные дома. Впереди мелькают перебегающие из ячейки в ячейку бойцы. С наблюдательных пунктов внимательно смотрят в даль командиры.

Их семнадцать, истребителей танков. Они заняли позицию у деревни Мыканино.

... К мосту у деревни Строково подходит группа бойцов с тяжелыми ношами. Они по команде «по двое, по трое» — поспешно рассыпаются, волоча по снегу квадратные ящики. Кто поднимается на мост, кто под мостом карабкается, взбираясь по толстым быкам на нижние опоры моста, чего-то ищут, что-то приспосабливают, прикрепляют, рубят топорами, стучат молотками, прибивая гвозди, что-то пригоняют, примеряют, что-то привязывают... Кажется, что они старательно чинят, ремонтируют...

Но нет! Они минируют мост, — им приказано с подходом вражеских танков взорвать его.

Их одиннадцать — саперов.

А тот, кто перебегает из группы в группу, часто жестикулирует руками, как бы выражая «все неладно» и покрикивает на людей, требуя «делать точно, как он хочет» — это их командир, конопатый юноша, лейтенант Иван Березин...

Тот, который, пулей вылетев из траншеи, бежит назад и шагов через десять падает камнем, снова подымается, бежит и снова падает и так до самого леса,— это наш старый знакомый лейтенант Мухамметкул Исламкулов. Его вызывают в штаб полка...

В гуще леса стоят повозки, покрытые брезентом. Привязанные к ним лошади пощипывают остатки разбросанного по снегу сена, а поодаль, под громадными елями, метрах в двадцати-тридцати друг от друга дымятся походные кухни. Около каждой кухни повар в замызганном, когда-то белом халате сверх полушубка, с черпаком в руке, несколько бойцов: кто рубит дрова, кто подкладывает поленца в топку кухни, кто чистит мерзлую картошку. Это пищеблок батальона, где готовится обед. А люди, что находятся здесь,— это ездовые, повара и рабочие по кухне, выделенные по наряду. Их двадцать человек.

...На опушке леса позади Дубосекова лежит запорошенная снегом сопка. К ней тянутся телефонные провода. Это — наблюдательный пункт командира полка. Врытый в сопку узкий бревенчатый блиндаж. В срубе оконце. На треноге — рогатая артиллерийская стереотруба, на дощатых скамейках — несколько полевых телефонных аппаратов в желтых кожаных чехлах и радиостанция с короткой антенной. В середине блиндажа на столике горит пара восковых свечей.

Прильнув к окуляру стереотрубы, стоит небольшого роста, худощавый, с вытянутым лицом, узкими квадратными усиками полковник. Если бы не прищуренные светло-серые глаза, по цвету кожи можно было бы принять его за туркмена из знойных Кара-Кумов. Это Капров — самый старший по возрасту и по выслуге лет из всех командиров полков дивизии.

— Немедленно дать сосредоточенный огонь двух дивизионов по северной окраине Дубосекова... Опять там показалась пехота с танками!.. Немедленно!.. Так,

так, хорошо... Сообщите капитану Молчанову, что огонь артиллерии переносим на станцию — там показались танки и пехота—пусть он теперь рассчитывает на свои силы и средства... Прикажите артиллеристам засечь позицию дивизиона, который ведет огонь по высоте, и подавить его. Ни в коем случае не трогаться с места, встречать огнем. Контратаковать — значит оголить позицию... Немедленно подвезти противотанковые гранаты и раздать бойцам...

Полковник наблюдал за полем боя и, не оборачиваясь, отдавал распоряжения и приказания.

...В блиндаж наблюдательного пункта входит генерал Панфилов в сопровождении сухого, щупленького, но с гордой осанкой артиллерийского подполковника с грустными серыми глазами. Если бы на нем не было аккуратной, со вкусом подогнанной военной формы, он напоминал бы скульптурный портрет Вольтера, усмехающегося с философской холодностью: все в этом грешном мире преходяще, и перемен никому не избежать! Подполковник — командир артиллерийского полка дивизии Георгий Федорович Курганов.

— Товарищ генерал-майор, вверенный мне полк...

— Здравствуйте, Илья Васильевич. Здравствуй, старина,— прерывает Капрова генерал, подавая ему руку.— Садитесь, пожалуйста, садитесь, Илья Васильевич,— предлагает Панфилов Капрову.

Потом, не спеша расстегивая крючки на полушубке, говорит:

— Вот что, Илья Васильевич...

— Я, товарищ генерал...

— Вы, товарищ полковник, а по совести говоря, у нас с вами, Илья Васильевич, в общем и целом на деле не выходит ни по-генеральски, и ни по-полковничьему, а? Как вы изволите думать, сударь мой?

— Товарищ генерал...

— Я генерал с тысяча девятьсот тридцать восьмого года,— повысив голос, прервал его Панфилов.— Что толку от того, Илья Васильевич? От рубежа Рузы отошел, Волоколамск сдал, а ваш левый фланг?... Вы сегодня сдали противнику станцию...

— Я не сдавал, товарищ генерал, у меня отобра-

ли...— При этих словах Капрова Курганов громко расхохотался. Панфилов тоже смеется.

— Значит, вы говорите, у вас отобрали? — спрашивает он.

— Так точно, товарищ генерал! Ведь в нашем боевом уставе предусмотрен и отход. Мы под натиском превосходящих сил противника отошли организованно, как это полагается...

— Значит, по уставу?

— Так точно, товарищ генерал!

— Значит, так точно по уставу, товарищ полковник? А вы знаете, что наш устав запрещает отход войск без приказа старшего командира?

— Ну да, товарищ генерал...

— Знаете, Илья Васильевич, у Петра Первого есть такое изречение: «Не держаться устава, яко слепой стены, ибо там порядки писаны, а времен и случаев нет». Вы, Илья Васильевич, не оправдывайтесь статьями устава, тем более, что они не в вашу пользу, а лучше обоснуйте ваши решения при оценке конкретно сложившейся обстановки боя.

— Он же сказал, товарищ генерал, о том, что не сдал, а у него отобрали. По-моему, это честно и конкретно,— смеясь, говорит Курганов.

— Ну, довольно нам философствовать и, как говорил Чапаев, «на все, сказанное здесь, наплевать и забыть!» Давайте-ка лучше разберемся, что у вас тут происходит. Ведь я с товарищем Кургановым не от хорошей жизни к вам пожаловал. Доложите-ка толком, как тут у вас дела?

— Дела, товарищ генерал, по-честному говоря, неважные, даже скверные. Вот посмотрите, товарищ генерал, на карту...

— Зачем карту? Мы же находимся на переднем крае. Лучше покажите на местности, чай, карту я умею читать...

Через час они возвращаются на наблюдательный пункт. Все трое суровые и сосредоточенные.

— Ну, что же, Илья Васильевич, показали вы все, как следует быть. Немец вас очень уж облюбовал. Обнял он вас по-любовному и никак разнять рук своих

не может. Вы жалуетесь, что плохи дела, а я доволен. Держите его так до вечера, а ночью он перегруппируется и утром снова начнет вас колошматить.

— Не знаю, товарищ генерал, если он еще нажмет — выдержим ли?..

— Что значит «выдержим ли»?! — строго перебивает его Панфилов. — Вам приказано держаться!

— Есть, держаться!

— Если вы не растеряетесь, он сегодня серьезную атаку не предпримет — до того он завяз и втянулся в бой. Дождитесь вечера, перегруппируйтесь и встречайте его огневой пощечиной завтра утром, когда он снова пойдет в атаку. Для нас опасны его танки. Поставьте всю артиллерию на открытую огневую позицию.

— Товарищ генерал, и моих? — встревоженно спрашивает Курганов.

— Да, и ваших.

— А как же тогда с НЗО, ПЗО, СО, ДНО![1]

— Пусть стреляют прямой наводкой по танкам противника.

— Тогда мы за один день сможем потерять всю артиллерию.

— Потерять, разумеется, кое-что потеряем, но не всю. Итак, всю артиллерию на прямую наводку, до единого орудия, за исключением моего резерва!

— Слушаюсь, товарищ генерал!

— Самое главное для нас — завтра ему дать бой до тех пор, пока не вынудим его ввести два полка, что стоят в районе Ивановского и западнее Волоколамска. Пока у него поблизости других резервов нет. Надо сбить ему холку здесь, на этом рубеже, а дальше посмотрим, как он будет ковылять за нами. Вы меня поняли?

— Понял, товарищ генерал.

— Понятно, товарищ генерал.

— Вы здесь оставайтесь, товарищ Курганов, а я поеду к Елину и Шехтману. Их полкам тоже не сладко приходится. Особенно Елину. Сегодня немец весь день

---

[1] Виды артиллерийского огня.

и артиллерией и авиацией гвоздит и гвоздит по Ядрову, Мыканину, Ченцам — все к шоссе рвется...

* * *

Серое туманное утро. Как и вчера — громовая артиллерийская канонада... Как и вчера, идут жаркие бои... К полудню туман рассеялся, выглянуло солнце, в воздухе появились самолеты; они кружатся, просматривают цели, делают заход, пикируют, бомбят...

Лейтенант Березин перебегает из окопа в окоп. Перед мостом, так же, как и в Осташове, в кюветах валяются несколько мотоциклов, задрав колеса вверх; там и сям лежат трупы в мышино-серых шинелях. Перебегающие немецкие цепи...

— Ведите огонь, перебегая из ячейки в ячейку! Два-три выстрела и — марш в другую ячейку. Живо! Иванов, ты что в белый свет стреляешь? Целься хорошенько! Я тебе дам пули за молоком пускать...

Так он бежит от бойца к бойцу, от ячейки к ячейке...

На позицию саперов обрушивается беглый огонь крупнокалиберного артиллерийского дивизиона — словно завыл хор сотен ведьм, потом загрохотал сказочно громадный барабан, затем вздымаются ввысь десятки огромных черно-огненных столбов... Со скрежетом гусениц, рокотом моторов большими гигантскими черепахами поползли танки...

— Приготовить запалы, проверить шнуры!—приказывает лейтенант Березин.— Следить за моим сигналом!

Вот головной танк подошел к мосту, остановился, трижды изрыгнул из орудия огонь, затрещал пулеметом и уверенно пополз по мосту. За ним последовали еще три танка... Наши саперы побежали под мост. По мосту три танка ползут медленно, ползут осторожно. Головной вот-вот перешагнет край моста и со скрежетом начнет мять гусеницами шоссе. Но в это время лейтенант Березин с окровавленной головой приподымается из окопа. Лицо его измазано грязью и залито кровью, глаза злые, зубы стиснуты. Он резко опускает поднятую правую руку. В это мгновение что-то ослепительно сверкнуло, огромные серые клубы дыма, как бы

распирая ложбину, с оглушительным грохотом обволакивают мост... Не видно ни моста, ни танков, ни бойцов, ни лейтенанта Ивана Березина.

...Лейтенант Угрюмов и политрук Георгиев стоят рядом, прислонившись к стене траншеи. Угрюмов подымается на носки, вытягивает шею и спрашивает Георгиева:

— Что вы там видите, товарищ политрук?

— Что? Все прет и прет. Жмут, Петя, жмут, подлецы, пачками падают и снова пачками поднимаются... Вон танки показались.

— Не по мне, не по моему росту вырыли эту проклятую траншею,—с досадой говорит Угрюмов, нагибаясь и подкладывая себе под ноги два пустых патронных ящика. И, взобравшись на них, добавляет: — Со вчерашнего дня их за собой таскаю. Эх, мать моя, и зачем ты меня таким малорослым родила?—с этими словами он становится рядом с Георгиевым.

— Не горюй, Петя, рост — дело наживное. Ты у нас маленький, да удаленький.

— Ха-ха! Вот это здорово! «Рост —дело наживное» — вот так сказанул, а?!

— Я взаправду говорю, Петя, попомни мои слова, — смущенно бормочет Георгиев, поняв, что сказал нечто несуразное, — через годика два ты, по крайней мере, вершка два прибавить должен, ты же еще совсем молодой парень, тебе еще расти да расти...

В это время рой пуль со свистом проносится над головами, и они невольно пригибаются.

— Знаете, товарищ политрук, что я думаю?

— Не знаю. Но ты же командир. Принимай решение.

— Я думаю, что нам надо геройство проявить.

— Как?

— Вот видите: штук двадцать танков прямо на наши окопы прут? У нас у каждого по связке противотанковых гранат. Они очень тяжелые, их дальше пяти-шести метров не бросишь. А мы подождем немного и, как только танки начнут гусеницами лапать наши брустверы, швырнем связки под самое их брюхо. Это

уж наверняка будет, товарищ политрук, ей богу, распотрошим!

— Давай, Петя! Ты справа, а я слева—командовать и пример подавать.

— Давайте, товарищ политрук!..

Танки идут развернутым строем. Бойцы, притаившись в окопах, вставляют крючковатые, толщиной в папиросную гильзу взрыватели в гранаты. Вот первый танк с лязгом гусениц подполз к траншее — боец поднялся и бросил связку гранат. Сверкнул взрыв под танком, танк перекатился через траншею, завертелся, остановился и запылал...

И так за несколько минут — двадцать костров над траншеями. С флангов строчат и строчат наши пулеметы, прижимая к земле немецкую пехоту, шедшую за танками.

На дне траншеи с запрокинутой головой, с детской улыбкой на лице лежит Петр Угрюмов—простой русский парень...

...Лейтенант Исламкулов, возвращаясь из штаба полка, по пути задержался в пищеблоке батальона, что стоит в лесу. Он сидит на ящике из-под продуктов и из котелка, принесенного поваром, ест щи.

— Товарищ лейтенант! Немцы за поляной,— докладывает подбежавший боец.

— В ружье!—дает команду Исламкулов, отодвигая котелок. И когда бойцы разобрали винтовки, он выстраивает их и ведет к опушке леса. Действительно, с противоположной опушки к полянке идут немецкие цепи в маскировочных халатах. Исламкулов расставляет людей в пяти-шести метрах друг от друга за толстыми стволами деревьев, а сам становится в центре, прислонившись к стволу ели, окруженному густой молодой порослью—кустарником. Когда немцы подходят к средине поляны, он командует:

— Огонь!

По этой команде грянул залп двадцати винтовок.

— Огонь!

Снова и снова залп...

Просочившиеся в тыл автоматчики противника

частью уничтожены, частью рассеяны по лесу—внезапный удар с тыла предотвращен.

...Впереди — лента железнодорожной насыпи. Она правильной дугой возвышается над горизонтом. Торчат несколько домов из красного кирпича с черепичными крышами. По сторонам этих домов вытянули свои шеи полосатые журавли шлагбаумов. У подъезда к железнодорожному полотну на столбиках висит прямоугольный метровый жестяной лист: «Берегись поезда», изрешеченный пулями и осколками.

Это разъезд Дубосеково.

Траншеи, стрелковые ячейки запорошены снегом. В ячейках — бойцы в полушубках. Они, опираясь на винтовки на бруствер окопа, прицеливаются, стреляют, перезаряжая винтовки, дыханием согревают пальцы, обожженные холодным металлом, и снова прицеливаются и снова нажимают на спуск. Выстрел, выстрел... Сзади раздается гул орудийных залпов. Впереди вздымаются фонтаны взрывов в самой гуще немецкой цепи. Кто-то падает и больше не встает, кто-то бежит назад; в воздух летят каски, летят рукава, сапоги, штанины, нелепые полы шинелей.. Несколько танков, идущих впереди пехоты, завертевшись волчком, обволакиваемые густым черным дымом, неподвижно застывают на месте.

— Вот это здорово!—восклицает молодой, высокий брюнет с тремя кубиками на петлицах. Он в расстегнутом полушубке, ушанка съехала назад, черные курчавые волосы развеваются на ветру, бинокль на тонких ремешках болтается на груди. «Молодцы наши артиллеристы! Молодцы!»—кричит он.—«Прямо, как пить дать, накрыли подлецов-фашистов!» Он хлопает по плечу бойца, дергает его за воротник и радостно говорит ему:

— Видал, как наша работает, а? И ты, братец, тоже не зевай! Видишь, как наша берет, а?!..

Это политрук четвертой роты Василий Клочков. Он под сильным огнем противника пробрался во взвод, оборонявшийся у Дубосекова.

Их было двадцать восемь.

Вдруг загрохотали, подобно раскатистому протяж-

ному грому, залпы сотен орудий. То со свистом, то с воркующим шелестом полетели снаряды, с воем—мины. У огневых позиций нашей артиллерии забарабанили сотни взрывов. Глухие — от фугасных снарядов — они, выворачивая землю, вздымались густым черным вихрем ввысь; резкие, с треском — осколочные. Сверкнув в воздухе огненно-красной струей, рвались шрапнельные снаряды, со свистом брызгая пулями, оставляя в воздухе кудрявые облачки серого дыма...

Зловеще-жуткая симфония выстрелов, свиста, воя и взрывов канонады, оглушая все и вся, продолжалась минут двадцать. Все обрушивалось на опушку леса, откуда прямой наводкой по танкам вела огонь наша артиллерия. Черный туман все более густел, обволакивая опушку леса.

— Смотрите, товарищи, что делается там!— кричит Клочков.—Смотрите, как он обрушился на наших артиллеристов! Он хочет подавить нашу артиллерию, чтобы очистить путь своим танкам...

Увидев над лесом нелепо крутящиеся в воздухе орудийные колеса и бревна от блиндажа наблюдательного пункта, разбитого крупнокалиберной фугаской, Клочков со злобой, как бы самому себе, говорит:

— Да-а-а! Им пока неплохо удается давить наших. Эх, проклятые!

— Товарищ политрук!—окликает его боец.—Самолеты!

Действительно, на горизонте, как стая стервятников-грифов, тройками, пятерками идут самолеты.

— По местам! Командиры, ко мне!—приказывает Клочков. По его команде бойцы занимают свои места в траншеях. Подбежавшим командирам Клочков кратко чеканит:

— Сейчас он закончит свой артиллерийский налет, начнет бомбить и обстреливать с самолетов, потом пустит танки. Всем приготовить гранаты и горючку. Ни шагу назад!

Самолеты, звено за звеном, пикируют, бомбят, обстреливают. Впереди слышен рев моторов. Развернутым строем, ведя огонь с коротких остановок, идут танки. Сзади раздаются отдельные выстрелы наших

уцелевших орудий. Один снаряд попадает прямо в башню головного танка. Танк, делая зигзаги, продвигается еще на несколько метров и останавливается.

— Оживаете, милые! — радостно кричит Клочков, оборачиваясь назад...

Затем еще несколько метких выстрелов. Но танков много, они идут, идут...

— Выходит, жидковато стало у нас с артиллерией,—пробурчал с досадой Клочков. Затем, поправив съехавшую ушанку, кричит:—Ребята! Приготовьте гранаты! На каждого из нас приходится по два. — Политрук идет по траншее, и, подойдя к бойцу, повторяет: — На каждого — по два. Это уже не так много. Только ты подпусти его поближе.

— Ничего, товарищ политрук,—отвечает боец с напряженной улыбкой,—одного вот этой связкой, а другого горючкой постараюсь.

— Так и будет!—крепко жмет ему руку Клочков...

Разгорелся неравный бой пехоты с танками. Пока танки ползут в восьмидесяти-ста метрах от траншеи, бойцы ведут огонь по смотровым щелям. Несколько танков останавливаются. Видимо, брызгами шлепающихся о броню пуль поражен водитель или наводчик. Другие, скрежеща гусеницами, идут прямо к траншеям. Кажется, уже вот-вот перекатятся через траншею, и вдруг несколько одновременных взрывов под танками, и у самого бруствера задымили, потом запылали передние танки. Но вот одному танку удается перекатиться через траншею, подмяв под себя бойца, но его сосед, выскочив из траншеи, метнул вдогонку бутылку с горючей смесью. Танк запылал, а боец, сраженный пулей, пошатнулся и упал в траншею...

Клочков грузно прислонился к стенке окопа и на мгновение опустил голову.

— Товарищ политрук, вы ранены?—спрашивает с тревогой подбежавший боец.—Идите в медпункт!

— Да, что-то сильно обожгло здесь... Ничего, заживет... Вот еще ползут,—встрепенувшись от сильной боли, бледный, обращается он к бойцам:—Велика Россия, но отступать некуда — за нами Москва!

Прокричав эти слова, он со связкой гранат бросает-

ся на надвигающийся танк. Примеру Клочкова следуют оставшиеся в живых бойцы...

У разъезда Дубосеково на израненном воронками от снарядов и авиационных бомб поле замерли объятые дымом и пламенем вражеские танки...

* * *

Может быть, читатель упрекнет меня в том, что до сих пор я не назвал имени ни одного бойца. Отвечу кратко: не всех героев мы знаем, и не всех мы умеем замечать на поле боя. Безымянных героев всегда больше, чем героев с именами, последние премногим обязаны первым, ибо, что стоили бы их дела и их имена, если бы не самоотверженные подвиги простых людей или, говоря языком устава, верных своему долгу рядовых бойцов, проявивших массовый героизм, без всякой претензии на громкую славу...

Ну, довольно философствовать. Давайте вернемся лучше в Горюны.

IV

Горюны. Это деревушка из двух-трех десятков домов, расположенная по обеим сторонам Волоколамского шоссе. Дома деревянные, одноэтажные, с нехитрыми заборами, надворными постройками — одна из рядовых деревень Подмосковья.

Почему ее назвали Горюнами, не знают и сами горюновцы. Как и во всех деревнях России, первые основатели Горюнов выкорчевывали лес, отвоевывая у цепких корней метр за метром пахотной земли и с каждым годом лес отодвигался на десятки метров. Лес отступил местами на километр, местами — на полкилометра. Одним словом, Горюны теперь образуют центр неправильного эллипса, окруженного густым лесом.

Если, стоя лицом к фронту, смотреть на карту, то Горюны на ней лежат маленьким черным паучком, от которого расходятся во все стороны паутиной тонкие линии дорог.

Главный опорный пункт и штаб нашего батальона здесь, в Горюнах. Рахимов докладывает, что из штаба дивизии сообщили, что нашему батальону из резерва

комдива придаются четыре противотанковых орудия, и спрашивает, где им занять огневые позиции.

— Давайте, товарищ комбат, поставим их на окраине деревни,— советует горячий Бозжанов,— наших два и этих четыре. Вот, если шесть орудий замаскируем как следует под домами или в сараях, ей богу, ни один танк по шоссе не пройдет. Знаете, как встретим шестью выстрелами — от танка только звон пойдет.

Спокойный и выдержанный Рахимов неодобрительно, исподлобья смотрит на Бозжанова, и что-то наносит на карту. Зная, что у Рахимова есть свои предложения, но он, как всегда, соблюдая такт, их не выскажет пока его не спросишь, я жестом руки останавливаю Бозжанова и обращаюсь к Рахимову:

— А как, по-твоему, Хабибулла?

— Тогда разрешите, товарищ комбат,— спокойно начинает Рахимов, пододвигая ко мне свою карту.— Я думаю, товарищ комбат, что как бы мы хорошо ни замаскировали орудия под домами или под сараями, они все равно выдадут себя после первого же выстрела. Достаточно одного прямого попадания немецкого снаряда или бомбы в дом и — отстрелялся расчет.

— А если...— попытался Бозжанов прервать рассуждения Рахимова.

— Жолтай, слушать, когда разговаривают старшие! — оборвал я его.

Бозжанов краснеет, а Рахимов, как бы извиняясь за мой грубый окрик, примирительно говорит ему:

— Когда ты говорил, Джалмухаммед, я же не перебивал тебя.— При этих словах Рахимова лицо Бозжанова делается багровым, и он выдавливает из себя:

— Слушаюсь, товарищ комбат! — и растерянно добавляет.— Разрешите присутствовать?

— Я тебя не гоню. Слушай себе на здоровье.

— Я думаю, товарищ комбат,— продолжает Рахимов,— я думаю, что нам не следует рисковать. Надо поставить орудия не в самой деревне, а на опушке леса, вот здесь...

Далее Рахимов докладывает свои предложения по схеме, расставляя шесть противотанковых орудий на опушке леса, что окружает деревню.


Покровское
Гусеново
Марьинино
Ж.Д. БУДКА
Горюны
151,0
Шишкино
Рождественское
Матренино
Ядрово
УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ:
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
ШОССЕЙНАЯ ДОРОГА
ПРОСЕЛОЧНАЯ ДОРОГА
ПОЗИЦИЯ ПТО С СЕКТОРАМИ ОБСТРЕЛА
ОПУШКА ЛЕСА
ПРОТИВНИК

По его замыслу, отраженному на аккуратно вычерченной схеме, противотанковые орудия предлагалось использовать так.

Объясняя свою схему, Рахимов продолжал:

— Я думаю, товарищ комбат, нам будет выгодней так расставить орудия, чем прятать их в сарае. Во-первых, лес все-таки лес, каждый куст маскирует; во вторых, наши орудия свободно могут маневрировать; в-третьих, наши орудия эшелонированы в глубину по условиям местности; в-четвертых, товарищ комбат, наши орудия взаимно друг друга могут поддерживать и держать под огнем шоссе от выхода из леса до самых Горюнов... Я, товарищ комбат, побывал во всех тех местах, где наметил огневые позиции орудиям; секторы обстрела позволяют им взаимодействовать, как указано в схеме.

— А как на это артиллеристы смотрят?

— Я им говорил свои предложения. Думаю, если вы примете такое решение, они не будут возражать.

Я посмотрел еще раз на рахимовскую схему и сказал:

— Ты меня убедил, Хабибулла. Раз так обдумал, иди сам расставляй и поставь задачу артиллеристам.

— Слушаюсь, товарищ комбат. Разрешите идти?..

Когда ушел Рахимов, Бозжанов смущенно посмотрел на рахимовскую схему.

— Вот как,— сказал я ему.— А ты хотел после первого выстрела похоронить наши орудия в домах и сараях.

— Да, товарищ комбат,— со вздохом ответил он,— выходит так... Умен наш Хабибулла, умен он, товарищ комбат...

— Ты перестань куковать... Кукушка хвалит петуха... Позавчера Курбатову пел ты, мол, «храбрый лев» и напросился на его комплименты: «Вы, товарищ политрук,— барс». Теперь воспеваешь ум Рахимова. Ты что? Думаешь в этом твоя политработа?

— Виноват, товарищ комбат...

— Иди-ка лучше, догони Рахимова и на местности вместе с ним продумайте, как использовать три стан-

ковых пулемета из твоей роты, потом придете и доложите.

* * *

Они оба ушли. Я сидел и мучился за свою грубость к Джалмухаммеду Бозжанову. Особенно меня смутила его спина, когда он, четко повторив приказание, повернулся и уходил. Она казалась мне обиженно согбенной...

«Дурная голова ногам покоя не дает», — вспомнил я народную поговорку и, вспомнив ее, почувствовал, что краснею. «Зачем я привязал к заборам домов роту лейтенанта Танкова? Бойцы уже двое суток, выполняя мой приказ, выворачивают мерзлую землю, как кроты, вырыли окопы под домами и сараями... Одно прямое попадание — и дом или обвалится или загорится», — сказал Рахимов... Ты хотел похоронить наши орудия, — кричал я на Бозжанова, а сам заранее хороню целую роту»... Меня мучили подобные рассуждения...

— Разрешите, товарищ комбат?

Я вздрогнул и очнулся. Передо мной стоял лейтенант Танков. Сергей Танков — среднего роста, стройный шатен с широким лбом, строгими темно-синими глазами, чуть сплюснутым носом и выдвинутым вперед волевым подбородком — пришел в наш батальон недавно, вместо выбывшего из строя командира роты лейтенанта Василия Попова.

При каждой встрече меня всегда смущала его не по-фронтовому интеллигентная аккуратность и не по-военному подчеркнутая вежливость. И он относился ко мне настороженно. Мне казалось, что он меня изучает. Я его про себя называл «столичный лейтенант». С ним я всегда почему-то говорил на ходу и только на «вы». Он не успел утвердиться в семье нашего батальона — между нами еще не было той фронтовой строгой, грубоватой простоты, как с Семеном Краевым, Джалмухаммедом Бозжановым и другими подчиненными и одновременно равными боевыми товарищами-друзьями.

Нас обоих мучили сомнения.

— А, Сергей, это ты? — я растерянно и глупо-фа-

мильярно произнес это «ты». — Что, хотел мне что-нибудь сказать?

Его «доложить» меня окончательно сбило с толку.

— Да, военные не «сказывают», а «докладывают»,— поправил я себя.— Ну что? Докладывай!

Лейтенант Танков, почувствовав мою растерянность, запнулся, но, подавив свое смущение, доложил:

— Бозжанов, товарищ комбат, свои пулеметы в лес потащил, новые позиции выбирает, здесь же пулеметные гнезда вырыты и замаскированы, как вы приказали. Как же, товарищ комбат, нам без пулеметов?..

— Пулеметы будут у вас. И вы пойдете в лес. Я решил деревню не занимать.

— А окопы, что мы вырыли? — вырвалось у Танкова.

— Они вроде запасной позиции будут, на всякий случай...

Я познакомил Танкова со схемой Рахимова и приказал:

— Идите в лес, присмотритесь к местности, наметьте позиции взводам, будем держать подступы к Горюнам под огнем из всех видов оружия.

Танков ушел. Я начал наносить на карту свое окончательное решение.

Вспомнил слова генерала: «Нелегко командиру принимать решения. Никогда не пренебрегайте советами людей...»

* * *

К полудню в Горюны на вороном коне приехал начальник артиллерии нашей дивизии подполковник Виталий Иванович Марков. Низкорослый, с прямым носом, с прищуренными серыми глазами сорокалетний блондин. Слезая с лошади и здороваясь со мной за руку, он сказал:

— Меня к вам послал генерал. Его самого вызвали в штаб армии.

Когда мы вошли в штаб, все офицеры встали, приветствуя подполковника. Марков со всеми поздоровался за руку, потом не спеша разделся, сел и, поглаживая пробор светлых волос у левого виска, сказал не в тоне приказа, а как бы просьбы:

— Вы, ребята, идите погуляйте, мне нужно с комбатом поговорить.

Офицеры и солдаты безмолвно вышли.

Марков развернул свою карту на столе и, разглаживая ее, сказал:

— Трудно приходится, но люди, по совести говоря, дерутся хорошо. Уже вторые сутки держим противника. Много потеряли людей и техники, но пока держимся. Сегодня наша авиация неплохо работала, и это нам очень помогло...

Далее Марков по карте подробно сориентировал меня в обстановке, показал, на каких рубежах какой полк ведет бои, где и когда вклинился в нашу оборону противник. На его рабочей карте, которую он вел с артиллерийской педантичностью, линия фронта располагалась глубокими зигзагами, напоминая русло извилистой реки.

Он с тревогой говорил о том, что к исходу дня противник может ввести в бой свои вторые эшелоны, которые, видимо, приведены в порядок после того, как наша авиация днем накрыла их на исходном положении несколькими полквылетами. Марков опасался, выдержат ли наши до вечера. Говорил, что генерал поехал к командующему просить подмогу или разрешения отвести полки под покровом ночи на следующий рубеж...

Предупредив меня, что все сказанное — строго между нами, он приказал доложить ему мое решение. Я доложил по карте.

— Пойдемте посмотрим, как все это выглядит на местности! — приказал подполковник. Мы пошли...

Вернувшись в штаб, Марков аккуратно нанес на свою карту положение батальона, огневые позиции и, сворачивая карту, сказал:

— В основном полагаю, что вы приняли правильное решение. Думаю, генерал одобрит его. Я ему доложу. Только у вас не продумано, как вы будете пропускать войска через боевые порядки, если наши сегодня начнут отход. Давайте вместе обдумаем.

Мы с подполковником исчертили несколько листов бумаги, обдумывая ряд возможных вариантов.

Прощаясь со мной, он сказал:

— Ну, остается пожелать вам, как говорится, ни пуха, ни пера. Желаю удачи. То, что с вами обговорили, подробно доложу генералу.

Я его поблагодарил за советы.

* * *

Как рокот морского прибоя при сильном шторме, издали доносились непрекращающиеся грозные раскаты боев. Над Горюнами шли эскадрилья за эскадрильей наши штурмовики. Шли низко, почти прижимаясь к лесу. Выше их, словно буревестники, носились в небе наши маленькие истребители, прикрывая боевые действия штурмовиков. Мы с нескрываемой радостью смотрели в небо, от души приветствуя наших воздушных бойцов...

— Ну и достанется теперь немчуре, товарищ комбат,—как ребенок припрыгивая от радости, сказал Бозжанов.— Смотрите, пикирует, а отсюда еще идут, еще...

Меня вызвали к телефону.

— Товарищ Момыш-улы?

— Я вас слушаю, товарищ генерал.

— Где так долго были?

— Обходил позиции, товарищ генерал. Надо было кое-что уточнить.

— Хорошо, уточняйте. Я только что вернулся от хозяина. Он нам обещал кое-чем помочь, пока он помогает птицами...

— Да, товарищ генерал, они пролетают над нами,— перебил я генерала.

— Хорошо, что вы видите их. Вот мне Виталий Иванович все о вас рассказывает. Я согласен с вами, но почему вы только на юг все сосредоточили? А если он вас обойдет и пожалует к вам с севера, со стороны Покровского, что тогда будете делать? Тыл-то у вас совсем голенький выходит.

— Тянул, тянул, товарищ генерал, но никак не растягивается.

— Ишь вы какой! — послышался хрипловатый тихий смех в микрофон,— говорите «не растягивается»?..

— Да, товарищ генерал.

— Вот что: вы не тяните, оставьте все так, как у

вас расставлено, но готовьте запасные позиции и по другую сторону Горюнов.

— Есть, товарищ генерал, сейчас пойду...

— Нет, вы сами не ходите. Вы мне будете нужны. Растолкуйте и пошлите людей, сами никуда не ходите. К вам скоро красавица в гости приедет, примите ее как хороший хозяин.

— Какая красавица, тов...

— Хе-хе,— рассмеялся генерал.— Когда приедет, увидите. Как только она приедет, позвоните ко мне.

Я вызвал Рахимова, Бозжанова, Танкова. Иллюстрируя схемой, высказал им свои соображения. Если раньше наш огневой щит изо всех видов оружия был направлен на юг, в сторону Ядрова, откуда ждем противника, то теперь он должен быть готовым в нужный момент направиться на север, на Покровское, на случай, если противник ударит с тыла...

Когда я высказал товарищам свое недоумение по поводу приезда к нам какой-то красавицы, которую генерал приказал мне хорошо встретить, неожиданно для всех Танков расхохотался. Мы трое на него смотрели, как на сумасшедшего. Я хотел было на него прикрикнуть, но он смеялся так непосредственно, что я невольно сдержался. Его ранее строгие глаза теперь искрились, лицо преобразилось в юношеском задоре.

— Да это же, товарищ комбат, «Катюша»! — сказал он сквозь смех.

— Какая «Катюша»?— строго спросил Рахимов.

— Это новый миномет с реактивными снарядами— «РС». Почему-то его прозвали «Катюшей».

Когда Танков рассказал нам подробно об этом новом, ранее нам не известном миномете, мы тоже смеялись над моей наивностью. Они все трое, весело смеясь, ушли, а я остался ждать приезда «красавицы».

* * *

Вошел высокий капитан с квадратной курчавой черной бородой. Он был в расстегнутом новом полушубке с белым воротником. На голове кубанка из серого каракуля с бордовым суконным верхом. Обут он был в лохматые черные бурки, отделанные светло-ко-

ричневой кожей. Видимо, я был изумлен резкой контрастностью внешнего облика этого, как говорится, неладно скроенного, но крепко сшитого «цыгана», и не сразу встал. И лишь тогда, когда он недовольным голосом пробасил: «Кто тут командир батальона?»,— вскочил и представился.

Капитан нахмурил густые брови, без приглашения грузно опустился на табурет и в свою очередь как бы нехотя представился:

— Командир дивизиона гвардейских минометов капитан Кирсанов.

«Значит, не так его встретил»,— промелькнуло у меня и, чтобы выйти из этого положения, я спросил его:

— Как ваше имя, отчество, товарищ капитан?

— Я вам, кажется, ясно сказал, что я капитан Кирсанов,— рявкнул он на меня.

— Меня зовут Бауржаном.

— Нечего тут бурлыбуржунчикать,— оборвал он меня. Давайте лучше делом займемся.

— Есть, товарищ капитан. Давайте займемся. Но я должен сначала доложить генералу о вашем прибытии.

— Докладывайте,— небрежно бросил он.

Я по телефону доложил генералу. Когда генерал мне приказал передать трубку «Марии Ивановне», я еле удержался от хохота, передавая трубку бородачу.

— Капитан Кирсанов у телефона, товарищ генерал... Здравствуйте... Порядок, товарищ генерал... Прибыл в ваше распоряжение... В том районе, куда приказано прибыть... Двадцать пять. Пока связи нет, но через час наладим... Есть!.. Есть!.. Понял вас, товарищ генерал... Да, да... Сейчас...— все это он говорил на два тона ниже, чем только что со мной.— Как прикажете... Слушаюсь...

Кирсанов передал трубку мне.

— Товарищ Момыш-улы, с «Марией Ивановной» я буду держать связь через вас. Дайте ему двух командиров. Людей, если можете, накормите. Связь со мной держите в исправности. Все делать только по моей команде. Я отсюда буду махать палочкой...

После того, как я положил трубку, капитан, облокотясь на стол и подаваясь вперед, спросил:

— Ты что, старший лейтенант, у своего генерала вроде личного уполномоченного здесь сидишь?

— А что, товарищ капитан?

— Больно уж он о тебе уважительно говорил.

— Он у нас не грубиян, товарищ капитан.

— Мда-а, ты, вижу, парень из злопамятного десятка.

— Впрочем, я знаю ваше имя, отчество, товарищ капитан,— улыбаясь от удовольствия, что удачно съязвил, сказал я.

— Откуда знаешь?

— Генерал вас величал Марией Ивановной.

Кирсанов раскатисто засмеялся. В это время вошли Рахимов с Бозжановым. Отвечая на их приветствия, Кирсанов сказал улыбаясь:

— Техника наша новая, специальная. Как только нас не кличут: и «Катюшей» и «Марией Ивановной», иные просто «рамой». А меня, коль хочешь знать, зовут Сергеем Ивановичем...

С Сергеем Ивановичем мы решили ряд неотложных дел: одного его наблюдателя отправили с нашим офицером к полковнику Капрову, другого — в район Ядрово, к майору Елину, моему командиру полка. В комнату втащили радиостанцию Кирсанова. Рахимов пошел распорядиться насчет установления телефонной связи между нашим командным пунктом и позицией дивизиона «РС», что стоял в лесу, севернее железнодорожной будки. Наш штаб превратился в узел не только проволочной, но и радиосвязи.

Кирсанов разделся, развернул свою карту, не торопясь из планшета вынул хорда-угломер, транспортир, целлулоидный артиллерийский круг, угольник, циркуль-измеритель, коробку остро отточенных цветных карандашей — все это он расставил на столе по порядку, посмотрел и сказал:

— Кажется, мое рабочее место готово. Теперь можно приступить к подготовке данных для стрельбы, хотя бы по карте. Как ты думаешь,— обратился он ко мне,— по какому району в первую очередь потребует-

ся? У меня всего двадцать пять залпов. Ваш генерал приказал экономить.

Я пододвинулся к его карте, высказал свои соображения и указал ряд участков на переднем крае, где шли бои. Кирсанов внимательно выслушал меня, нанес на карту позицию дивизиона, пометил карандашом те участки, которые я указал, взял в руки угольник, измеритель и, склоняясь над картой, задумчиво сказал:

— А теперь, как говорят хохлы, треба трохи пидриховаты,— и начал производить расчеты.

Бозжанов, стоявший все это время безмолвно в стороне и следивший с явным любопытством за капитаном, незаметно вышел. Он вернулся на цыпочках, держа, к моему удивлению, в одной руке тарелку с закуской, а в другой — бутылку водки. Указывая глазами на сосредоточенного Кирсанова, он подмигивал мне, как бы объясняя: «Нужно попотчевать гостя». Я одобрительно кивнул. Джалмухаммед осторожно поставил тарелку на край стола и с восточным радушием налил полстакана водки.

Кирсанов посмотрел исподлобья и, не отрываясь от работы, сказал:

— Полный!

Бозжанов хитро улыбнулся и налил полный стакан, а бутылку поставил рядом с ним.

Кирсанов отмеривал расстояния на карте, исчертил множество треугольников то транспортиром, по целлулоидным кругом измерял углы, записывал данные на полях карты, снова измерял, снова рассчитывал, проверяя свои записи — он решал множество тригонометрических задач.

Я, как час тому назад Бозжанов, с нескрываемым любопытством следил как сосредоточенно и аккуратно работал капитан, не смея мешать ему. Без ложной скромности скажу, что я — неплохой чертежник и артиллерист—завидовал Кирсанову: как он умеет вдумчиво и красиво работать!

Вдруг раздался зуммер полевого телефона. Я поднял трубку.

— Товарищ Момыш-улы?

— Слушаю вас, товарищ генерал.

— Как у вас там, с «Марией Ивановной» все улажено? Как со связью?

— Готово, товарищ генерал...

— Летуны сообщили, что на станции скопление войск, видимо, это его второй эшелон по Капрову стукнуть собирается, дайте туда для начала два залпа.

Кирсанов, быстро проверив свои расчеты, взял трубку другого телефона.

— Огневая, цель номер... угломер... уровень... прицел... пока пристрелочный. Готовность доложить!

Затем он подошел к радиостанции, надел наушник и, держа в руке микрофон, начал:

— «Буря», я — «Молния». Прием!.. Цель номер... пристрелочные. Прием!.. Хорошо... Следите... Доложите... я на приеме.

Отдав наушник и микрофон радисту, он сел на табурет и спросил телефониста:

— Огневая готова?

— Цель номер... угломер... уровень... прицел... готово!— повторил доклад огневой телефонист.

— Огонь!— приказал Кирсанов.

— Огонь! — повторил телефонист.

— Выстрел,— передал телефонист.

— Вправо ноль-ноль... ближе...— сказал радист.

Кирсанов быстро произвел корректуру своих расчетов и, обращаясь к телефонисту, сказал:

— Левее ноль-ноль... уровень... прицел...

Телефонист повторял команду капитана в микрофон.

— Готово!

— Огонь!

— Выстрел!

— В цель!— радостно кричит радист.

— Веер!— командует Кирсанов.

— Веер!— передает телефонист...

— Два залпа дивизионом — огонь!..

До нас доносятся один за другим два раскатистых грома.

— В цель!— передает радист доклад наблюдателя.

— Огонь!— повторяет Кирсанов.

Опять раздается два громовых залпа.

— В цель!— говорит радист.

— Товарищ капитан, ведь генерал приказывал два залпа, а вы четыре дали,— взволнованно говорю я.

— Да, малость ошибку дал,— отвечает Кирсанов и, как бы обозлившись на себя, орет телефонисту:—Стой! Цель номер... Записать установки!— тот передает эту команду на огневую.

— Знаешь что?— виновато обращается ко мне Сергей Иванович,— если генерал сам не догадается, ты не говори ему, что дали четыре залпа. Он же приказывал мне экономить...

— Как говорится, товарищ капитан, «кашу маслом не испортишь», раз в цель — значит на головы фашистов...

— Ай-да молодец ты!— вскакивает он и со всей силой хлопает меня по плечу. Я чуть не приземлился, а он хохочет.— С тобой, я вижу, можно работать... Как тебя зовут-то? Что-то я не запомнил.

— Это неважно, товарищ капитан.

— Нет, ты мне скажи. Я же тебе сказал.

— Ба-ур-джан,— произнес я по слогам.

Капитан повторил мое имя и хлопнул меня по другому плечу. И опять я чуть не присел от его сильного удара.

Меня вызвал к телефону генерал и сказал:

— Летуны сообщают, «Мария Ивановна» удачно угодила по немчуре и наделала там переполоха. Пока не успели опомниться, повторите еще разок.

Пока я разговаривал с генералом, капитан, подобно провинившемуся шалуну, подмигивал мне, как бы напоминая о своей просьбе умолчать о тех двух залпах, данных в артиллерийском азарте.

Я передал ему приказание генерала. Он, серьезно задумавшись, спросил:

— А как же быть с теми двумя залпами, что мы дали без приказа генерала?

— Ничего, товарищ капитан. Раз такое удачное попадание, уж не будем экономить немцев. Раз приказано повторить — надо повторять.

— А, что если генерал записывает все залпы?— спросил он с тревогой.

— Ну что же, тогда признаемся, что вместо двух дали четыре.

— Огонь!— скомандовал он...

— В цель!— доложил радист...

От генерала не было звонка в течение полутора часов. В ожидании каждую минуту звонка мы с капитаном просидели все это время в напряженном молчании. Вдруг раздался зуммер. Телефонист протянул мне трубку. Генерал говорил, что Елин оставил Ядрово, а из Возмища вытягивается колонна, и приказал дать по обоим этим пунктам по два залпа дивизиона.

Опять расчеты, команды, доклады, пристрелки, как это было по станции, и наконец — повелительное «огонь»!

Радист растерянно хлопает глазами и робко произносит: «Недолет». Капитан вскакивает с места и с яростью обрушивается на радиста:

— Что-о-о? Что ты сказал?!

Бедный юноша виновато пятится назад. Резко повернувшись к телефонисту, капитан вырывает у него трубку и кричит во все горло:

— Огневая!.. Немедленно старшего на позиции!

Видимо, услышав голос старшего офицера, он багровеет, большие черные глаза наливаются кровью и в бешеном безрассудстве, захлебываясь, он выпаливает поток брани.

— Почему недолет?.. Доложить установки!.. Балда!.. И какой только дурак выпустил тебя из артиллерийского училища?! Уровень-то не тот... Идиот!.. Ты еще оправдываешься?.. Эх, жаль, что ты не при мне... — а сам вцепился правой рукой в гущу своих курчавых волос. Мне казалось, что он вот-вот вырвет их вместе с кожей. Я подумал: «Этот человек в гневе может растерзать льва». Подойдя к нему, сказал:

— Товарищ капитан, когда же будет огонь?

— Он, как бы опомнившись, сочно выругался и продолжал в микрофон:

— Поправьте уровень! Огонь!— и, швырнув трубку, которую успел на лету поймать телефонист, он сел на табурет, обеими руками вцепился в свои волосы и в

лихорадке все еще не угасшего гнева процедил сквозь стиснутые зубы:

— Из-за таких вот недоучек сотни снарядов в белый свет пустить! Э-э-эх! — стукнул он своим кулачищем по столу.— Я те еще покажу! — продолжал капитан дрожащим от спазм голосом. Мне казалось, вот-вот он разрыдается.

— В цель!— бодро крикнул радист.

— Что-о?— недоуменно поворачивает капитан к радисту голову мельника-ворона из «Русалки».

— В цель, товарищ капитан!— повторил радист.

— Огонь! Огонь! Огонь!

Загрохотал залп за залпом.

Капитан, захваченный ритмом залпов, словно дирижер, отбивает кулаком по столу.

— В цель! В цель! В цель! — слышен голос радиста.

— Передать на огневую: трижды подлецы, трижды молодцы! Стой! Записать установки!..

Капитан, весь обмякший, грузным мешком опустился на табурет.

— Ну, что вы, товарищ капитан, стоит ли так сильно переживать один неудачный залп?— пытался я успокоить его...

Последующие залпы дивизиона по заявкам генерала прошли сравнительно удачно, без всяких стычек между капитаном и огневой.

...Небо затянула густая хмара. Пошел снег...

Позвонил Марков.

— Иван Васильевич поехал к Шехтману,— спокойно сказал он,— приказал ждать его сигналов. Пусть Кирсанов готовит расчеты по Строкову и Быкову. Немец свои усилия переносит туда. Хозяин хотел еще помочь ястребами, но, вы сами видите, как пухом сверху сыплется. Ах, какая досада...

Мы ждали сигнала. Капитан потребовал поздний обед. Ему опять прислуживал Бозжанов, которому явно полюбился Кирсанов.

Сергей Иванович обедал очень аппетитно и, насаживая на вилку мясо кусок за куском, со спокойной улыбкой рассказывал анекдоты с грубоватым укра-

инским юмором. Бозжанов неоднократно выходил и возвращался с очередным блюдом.

Я смотрел на этих необыкновенных двух наших людей: один наслаждался едой и балагурил, а другой наслаждался тем, что обслуживал и, видно, как заботливая мать, радовался, что «ее Сережа сегодня был весел и хорошо поел».

Позвонил Марков. Приказал «Огонь!» по Строкову, по Быкову...

...Вечерело. Позвонил генерал.

— Я от Шехтмана говорю. Как у вас там?

— Раза три и нам досталось, товарищ генерал.

— Ничего, пока он по вам вслепую бьет...

— Да, но кое-какие из его шальных задели...

— Как «Мария Ивановна»? Сколько у нее «рублей» осталось?

— Кажется, четыре или шесть.

— Говорите четыре! — крикнул мне Кирсанов,— два мне нужны для самообороны...

— Что там, кто мешает?

— Никто не мешает, товарищ генерал. Просто уточняем. Оказывается, у «Марии Ивановны» не шесть, а четыре «рубля».

— Четыре! Всего четыре?— недовольный повторил генерал.— Елин оставил Рождественское и пошел на Шишкино. Дайте по Рож...— оборвался голос генерала.

— Да, неважны у вас дела,— сказал Кирсанов.— Выходит, отовсюду вас жмут. Не совсем ладно получается. И я, дурак, по своей глупости три залпа без плана бабахнул...

— Давайте по Рождественскому, товарищ капитан...

... Звонил Марков. Он говорил, что генерал сожалеет о том, что между нами оборвалась связь. Он не смог поблагодарить лично Кирсанова и его людей за помощь. Кирсанову разрешается теперь уехать.

Я все это передал Кирсанову.

— Значит, вы здесь остаетесь,— нахмурив брови, сказал он,— генерал-то у вас, видно, человек старой закалки. Сам знаешь, техника у нас новая, пока сек-

ретная. Нам больше здесь нельзя оставаться. Я бы остался с вами и пошел бы в штыки, но приказ, как ты сам понимаешь, есть приказ. Вели всех твоих раненых ко мне нести — хоть их отвезу в госпиталь....

Кирсанов тепло и грубовато-просто попрощался со всеми нами, сел в свою машину и уехал. Бозжанов долго провожал его взглядом и потом произнес немного с грустью:

— Хоть и медведь он, а хорош капитан! Побольше бы таких артиллеристов...

* * *

Когда стемнело, звуки боя несколько утихли. Приехал подполковник Марков. Он сориентировал меня в обстановке к исходу прошедшего дня, разъяснил некоторые детали из оценки обстановки в полосе обороны нашей дивизии. По словам Маркова, соседи нашей дивизии тоже вели ожесточенные бои и благодаря их стойкости противнику не удалось обойти оборону нашей дивизии с флангов. Со второй половины дня командующий основные усилия авиации и артиллерии сосредоточил на полосе обороны дивизии и ввел в бой часть сил из своего резерва. Дальнейшее продвижение вклинившихся в нашу оборону частей противника было приостановлено. Были нанесены удары авиацией и дальнобойной артиллерией по его резервам, и тем самым предотвращен своевременный ввод их в бой для наращивания силы удара в глубину нашей обороны на главном направлении.

Таким образом, общими усилиями, во взаимодействии с соседями, авиацией и артиллерией, прорыв нашей обороны был предотвращен, хотя противнику местами удалось глубоко вклиниться в боевые порядки дивизии.

— Генерал считает,— говорил Марков,— исходя из оценки обстановки, что противник за два дня втянул в бой почти все свои силы и средства, и полагает, что без соответствующей перегруппировки он, по крайней мере, сегодня ночью, каких-либо серьезных действий не предпримет. Генерал Панфилов решил воспользо-

ваться этим, вывести за ночь полки из боя и к утру занять новый рубеж. Если командующий утвердит это решение, то полки немедленно начнут отход,— заключил Марков.

Далее он приказал мне установить связь с полковником Капровым, быть в боевой готовности, выставить вперед надежных людей, которые организованно и по безопасным местам провели бы отходящие группы через наши боевые порядки, а сам уехал на правый фланг дивизии к подполковнику Шехтману.

Оставшись один, я старался вновь понять то, что мне рассказал Марков, предупредив меня своим непременным «строго между нами», так как мне ранее ни разу не приходилось размышлять в таком масштабе, как это делал Марков, а всегда я ограничивался задачами и делами своего батальона.

Признаюсь, единственное, что я тогда понял из всей этой сложной обстановки — это то, что всем приходится трудно, включая и командующего. Полки собираются отводить не от хорошей жизни. Если уж один из первых помощников генерала подполковник Марков за день дважды приезжал ко мне,—значит на нас возлагается ответственная боевая задача...

Вдруг меня охватило чувство тревоги, я бы сказал, даже страха. В растерянности, как бы в оправдание, я вспомнил Дюма: «Как бы ни были люди закалены в тревогах, как бы ни были они готовы встретить грозящую опасность, они всегда чувствуют по ускоренному биению сердца и по легкой дрожи, какая огромная разница между воображением и действительностью, между замыслом и выполнением».

Мне мерещилось, что из полутемного угла высовывается голова генерала в ушанке, и он сердито и насмешливо смотрит на меня, как бы говоря: «А я-то вам доверял...» Вздрогнув, я подумал: «Так можно еще до боя сойти с ума!...»

Я вызвал командиров и отдал все необходимые распоряжения. Бозжанов поехал к Краеву, Рахимов — к Филимонову. Танков пошел выполнять задания в районе Горюнов. Я снова остался один в штабе среди дежурных связистов.

* * *

В сопровождении адъютанта вошел полковник Капров. На нем был испачканный грязью полушубок, один валенок был в двух местах прорван осколками, из одной более крупной дыры виднелся край белой портянки.

Он, и без того худой, еще больше осунулся и оброс. Когда я, приветствуя его, предложил ему табурет, он, качаясь, пошел в угол и сел на пол, расстегнув пояс, крючки и, сказав: «Прямо ноги не держат», со вздохом повалился на спину. Связист, стоявший рядом, ловко подложил ему под голову свой противогаз.

— Спасибо, брат,— еле слышным от усталости голосом поблагодарил полковник бойца.

— Вы ранены, товарищ полковник?— спросил я его.

— Нет, дорогой, просто чертовски устал,— ответил он. — Минут через пять доложите генералу, что я здесь у вас...

Мой ординарец Николай Синченко принес матрац, подушку, одеяло и, невзирая на протесты полковника, устроил ему постель, подал чаю.

Один за другим приходили запорошенные гарью боев офицеры штаба полка, кратко доложив, получали задания и уходили.

Вошел комиссар полка Ахметжан Мухаммедьяров в испачканном кровью полушубке.

— Что с тобой, Мадьяр?! — с тревогой воскликнул Капров.

— Ничего, Илья Васильевич, гнедого убили, а я под ним минуты три барахтался...

Меня вызвали к телефону. Генерал приказал передать трубку Капрову.

— Я вас слушаю това... Так, как было приказано... Да, да, прикрытие оставили... Тоже минируют... Завалы тоже... Сейчас спрошу Мухаммедьярова...

Закончив разговор с генералом, Капров сказал комиссару:

— Генерал посылает еще шесть машин за ранеными.

— А я у тебя, Бауржан, реквизировал пищу из

трех кухонь для раненых,— дружески сказал Мухаммедьяров.

— Как же они сами-то?— вырвалось у Капрова.

— И хорошо сделали, товарищ комиссар,— ответил я.

Капров развернул свою карту. Показал мне, где им оставлено прикрытие, где минировано, где устраиваются лесные завалы и, подробно ознакомив меня с другими мероприятиями по обеспечению отхода полка, передал приказание генерала принять мне общее командование над подразделениями полка, занятыми прикрытием отхода.

В темноте проходили через Горюны угрюмые ряды бойцов — рота за ротой, батальон за батальоном... Их командиры подходили с докладом к полковнику и, получив короткие указания, отходили, а бойцы те, что шли в строю, услышав голоса полковника и комиссара, казалось, старались держать равнение.

Я молча стоял рядом с Капровым и Мухаммедьяровым и глазами провожал темные силуэты боевых людей...

...Когда я пишу эти строки, мне вспоминаются слова Дениса Давыдова: «...отступление сие названо только славным. А сие прилагательное от частых употреблений обесславилось... Я помню какими глазами мы увидели эту дивизию, подходившую к нам в облаках пыли и дыма, покрытую потом трудов и кровью чести... Каждый штык ее горел лучом бессмертия!»...

* * *

Они ушли, а мы остались. Хаби Рахимов был очень заботливым начальником штаба. У Хаби (так мы его звали в добром настроении вместо Хабибулла) были свои любимцы в батальоне и верные его помощники. Командир взвода связи, радиотехник по образованию, Леонид Степанов — младший лейтенант с задумчивыми темными глазами, чуть вздернутым носом над пухлым юношеским ртом, крепыш, ниже среднего роста. Степанова все знали как самого тактичного и воспитанного человека в батальоне. Он держался и подчинялся с достоинством. Командир хозяйственного взво-

да, младший лейтенант Василий Борисов, бывший заведующий складом потребсоюза, высокий блондин, который следил за распределением солдатского пайка с аптекарской точностью, тоже пользовался у Рахимова доверием. Заметив, что у них с самого начала завязалась неподдельная деловая дружба, я никогда не вмешивался в дела взвода связи и хозяйственного взвода, целиком доверив их своему старшему адъютанту Рахимову...

Степанов и Борисов Рахимова понимали с полуслова и старательно выполняли все его приказания. Кроме своих прямых обязанностей, они выполняли и другие поручения Рахимова. Степанов, например, по его заданию перечерчивал вторые экземпляры схем, подшивал бумаги, склеивал и раздавал топографические карты, руководил оборудованием НП и КП, выполнял ряд других мелких поручений, а Борисов был настоящим завхозом батальона...

Рахимов никогда не оставлял меня одного. Если со мной не было никого, то он часто посылал ко мне или Степанова или Борисова, говоря им: «Пойдите к комбату, может быть, понадобитесь ему».

На этот раз около меня оказался Степанов.

Я вернулся в штаб, по телефону доложил генералу о том, что Капров с основными силами благополучно отбыл из Горюнов. Генерал дал мне ряд указаний и советов, спросил, понял ли я «как следует быть» и закончил так:

— Я вам капровцев переподчиняю лишь на время, пока они выполняют свою работу, а вы их, товарищ Момыш-улы, ни в коем случае не используйте на выполнении своих собственных задач, как это однажды с вами проделал Шехтман. Помните? Давайте по-честному, так и договоримся.

— Как же не помнить, товарищ генерал, помню! Этот случай мне запомнится на всю жизнь.

— Если вы задержите хоть одного бойца, я на вас обижусь всерьез.

— Как только люди сделают свое, как полагается, обязательно всех до одного вышлю к Илье Васильевичу, товарищ генерал...

— Добре, товарищ Момыш-улы, так и быть, значит, мы с вами договорились по-честному? Георгий Федорович к вам еще не приехал?

— Нет пока, а что вы хотели, това...— и опять порыв связи! Я с досадой швыряю телефонную трубку и в ярости обрушиваюсь на Степанова.

— Виноват, товарищ комбат! Видимо, какой-нибудь шальной осколок задел провод, ведь уж минут пять, как снова начался обстрел...

— Марш к Рахимову! Если через пять минут не будет восстановлена связь, я вас обоих на этих рваных проводах повешу!

— Есть, товарищ комбат!

Я в полуобморочном состоянии опускаюсь на табурет. В висках стучит, кружится голова. Вдруг кто-то трогает меня за плечо, я не оборачиваюсь.

— Слушайте, старший лейтенант,—слышу я за спиной грубоватый властный голос.— Так нельзя!

Я оборачиваюсь. Стоит с темным от боевого загара, изборожденным морщинами страдания и бессонных ночей лицом подполковник Курганов. Он впивается в меня воспаленными глазами и еще строже повторяет:

— Так нельзя, товарищ старший лейтенант, командовать! Нельзя давать волю своим нервишкам. Вы эти нервы извольте-ка попридержать, извольте-ка командовать спокойно, а не швыряться трубкой, не угрожать ни в чем неповинным людям виселицей. Надо командовать не гневом, а умом.

Видимо, у меня, стоящего навытяжку перед подполковником, вид был до того глуп, что он смягчился и, улыбаясь, предложил мне сесть.

— Бой требует от командира хладнокровия, иначе он не сможет здраво оценить обстановку и принять правильное решение,— сказал он, обращаясь словно не ко мне, а к кому-то другому, и, как бы между прочим, добавил: — Вы правы, требуя от своих подчиненных обеспечения бесперебойной связи, в этом вы абсолютно правы. Но на войне шальные пули и осколки не только провода задевают, а и человека убивают. Всякое бывает...

— Вас, товарищ подполковник, спрашивал генерал, —перебил я его, еще окончательно не придя в себя.

— И как раз в это время связь прервалась?

— Да, товарищ подполковник. Я хотел спросить генерала, что передать вам.

— Ничего, сейчас восстановят связь, я сам генералу доложу, а вы меня угостите чаем. Чертовски устал.

Я вышел, чтобы дать распоряжение насчет завтрака для подполковника. Когда вернулся, Курганов разговаривал с генералом:

— Да, как будто все идет, как полагается... Нет. Немцы пока не идут... Надо полагать, что он выдохся... Да, по всей вероятности, перегруппировывается, но надо ожидать, что к полудню он пойдет... Боеприпасы на исходе, поэтому я дал команду... Они сейчас в районе Момыш-улы... Занимают огневые позиции... Было бы очень хорошо, если бы подбросили сюда тысячу... Побольше гранат... Марков знает каких... Хорошо, я ему кое-что посоветую... Нет, нет, вмешиваться не стану. Он будет командовать... Приеду, доложу... Мы с ним посоветуемся и наметим участки... Есть, будет сделано.

Когда подполковник кончил разговор и передал трубку дежурному телефонисту, Синченко внес завтрак — консервы с жареной картошкой. Степанов за ним нес чайник и полстакана водки. Подполковник аппетитно вдохнул запах горячей еды, отказался от водки, говоря: «Усталому человеку натощак нельзя пить, хотя перед обедом выпил бы стопочку с удовольствием...» Подполковник Курганов аппетитно позавтракал, выпил четыре стакана чаю с сахаром и, вытирая вспотевший лоб белоснежным платком, поблагодарил Синченко и Степанова за завтрак, затем, обращаясь ко мне, сказал:

— Теперь давайте займемся делом. Генерал приказал кое-чем поделиться с вами и кое о чем посоветоваться. Давайте-ка сюда вашу карту...

Развернув мою карту перед собой, он пробежал ее глазами и, находя некоторые неточности и неряшливо выведенные условные знаки, недовольно хмурил брови. Пробормотав какие-то невнятные звуки, Курганов

взял в тонкие костлявые руки аккуратно отточенные цветные карандаши и начал не спеша исправлять пометки на карте. Потом он, как и Марков, с артиллерийской педантичностью, на память стал наносить на мою карту обстановку в полосе всей дивизии без всяких надписей. Я стоял и следил за его привычно-свободными движениями. Постепенно на карте вырисовывалось графическое повествование о трехдневных напряженных боях частей нашей дивизии с численно превосходящими силами противника.

Отложив карандаши в сторону, подполковник еще раз пробежал глазами по карте и, откинувшись назад, сказал:

— Как будто все, что положено знать вам. Давайте теперь вместе оценим сложившуюся обстановку.

Сказав это, он обвел указательным пальцем линию фронта по нанесенной на карте обстановке.

— В результате упорных боев противнику удалось вклиниться в нашу оборону на участках Н и Г, общей протяженностью в двенадцать километров, на глубину четырех-пяти километров и выйти на рубеж К, Ц, Д, Х, Ж, Ф. Здесь наступление противника было остановлено. За три дня боев немцы ввели в бой свои тактические резервы, но нарастить силу удара им не удалось. Поблизости другие резервы противника пока не отмечены. В таком боевом порядке, как у него сейчас, он не может продолжать наступление. Противник произведет перегруппировку, на что требуется не менее шести-восьми часов, следовательно, он может возобновить свое наступление не раньше двенадцати ноль-ноль. Главный удар следует ожидать в направлении Ядрова, Горюнов, Покровского, а вспомогательные — в направлениях Дубосекова, Высоты 151,0, Марьина, Рождественского, Шишкина, Гусенова...

Подполковник остановился, взял синий карандаш и начертил одну прямую, а по бокам две охватывающие стрелки.

— Полагаю, товарищ старший лейтенант, он так будет наступать,— заключил подполковник и положил карандаш на край стола.

Далее он описал положение наших войск, сказал о

том, что полки дивизии выходят из боя и отводятся к следующему рубежу, что его артиллерийский полк прикрывает отход капровского полка, занимая огневые позиции перекатами, что у него боеприпасы на исходе. Генерал обещал подбросить около тысячи снарядов к огневым позициям. Два дивизиона выведены в район Горюнов и теперь занимают огневые позиции в лесу севернее железнодорожной будки и готовят данные для постановки НЗО и ПЗО по таким-то участкам. Нанеся на карту эти участки, подполковник спросил меня, где еще, по-моему мнению, желательно было бы подготовить данные для постановки НЗО,ПЗО, СО. Я доложил некоторые свои соображения, и он согласился со мной.

— Основное направление главного удара немцев, — продолжал подполковник,— разумеется это шоссе: Ядрово, Горюны, Покровское. Наши саперы в этом направлении устроили ряд заграждений и препятствий, лесные завалы и дороги заминированы, но их надо охранять и прикрывать огнем, иначе противник, наткнувшись на них, преспокойно обезвредит все эти препятствия, разминирует и пойдет. Прикрытие из полка Капрова и мой артиллерийский полк не уйдут отсюда до тех пор, пока противник не подойдет к линии заграждения минных полей. Мы будем работать на вас, а с выходом противника к последней линии заграждения и минных полей я отсалютую ему двумя-тремя залпами и под вашим прикрытием начну отход к основным силам дивизии. Так мне приказано. Генерал приказал мне не вмешиваться в ваши дела, значит, мы с вами на первых порах наступления противника будем только взаимодействовать...

Подполковник, еще кое-что посоветовав мне, ушел к огневым позициям.

Я вызвал Рахимова, Бозжанова, Танкова, Степанова, кратко изложил им обстановку, указал по карте заграждения и минные поля и приказал:

— Степанов, немедленно тяните связь в пункты Н, Т, Л. Бозжанов, вы поезжайте к Филимонову, передайте ему мое приказание—взвод лейтенанта Бурнаевского послать в район Л и занять там позиции для

прикрытия заграждений и минных полей, а вы, Танков, двумя взводами и станковыми пулеметами займите районы Н и Т.

— Что, товарищ комбат, мы оставляем Горюны?— встревоженно спросил Танков.

— Нет, не оставляем. Сначала дадим бой противнику у заграждений и минных полей, а потом снова займем Горюны. Нас поддержат два кургановских дивизиона. Наших три взвода — считайте это рота, капровцев почти две роты — вот вам, можно сказать, целый батальон. Впереди плотные заграждения и минные поля. Думаю, что до вечера можно будет повоевать. Я не принял бы такого решения, а сидел бы и ждал подхода противника к Горюнам, если бы не заручился твердым обещанием подполковника Курганова поддержать нас на первых порах огнем двух дивизионов. Тем более, генерал обещал подбросить около тысячи снарядов.

— Тогда другое дело,—сказал Бозжанов.—Конечно, можно повоевать!

— Ведите людей взводными колоннами от железнодорожной будки по шоссе.

— Но так мы обнаружим себя, товарищ комбат! — вырвалось у Танкова.

— Горбун-разведчик висит в воздухе. Он, конечно, видит наши окопы. Я хочу, чтобы немец знал, что мы здесь. Ведь не прятаться же мы остались!

— Значит...— запнулся Бозжанов и недоуменно пожал плечами.

— Значит,— повторил я,— пусть он знает, что шоссе ему не зеленая улица.

— Дошло, товарищ комбат!— рассмеялся Бозжанов,—ей богу, только теперь дошло до меня. Он пойдет или в обход или долбанет нас сильным кулачищем. Значит, идем на «эх, была не была!» При этих словах глаза Бозжанова вспыхнули юношеским задором. Рахимов посмотрел на Бозжанова неодобрительно, как бы говоря: «Не понимаю, чему ты радуешься».

— Вы, Хаби, летите в Гусеново к генералу и доложите ему мое решение! А вы, товарищи, можете идти и действовать, если нет ко мне вопросов.

Рахимов не мог жить без схем, у него было развито графическое мышление. Все другие командиры ушли выполнять приказание, а он сел чертить схему.

— Зачем вам схема? Берите карту и езжайте.

— Товарищ комбат, разрешите все-таки ваше решение отразить на схеме, хотя бы вчерне,— просил он. —Признаться, до меня не все еще дошло, а я должен уяснить и понять, чтобы толком доложить генералу.

— Чертите, Хаби, уясняйте, коль вам не все еще ясно...

Вошел Синченко и доложил, что лошадь для Рахимова подана. Рахимов доложил мне по схеме все за пять минут.

— Вот так и докладывайте генералу,— сказал я.— Давеча генерал приказал не задерживать капровцев. Когда он одобрит наше решение навязывать бой противнику, прикрываясь заграждениями, доложите ему, что я решил задержать капровцев до наступления темноты.

— Если он прикажет немедленно снять капровцев, что тогда?

— Думаю, что генерал разрешит их оставить до вечера, если он одобрит мое решение.

Хаби, сложив бумаги в планшет, вышел.

Я остался один. Мне вспомнились слова подполковника: «Передовыми отрядами, уничтожая части прикрытия, преодолевая заграждения и минные поля русских, главный удар нанести в направлении Ядрова, Покровского, а вспомогательными ударами в направлении Дубосекова, Марьина, Рождественского, Шишкина, Гусева — обеспечить фланги основной группировки, овладеть рубежом Марьино, Покровское, Гусево... в дальнейшем...» — принимал решение за противника подполковник Курганов. И, выслушав мое решение, он, постукивая пальцами о стол, говорил:

— Если ты не играешь, тобой играют. Первому начать игру и вести ее, навязывая свою волю партнеру,— это на нашем военном языке называется инициативою. Я бы на вашем месте рискнул...

Я уточнил свое решение, а он обещал поддержать наши действия огнем двух дивизионов. Но он так же

честно предупредил меня: «С выходом противника к последней линии заграждения я отсалютую ему двумя-тремя залпами и под вашим прикрытием начну отход...»

Я вспомнил эти слова подполковника и поддался тому чувству, которое охватывает каждого в боевой обстановке, когда ему говорят: «Мы уходим, а вы останетесь». Но, к счастью, в это время вошел Борисов. Он молча немного постоял и робко спросил меня:

— Товарищ комбат! Все уходят, а нам что делать?

— Как это все уходят?

— Танков уводит своих людей, Бозжанов поскакал в Матренино, Рахимов тоже помчался куда-то...

— Пусть уходят, а мы с вами здесь останемся. Здесь останется один взвод Танкова, почти половина взвода связи, медпункт да ваш взвод. Разве это, по-вашему, не войско? А? Это настоящий мощный гарнизон! Да и мы с вами, товарищ Борисов, самое главное начальство в батальоне!

Борисов добродушно улыбнулся и сказал:

— Да вот мне показалось, что вы изменили свое первоначальное решение. Значит, мы...

— Мы отсюда не уйдем, Борисов. И люди наши от нас далеко не уйдут. Власть у меня, питание, одежда, боеприпасы и всякие надобности для всех у нас—куда они пойдут! Они немножко повоюют, разомнутся, а потом все равно сюда придут!..

— Как же людей кормить будем, товарищ комбат? — спросил Борисов, улыбаясь в ответ на шутливый тон моих слов.

— Это уж вы сами решайте со старшинами рот. Чтобы пункт боепитания, медпункт, пищеблок работали как исправная машина. Проверьте сами лично. Да, в первую очередь накормите капровцев. Вызовите их старшин, обеспечьте их всем необходимым.

...Запищал хрипло зуммер полевого телефона.

— Что это вы, товарищ Момыш-улы, в день несколько решений принимаете?

— Не я, товарищ генерал, меняю свои решения, а обстановка. Ведь немец-то не пошел по пятам Капрова. Он рокируется и мы времен...

— Это Георгий Федорович, наверное, натолкнул вас на такое решение?

— Да, товарищ генерал. Он кое-что посоветовал и подсказал мне.

— Если вы с Кургановым гарантируете мне сегодняшний день на этом направлении,— я утверждаю ваше решение.

— Мы отвечаем за свои решения, товарищ генерал.

— Хорошо. Я вам кое-что подброшу и попрошу хозяина помочь летунами, но вы не слишком увлекайтесь!

Слова генерала звучали как упрек. Я нервничал и душевно метался. Меня мучила мысль о том, что я нарушил, возможно, правила воинской этики: «Решение младшего не должно противоречить замыслу старшего»; «Младшие работают на старших в интересах выполнения общей задачи». Мне казалось, что генерал, узнав от Рахимова, что люди пошли на свои места по новому решению, так сказать, пост фактум, вынужден был утвердить мое решение.

«Мы отвечаем за свое решение»,— ответил я генералу...

Я вспомнил слова генерала на одном из совещаний командиров и комиссаров, где он говорил: «Командир несет личную ответственность за вверенное ему войско, поэтому-то ему предоставлено право говорить вместо «полк» «я». Под командирским «я» мы подразумеваем подразделение, часть, соединение под его командованием. Когда войско, люди, совершают что-либо удачное, всегда находятся командиры-грудобои, которые выпячивают свое «я». Я, мол, сделал, а когда постигнет неудача — тут уж, извините, оправдываются, сваливают на своих подчиненных или на соседей. Нет, извольте набраться мужества и при неудачах говорить не «полк оставил», а «я отдал»...

Я находился в плену грустных размышлений. Я был одинок. Мне кого-то не хватало. Но кого именно? Наконец-то я вспомнил и обрадовался: это Федора Дмитриевича Толстунова — старшего политрука, инструктора нашего полка, родом из Токмака, свободно владев-

шего киргизским языком, на котором мы с ним шутили, спорили и ссорились при «посторонних».
Он с первых дней боевых действий пребывал в нашем батальоне и был участником почти всех его боев. Толстунов открыто не вмешивался в дела батальона, как это делал иной политработник, сто раз в день повторяя, что он представитель партии, а скромно бродил по переднему краю, беседовал с людьми и при случае становился рядом с бойцом в окопе и вел огонь по наступающим цепям противника, или иногда по приказу командира шел в контратаку, увлекая группу красноармейцев.

Со мной он был на «ты». Информируя меня о каких-либо неполадках или недоразумениях, он не угрожал, как это делали другие, что доложит комиссару полка, и не требовал «немедленного устранения», а спокойно говорил: «Что бы такое предпринять, чтоб...». «Как ты думаешь, комбат?»—спрашивал он меня и, когда я принимал решение, а горячий Бозжанов выпаливал какую-нибудь реплику, он строго останавливал его словами: «Комбат же приказал! Какой же может быть разговор!? Наше дело исполнять то, что приказано, и доложить!»

Тогда в ботальонах не было комиссаров — Толстунов был нештатным моим комиссаром и боевым другом.

Мне как раз и не хватало его. Где он теперь?..

Вошел Рахимов. Я очень обрадовался, вскочил, чуть не вытянулся перед ним и спросил:

— Ну, что привез, Хаби?

— Генерал же разговаривал с вами, товариш комбат,—ответил он спокойно, раскрывая свой планшет.

— Ну что он вам сказал, Хаби?

— Он ругал вас,— буркнул Рахимов, раскладывая карту на столе.— Говорил, что вы оголили основную позицию и побежали вперед. Подполковник Курганов...

— Разве он там был?

— Он раньше меня приехал туда. Видимо, ему тоже от генерала здорово досталось. При мне генерал ему сказал: «Вы мне, Георгий Федорович, ответите за

участь батальона». Меня от этих слов генерала, товарищ комбат, передернуло, а комиссар дивизии, улыбаясь, говорит генералу: «За участь батальона, Иван Васильевич, мы с вами ответим, а перед нами командир батальона». Я не выдержал, спросил разрешения генерала и сказал: Мы, товарищ генерал, умрем, но выполним задачу, генерал в ответ: «Вы, батенька, не умирайте, а выполняйте задачу с меньшими потерями. Вы понимаете, что такое лишних два дня, лишних два часа для Москвы? Нам еще много предстоит боев и нужно беречь и беречь силу, чтобы выиграть время. Главное маневр: дал огневую пощечину немцу и, пока он опомнится, уходи на следующую позицию...» Потом генерал взял мою карту и схему и приказал доложить. Когда я кончил, по его лицу пробежали смешливые морщинки и он сказал: «М-да, затея, видать, не дурная... Заманчиво... Очень заманчиво. Но как она на деле получится!?» Потом поднял трубку и говорил с вами. Одним словом, товарищ комбат, решение утверждено, и нам его надо выполнять,— закончил свой доклад Рахимов.

* * *

Решение принято и утверждено. Надо его выполнять. А как будет вести себя противник?

...Вдруг раскатисто загрохотал чудовищный барабан, деревянный домишко, в котором мы сидели, заходил ходуном, посыпалась штукатурка, зазвенели стекла, затрещали косяки.

— Что это такое, Хаби?

— Бомбят, товарищ комбат...

Мы вышли на улицу. Гудели немецкие самолеты. Они звеньями шли с запада, против солнца, разворачивались, пикировали. Падали черные грушевидные бомбы, вздымались смерчем взрывы над Горюнами. Вдруг над самым лесом со стороны Шишкина, прорезая воздух, с шелестящим свистом пронеслись одно за другим два звена наших истребителей.

— Вот и наши!— вырвалось у Рахимова.

— Ребята, товарищи! Наши идут, наши идут! — слышались из окопов возгласы наших бойцов.

Истребители, как бы вынырнув из гущи леса, задрав носы, с протяжным воем взвились вверх, описывая дугу, мигом очутились над эскадрильей бомбардировщиков, разворачивающихся под прикрытием косых солнечных лучей, зашли им в хвост и открыли огонь. Бомбардировщики, не доходя до того места, откуда они обычно шли в пике, рассыпались в разные стороны, беспорядочно разбрасывая свой груз бомб над лесом. Наши не отставали от бомбардировщиков, преследуя их, словно ястребы стаю гусей.

Один из неуклюжих немецких бомбардировщиков сначала качнулся с крыла на крыло, потом завилял, заметался и, припадая на левое крыло, пошел вниз. Он рухнул на поляне у железнодоржной будки и взорвался, а остальные, прижимаясь к лесу, преследуемые нашими истребителями, ушли в направлении на Волоколамск...

Не успели мы перевести дух и еще раз взглянуть друг на друга, как снова раздался гул. Мы вскинули головы, ища в небесной голубизне самолеты, вопрошая про себя: «Опять немец, или наш?» Шли наши бомбардировщики. Они шли тройками, шестерками. Шли над Шишкиным, над Горюнами, над Матрениным. Над бомбардировщиками шныряли сопровождающие их истребители. Самолеты развернулись над районом Рождественское, Ядрово, Дубосеково и, отбомбившись, ушли в юго-восточном направлении, а вслед за ними прошмыгнули наши штурмовики, поливая пулями и мелкими бомбами след наших бомбардировщиков.

Мы до того были увлечены наблюдением за бомбежкой и воздушным боем, разыгравшимся над нами, дружными действиями большого числа наших самолетов, что не сразу, как говорится, перевели дух...

— Видно, наши решили авиацией упредить наступление противника,— сказал Рахимов.

* * *

Прошло несколько часов в напряженном ожидании наступления противника.

— Ну, теперь, товарищ старший лейтенант, кажет-

ся, наш черед приближается,— сказал подполковник Курганов, слезая с коня.

Как бы в подтверждение его слов, разразилась громовая канонада артиллерийских залпов. Противник начал артподготовку. Взрывы вздымались впереди в лесу. В воздухе зашуршало, зашелестело, заворковало — на нас неслись вражеские снаряды. Мы едва успели укрыться в узкой траншее. Один за другим три залпа обрушились на Горюны. Забарабанили раскатистые взрывы, качнулись, сверкнув пламенем, черные столбы, земля посыпалась мерзлыми комьями на головы. Дым, пыль, огонь заволокли деревню.

— Да, он, подлец, метко угодил,— сказал Курганов, отряхивая с себя землю, засыпавшую нас после разрыва бабахнувшего рядом снаряда.—Думаю, он ведет огонь пока по площадям, у него наблюдателей впереди нет. Мы оказались под шальными залпами.

«Нечего сказать, «шальные залпы». Если пять раз так продолбят и прятаться некому будет, не то, что дорогу держать»,— промелькнуло у меня в голове. Но вслух я этого не произнес, зная крутой нрав подполковника.

Горели на окраине два сарая и один дом. Когда мы пробирались по улице, обходя воронки, Борисов метался из дома в дом, распоряжаясь тушением пожара.

— Раненых много?— спросил я его.

— Четверо, легко...

— Значит, наши траншейки пригодились?! Как хорошо, что людей из деревни вывели,—сказал Рахимов.

— Я пойду на огневую,— сказал подполковник.— Если наши наблюдатели засекли какую-нибудь батарею противника, прикажу подавить ее.

...Противник шел в атаку. Наши встретили его огнем. Лес наполнился трескотней ружейных выстрелов и пулеметных очередей. Шли немецкие цепи; наши, прижав их огнем к земле, отскакивали к следующим позициям. До роты танков обгоняло залегшую цепь пехоты, на коротких остановках прочесывало лес огнем из пулеметов, иногда давая по несколько выстрелов из пушек. Я злился на себя за то, что не сообра-

зил своевременно поставить хотя бы два противотанковых орудия на прямую наводку, а теперь было уже поздно. Передовые части противника натыкались на наши минные поля и лесные завалы. Два танка подорвались на наших противотанковых минах. Немцы насторожились, но шли, пробивались вперед медленно, упорно. Два дивизиона подполковника Курганова вели огонь по ранее намеченным участкам, когда туда подходил противник. Эти залпы поражали немцев и задерживали их продвижение...

За нами оставалась последняя линия заграждений, за ней поляна, в середине которой расположены Горюны.

Я попросил подполковника Курганова держать дорогу под огнем, а Танкову и Бозжанову приказал немедленно отвести людей к Горюнам и Матренину, не задерживаясь на последней линии заграждений.

У самого выхода из леса были установлены два фугаса — кучей наваленная взрывчатка. Фугасы были обложены заряженными противотанковыми и противопехотными минами, в расчете на детонацию фугаса от этих взрывов, так как другими средствами для взрыва мы не располагали. Набредет ли на мины солдат или еще лучше танк? Сдетонируют ли наши фугасы?

Когда я подъехал к Горюнам, к моему удивлению, на южной окраине деревни на огневых позициях стояли четыре длинноствольных зенитных орудия. Ко мне подошел высокий старший лейтенант и, представившись, доложил, что он прибыл в мое распоряжение до наступления темноты и по указанию Рахимова занял огневую позицию. На мой упрек, почему он занял огневую в самой деревне, старший лейтенант ответил:

— Для стрельбы по воздушным целям нам нужна открытая площадка с круговым сектором обстрела.

— А если самолеты сюда не пожалуют, а танки вот-вот выйдут из леса...

— Мы, товарищ старший лейтенант,— и по танкам можем вести огонь,— прервал он меня,— у нас есть и бронебойные.

Когда я пришел в штаб, там сидели Толстунов и Рахимов. Они пили чай.

— А, Федор Дмитриевич! К шапочному разбору изволили проведать нас? Ну и за это спасибо,— вырвалось у меня.

— Ты вот что, комбат, не подковыривай,— обиделся Толстунов.

— Когда вас нужно, вот так, по горло, вы изволите при комиссаре пребывать, а теперь лакомитесь чаем, а люди кровью обливаются.

— Довольно, комбат! — оборвал меня Толстунов, вскочив с места.— Ты меня этим чаем не упрекай...— он оттолкнул чайник.

— Ну при чем тут мой «арбузик»,— огорчился Рахимов.

— Ну, Хаби, у меня ведь тоже нервы...— и Толстунов опустился на табурет.

Рахимов презрительно посмотрел на меня и вышел.

Я оцепенел... Из соседней комнаты выглянул дежурный телефонист.

— Вас, генерал, товарищ комбат...

— Курганов мне доложил, что вы рокируетесь. Это правда?

— Правда...

— Вы сумеете всех вывести?

— Почти все здесь...

— А успеете занять позицию?

— Успеем. Впереди еще одна линия заграждения, да и Курганов нас хорошо поддерживает...

— Журавли прибыли?..

— Они заняли...

— Толстунов у вас?

— Я с ним только...

— Вы не успели с ним еще поговорить? Он вам кое-что расскажет. Немедленно эвакуируйте раненых. Маш...— связь оборвалась. На этот раз генерал только задавал вопросы и, обрывая меня на полуслове, видимо, очень спешил.

Я вернулся в комнату, где сидел Толстунов и, не зная с чего начать, стоял как вкопанный. Видимо, я выглядел в эту минуту как провинившийся мальчишка.

Толстунов с раскрасневшимися глазами грустно смотрел на меня и, точно извиняясь, произнес:

— Ну и порох же ты, комбат! — И, улыбаясь, протянул мне руки.— Ну, здравствуй, Баурджан.

— Здравствуй, Федя! — у меня задрожал голос, и я смолк. Несправедливо обидел такого товарища — тяжело...

* * *

Толстунов кратко рассказал обстановку. Из его рассказа я понял, что противник переносит свои основные усилия на участок левого соседа нашей дивизии...

Особенно трудно приходилось выводить из боя полк Елина. Противник, вклинившись в боевые порядки полка, напал на командный пункт, командир отбился, начальник штаба был тяжело ранен, управление было дезорганизовано. Полк был расчленен на две части. Комиссар полка Петр Васильевич Логвиненко взял управление в свои руки. Лишь благодаря его решительным действиям удалось организовать заслон в бреши прорыва, потом, под вечер, контратакой прорваться к своим, под покровом темноты собрать людей и навести порядок.

— Люди до того измучились, прямо с ног валились... Шли медленно, как только сделаем привал и присядем, то уж смотри в оба — половина людей тут же засыпает... Ты ведь знаешь Петра Васильевича, характер хлеще твоего. Он сначала нервничал, бранился, угрожал, одним словом, метался как белка в колесе. Потом, видимо, устал, успокоился, образумился, даже начал с нами советоваться, называть нас «хлопцами»... На одной поляне остановились на привал. Комиссар созвал всех командиров и политработников и приказал нам протереть лица снегом три-четыре раза. Когда мы это проделали, он говорит: «Вот так, хлопцы, всегда разгоняйте сон. Я с самого вечера пользуюсь этим «сноразгонсином». Как бы ни ныли ноги, не садитесь, а то заснете. А теперь идите по своим подразделениям и охраняйте их сон; пока мы здесь разговаривали, ведь бойцы-то заснули». Мы с комиссаром прошли вдоль колонны несколько раз. Представить себе не мо-

жешь, какая жуткая картина: люди спали, кто где сел, что-то вроде мертвого муравейника...

Я раньше знал, что голод превращает человека в зверя, но никогда не думал, что сон «мертвит» человека. Ужасающе было зрелище — хоть весь полк голыми руками бери. Люди ни на что не реагировали, усталые, они заснули мертвым сном. Бойцы проспали часа два, кое-кто начал переворачиваться, ежиться, прятать руки в рукава, полами шинели прикрывать колени, прижиматься к рядом лежащему товарищу. «Люди начинают выходить из сонного шока,— говорил комиссар,— теперь будите их...» Лишь к утру вышли в район Шишкина.

Далее Толстунов мне передал приказание генерала: «держаться сегодня и завтра за высоту 151,0 и за Матренино особенно не цепляться. Держать Горюны на шоссе»...

Вошел Рахимов и доложил, что рота Танкова и взвод Бурнаевского прибыли и заняли свои позиции. Спросил, куда поставить капровцев.

— Капровцев пошлите в распоряжение подполковника Курганова, пусть они там отдохнут и на всякий случай прикрывают артиллерийские позиции, на случай если нас немец быстро сомнет. А с наступлением темноты они уйдут вместе с артиллеристами.

— Генерал же приказал их немедленно вернуть! — вмешался Толстунов.

— Пойми же, ей богу, противник так близко, если рота автоматчиков просочится к нам в тыл, она перебьет артиллеристов.

— А, тогда да! — согласился Толстунов.

— Я их сам поведу туда, товарищ комбат,— в знак согласия отозвался Рахимов.

Позвонил Курганов.

— Вы капровцев всерьез переподчиняете мне?

— Да, всерьез, товарищ подполковник. В случае чего с тыла мне более нечем прикрывать ваши огневые позиции.

— Спасибо, дружище. Я вас понимаю, дорогой... Мои наблюдатели чтобы рядом с командирами рот и взводов сидели и докладывали мне их заявки, куда

вести огонь. Пусть не стесняются. Иван Васильевич еще подбросил «огурцов».

Подполковник Курганов был самым строгим, требовательным и властным изо всех командиров полков. Мы, младшие офицеры, его побаивались, но уважали за справедливость. Признаться, для меня были приятны его «спасибо дружище!», «я вас понимаю, дорогой!», и особенно меня обрадовало его «пусть не стесняются»...

— Огурцы! Огурцы прибыли! Огурцы прибыли! — закричал я, отдавая трубку полевого телефона дежурному телефонисту.

Бозжанов и Толстунов смотрели на меня как на помешанного.

— Какие, такие огурцы? Ты что, комбат?

— Иван Васильевич прислал.

— Какой Иван Васильевич?

— Генерал Панфилов подбросил нам снарядов.

— Фу, к бесу тебя, комбат! Я думал, что ты тронулся,—радостно улыбаясь, замахал рукой Толстунов.

— Да, я тронулся, Федор Дмитриевич. Теперь малость поддадим жару немчуре. Знаешь что, теперь я перед Горюнами огневую завесу могу поставить. Пусть попробует сунуться.

— Да, постой же, расскажи толком.

— Толком я раскажу не тебе, а немцам, они скорее поймут, чем ты.

— Ну, опять ты начинаешь,— огорченно развел руками Толстунов.

Бозжанову, стоявшему в недоумении, я приказал:

— Быстро ко мне Танкова, Рахимова, Степанова, Борисова!

Толстунов мало знал лейтенанта Танкова, которого я и сам про себя однажды назвал «столичным лейтенантом». Я кратко рассказал Толстунову о нем и о том, как мы сегодня впервые с ним по-настоящему познакомились на поле боя — в борьбе за полосу заграждения, куда были выброшены и два взвода из роты Танкова. Я рассказал Толстунову, с каким достоинством и выдержкой лейтенант Танков вел себя на поле боя. При этом я употребил выражение: «он культурно вое-

вал», и эти слова рассмешили Федора Дмитриевича.

Пришли Рахимов, Танков, Степанов и скромница Борисов. Бозжанов вошел последним и молча козырнул, как бы говоря: «Вот я их привел».

— Степанов! Немедленно проверьте наличные средства связи и у нас и у артиллеристов. Установить связь со всеми наблюдательными пунктами командиров рот и взводов.

— Слушаюсь, товарищ комбат!

— Идите выполнять!

— Борисов! Сколько у нас повозок?

— Двадцать, товарищ комбат.

— Десять повозок с самыми лучшими конями поверх ящика нагрузить сеном или соломой и держать в готовности, чтобы на них эвакуировать раненых.

— Есть, товарищ комбат.

— Идите.

— Лейтенант Танков!

Танков, как и другие, вытянулся, чтобы выслушать приказ.

— Ваша рота составляет основной костяк горюновского гарнизона. За Горюны вам отвечать в первую очередь. Мы не будем мешать вам, мы уйдем отсюда к железнодорожной будке. Вы будете оборонять Горюны и охранять нас. Мой НП останется на месте. Уйдут отсюда только штаб и узел связи. Ко всем вашим наблюдательным пунктам прибудут артиллерийские наблюдатели. Через нас безо всякого стеснения давайте заявку на артиллерийский огонь подполковнику Курганову. У него хватит снарядов, по крайней мере, до наступления темноты. Противотанковые и зенитные орудия и саперов, что в районе Горюнов, полностью переподчиняю вам. Командуйте ими, как полновластный командир.

— Ясно, товарищ комбат,— задумчиво произнес Танков и, запнувшись, нерешительно добавил: — Только разрешите за советами к вам обращаться.

— Будьте уверены, в советах и в брани, товарищ лейтенант, отказа не будет,— смеясь, за меня ответил Толстунов.

Танков ушел. Бозжанов без разрешения юркнул за

ним в дверь. Заметив это, Толстунов, улыбаясь, сказал:

— Не выдержала душа поэта — пошел первый советник.

В это время Курганов начал бить из всех своих пушек по немцам, а немцы — по Горюнам.

— Что это такое? — встревожился Толстунов.

— Обычная артиллерийская перебранка,— спокойно ответил Рахимов.— Значит, он уже на исходном, ремни подтягивает...

В это время недалеко от нашего дома ударило несколько взрывов. Дом закачался, как при землетрясении, посыпалась штукатурка.

— Видать, не на шутку,— промолвил Толстунов, глядя в потолок.

— Что даст бог,— увидим.

Мы втроем наметили по карте участки НЗО и ПЗО, Рахимов пошел докладывать Курганову наши соображения и просьбу об артиллерийской поддержке. Мы с Толстуновым вышли на улицу. Горело несколько домов. Борисов и горстка бойцов метались из дома в дом, пытаясь потушить пожары.

— Борисов! — крикнул я,— убирайтесь отсюда!

Он остолбенел и, нелепо указывая руками на горящие дома, вопросительно произнес:

— А? — как бы спрашивая и упрекая,— ведь добро... дома горят...

— Пусть горят! Немедленно убирайтесь отсюда! Вон отсюда! Всем марш в лес! — Они повиновались и побежали в лес.

Мы шли на наблюдательный пункт.

— Хорошо, что заблаговременно эвакуировали местное население, а нам-то такая катавасия по штату положена,— сказал Толстунов.

Мы — на наблюдательном пункте, на том холмике, что на краю села. Видимость на триста шестьдесят градусов прекрасная, как говорят, с круговым сектором наблюдения. В стороне от маленького блиндажа в неглубоком окопчике сидит на корточках рослый лейтенант, прильнув к основанию рогатки стереотрубы. У него ушанка съехала на затылок, шинель вся испачкана грязью. Его здоровенному туловищу явно была

тесна эта недоконченная стрелковая ячейка. Рядом с ним на дне усика ячейки лежит, скорчившись, смуглый узкоглазый боец, не то киргиз, не то казах. Он, прижимая трубку полевого телефона к правому уху, повторял слова своего командира. В хаосе звуков боя я слышал лишь обрывки его голоса с явным нерусским акцентом:

— Огневая!... Што... Попрабляй присел... уровен... нол-нол... дбанасат... Што? Окон... Зашем болтаешь, тебя мой передает приказ, я команду даешь лейтенанта Андреep... Ну, што? Выполнай, пожалуста...

Лейтенанта Андреева я знал по боям за Волоколамск. Он и тогда командовал шестой батареей Кургановского артиллерийского полка и дня три огнем поддерживал наш батальон. Он был очень похож во всем на украинца Кирсанова, но, поскольку был моложе меня по воинскому званию, с уважением относился к моим скромным артиллерийским познаниям. Андреев был честным, грамотным и храбрым офицером. Нетрудно догадаться, почему подполковник Курганов послал его на НП: оказывается, он управляет огнем целого дивизиона и из этой тесной для него ямы вершит боевые дела, корректируя огонь дивизиона... Стрельба шла гранатой.

— Андреев! — окликнул я его.— Шрапнель есть на огневой?

Андреев оторвался от окуляра стереотрубы и, удивленный нашим присутствием, нерешительно улыбнулся и ответил:

— Есть, товарищ старший лейтенант.

— Тогда прочесать лес шрапнелью, разогнать всю эту шпану, что скапливается в лесу.

— Есть, товарищ комбат!

Андреев, взяв телефонную трубку, начал командовать:

— Огневая! Стой, записать установки... Шрапнелью! Прицел... Уровень... Трубка... Огонь!

В воздухе, высоко над лесом, возник кудрявый барашек — взрыв шрапнели.

Андреев оттянул прицел, прибавил трубку — шрапнель разорвалась у самой земли.

— Низковато,— пробурчал Толстунов.

Андреев оттянул трубку — у самой вершины высокой сосны вспыхнула пышная дымчатая чалма.

— Опять низко,— с досадой вырвалось у Андреева.

— Нормально! — крикнул я ему.— Так держите!

Андреев, закончив пристрелку, перешел на поражение беглым огнем батареи. Над вершинами деревьев вспыхивали одновременно десятки взрывов, поливая струей свинцового дождя гущу леса. Другие батареи вели огонь гранатой—лес был окутан густым дымом частых взрывов. Вдруг, как бы раздуваемое чьим-то могучим дыханием, вспыхнуло зарево, и следом прокатилось эхо могучего взрыва.

— Что это такое? — спросил Толстунов.

— Наш фугас сработал,— ответил Степанов. Я обернулся — он стоял за мной.

— Вы что здесь делаете, Степанов?

— Связь проверял, товарищ комбат,— как всегда, скромно ответил он.— Штаб перевели в дом у будки. Подполковник и Рахимов с генералом разговаривали.

— А ты видал, что тут делается?

— Как же, я тут минут пятнадцать стою.

Внезапно наши прекратили огонь.

— Андреев, в чем дело?

— Подполковник приказал вести огонь только по заявкам.

— Хорошо...

Передайте наше спасибо подполковнику и всем нашим,— перебил меня Толстунов.

Я отослал Степанова обратно в штаб доложить подполковнику обстановку, а Рахимову передать немедленно выслать вперед разведку. Толстунов ушел к Танкову, сказав: «Ну, комбат, я пойду к ребятам, проверю, как у них там дух и самочувствие».

Впереди в лесу дым начал постепенно рассеиваться. Опушка была почти вырублена и изрыхлена воронками недавнего массированного артиллерийского налета.

Синченко принес два полных котелка перловой кашицы с мясом, полбуханки хлеба и, накрывая на дне траншеи «скатерть» из газеты и разрезая хлеб, спросил:

— А где они?

— Кто это они?

— Да старший политрук и лейтенант Степанов. Я ведь им тоже принес.

— Они ушли. Они там поедят. Один котелок и побольше хлеба отдай связистам, а другой — нам с лейтенантом Андреевым.

— Что вы, товарищ старший лейтенант, обедайте уж сами, а нам скоро принесут,— отказывался Андреев.

— Садитесь, коль приглашают.

— Есть, садиться.— Андреев опустился на землю, стараясь сесть по-восточному, удобно, как сидел я, подобрав ноги. Этот огромный детина неуклюже приспосабливался и так и сяк, но у него ничего не выходило, и Синченко, подавая ему ложку, прыснул, на что Андреев не обиделся, а расхохотавшись, сказал:

— У меня не получается, как у вас, товарищ старший лейтенант. Разрешите мне вот так,— и он грузно опустился на колени.

Я еще раз подумал про себя: если бы у этого великана с широким добрым лицом отнять язык, образование, отпустить ему бороду, постричь под крестьянина прошлого века, одеть в красную рубаху, широкие шаровары и лапти,— он был бы живым тургеневским Герасимом из его известного рассказа «Муму».

— Извините уж, Андреев, что наша «столовая» для вас тесновата, садитесь, как можно удобнее для себя.

Синченко, стоя за широкой спиной Андреева, указывал мимикой на флягу, висевшую на его ремне, как бы спрашивая: «Налить стопочку?» Получив согласие, Николай Митрофанович вынул из кармана граненый стакан, подул в него, вытер концом полотенца и, налив из фляги полстакана, вопросительно посмотрел на меня, как бы спрашивая: «Долить еще?» Я ему вслух ответил Кирсановским: «Полный!» Николай, наполнив стакан, недовольно показывал на дно фляги: мало осталось. Я сделал вид, что не заметил этого жеста.

Когда один сосуд, я никогда не выпивал водку первым. Зная это, Николай поднес стакан Андрееву. Анд-

реев чуть помялся, держа стакан в руке, и предложил его мне.

— Выпейте сначала вы, Андреев, там и для меня осталось.

— С вашего разрешения. За ваше здоровье, товарищ старший лейтенант,— с этими словами он опрокинул стакан и, возвращая его Николаю, громко крякнул и, набрав глубоким вздохом воздух, сказал: «Выпить всяк выпьет, а крякнуть не всякий крякнет». И начал с аппетитом есть.

За нехитрой трапезой Андреев соблюдал известное правило: «Когда я ем — я глух и нем». Николай рассказывал, как и кого ранило во время недавнего артиллерийского налета противника, как им оказывал помощь наш фельдшер старик Киреев. Потом прибыли две машины из медсанбата и увезли всех раненых, одна из них была не санитарная, а обыкновенная грузовая, на которую лейтенант Борисов не разрешил сажать людей, пока не подстелили толстый слой сена.

— А шофер какой-то задиристый попался. В новом комбинезоне, шапка набекрень, где-то надушился, подлец, как все равно, на свадьбу приехал, и требует: давайте, мол, ваших раненых немедленно, некогда ждать! А лейтенант Борисов ему говорит: «Вы подождите. Ведь раненых надо перевязать, собрать их, некоторых нести, даже ходячие не могут примчаться бегом. А тот все на своем и угрожает уехать. Лейтенант ему говорит: «Я вам приказываю», а он: «У меня есть свой командир»... Задира и есть задира. Когда собрался народ, шофер сено не разрешает подстилать. Говорит, это «огнеопасно». А мы ему говорим: «Ты ведь не дрова повезешь, а раненых бойцов». А он: «Мне все равно, что дрова, что люди». Тут лейтенант не выдержал, — как даст ему по уху...

— Борисов ударил шофера? — вырвалось у меня.

— Да, лейтенант Борисов ударил. Такого подлеца, как этот шофер, любой честный человек ударит.

— Я его пристрелил бы на месте, — пробасил Андреев, дожевывая хлеб.

— А он на лейтенанта, — продолжал Николай. — Подумать только, всерьез! Ну, мы с сержантом Кур-

батовым хвать его, скрутили мигом и давай дубасить. А Курбатов-то грузчиком работал, у него сила — будьте любезны. Он таких десять Дальманов зараз может отлупить, как пить дать...

— Как это Дальманов?

— Фамилия этого шофера Дальман, мы у него книжку отобрали...

— Он русский? — спросил Андреев.

— Конечно, русский, товарищ лейтенант.

— Ну, и что же дальше?

— Я то его бил меньше, чем Курбатов. Курбатов его валил наземь, душил, мял, а он, этот Дальман, тоже сильный видать. Вырвался и как даст мне вот сюда, в подбородок, ну я тут кверху копытами...

Андреев раскатисто хохотал до слез.

— Я вижу, ты парень честный.

— Как же, товарищ лейтенант? Что было — было, а как же иначе-то сказать?

— Дальше! — крикнул я на Николая.

— Дальше, он бросился на Курбатова, а тот, недолго думая, раз его головой, по-уйгурски, и одновременно ногами в живот ему. Дальман брык — и потерял сознание. Фельдшер его привел в чувство. Когда он пришел в себя, раненые уже кто сидел, кто лежал в кузове на сене. Лейтенант Борисов взял винтовку у сержанта Курбатова, отдал ему свой «наган», посадил его рядом с шофером и приказал: «Езжайте в этой машине. Этому подлецу доверять нельзя. Если он начнет дурить, — пристрелите на месте. А когда приедете в медсанбат, ведите его к командиру и при нем же доложите обо всем. Сами немедленно возвращайтесь». Потом он повел меня на кухню и отправил сюда к вам,— закончил серьезно свой рассказ Синченко.

От рассказа Синченко я, признаться, опешил. Робкий тихоня, немного инертный Борисов ударил наглеца и Курбатову приказал в случае чего тут же пристрелить Дальмана!

«Кто же такой этот Дальман? Что-то на наших не похож?»

Я сидел в раздумье.

Собирая со «стола», Синченко спросил:

— Ужин сюда принести, или будете ужинать дома? (Синченко называл «домом» командный пункт, где мы собирались в часы затишья).

— Дома. Иди и больше не смей драться.

— А ежели вроде этого...

— Марш отсюда!

Синченко ушел.

— Конечно, товарищ старший лейтенант, нехорошо, когда свои дерутся,— нарушил молчание Андреев. — Но с этим, как его, Дальманом, иначе как быть-то? — спросил он, разводя своими непомерно большими руками.

Я молчал.

— А наш подполковник сегодня раскошелился,— снова нарушил он молчание. — Что-то на него не похоже. Он нас, бывало, за каждый лишний снаряд гонял, а тут расщедрился. Ох и строгий же он у нас, главное, дело знает. От него ничего не утаишь, все на контроле, на учете держит...

И вдруг снова застонала земля. На нас обрушился мощный артиллерийский налет противника. Мы с Андреевым встали. Кругом грохотало, вздымались огненно-черные фонтаны. Пронзительный вой, шелестящий свист, резкий, раскатистый грохот глухих, тяжелых взрывов. Неподалеку от нас со скрежетом ухнул тяжелый снаряд. Раздался треск, в воздух полетела одна из наших зениток вместе со всем расчетом.

— Прямое попадание, — побледнев выдавил из себя Андреев. — Фугасный, замедленного действия.

Немецкая артиллерия била без умолку минут пятнадцать-двадцать. Над Горюнами выросло огромное облако зловещего черного дыма и пыли. На горизонте появились самолеты, и началась бомбежка. Вокруг нашего наблюдательного пункта заквакало несколько разрывов мелких бомб. Мы присели на дно траншеи. Впереди взвились красные ракеты. Взрывы удалялись, раздавались уже за нами.

— Значит, он переносит огонь в глубину, — заметил Андреев и, все еще бледный, добавил: — Как бы, проклятый, не угодил по нашим огневым. — Когда

отдаленные взрывы, как бы захлебываясь, зачастили, Андреев сел на пол и упавшим голосом сказал: — Перешел на поражение, значит, засек. Расколошматит, проклятый...

Тревога Андреева была до того разительна, что я обернулся назад. За Горюнами, как говорится, дым стоял столбом.

— Андреев! Встаньте и посмотрите, что впереди делается, — приказал я ему, не отрывая глаз от дымящихся Горюнов. Из дыма выскакивали бойцы и бросались бегом от укрытия к укрытию. Видимо, это бежали с приказаниями связные. А иные шли ускоренными шагами, внезапно останавливались, камнем падали и, повозившись над чем-то, снова вставали и шли, не отрывая глаз от земли, как следопыты. Это связисты восстанавливали связь.

— Идут! — воскликнул Андреев

Я обернулся. По снежному полю черными жуками ползли немецкие танки, а за ними из опушки леса выходила цепь пехоты. Немцы пошли в атаку.

— Огневая! Немедленно «лев» и «тигр»!

— Огневая! Огневая! Немедленно «лев» и «тигр»!

— Огневая! Огневая! — кричал в трубку полевого телефона Андреев. Огневая не отвечала.

Танки шли медленно, ведя огонь с коротких остановок, видимо, им было приказано не отрываться от пехоты. Наши молчали.

— Эх! — выругался Андреев, — именно когда нужно — нет связи.

— Да именно, когда нужно, — повторил я и растерянный смотрел на идущих в атаку немцев. В голове у меня промелькнуло: «Что же я сижу в этой яме?» Признаться, хотелось вскочить и побежать назад. Меня потянуло назад, и я обернулся. На окраину Горюнов выскочил всадник и на полном галопе осадил коня, а следовавший за ним всадник полетел с коня. Быстро вскочил и побежал за своим конем. Конь первого всадника дал «свечу», поплясал на месте. Всадник круто повернул и поскакал назад. Это был подполковник Курганов — артиллерист времен гражданской

войны, сотни раз лихо выезжавший во главе батареи на открытую огневую позицию на глазах противника.

Заговорили наши противотанковые орудия, поставленные на прямую наводку на опушке леса по обеим сторонам Горюнов. Я очень жалел, что утвердил решение командира зенитной батареи занять позиции на открытой площадке ради возможности кругового обстрела. Зенитки, занявшие позиции на окраине села без всякой маскировки, были растерзаны авиацией и артиллерией противника. Одно уцелевшее зенитное орудие, сменив позицию, включилось в противотанковую оборону.

... Танк за танком вертелись от метких попаданий!.. Четыре танка уже дымились на поле боя. А мимо них шли новые. Заговорили наши станковые и ручные пулеметы. Немецкая пехота залегла. Завязался ближний бой.

... Зарычали наши «лев» и «тигр» — подвижной заградительный огонь по ранее намеченным участкам — по опушке леса на обеих сторонах шоссе. Огонь, правда, был жиденький, и позади немцев словно чья-то невидимая рука оттягивала и оттягивала разрывы все ближе к перебегающей за танками немецкой пехоте. Когда несколько огненно-черных столбов поднялось в середине боевого порядка немцев, огонь нашей артиллерии участился. Черные фонтаны вздымались в расположении немцев. Короткие, с треском, раскаты взрывов следовали один за другим, казалось, что поле дышало огнем и пылью, а земля стонала от ударов тяжелых молотов.

— Здорово накрыли! Видно, сам подполковник где-то недалече отсюда управляет огнем,— сказал Андреев.

— А нас с вами он, наверное, в расход списал...

— Может быть, — грустно ответил Андреев. — Может быть, коль связи так долго нет.

— А вот мы с вами живехоньки и здоровеньки сидим в этой яме и созерцаем.

— Ну что ж, товарищ старший лейтенант, не огорчайтесь, ведь мы с вами восстановления связи ждем, а потом — не из пистолета же по танкам стрелять?

Запищал зуммер полевого телефона.
Я обрадованно бросился к телефону.
— Товарищ комбат? Вы живы? — спрашивал взволнованно Степанов.— Лейтенанту Танкову...
— Товарищ старший лейтенант,— пробасил Андреев.— Немцы, кажись, оглобли поворачивают.
Я, передав трубку телефонисту, поднялся с места. Действительно, немцы начали отход: несколько танков и самоходных установок (видимо, вновь подошедших) стояли на опушке леса и вели огонь, прикрывая отход пехоты и танков...
— Товарищ комбат, разрешите контратаковать,— просил Танков.
— Ни в коем случае...
— Ведь немцы-то побежали, товарищ комбат.
— Ни в коем случае не трогаться с места! Только огнем и огнем им в спину...
Когда я пришел на наблюдательный пункт Танкова, там были Толстунов, несколько артиллерийских офицеров, связисты. В соседней траншее находились Бозжанов и Степанов, ютились бойцы-связисты. Наблюдательный пункт Танкова был позади нашего батальонного. Видно было, что в часы самых жарких боев именно здесь был пункт управления боем.
Моим приходом все почему-то были смущены. Танков с перевязанной головой выскочил из траншеи и вытянулся передо мной:
— Товарищ комбат, вверенная мне рота...
— Вверенная вам рота, лейтенант Танков,— перебил я,— во взаимодействии с артиллеристами и пулеметчиками отбила атаку немцев. Можете дальше не докладывать.
— Есть, не докладывать,— отчеканил Танков, не скрывая улыбки.
— А мы думали, ты нас будешь ругать,— рассмеялся Толстунов.
Когда мы с Танковым направились в траншею, просвистел рой пуль. Мы живо спрыгнули в окоп. Танков грузно свалился на руки Толстунову и застонал. Пытаясь встать, он отстранял руки Толстунова, бережно поддерживающего его, но встать не смог.

— Положите меня на пол, товарищ старший политрук,— слабым голосом попросил лейтенант.— Кажется, ранило серьезно.

Когда санитары положили лейтенанта на носилки, он не стонал. Я подошел к нему и взял за руку. Рука была холодная. Пожимая эту холодную, внезапно ослабевшую руку, я сказал:

— Спасибо, Сергей, за службу.

Танков с трудом улыбнулся и тихо произнес:

— Как жаль, товарищ комбат, что лейтенант Сергей Танков мало воевал. Он смертельно ранен...

Сказав так о самом себе в третьем лице, он посмотрел на Толстунова, на меня и отпустил мою руку...

Потеря лейтенанта Танкова потрясла нас всех. Толстунов низко опустил голову. Степанов растерянно поглядывал из стороны в сторону. Бозжанов сидел на дне траншеи и ковырял землю острием самодельного складного ножа. Мне тоже было очень грустно сознавать, что так нелепо потерял такого командира, как лейтенант Сергей Танков, с которым мы только что начали друг друга понимать.

— Ну, довольно горевать, комбат,— прервал мои размышления Толстунов.— В бою всех не убережешь. Пули, что угодили в Танкова, могли сразить и тебя. В следующий раз надо быть поосторожней...

* * *

Станция Матренино — обычная станция железной дороги, со станционными постройками и прилегающими к ним колхозными домами деревни Матренино. Не деревня носит название станции, а станция носит название деревни. Она, как многие деревни этого района, расположена на большой поляне. Железная дорога огибает ее некрутой дугой.

Немцы в течение пяти часов изредка вели по Матренину то минометный, то артиллерийский огонь. Разведка противника неоднократно пыталась проникнуть в деревню. За последние часы противник совершил несколько коротких мощных налетов: после грохота обстрела — внезапная тишина; вдруг ружейно-пуле-

метная трескотня; снова грохот — снова артиллерийский налет.

— Филимонов! Что там у вас происходит?

— Лупит нас, товарищ комбат,—слышу в телефон зычный голос Филимонова.— Лупит артиллерией и минометами. Да вот полезли было еще раз...

— С танками? Много ли пехоты?

— Нет, без танков. Пехоты два взвода, может быть, до роты, не больше. А в лесу, товарищ комбат, кажется, накапливается...

— А что вы думаете делать?

— Думаю, товарищ комбат, как только он пойдет на нас, встретить его огнем. Что ж более нам осталось, товарищ комбат?..

— По-вашему, Ефим Ефимович, что замышляют немцы? — спросил я.

— Не зря же накапливаются в лесу, наверное, скоро пойдут в атаку.

— На часок оттянем атаку...

— Как на часок, товарищ комбат?

— С ними Курганов будет разговаривать.

— А, понял, товарищ комбат...

Кончив разговор с Филимоновым, я послал Рахимова к подполковнику Курганову, а Бозжанова с Андреевым — в Матренино к Филимонову.

Артиллеристы и на этот раз нам хорошо помогли. Скопившаяся на опушке леса против деревни Матренино пехота врага была рассеяна двумя артиллерийскими налетами. Подполковник Курганов передал через Рахимова, что у него осталось ограниченное количество боеприпасов.

Прошло около двух часов в затишье. Оно казалось зловещим. Солнце стояло над темно-бежевым горизонтом. На снежном поле, как следы оспы, темнели следы недавних боев.

Часто говорят, что в бою время проходит незаметно. С таким обобщением я не согласен. Именно предел человеческого напряжения и нетерпения проявляются в бою. Особенно изматываются нервы в оборонительных боях, когда инициатива в руках против-

ника, когда ждешь и не знаешь, откуда, когда и как он тебя ударит.

Нас мучило напряженное ожидание — мы ждали захода солнца, ждали наступления темноты, а солнце не заходило, темнота не наступала.

В 1941 году мы и немцы не умели воевать ночью. Так называемые «ночные действия», или «действия ночью» разрабатывались в штабах, докладывались по команде начальству, а в войсках толком не проводились. Например, немцы ночью не наступали, хотя на это имели приказ командования, а наши не контратаковали, хотя тоже имели приказ. Ночь использовалась в основном для перегруппировок. Часто ночь была передышкою для обеих сторон: ночью поешь спокойно, часа полтора-два, а то три, поспишь — отдохнешь. Это знали все и ждали наступления темноты.

Нас мучило напряженное ожидание.

Вдруг грохот обстрела. Я смотрю на часы и засекаю. Пять минут. Десять минут...

— Соединить с Филимоновым... Что у тебя, ты жив, Ефимушка?

— Пока жив, товарищ комбат. Долбит, проклятый, как слышите.

— Значит, он хочет ночевать в Матренине?

— А кто его знает...

— Посмотрим, кто из нас будет ночевать.

— Мы, товарищ комбат...

— Брось трепаться!

— Мы выдержим...

— Вот что, Филимонов, выслушай сначала.

— Слушаю.

— Как только он прекратит обстрел, сдать Матренино без боя.

— Как, как? — растерянно, не веря, переспросил Филимонов.— Сдать без боя? Что вы говорите, товарищ комбат?

— Что? Думаешь, ослышался? Как только он прекратит обстрел, забирай раненых и беги в беспорядке к мосту! Остановиться у моста! Ни в коем случае языка не оставлять! Бежать всей ротой! Сдать Матренино!

— Слушай, комбат! — изо всей силы ударил меня по плечу Толстунов.— Ты, по-моему, с ума сошел. Ты, ты, что ты делаешь?!

— Ты, Федор Дмитриевич, потише. У меня тоже есть рука!

— Извини, Бауржан... знаешь, сорвался! Но объясни толком, почему ты без боя сдаешь Матренино? Ведь генерал приказал...

— Ну, пойми же, Федор Дмитриевич, как «просто» и как «весело» было бы, отбиваясь до последнего патрона, умереть с честью! Сколько людей мы потеряли сегодня? Ты говоришь: «Генерал приказал». Ведь генерал также приказал беречь людей.

— Но не бегством же!

— А я решил бежать! Немец хочет взять Матренино голыми руками. Ну, что ж, сделаем так, как он хочет. Мы сдадим деревню без боя, а из леса будем угощать его огнем.

— А что, если люди не остановятся у моста, как ты приказал, и немец пойдет за ними по пятам?! — в тревоге произнес Толстунов.

— Ты прав. Давай я сам поеду туда, а ты здесь за меня, за Танкова оставайся. Как говорится, «пан или пропал»,— решения отменять не стану...

Рахимов, Синченко и я мчались галопом к Матренино. Когда мы выскочили из леса, то увидели, как из деревни бежала в полном беспорядке рота. Андреев шел широкими шагами, не обращая внимания на бегущих.

Я ужаснулся: люди бежали в настоящей панике. Последними бежали Филимонов и Бозжанов. Озираясь, как испуганный теленок, из стороны в сторону, Бозжанов спотыкался почти на каждом шагу и часто падал.

У моста мы слезли с коней.

Рахимов (он был спортсмен-альпинист) побежал навстречу роте с криком: «Стой! Остановись!», а Синченко увел наших коней под мост. Я нарочно прохаживался по мосту, и, хотя казалось невозможным остановить это паническое бегство, пробежав еще по инерции сотни шагов, бойцы остановились.

— Аксакал! Вы здесь? — спросил Бозжанов, тяжело дыша. Отчаяние было на его лице. Он с упреком прошептал: — Умереть легче, чем бежать!

— Марш под мост! Мальчишка! Может быть, ты хочешь принять командование батальоном?

— Что вы, товарищ старший лейтенант... кудай сактасын[1],— воскликнул он, совсем опешив, по-казахски.

— Идите и помогайте Филимонову привести людей в порядок.

Бозжанов юркнул под мост.

Подошел Андреев.

— Товарищ старший лейтенант,— недовольно пробасил Андреев,— как-то нескладно получается, немец не идет, а мы бежим. А? Как это так?

— Андреев! Ваше дело не рассуждать, а выполнять то, что приказано!

— Есть, выполнять, что приказано,— рявкнул Андреев на всем пределе внутренней ненависти ко мне.— Разрешите идти?

— Оставайтесь здесь, Андреев.

— Есть, оставаться здесь.

...Немцы прекратили обстрел, выстроились в ротные колонны и пошли в сопровождении трех танков к Матренину. Шли они спокойно и гордо—почти победным маршем: «Раз рус побежал, все наше»,— наверное, радовался их командир.

— Андреев, посчитайте сколько их идет.

Приложив к глазам бинокль, Андреев долго присматривался. Немцы приближались к деревне.

— Кажись, товарищ старший лейтенант, немчуры четыре колонны по шестьдесят-семьдесят человек, всего двести сорок-двести восемьдесят человек, а ежели считать танкистов да что на автомашинах — человек триста-четыреста...

— Значит, батальон, потрепанный предыдущими боями, идет.

— Так точно... Можно было бы, товарищ старший

---

[1] Боже упаси!

лейтенант, не пускать их в деревню,— грустным вздохом выдавил из себя Андреев.

«Да, можно было бы их не пускать в деревню»,— согласился я про себя с упреком Андреева. Немцы вошли в деревню, разбрелись по домам, из танков вышли экипажи, оставляя люки открытыми, и тоже вошли в дома. Потом были видны только отдельные солдаты, которые ловили кур, гонялись за поросятами.

— До того обнаглели, что даже не поставили часовых,— пробурчал Андреев.— Как будто к теще в гости приехали...

— Я позвал командиров. Мы лежали на железнодорожной насыпи.

— Видимо, немцы решили поужинать и отдохнуть,— сказал Рахимов.

— А почему бы им и не поужинать? — съязвил Филимонов.

Слова Бозжанова, Андреева, Рахимова, Филимонова коробили меня. Ведь все они внутренне не прощали мне, что я приказал сдать Матренино без боя! Но как выправить положение? Я думал над этим. Я был подавлен. Идти в лес, на ее опушке занять позицию и глазеть на отдыхающих немцев? Нет! Так не пойдет...

— Филимонов, сколько у вас людей? — спросил я.

— Сто двадцать, товарищ комбат.

— Людей разбить на три группы по сорок человек. Атаковать Матренино одновременно с трех сторон. Выгнать немцев. Будем ужинать и ночевать в Матренине. Командирами групп назначаю вас, Бозжанова, Рахимова. Атаку возглавлять лично самим...

Охватывая деревню с трех сторон, шли цепи наших бойцов, держа винтовки наперевес. Шли молча, шли уверенно. Вдруг застрекотали с высокой железнодорожной насыпи станковые пулеметы. Бойцы бросились вперед бегом с криком «Ура!», стреляя на ходу. Немцы выбежали из домов, впопыхах заметались и побежали... Расплата за беспечность была слишком велика: они бежали в беспорядке, в панике, не слушая своих офицеров. Наши ворвались в деревню и, вдохновленные успехами, увлеклись до того, что мно-

гие наши бойцы не остановились, а погнались за немцами до самого железнодорожного полотна...

— Здорово удачно вышло, товарищ старший лейтенант,— радостно сказал Андреев.— Может быть, вдогонку им с полсотни снарядов послать?

Подполковник Курганов уважил нашу просьбу — Андреев прочесал лес, в котором скрылись немцы.

Я приказал Филимонову закрепиться, и мы выехали в Горюны.

Толстунов с широкой улыбкой вышел навстречу, пожал нам всем руки со словами: «Ну, орлы мои, молодчины вы у меня». Потом он рассказал, как генерал гневался на меня за то, что сдал Матренино без боя. На заверения Толстунова о том, что решено контратаковать противника, он сказал: «Вы достаточно грамотны, чтобы знать: бежавшие с поля боя неспособны немедля контратаковать». А когда он доложил об удачном исходе, генерал сказал: «Это, к счастью, только лишь удавшаяся авантюра. Передайте командиру батальона, что эта удача не снимает с него вины, хотя он рисковал более чем жизнью — воинской честью командира...» Этот выговор генерала нас всех огорчил, мы все насупились.

— Ну, хлопцы, товарищи,— заторопился Толстунов,— вот, ей богу, зачем это я разболтал вам!

— Генерал прав. Могло случиться хуже,— сказал я.

Толстунов хлопнул меня по плечу.

— Ты у меня сознательный парень, Бауржан. Ну, ничего, все позади, все пока благополучно, переживать особенно нечего, давай лучше думать, как дальше быть?.. Смело принимай решение. Если твоей мало, можешь положить и мою, как свою, голову...

— Первой или второй? — спросил Бозжанов.

Толстунов нарочито встревожился и сказал:

— Конечно, второй.

Все рассмеялись.

Бозжанову я приказал вступить в должность командира третьей роты вместо выбывшего лейтенанта Танкова. Рахимов поехал на высоту 151,0 к Краеву,

Борисова с повозкой я направил в Матренино — за документами и трофеями.

Вошел подполковник Георгий Федорович Курганов. Мы все встали.

— Ну, что ж, ребята,— начал он, устало опускаясь на табурет.— У меня рабочий день подходит к концу, а впереди рабочая ночь. Не осудите меня, ребята, мне приказано отчалить от вашего берега. Я пришел попрощаться...— Подполковник запнулся: — Тьфу, черт, не то сказал! Подосвиданькаться зашел...

Я много лет общался с русскими товарищами из разных местностей России и, услышав впервые из уст Георгия Федоровича слово «досвиданькаться», еле удержался от смеха, ибо я был одним из тех офицеров в дивизии, которые боялись и одновременно уважали подполковника, он был моим артиллерийским кумиром. Как всякий интеллигентный человек, Курганов заметил, что сочинил какое-то нелепое слово и, рассмеявшись, повторил три раза.

— Досвиданькаться, досвиданькаться, досвиданькаться! Здорово сказанул, ха, ха! Бедный русский язык, как только мы, сами русские, его не калечим!

— Новое словообразование, товарищ подполковник,— пошутил я...

Вот что, Момышка,— ласково сказал подполковник,— ты, вижу, человек риска. Береги свою буйную голову, генерал меня за тебя десять раз отхлестал...

— Но я же, товарищ подполковник, не скакал на вороном коне под артиллерийским обстрелом...

— Ты мне не перечь, я старше тебя! А у нас, товарищ старший лейтенант, в рабоче-крестьянской Красной Армии, старшие всегда правы!

— Слушаю, товарищ подполковник,— покорно ответил я.

Мне были неприятны последние окрики Курганова, но когда он в разговоре употреблял «ребята», «ты», «вот что, Момышка» — все это было по-свойски, по-родственному, по-нашему. Если бы в этот момент воскрес мой старик-отец и услышал наш разговор,— он гордился бы тем, что его сына Бауржана русский подполковник называет «Момышкой» и прошептал бы

мне на ухо: «Сынок! Этот русский парень, правда, горячий человек, но хороший, честный джигит. Почитай его за старшего брата!»

Наш разговор прервал зуммер полевого телефона. Звонил Рахимов:

— Товарищ комбат,— кричал он в трубку,— я успел к шапочному разбору...

— Что за шапочный разбор?

— Да, тут они кое-что сделали к моему приезду.

— Говорите толком!

— Разрешите доложить?

— Докладывайте!

— Они тут трофеи и документы захватили, два танка... три машины, одна легковая, одна штабная...

— А противник?

— Видно, сюда забрел штаб какого-то заблудившегося батальона.

— А где он, сам батальон?

— Где-то здесь, в лесу, болтается.

— Заберите все документы. Танки и машины привести в негодность противотанковыми гранатами. С наступлением темноты со всем краевским хозяйством прибыть сюда.

— Ясно, товарищ комбат.

Когда я положил трубку, Толстунов прорычал:

— Ты что, опять без боя высоту оставляешь?

— Не без боя, а с боями, разве не слышал?

Передав краткое содержание нашего разговора с Рахимовым, я обратился к подполковнику и доложил ему о том, что гарнизон Горюнов за день напряженных боев понес потери не менее одной четверти личного состава, что для усиления гарнизона отзывается рота Краева с высоты 151,0, о чем я и просил подполковника доложить генералу, когда он приедет в штаб дивизии.

Подполковник с нами тепло попрощался и уехал.

* * *

Темная ночь. Безоблачное небо. Наш штаб — в доме у железнодорожной будки. На полу чемоданы, портфели, планшеты, автоматы, парабеллумы, би-

нокли, компасы, телефонные аппараты и другие трофеи, привезенные Борисовым из Матренина и Рахимовым — из района высоты 151,0.

В помещении, освещенном несколькими свечами, сидят дежурные телефонисты. Наш повар Файзиев в передней стряпает ужин. Синченко с Курбатовым сортируют трофеи. Из командиров я один, остальные ушли выполнять отданные на ночь распоряжения: охрана и оборона нашего расположения от возможного ночного нападения противника.

Днем нас было много: рота капровцев, саперы, артиллеристы и мы. Авиация помогала нам. Горюны были мощным опорным пунктом на шоссе за прошедший день боев — это чувствовали мы сами, и это испытал на себе противник. Теперь мы остались одни. По существу, осталась лишь пехота с шестью маленькими противотанковыми пушками. Все остальные ушли к основным силам дивизии. Я сидел над картой и писал боевое донесение. Меня раздражало, что оно получается длинным — целый отчет о боях за день. В конце любого донесения командир предпоследним пунктом пишет о своем решении на дальнейшее, а в последнем пункте — свою просьбу к старшему командиру.

«Решил...»—начал я новую строку, но следующие слова не шли. А что я, собственно, решил — пока и сам толком не знал.

Решил: продолжать упорно оборонять опорные пункты Горюны, Матренино, для чего высоту 151,0 оставить и высвободить вторую стрелковую роту. Гарнизон Горюнов усилить второй стрелковой ротой, первую стрелковую роту, обороняющуюся в Матренине, усилить двумя станковыми пулеметами...

«Прошу вас..» — начал новую строку...

Вошедшему Толстунову я прочел вслух текст донесения, делал ударения на словах предпоследнего пункта «упорно оборонять», «усилить». Видимо, в моем тоне, когда я произносил эти слова, звучала горькая ирония, которой всегда бывают щедры пессимисты или люди обреченные. Толстунов сказал:

Ну, что ж, правильно написано. Раз приказано упорно оборонять,— какой может быть разговор?

Хотя его «какой может быть разговор?!» явно относилось ко мне, я хотел пропустить это мимо ушей и начал читать:

«Прошу вас...»

И запнулся.

— Ну, чего же ты просишь?

— Когда я начал писать «прошу вас...», в это время ты вошел.

— Значит, я помешал тебе сформулировать твою просьбу?

— Просить-то нечего, Федор Дмитриевич, в этой обстановке.

— Правильно ты говоришь — ничего не проси. Ты думаешь генералу легко нас одних здесь оставлять?...

...Пришли Хаби Рахимов, Бозжанов, Борисов, Степанов. Они доложили, что распоряжения на ночь выполнены.

Смотрите, ребята,— строго, с тревогой, произнес Толстунов,— как бы люди не заснули. Ведь они за день уморились...

— Все предусмотрено, товарищ старший политрук, как следует быть,— прервал его Бозжанов и, нарочито коверкая отдельные слова, добавил:— Например, у меня в роте каждый пять человек — один группа, знашит, один отвешает за пять, а пять отвешает за один. Один стоит, смотрит кругом, другой сидит не смотрит кругом, он не спит, смотрит на того, кто стоит и смотрит кругом...

— Значит, бодрствует? — прервал я его.

— Да, бодрствует,— подтвердил он,— а спит часа два, потом два стоит, один сидит, два спит...

Мы расхохотались, удивленные актерскими способностями Джалмухаммеда.

Рахимова не удовлетворила сортировка трофеев Синченко и Курбатовым. Он с присущей ему аккуратностью отобрал все документы, упаковал их. Документы и трофеи были отправлены в штаб дивизии.

В полночь меня разбудил Рахимов.

— Вам записка от полковника Серебрякова,— сказал он, когда я проснулся.

На линованном листе, вырванном из ученической тетради, красным карандашом полковник Серебряков, начальник штаба нашей дивизии, своим ровным каллиграфическим почерком писал:

«Тов. Момыш-улы! Генерал и мы все довольны вашей работой».

Я помню эти первые слова записки.

Далее полковник писал, где находится какой полк, что делает, и о том, что генерал поехал к командующему и просил его передать нам привет и пожелания успехов...

Когда я пишу эти строки, очень сожалею, что у меня нет под рукой этого теплого человеческого боевого документа, написанного рукою ныне покойного Ивана Ивановича — русского интеллигента, полковника старой армии, одного из моих учителей. Этот документ мне дорог до сих пор, как первая награда за наши боевые дела. Он был написан очень просто и по-человечески тепло. Там не было начальственного тона вроде «за отличное выполнение боевого задания объявляю благодарность» или «представляю вас к награде!» Это была простая записка товарища товарищу. Эту записку я хранил в моем удостоверении личности до конца июля 1942 года, пронес ее сквозь бои под Москвой, под Старой Руссой, под Холмом и вручил ее автору в день годовщины нашего Талгарского полка в деревне Васильево, Холмского района в торжественной обстановке в нашем полковом «Зеленом клубе». Дело было так: я был тогда в звании майора. Мы оборонялись, линия обороны проходила по реке Ловать. Тогда наш участок считался на фронте второстепенным. Наш полковой инженер, призванный из запаса, был по образованию архитектором. Он был безукоризненно честен и педант в своем деле — таких можно встретить только среди наших, советских евреев. Этот красавец-мужчина ползал по переднему краю и по всем правилам военно-инженерного искусства учил бойцов оборудовать стрелковые ячейки со вкусом. Он был эстетом. «Как можно воевать в обороне без удобств!» —

возмущался он нашей неряшливостью. Он был помешан на фортификационной красоте. В приступе откровенности он мне как-то сказал:

— На войне человек не только умирает и калечится, но он и живет обычной жизнью — страдает, радуется, ненавидит, любит, грустит, смеется, плачет, ссорится, шутит... Я хочу, товарищ майор, чтобы и на войне жилось хорошо и удобно, я хочу, товарищ майор, чтобы человек красиво жил и красиво умирал на поле боя...

Я не художник, и я не умею писать портрет человека. В этом моя беда. Представьте высокого курчавого брюнета с большими ногами, (размер обуви приблизительно 45—46), с высокой грудью, гордой осанкой и крупной головой на длинной шее. У него было все как бы в крупном плане: крупное лицо, высокий лоб, брови расходились как крылья орла, глаза темносиние и бездонные, как воды Байкала. Тяжелый широкий подбородок, синий от густой, всегда тщательно выбритой бороды. Он был упрям, как бык. Мне почему-то думалось каждый раз при встрече с ним, что из него получится отличный командир одного из батальонов. Но он ведь инженер... Над ним наши втихомолку посмеивались, острили, но всегда относились к нему с уважением.

Как-то наш начальник штаба на одном совещании, обращаясь к инженеру, назвал его Петром Захаровичем. Он вспыхнул и бросил реплику: «Меня величают Пейсахом Залмовичем, а фамилия моя, как вам известно, Иван Данилович, Зильберштейн, прошу уважать, любить и не искажать!»

Иван Данилович смутился и извинился перед ним.

Этот гордый еврей был инженером нашего полка.

Однажды приехал к нам в полк командующий армией генерал-полковник Галицкий. Он подробно ознакомился с инженерными и фортификационными сооружениями и одобрил их со словами: «Грамотно, просто, удобно и сделано со вкусом». Я доложил командующему о львиной доли труда Пейсаха Залмовича в руководстве этими работами.

«Солдат — человек бездомный. При нем нет ни от-

ца, ни матери, ни жены. Он сам должен заботиться о себе. Если ему предоставлено два часа отдыха, он должен потратить, по-крайней мере, тридцать минут на создание себе удобств для отдыха»,— заключил свои слова командующий.

По проекту и под руководством Зильберштейна в лесу недалеко от штаба полка был построен полковой клуб. Этот клуб был известен во всей дивизии под названием «Зеленый клуб», где проводились все общественные мероприятия: собрания партактива, широкие совещания, вручения наград, торжественные собрания и вечера самодеятельности.

«Зеленый клуб» выглядел естественным чудом природы. Там не было видно следов топора, не прибито ни одного гвоздя. Это была громадная пещера из сплетенных елей и сосен с нависающими «люстрами» из ветвей, с зеленым ковровым полом из хвойных лапок, с эстрадой и зеленой трибуной.

В этом клубе 31 июля 1942 года мы проводили торжественное собрание, посвященное первой годовщине формирования нашего полка, которое я открыл кратким вступительным словом. Тогда я впервые и огласил записку полковника Серебрякова и тут же вручил ее ему. Иван Иванович был растроган. Впоследствии эта записка была подшита к делу оперативного отдела штаба дивизии.

* * *

Ночь прошла относительно спокойно. Из штаба армии генерал Панфилов сообщил, что в район Горюнов прибудет механизированная бригада, и мне следует поступить во временное подчинение командира этой бригады.

Через Горюны прошли два полноценных мотострелковых батальона, один танковый батальон с двенадцатью боевыми машинами, в числе которых был тяжелый танк «КВ». Все они сосредоточились в лесу между Горюнами и Матрениным.

Когда я приехал в их расположение, меня удивило, что подразделения спокойно расположились на отдых.

Заместитель командира бригады смуглый, остроносый подполковник, небольшого роста, не был знаком с обстановкой и не знал задачу бригады. Он не стал слушать меня, сказав, что командир бригады и начальник штаба поехали в штаб армии за получением задачи, а ему приказано прибыть сюда и сосредоточиться в этом районе.

— Приедет командир, примет решение, если нужно будет, вас он вызовет, а пока езжайте к себе, товарищ старший лейтенант,— закончил он.

Когда я приехал к себе в штаб, Рахимов доложил, что немцы вышли к нам в тыл, ведут бои с частями нашей дивизии, связь с частями дивизии и со штабом установить не удалось.

По данным нашей разведки, во всех окружающих деревнях были немцы. Они заняли оставленные нашими войсками населенные пункты, подавив отдельные очаги сопротивления, вышли к рубежам, занятым основными силами наших войск, и теперь ведут бой далеко позади нас. Противник нас обошел с обеих сторон. Бозжанов и Краев немедленно заняли новые позиции, фронтом на восток и северо-восток. Двенадцать часов дня, а нас — советских воинов, оставшихся в Горюнах, в лесу и Матренине — немец не удостаивает никаким вниманием.

Толстунов, как старший по званию и как офицер из штаба полка, был послан в штаб бригады и вернулся расстроенный: заместитель командира бригады все еще ждал прибытия командира и наотрез отказался самостоятельно принимать решение.

Бригада варила себе пищу и отдыхала как на большом привале. У них был большой автобус — продовольственный магазин военторга. На просьбу Толстунова продать нашим кое-какие продукты было отвечено отказом. Бедный Толстунов даже потемнел от возмущения

— Знаешь что, комбат,— кричал Толстунов,— я тебе не твой старший адъютант. Ты меня к таким людям больше не посылай. Эти, этот... подполковник не воевать, а в сосновом бору отдыхать приехал.

— А ты ему так сказал?

— Хотел сказать, но...

— Но тогда нечего на меня кричать. Конечно, он человек инертный, это не Кирсанов, не Курганов. Но вот приедет их командир, тогда, может быть...

— В том-то и беда, что их командир не приедет, а он ждет, на себя не хочет брать ответственности.

...К двум часам дня к нам пожаловали немцы с востока. Пришло несколько танков, почему-то обвязанных красным полотнищем вокруг башни. Рахимова я послал к заместителю командира бригады Толстунов ушел к Краеву. Я стоял на наблюдательном пункте Бозжанова. Немцев было не так уж много: пять-шесть танков и до двух рот пехоты. Наши артиллеристы подбили два головных танка. От меткого беглого огня пушки и пулемета немецкого танка погиб один наш орудийный расчет. Наш пулеметно-ружейный огонь прижал к земле наступающую за танками пехоту противника.

Я ждал, что вот-вот подойдут боевые машины бригады с одним мотострелковым батальоном и короткой мощной контратакой сомнут или, по крайней мере, отгонят немцев. Но прибежавший Рахимов, запыхавшись доложил:

— Не ждите подмоги. Подполковник сказал, что он еще не принял решения.

Рахимов пошел к Краеву, а я к себе в штаб. Позвонил подполковнику, он мне ответил: «Я еще не принял решения. Пока воюйте сами, потом посмотрим, как сложится обстановка». Не знаю, считал ли подполковник преждевременным вводить в бой бригаду и не хотел ее частями вводить в бой, или, растерявшись, вообще не знал, что делать, ждал приезда командира, не решаясь брать на себя ответственность. Во всяком случае, для меня был тогда, как казахи говорят, «ключ от чужого добра в небесах».

Не знаю, сколько прошло времени в раздумьях. Вдруг Степанов, схватив наш штабной планшет, потащил меня к двери. Лязгая гусеницами и рокоча глухими оборотами мотора, загородив нам выход своим боком, возле штаба остановился тяжелый немецкий танк. Когда мы высунулись из двери, башенный стрелок поднял крышку башни и из люка показалась голова в шлеме. Степанов выстрелил, немец нырнул в люк, а Курба-

тов, шедший за мной, бросил в не успевший захлопнуться люк ручную гранату. Забегая за угол дома, мы услышали глухой взрыв.

— Есть еще граната?— спросил я Курбатова.

— Есть еще одна.

— Бросай в башню.

Курбатов круто повернулся и, прижимаясь к стене дома, скрылся за углом и тут же, когда он снова показался, раздался еще один взрыв. Из дома выбежали оставшиеся там наши дежурные связисты. Мы стремглав побежали к насыпи железнодорожного полотна. Там стояли Рахимов, Краев, Хасанов.

Этот немецкий танк, оказывается, пришел с другой стороны. Видимо, экипаж, привыкший шарить в пустых домах с утра, не подозревал, что в доме, стоящем на отшибе, расположен командный пункт нашего батальона и решил под прикрытием этого дома устранить какую-то неисправность. Если это не так, то ему стоило только прошить этот деревянный дом несколькими очередями из пулемета, чтобы нас убить или выпустить по нему два снаряда из своей пушки, чтобы разрушить этот дом. Танк не подавал признаков жизни, когда мы вернулись в дом, из которого минут двадцать-тридцать тому назад бежали в смертельном испуге. Застали там нашего повара Джана Файзиева, мурлыкающего себе под нос какую-то узбекскую мелодию и рубящего на мелкие куски мясо большим бухарским ножом с кривым концом и отделанной белыми по черному узорами ручкой. Его обнаружил первым Степанов и воскликнул:

— Джан, вы здесь? Что вы делаете?

Файзиев плохо владел русским языком. В фартуке, с ножом в руке, он вытянулся перед ним и начал докладывать:

— Я, товарищ командир, обед делает. Обед хороший, мастава[1] буйдет.

— А как же вы здесь остались?

— Я сидит, работает. Вдруг стреляет. Все бежал. Я ножик забывал, обратно бежал. Надо ножик, мясо,

[1] Мастава — рисовый суп с мясом.

рис возми. Я взял, бежал. Тут танка стоял. Большой взрыв получился. Я бежит назад, кароват лежит. Я все лежит, лежит, ничего нету. Вставал, пошел, танка стоит. Окно смотрит, все командыр идет. Я садимся и работаем, обед мастава буйдет.

Видимо Джану стоило больших трудов так долго говорить на русском языке и, когда вошел Рахимов, он бросился на колени и сложив руки на груди, воскликнул:

— Ва, акажан! Булар нема деп турыпты ю?

— Санга ни бульди? Ишляй бар аухатларынды!

— Хоп, акажан[1].

Рахимов был кумиром Джана. Мы все не владели свободно мягким и благозвучным узбекским языком, а Рахимов им владел в совершенстве, знал обычаи и тонкости кулинарного искусства этого народа. С Джаном он разговаривал только на узбекском языке, давая ему указания «как перчить», «как солить», «какой мелкотою рубить мясо», о приправах и прочих неведомых нам тонкостях узбекской кухни. Мы ели и хвалили приготовленную Джаном еду, а Рахимов всегда делал ему замечания на «кухонном» жаргоне. Джан перед ним оправдывался, ссылаясь на качество продуктов, кухонной утвари, даже дров и воды. В дни затишья Рахимов «висел» над котлом Джана, как «старший повар», работая с ним вплоть до стружки моркови, снятия пены. Иногда можно было увидеть Рахимова сидящим перед открытой топкой печки, подкладывающим поленца или вынимающим дымящиеся головешки, а Джана, вертевшегося, выполнявшего его указания: когда какую еду готовить, как готовить или когда и что из продуктов класть в котел...

Мы, казахи, никогда не вмешиваемся в кухонные дела нашего очага и считаем это чисто женским делом. Однажды один из моих бывших школьных товарищей, имевший дурную привычку каждый день ставить синяки своей покорной жене, живший девизом: «Работаю только силою, которую мне придает хорошая пища»,—

[1] О почтенный мой! Ну чего они от меня хотят?
— Что с тобой? Занимайся своим делом!
— Будет исполнено, почтенный.

пошел на кухню поторопить жену с подачей пищи, которую он ждал с нетерпением. Жена его прогнала, гневно произнеся: «Кто в этом доме женщина — я или ты? Кто тебя приглашал сюда? Вон убирайся отсюда!» И этот деспот и обжора на этот раз не стукнул жену за ее строптивость, смутился и тихонько вышел из кухни.

Наш веселый и задорный Бозжанов втихомолку подсмеивался над Рахимовым, называя его «самой удачной женщиной-хозяйкой» штаба нашего батальона. Или говорил: «Если бы меня моя мама родила девочкою, я никогда не взял бы себе в мужья нашего Хаби», «Если Хаби был бы не Хаби, а был бы Хабиба — я отдал бы девяносто девять верблюдов в калым и женился бы на ней». И я, как казах, своим смехом поддерживал злую остроту Бозжанова в адрес Рахимова. Теперь только начинаю понимать, что это тогда с нашей стороны было не совсем тактично по отношению к нашему боевому товарищу...

К двум часам дня немцы возобновили наступление на Горюны. Наступал батальон при поддержке артиллерии и танков. Бой продолжался часа три. Враг нас теснил и теснил. Толстунов вернулся из штаба бригады и передал мне слова подполковника: «Держитесь пока, дело к вечеру подходит, а вечером я приму решение».

Мы обливались кровью, а заместитель командира бригады еще не принимал никакого решения. Не было предела нашему возмущению.

Было ясно, что мы долго продержаться не сможем. Еще два натиска — и мы откатимся к Горюнам. Я поделился своими тягостными мыслями об этой неизбежности с Толстуновым и Рахимовым. Толстунов встревоженно оглянулся, подумал и, грустно осмотревшись вокруг, сказал:

— Да, дело у нас становится очень неважным. Давайте-ка, товарищи, я еще раз к ним схожу.

— Иди и передай, что мы продержимся не более часа, полтора часа максимум. Пусть он хотя прикроет свое собственное расположение.

Толстунов ушел. С бугра на окраине деревни вдалеке на опушке леса были видны в бинокль немецкие танки и скапливающаяся пехота.

— Значит, он скоро вновь начнет атаку, коль приводит себя в порядок,— сказал Рахимов, опуская бинокль.

— Товарищ комбат,— обратился ко мне Бозжанов,— видите?

— Вижу.

— Что же нам делать?

— Пока молчать. Когда пойдет в атаку, вам справа, а Краеву слева «обнять» огнем.

Вдруг над полем пронеслись трассирующие пули, раздался грохот артиллерийской канонады, поднялись черные грибы разрывов. Немец гвоздил по Горюнам. Артиллерийский налет был коротким, но мощным. Как бы подхватывая еще не затихший грохот разрывов снарядов и мин, с рокотом моторов, скрежетом гусениц, ведя огонь с коротких остановок, танки пошли в атаку вдоль шоссе. Ползли стальные черепахи, изрыгая огонь из своих пушек, поливая все впереди себя свинцовым дождем из пулеметов. Шли они почти в линию, шли медленно, шли уверенно, как на ученье. Наши два ПТО не успели и «рта раскрыть» — на них посыпались снаряды, и обе пушки были немедленно подавлены. На этот раз пехота не пошла за танками, она оставалась в лесу.

— Значит, он решил сначала нас «проутюжить» танками.

— Резонно и правильно решил,— услышал я сзади себя голос Толстунова.— А ты сам что решил? — спросил он строго, когда я обернулся к нему.

— Я решил оставить Горюны и отойти в лес.

— Что ж ты медлишь тогда?

— Рахимов, передайте Краеву и Бозжанову: отойти в лес и закрепиться там. Прикажите держать шоссе под ружейно-пулеметным огнем и не пускать пехоту в Горюны. А я пойду в эту бригаду...

Сказав это, я, не оглядываясь, пошел назад. Мы не бежали, а шли, шли молча. Как сильное, молчаливое материнское горе придает женщине внешнее спокойствие, так и в бою командирское горе человека делает его внешне смелым и равнодушным ко всему.

— Комбат! Да ты не переживай,— мягко и душев-

но сказал Толстунов.— Ведь ребята отдали все, что могли, чтобы выполнить приказ.

— Разве сегодня двадцатое?

— Нет, девятнадцатое. Но батальон выполнил приказ генерала. Почти двое суток держали шоссе.

...На опушке леса, где была сосредоточена бригада, метался худошавый пьяный капитан и кричал: «Занять оборону! Немедленно занять оборону! Быстрей заводите машины! Быстрей!» Экипажи бросились к машинам, но, заведя их, стояли на своих местах в ожидании толкового распоряжения. На окраину Горюнов выполз немецкий танк, остановился и послал несколько снарядов в лес, где располагалась бригада. Шальной осколок легко ранил капитана в левую руку. Капитан бегал от машины к машине и продолжал выкрикивать: «Занять оборону! Я ранен!» и матерился. Наш тяжелый танк «КВ» рванулся вперед, ведя огонь на ходу. Немецкий танк, остановившийся на окраине Горюнов, сверкнул вспышкой пламени, обволокся черным дымом и запылал. «КВ» помчался на предельной скорости к Горюнам и быстро скрылся за крайними домами Горюнов. Ни одна машина за «КВ» не последовала.

— Товарищ капитан! Пошлите несколько машин поддержать «КВ»,— попросил Толстунов.

— Мне приказано обороняться, а не контратаковать! — проквакал пьяный капитан.— Ах! Эта недисциплинированная сволочь...

«Недисциплинированная сволочь» показался из-за домов и помчался обратно. Немецкий снаряд ударился в основание башни «КВ» и дал рикошет.

Как после рассказывал Бозжанов, этот отважный маневр экипажа «КВ» был неожиданным для немцев: «Он ворвался в Горюны и, прикрываясь углом одного дома перещелкал четыре немецких танка и подался восвояси».

Когда мы пришли в штаб бригады, подполковник проводил совещание. Я обратил внимание на необычное для фронтовой обстановки чистое и даже щеголеватое обмундирование командиров. Я попросил подполковника немедленно контратаковать и занять

Горюны, пока наши две роты, расчлененные танками противника, вклинившимися в Горюны, из леса держат под оружейно-пулеметным огнем шоссе, отрезая пехоту от танков.

— Спешить с контратакой не будем,— ответил подполковник, склоняясь над картой, развернутой перед ним.— Я еще не принял решения...

— Мой танк ворвался в деревню, а там никого их-него не было,— прервал капитан подполковника.— Они оставили деревню, а теперь хотят чужими руками жар выгребать...

Меня это взорвало. Дальше я толком ничего не помню. Лишь помню, что я назвал капитана пьяной свиньей.

— Старший лейтенант очень расстроен за день боев,— примирительно сказал подполковник, обращаясь к капитану.— А капитан ранен в бою,— добавил он, обращаясь ко мне.

— Капитан у вас первый герой и первая жертва,— процедил Толстунов.— Можете его представить к награде, товарищ подполковник.

При этих словах Толстунова некоторые из присутствующих не удержались от смеха. Капитан сконфузился.

— Вы, товарищи, идите к своим,— приказал подполковник.— Когда я закончу совещание и приму решение, я вас вызову.

Мы ушли. Солнце закатывалось. Шла перестрелка из Горюнов в лес, из леса — в Горюны. Мы все знали, что этой огневой перебранке скоро будет конец — наступит темнота, наступит тишина.

Через два часа пришел связной. Меня вызвали в штаб бригады. В лесной тьме, спотыкаясь, шло нас пятеро: я, Толстунов, Рахимов и два связных красноармейца. Когда мы вошли в штаб, нас ослепил яркий огонь электрической лампочки от полевой батареи. После того как я представился, подполковник встал, уперся руками о стол и, глядя на карту, деланно пробасил:

— Слушайте мой приказ!

Все командиры встали.

— Садитесь и слушайте,— сказал подполковник, не отрываясь от карты.

Командиры сели. Подполковник продолжал:

— Я решил атаковать Горюны с трех сторон, уничтожить противостоящего противника и овладеть Горюнами. Н-скому мотострелковому батальону,— при этих словах подполковника встал командир этого батальона, высокий, худощавый майор в форме пограничника,— без машин перейти шоссе и на той стороне в лесу занять исходное положение для наступления, и ровно в ноль-ноль часов ноль-ноль минут атаковать Горюны и овладеть вот этой частью деревни.— Подполковник ткнул указательным пальцем на карту, а майор безразлично смотрел на него.— И дать сигнал тремя красными ракетами. Потом по этому сигналу пойдут сначала батальон номер... СД займет эту четверть.— Я встал и промолчал.— Он даст три белых ракеты. Потом пойдет танковый батальон и займет остальную часть деревни, а Н-ский мотострелковый батальон,— тут встал квадратный крепыш в полушубке, в звании капитана,— во втором эшелоне, в моем резерве. После овладения Горюнами я приму дополнительное решение. Повторите приказ командир Н-ского мотострелкового батальона.

Майор повторил слово в слово. Когда дошла очередь до меня, я встал и сказал:

— Я не понял вашего приказа, товарищ подполковник. Поэтому разрешите не повторять его, а доложить свои соображения.

— Докладывайте.

— Мой батальон основательно потрепан предыдущими боями. Две роты находятся на этой стороне, одна рота на той стороне шоссе. Я не знаю, сколько бойцов осталось в живых. Я соберу людей лишь к утру. Прошу вас, товарищ подполковник, учесть это... Мне кажется, следовало бы первым ворватся в Горюны танковому батальону...

— Не рассуждать!— взорвался подполковник.— Я принял решение!

— Простите! — вмешался Толстунов.— Я говорю как представитель полка, меня послал сюда наш ге-

нерал. Батальон был двое суток в напряженном бою, достаточно потрепан. Что вы хотите еще от него? Вы, наоборот, хоть теперь помогите этому боевому батальону. Если вы не уважаете нашу просьбу, я сейчас же ухожу отсюда, буду пробираться к своим и обо всем доложу Военному Совету армии.

Я до и после этого случая никогда не видел Толстунова таким решительным.

Подполковник был смущен.

— Хорошо!.. Вы пойдете вместо батальона номер... СД,— сказал подполковник квадратному крепышу-капитану.

— Слушаюсь! — и крепыш повторил приказание.

К пяти часам утра я был снова вызван в штаб бригады.

— Этот пограничник подвел нас,— грустным и упавшим голосом произнес подполковник.— Он увел батальон. Мы в окружении. Я решил выходить из окружения мелкими группами. И вам, товарищ старший лейтенант, рекомендую тоже выбираться к своим.

«Выходить из окружения мелкими группами» было тогда очень заразительной эпидемией для командного состава Красной Армии — от самых границ до ближних подступов Москвы. Я не знаю, кем был узаконен этот похабный термин «выходить из окружения мелкими группами» и чем он оправдывался, но знаю случаи, когда отдельные безвольные и трусливые командиры и комиссары под видом «безвыходного» положения распускали целые полки и дивизии, приказывая выходить из окружения «мелкими группами», а по сути дела бросая их на произвол судьбы и «на милость» врага. Помню, нам читали приказ Сталина о стрелковом полке под командованием Болдина, который организованно вышел из окружения, совершив нечто сверхвозможное. В этом приказе особо подчеркивалось, что выйти из окружения возможно даже целым полком. Галицкий, Доватор организованно выводили целую дивизию из глубокого тыла противника. Ни Болдин, ни Галицкий, ни Доватор не были волшебниками-чудотворцами. Они были просто волевыми командирами, в любых условиях державшими вверенные им войска в своих руках

и никогда не принимавшими решения «выходить из окружения мелкими группами».

Начальный период войны, когда враг обладал громадным превосходством в боевой технике и использовал момент внезапности, был очень тяжелым для Советской Армии, для наших командных кадров. Он требовал от людей величайшего мужества, стойкости, хладнокровия, умения трезво оценить складывающуюся обстановку, правильно определить соотношение своих сил и сил противника. Были у нас волевые командиры, подобные Галицкому, Доватору, Болдину. Но были и такие — правда, их единицы,— которые в сложной обстановке теряли голову, утрачивая способность управлять людьми, подчинять их волю своей воле. Такие люди, слабые духом, расплачивались за свое недостойное поведение на поле боя не только собственной гибелью, но нередко и неоправданной гибелью подразделений. Это был горький опыт, на котором наша армия училась трудному искусству побеждать врага.

Рахимов пошел собирать и сосредотачивать всех наших бойцов в районе Матренина. Мы с Толстуновым стояли на поляне и смотрели.

Полноценная свежая бригада, оставив всю свою боевую технику, не дав боя противнику, в это печальное утро, двадцатого ноября 1941 года, по приказу подполковника, на наших глазах рассыпалась, разбредалась «мелкими группами» по лесам.

Когда нет твердого начала и нарушена воинская организованность, часть людей теряет достоинство воина: на наших глазах какая-то группа избила поваров на пищеблоках, продавцов зеленого автобуса—магазина военторга, учинила драку и каждый, схватив кусок жратвы, убегал в лес.

Степанов, которого Рахимов прислал, чтоб он находился при мне для поручений, всхлипнул.

— Вы что, Степанов?! — крикнул на него Толстунов.— Пришли сюда плакать! Убирайтесь отсюда!

— Больно... обидно... товарищ старший политрук...— произнес Степанов, вытирая слезы.

...Мы пошли в Матренино. По дороге я вспомнил: в двадцатых числах октября наш батальон пробирался

из тыла противника к своим. Мы стояли в лесу близ совхоза имени Сталина. После ночного тяжелого марша и утреннего боя было решено в гуще леса дать людям отдохнуть, накормить их, а потом — снова в марш, снова в бой.

Солдата накорми досыта, одень и обуй, когда он устал — дай ему часа два отдохнуть, потом бросай его в огонь и в воду — наш русский, советский солдат не сгорит, не утонет. Чувствуя заботу родины, он еще яростнее бьется с врагом. Обеспечишь заботу о солдате — обеспечишь успех. Солдат и только солдат по-рабочему творит боевые дела на поле боя. Солдата надо уважать, любить, заботиться о нем — лишь тогда требовать, чтобы он свято выполнял свой долг. И он, солдат, выполнит!

Итак, мы стояли в лесу близ совхоза имени Сталина на боевом привале. Накануне ко мне прибежал Борисов и доложил, что из леса пришли люди во главе с каким-то генералом. Я пошел на пищеблок батальона. Там стояла группа бойцов, офицеров и с ними пожилой генерал. Генерал в шинели и суконной пилотке стоял опираясь на толстую суковатую палку. Рядом с ним стоял молодой полковой комиссар, несколько других офицеров в форменной одежде и несколько гражданских бородачей в поношенной одежде. Когда я представился, генерал сказал:

— Моя фамилия Старков, это комиссар дивизии. А эти, остальные,— командиры штаба дивизии.

Я приказал Борисову накрыть стол.

— Зачем накрывать стол? Вы дайте нам то, чем хотите угостить, и мы пойдем.

Пока Борисов распоряжался, генерал, узнав, что мы уже вторые сутки находимся в тылу врага, спросил.

— И вы думаете и дальше идти вместе со всем батальоном, с этими пушками, зарядными ящиками и повозками?

— Решено, товарищ генерал, выбираться всем вместе. При необходимости будем пробиваться с боями.

— Правильно делаете,— сказал полковой комиссар.— Мы распустили целую свежую дивизию, и вот, как видите, идем жалкой группой.

Борисов роздал им по килограмму белого хлеба и по двести-триста граммов холодного мяса.

— Для нас это роскошь,— сказал генерал, принимая продукты, а его люди сразу начали есть.

Когда Борисов принес две пачки махорки, генерал сказал:

— Коль вы так щедры, дайте нам газету и коробок спичек...

Поблагодарив нас, они побрели к лесу.

Я тогда недоумевал и не понимал слов полкового комиссара «мы распустили целую свежую дивизию» и понял их смысл лишь на следующий день, увидев, как на наших глазах распалась, разбрелась целая бригада лишь потому, что их командир принял решение «выходить мелкими группами». Немало было разбитых частей и соединений, которые при правильной организации и твердом управлении выходили из боев организованно, отходили к определенному рубежу и снова под единым командованием давали бой противнику. Они заслуживают глубокого уважения за достойное поведение на поле боя. Таких частей и соединений у нас тогда было много, и они несли на своих плечах основную тяжесть боев, дрались с врагом до последнего своего солдата, преграждая немцам путь вперед.

Были и такие части и соединения, которым под натиском превосходящих сил противника не удавалось организованно выйти из боя, и они с честью погибали на поле боя. Как правило, их командиры погибали вместе с войском. Победы над такими частями противнику обходились очень дорого: каждый боец, отдавая свою жизнь, уносил с собою жизнь двух-трех, а часто и более солдат противника. Я вспомнил гневные слова генерала Панфилова, когда один майор ему представился такими словами: «Командир разбитого батальона майор такой-то». Генерал, выслушав его до конца, сказал, что он не верит, чтобы в бою весь батальон погиб, а командир батальона остался в живых, так как батальон — это подразделение ближнего боя. Майор доложил, что их полк, их дивизия были разбиты и, когда они попали в окруже-

ние, им было приказано выходить «мелкими группами». «Вот так и скажите: не разбили, а распустили. У всякой разбитой вещи бывают осколки. Где же остаток разбитой дивизии? Вашу дивизию, батенька мой, не разбили, а вы сами распустились мелкими группами»...

* * *

Вторая рота нашего батальона, или, как мы часто обобщали этот боевой коллектив под одной фамилией — Краев, находилась по ту сторону шоссе, а роты Бозжанова и Филимонова — на этой стороне шоссе. Их разделял противник, к вечеру захвативший Горюны.

Когда мы пришли в Матренино, Рахимов доложил, что бозжановские бойцы собрались в лесу за железнодорожным мостом, филимоновские — в Матренине, Краев прислал очередного связного и ждет приказания в лесу, северо-западнее железнодорожной будки. В борисовских кухнях варится завтрак, который будет готов к раздаче не раньше, чем через час.

— Коль скоро начнем уходить, может быть гасить очаги и вылить все из кухонь?— закончил Рахимов.

При последних словах Рахимова Толстунов запротестовал:

— Что вы, что вы, Хаби! Как это можно выливать из кухни столько добра? Кто знает, когда еще удастся бойцам поесть горячего, пусть доваривают. Как ты думаешь, комбат? — спохватившись спросил он меня.

— Пусть доваривают,— подтвердил я приказание Толстунова.— Плотно позавтракаем, а потом пойдем.

Мы посоветовались, и было решено: Краеву самостоятельно идти в район Гусеново и в лесу, в координатах икс-игрек, ждать нас. Филимонов — его рота относительно свежая — пойдет головным, а Бозжанов пойдет вторым, опекая обоз, орудия и раненых. Когда присоединится Краев, он займет свое место последним в батальонной колонне. Решение идти, вернее, пробиваться к своим по левую сторону шоссе обосновывалось на записке полковника Серебрякова, в которой он сообщал о положении полков нашей дивизии двое суток назад, когда все, кроме Капрова, занимали

широкий фронт по левой от нас стороне шоссе. Мы полагали, что противник вбил клин по боевым порядкам дивизии вдоль шоссе, и что основные силы дивизии ведут бои именно по левой стороне шоссе...

Чтобы противник не так скоро обнаружил уход бригады и наше нелепое положение, я и Толстунов согласились с предложением Рахимова выставить на опушке леса один стрелковый взвод со станковым пулеметом и противотанковым орудием.

...Люди собрались в лесу. Борисов метался между кухнями и повозками, шепотом торопил, ругал поваров, кладовщиков, ездовых, санитаров, старшин рот, помкомвзводов — наводил порядок.

Рахимов пошел на опушку леса со взводом. Этот спортсмен-альпинист и ботаник, дисциплинированный офицер, не только другим, а часто и самому себе не доверял. Он должен был всюду сам быть, проверить, растолковать и убедить прежде всего самого себя... Бозжанов с его юношеской пылкостью, добродушием, солдатской непосредственностью был «своим человеком» для бойцов. Он всегда спешил, часто не договаривал слова, у него был грубый казахский гортанный акцент. Он был фронтовым воином, политруком и неплохим командиром. Он был боевым артельщиком. Он ходил и по-своему «журил» бойцов своей роты: «Я тебе что сказал, а ты что сделал? А?» Это был предел гнева Джалмухаммеда, чего люди боялись больше, чем любой матерщины. Филимонов был инертным, скрытным и болезненно самолюбивым. Он, видимо, обиделся на Рахимова за то, что тот увел взвод из его роты и «точил зубы» на комбата за то, что он «до сих пор не доверяет» ему, Филимонову. Он сидел на пне и молчал. Толстунов шел со мной рядом, узнавал почти каждого бойца и называл его по имени или по фамилии, иногда величал по имени и отчеству, шутил с ними, называл «орлом», «стреляной птицей», «бывалым солдатом», а некоторым говорил: «Ты же не впервой в таком деле, Иван Антонович!», или: «Ты в этом деле ежели собаку не съел, то щенка уж проглотил во всяком случае».

...Взвод за взводом под командой шли с котелками

к трем нашим походным кухням. Повара вычерпывали из булькающего котла густую перловую кашицу и наливали полные котелки. Боец уходил с дымящимся от пара котелком. Когда я был красноармейцем, мне никогда не наливали полного котелка супу(ведь в круглом котелке емкость почти два литра) да еще такой добротной кашицы. На мой вопрос — почему такая кашица, вместо супа и почему наливают до самого края котелка, добродушный толстяк-повар ответил:

— Лейтенант Борисов приказал заложить всю крупу и все мясо. Тут смотрите, товарищ комбат,— он малой поварешкой вычерпал кашицу,— мяса почти столько же, что и крупы. Не беспокойтесь, товарищ комбат, всем хватит, а некоторым обжорам можно будет с полчерпака добавки давать.

У других кухонь творилось то же самое.

Я вызвал Борисова и спросил его:

— Лейтенант Борисов, когда вы собираетесь умирать?

Борисов опешил от такого вопроса.

— Что ты, комбат? — дернул меня за рукав Толстунов.

— Я вас спрашиваю, когда вы собираетесь умирать, Борисов? Ответьте мне, когда? — кричал я на командира хозвзвода нашего батальона.

Борисов замигал глазами и растерянно ответил:

— Когда убьют, или когда сама смерть придет, товарищ комбат...

Толстунов рассмеялся и шутливо сказал:

— Никто из нас не умрет, пока смерть не придет.

— Тут не до шуток, Федор Дмитриевич,— оборвал я его и снова обрушился на Борисова: — Вы что это вбухали в котлы весь запас крупы и мяса?! Думаете к обеду батальона не будет, и вам будет некого кормить?

— Да, вы здесь немного оплошали, Борисов,— вмешался Толстунов.— Теперь до меня лишь дошел гнев комбата. Зачем вы так сделали? Батальон будет жить...

— Мне приказал лейтенант Рахимов. Я же дол-

жен был выполнить его приказание. Ведь он мой начальник! — ответил Борисов, задыхаясь от обиды.

— Ладно, идите,— сказал Толстунов.— Рахимов сам объяснится.

— Краев на той стороне сидит. Его долю не сметь трогать,— бросил я вслед уходящему Борисову.

— Ни за что ты честного парня отругал. Ты прав в одном: при нашем положении в котел надо было класть меньше нормы, чтобы побольше иметь в запасе. Если разгром продмага военторга на наших глазах был неорганизованным грабежом, то тут давать бойцу вместо одной сразу четыре нормы — организованный грабеж. Ты слишком не расходись на этой почве. С Рахимовым разреши мне поговорить по этому вопросу.

В это время раздались ружейно-пулеметная трескотня и три выстрела из противотанковой пушки...

Когда мы с Толстуновым сидели на валежнике и ели из одного котелка крутую кашицу, пришел Рахимов.

— Ну, что там, Хаби, вы с немцами «гутен моргеном» обменялись? — смеясь спросил Толстунов.— А мы вот наслаждаемся, как видишь, вкусной кашицей. Ты предлагал вылить все,— громко рассмеялся он,— а я спас, так что этим вкусным завтраком вы все обязаны мне...

Рахимов устало сел на пень и приказал моему ординарцу принести ему поесть.

...Батальон по тылам противника пробирался к своим. Мы шли по проселкам, по лесным просекам, с боем перешли шоссе. Когда мы подходили к шоссе, по нему мчались немецкие машины. Теперь шоссе было открыто для них. Мы пропустили одну мотоколонну. Когда мы подтянулись и залегли почти у самого кювета,— шла вторая мотоколонна, в кузове машин сидела пехота. Я приказал вести огонь по кузовам машин, в водителей не стрелять. Когда колонна поравнялась с нами, по сигналу был открыт ружейно-пулеметный огонь. Ошеломленные неожиданным обстрелом, водители прибавили газу и промчались, увозя свой груз — убитых и раненых. Пуля угодила в води-

теля предпоследней машины. Машина остановилась, а идущая сзади натолкнулась на нее. Немецкие солдаты спрыгнули на шоссе, залегли в кюветах и открыли огонь.

— Вперед! — крикнул я.

Наши бойцы бросились вперед, смяли немцев. Мы пересекли шоссе коротким броском и спешно углубились в лес. Вышли на опушку леса в районе Гусенова. Краев доложил, что Гусеново занято немцами. Расставили непосредственное охранение, решили устроить большой двухчасовой привал, разведать окрестности.

Разведчики ушли выполнять задание. Люди расположились на отдых. Рота Краева завтракала-обедала. Рахимов был в плохом настроении. Видимо, Толстунов серьезно поговорил с ним. Рахимов спросил у меня разрешения «пойти и одним глазком посмотреть на шоссе». Он уехал со своим коневодом и не вернулся в батальон.

Я, сидя опершись на ствол громадной сосны, уснул. Вдруг затрещали автоматные очереди. Я проснулся и вскочил. Батальон, который отважно дрался почти трое суток, бежал в панике. Я остолбенел. В маскхалатах, треща автоматами, шел немецкий взвод. Стояли у пушек, повозок, походных кухонь наши лошади. Они выглядели осиротевшими, беспомощными. «Значит, все пропало...» — промелькнуло у меня в голове. Я был в оцепенении.

— Комбат остался, а вы бежите! Назад! — как сквозь сон донесся до меня голос Толстунова. Участилась трескотня беспорядочной стрельбы, свистели пули, послышались команды, ругань, выкрики. Кто-то крикнул: «Ура!» Люди повернули назад, держа винтовки наперевес, с разъяренными лицами. Я стоял как вкопанный. Помутилось в глазах, не слушались ни ноги, ни руки, омертвел язык. Все перемешалось, как в нелепом сне. Я тогда пережил и понял, что такое оцепенение. Я за десять минут постарел на десять лет.

...Рахимов отлично ориентировался на местности как днем, так и ночью. Но он уехал и не вернулся.

Командир нашей головной роты Филимонов был не особенно силен в топографии, а наши взводные лейтенанты, досрочные выпускники Ташкентского и Алма-Атинского пехотных училищ, были слишком молоды и малоопытны.

Во главе головного дозора встал я сам (всякий военный поймет, что значит командиру батальона идти во главе головного дозора). Шли мы по проселкам, по лесным просекам. Шли осторожно, шли медленно. Я держал за пазухой топографическую карту и компас. На каждом повороте сличал карту с местностью, определял азимуты.

Наступила ночь. Тьма-тьмущая. Просека вывела нас к большаку. Для того, чтобы попасть на следующую просеку по другую сторону большака, надо было пройти километра два, а большак был занят противником: шли танки, мотопехота — видимо, какое-то соединение спешно подтягивалось к линии фронта. Мы стояли в лесной чаще и смотрели, как проходят колонны. Приближался топот ног — шла пехота. Посланная разведка донесла, что другая пехотная колонна идет километрах в двух-трех от места нашей стоянки. Мы вышли на большак и пошли за первой немецкой колонной в пятистах-шестистах метрах. Когда мы прошли километра полтора, мимо нашей колонны промчался мотоцикл с коляской и, поровнявшись с головой колонны, выкрикнул: Der Oberst hat befohlen keinen Marschhalt bis zum Bestimmungsort![1]

— Прибавить шаг,— шепотом передали мою команду по колонне.

Я шел по левой стороне большака, вплотную к кювету, чтобы не прозевать просеку.

Дошли до просеки и свернули влево.

Когда мы углубились в лес, немцы спохватились. Видимо, преследовать нас они не решались, а провокационно кричали:

— Товарищи! Не туда вы пошли! Вернитесь обратно!

---

[1] Полковник приказал привалов не делать до места назначения.

Минут через десять взвилось несколько осветительных ракет, и немцы бросили несколько тяжелых мин в лес, в нашу сторону.

* * *

К утру добрались мы до своих.

Деревня Колпаки. Настроение в штабе дивизии было мрачное. Меня довольно холодно принял новый командир дивизии — грузный человек, полковник Щелудков. Присутствовавшие при этом комиссар Егоров, начальник штаба полковник Серебряков были чем-то подавлены. Никто меня не спросил почти ни о чем. Полковник приказал вести батальон в наш полк...

Когда я вошел в оперативное отделение штаба дивизии, у капитана Гофмана глаза были воспаленные от бессонных ночей. Он вяло поздоровался со мной и спросил безразличным тоном: «Ну, как пришли?» и указал на топчан, говоря: «Вот ваш адъютант старший отдыхает». На топчане действительно спал Рахимов. Он, оказывается, приехал еще вчера вечером. Я разбудил его и приказал идти в батальон. На его вопрос «какие будут указания?» я резко ответил: «Идите сейчас же!» Когда он вышел, Гофман спросил:

— Почему вы грубы с ним?

— Со своим коневодом выходить из тыла противника гораздо легче, чем с целым батальоном,— ответил за меня Толстунов.

Гофман из полевого штабного планшета вынул несколько листов бумаги и протянул их мне. «...батальон вел упорные бои в районе станции Матренино, Горюны. Связь с батальоном нарушена, местоположение его неизвестно...» — прочел я в боевом донесении штаба дивизии штабу армии от двух часов ночи восемнадцатого ноября 1941 года, а в шесть часов утра этого же числа в боевом донесении писалось: «...батальон занимает прежнее положение: Горюны, ст. Матренино, отм. 151,0. В течение дня отразил несколько атак противника, подбив танк, захватив орудие ПТО, миномет, тягач с груженой автомашиной и другое оружие и имущество...»

— Ваши данные далеко не точны,— вырвалось у меня.

— У меня тогда под руками не было других данных,— холодно бросил Гофман.

В 8 часов вечера, 19 ноября 1941 года в боевом донесении № 25 писалось: «...батальон, занимая оборону в районе ст. Матренино, отм. 151,0 Горюны, вел бой в течение трех дней, несмотря на окружение. Противник потерял три танка, одно орудие, две автомашины, захвачено много оружия и до ста человек убитыми. 19 ноября 1941 года батальон попал в окружение...»

Когда я вернул документы, Гофман сказал:

— Генерал очень беспокоился и каждый час спрашивал, нет ли весточки от вас...

Я процитировал несколько строк из подлинных документов, чтобы показать читателю, насколько скуп и сух, необъемен и равнодушен к человеческим судьбам язык боевых документов.

Меня пригласили в разведотделение штаба дивизии и учинили целый допрос. В смысле профессионального любопытства разведчики-штабисты могут перещеголять любого корреспондента газеты. От резкости меня удерживало присутствие одной девушки: когда я вошел и представился майору Старикову, в углу комнаты сидела хрупкая, гибкая, как тростник, лет восемнадцати-девятнадцати светлая шатенка. Среди грубых фронтовиков она мне показалась почти ребенком. Она была в гражданском платье. Простая, гладкая прическа на маленькой головке, чуть вытянутое лицо, стыдливые серые глаза, прямой нос, острый подбородок, невысокая девичья грудь, длинные красивые пальцы, Она была прислана в дивизию в качестве переводчика. Звали ее Евгенией Ивановой, дочь потомственного рабочего Василия Ивановича Иванова...

Меня выручил Толстунов, пришедший из политотдела за мной.

— Ну, комбат, пошли. Батальон, усталый и голодный, стоит в лесу и нас ожидает при тридцатиградусном морозе. Пошли, пошли, а то людей заморозим. Пошли...

Мы шли в свой полк, который стоял в десяти километрах от штаба дивизии. Рахимову и всем коноводам с конями я приказал идти в хвосте колонны, замыкающими. Мы шли молча, и это напоминало траурный марш.

...Комиссар полка Логвиненко любил играть на первой и только на первой скрипке и был неплохим актером-режиссером (иногда в хорошем смысле этого слова). У него была хорошая память, и цитатчиком он был непревзойденным. Он, например, знал наизусть стихи Джамбула и Сулеймана Стальского. Как человек по природе горячий и болезненно самолюбивый, он в нужный момент мог, не задумываясь, положить свою голову в бою, но, как огня, боялся политотдела дивизии, докладывал ему о каждой мелочи и вел длиннейшую переписку. Если бы у него был бы хоть годичный опыт командира взвода, он бы, наверное, претендовал, по крайней мере, на должность командира дивизии...

...Когда мы подошли к деревне, где стоял штаб полка, то увидели около роты выстроенных бойцов, командира и комиссара полка. Я остановил батальон и, скомандовав: «Смирно! Равнение направо!», салютуя клинком (который я носил по старой привычке до конца войны, даже будучи командиром дивизии), подошел строевым шагом к командиру и комиссару полка и громко отрапортовал:

— Товарищ командир, товарищ комиссар полка! — Хотя последнее по уставу не полагалось, я нарочно произнес эти слова громче, отдавая должное стараниям Логвиненко, организовавшему нам такую торжественную встречу, а он от удовольствия словно помолодел лет на десять и стоял, улыбаясь по-детски.— Первый батальон вверенного вам полка выполнил боевые задания генерала Панфилова и прибыл в ваше распоряжение...

Командир полка майор Елин, приняв рапорт, подал мне руку, а комиссар Логвиненко руки не подал, он обнял меня, поцеловал и, обращаясь к встретившей

нас сборной роте из подразделений штаба полка, своим чуть хрипловатым голосом выкрикнул:

— Нашим боевым товарищам, достойно выполнившим боевое задание нашего отца, генерала Панфилова, наше гвардейское «ура», товарищи!

Рота громко крикнула: «Ура!» А мой усталый батальон безо всякой команды подхватил замирающее эхо и троекратно и протяжно прокричал: «Ур-ра! Ур-ра! Ур-ра»!

Мой боевой друг и товарищ Федя Толстунов стоял на правом фланге батальона и вытирал платком глаза.

Логвиненко был взволнован. Он вышел на середину строя, снял шапку-ушанку. На морозе его белесый чуб нелепо торчал во все стороны. Комиссар полка начал свою речь:

— Товарищи! Орлы боевые! Хлопцы дорогие,— тут он захлебнулся от волнения и закашлялся.— Я, как комиссар вашего полка, очень и очень рад вас видеть здесь (аплодисменты). Я, хлопцы боевые, вас всех обнимаю и целую. Я вас, товарищи, от всего комиссарского моего сердца поздравляю с боевыми успехами (аплодисменты). Вы, хлопцы, пережили много, но и мы пережили за эти дни немало. Мы тоже воевали, мы тоже не меньше вашего страдали. Вы, товарищи, с достоинством, по-гвардейски выполнили боевое задание генерала Панфилова. Не скрою от вас, хлопцы: мы вас считали погибшими. Но вы, товарищи, здесь стоите здоровенькими. Как наши деды говорили, «слава богу» (аплодисменты). Некоторые из ваших, из наших товарищей погибли в боях. Слава и честь им, героям, отдавшим жизнь за нашу родину! Вы все снимите шапки (строй снимает шапки), молчите, хлопцы, и про себя произнесите : «Вечная память и вечная слава героям павшим» (минутное молчание). Мне незачем говорить, хлопцы, вам о долге советских воинов перед родиной. Нам очень туго и трудно приходится. Но мы с вами — большевики, мы —красногвардейцы. До Москвы осталось совсем и совсем недалеко, хлопцы! Неужели мы позволим, хлопцы, чтобы фашисты до Москвы дошли?!

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленную при этом отвагу и геройство наш командир дивизии, генерал Иван Васильевич Панфилов, участник первой мировой войны, гражданской войны и этой, Великой Отечественной войны, награжден третьим боевым орденом Красного Знамени (аплодисменты), и наша дивизия преобразована из 316-й в 8-ю гвардейскую. В этом заслуга Панфилова, как командира, и ваша, товарищи красногвардейцы, как советских воинов. Спасибо за боевую службу, товарищи! («Служим Советскому Союзу!»). Ура, товарищи! (Ур-ра! Ур-ра! Ур-ра!»).

Товарищи, наш славный командир генерал-майор Иван Васильевич Панфилов погиб смертью народного героя восемнадцатого ноября 1941 года в районе деревни Гусеново, Московской области. Весь личный состав нашей дивизии, состоящий из многих национальностей нашей родины, звал его каждый по-своему: русские — отцом, украинцы — батькою, казахи и киргизы — аксакалом, узбеки и уйгуры — дадою... Такое почтительное имя не каждый советский генерал заслужил! Такой чести не каждый большевик удостоен... Товарищи! Наш генерал погиб. Погиб как воин! Наш генерал завещал нам свято хранить боевые традиции нашей славной Красной Армии, быть верными своему воинскому долгу, верить в нашу победу над врагом...

Речь Логвиненко, которую я привожу почти со стенографической точностью, на нас произвела глубокое впечатление своей искренней человечностью.

* * *

В упорных боях пролетело несколько напряженных дней. Описывать их не стану. В эти дни читали мы газеты. В газетах писали о преобразовании 316 стрелковой дивизии в 8-ю гвардейскую дивизию, о награжде-

нии дивизии орденом Красного Знамени. Печатались отклики на геройскую гибель Ивана Васильевича Панфилова: «...Светлая память Ивана Васильевича, отдавшего свою жизнь за счастье и свободу советского народа и нашей родины, будет вечно жить в наших сердцах и сердцах его соратников — бойцов, командиров и политработников давизии, которая под его руководством заслужила звание гвардейской».

«Имя Ивана Васильевича будут всегда помнить трудящиеся Советского Союза, как имя героя Великой Отечественной войны против немецких захватчиков»,— писал 19 ноября 1941 года генерал-лейтенант Рокоссовский, командующий армией, в составе которой действовала наша дивизия.

Нет, никогда гвардейцы не забудут
Его дела и облик волевой.
Он с нами, генерал Панфилов, всюду,
Он и теперь ведет нас в жаркий бой.
Он крепкий, как железо, и простой,
На флангах, то на правом, то на левом,
Своих полков выравнивает строй,—

писал младший лейтенант артиллерийского полка дивизии Дмитрий Снегин.

Генерала Панфилова все вспоминали с уважением и любовью, и казалось, что он незримо присутствовал в наших рядах. Его смерть была тяжелым испытанием, постигшим большую боевую семью.

У меня до сих пор чередуются одни за другими воспоминания о нем. Вот некоторые из них.

...Еще в Алма-Ате, в первые дни формирования нашей дивизии, генерал, выходя нам навстречу из кабинета и подхватив меня под руку (это мне тогда казалось совсем не по-генеральски), заторопился, увлекая меня.

— Пойдемте быстрее. Я увлекся бумагами. Мы опаздываем. Не полагается опаздывать к начальству. Адъютант где-то застрял. Я вас прошу заменить мне на время адъютанта. Генералу без адъютанта как-то неудобно к начальству являться. Пойдемте, мы уже опаздываем...

Признаться, я был смущен такой фамильярностью

и словами «я вас прошу», обращенными ко мне, старшему лейтенанту. Когда машина мчалась по широким и прямым улицам, утопающим в зелени благоухающей свежестью горного воздуха Алма-Аты, генерал спросил меня:

— А вы знаете, куда мы едем?

— Точно не знаю, товарищ генерал. Но вы же сказали — к начальству.

— Мы с вами едем в ЦК. А вы знаете, зачем мы туда едем?

— Не знаю, товарищ генерал.

— Я вам по секрету скажу,— у него при этих словах промелькнула почти детская улыбка, омолодившая его лицо,— меня принимают секретари ЦК и предсовнаркома. Я просил их об этом, и они уважили мою просьбу. Вы знаете, о чем я их хочу просить?

— Не знаю, товарищ генерал.

— Коль вы меня сопровождаете, должны знать, зачем мы с вами едем. У меня к руководству республики всего три просьбы: первая просьба — к нам прибывают более полсотни женщин и девушек, врачей, фельдшеров и медсестер — добровольцев. Я хочу просить одеть этих патриоток по-военному и в то же время по-женски прилично. Дивизионный интендант говорит: «Ну что ж, товарищ генерал! Оденем их как солдат одеваем». Он хочет этим девушкам и женщинам выдать мужские рубашки, гимнастерки, брюки, портянки и солдатские сапоги. Говорит, что так положено по табелю. Нет, я не могу одевать девушек в мужское обмундирование! Белье обязательно должно быть женское. Не брюки, а юбка, не портянки, а чулки. Конечно, гимнастерку, шинель, шапку и ремень пусть носят на общих основаниях.

— А как же быть с волосами, товарищ генерал?

— Это второстепенный вопрос. Женщины очень дорожат своими косами. Вы уместно напомнили об этом, интересно, как все-таки быть с косами? — Панфилов почесал затылок.— Не будем об этом думать: пусть сами решают и носят себе на здоровье любую прическу, какая удобна в полевых условиях...

Второе,— продолжал Иван Васильевич,— это хочу

просить, чтобы у нас был свой оркестр. Все-таки при удобном случае идти под музыку торжественно и приятно. В-третьих, хочу просить, чтобы руководители республики побывали в наших полках и поговорили с народом по-товарищески, по-родственному...

Через час из кабинета первого секретаря ЦК вышел генерал, очень довольный и веселый. Когда мы шли по длинному коридору Дома правительства, он взял меня на минуту под руку и тихо сообщил:

— Все вопросы мы с вами разрешили, все наши просьбы уважили товарищи.

Легкими и быстрыми шагами он прошел вперед к выходу, молодцевато, по-военному отвечая на приветствия постового милиционера...

... В сентябре наш батальон занимался оборонительной работой в районе села Старое Рахино. Приехал генерал и пешком прошел от правого до левого фланга, внимательно осматривая оборудуемые нами сооружения. Генерал приказал мне собрать бойцов. Когда все собрались, он разрешил сесть и курить, а сам опустился на пень и спокойно начал:

— Я приехал к вам, товарищи, посмотреть, что вы тут делаете, и немного побеседовать с вами. Должен вам сказать, что работаете вы неплохо. Правда, среди вас, я заметил, есть люди, которые работают с ленцой. Я на них указывать пальцем не буду. Пусть их пожурят сами командиры отделений, их непосредственные начальники. Солдата от родного дома и семьи оторвала война. На войне крыша над его головою — это божье небо, дом для него в бою — окопы и траншеи, а семья — тот боевой коллектив, где он служит. Этот коллектив должен быть дружным, как хорошая семья. Мы готовимся к бою и подготавливаем для себя боевые позиции. Каждый боец должен работать с прилежностью настоящего хозяина, строящего свой собственный дом. Надо оборудовать траншеи и ячейки так, чтобы можно было жить и воевать с удобствами. Воевать, товарищи, нам придется, крепко воевать! Главная задача наша — побить немца умело и с меньшими, как только можно, потерями для нас. Хорошо оборудованная позиция сбережет бойца от пуль и осколков...

Каждый воин должен знать свою задачу, от него требуется, как нужно делать то или другое дело. Чтобы боец сознательно выполнял свои задачи, в общих интересах, он должен быть в курсе обстановки. Так как я газеты раньше вас получаю, радио слушаю, я вам кратко хочу рассказать, как у нас обстоят дела на фронте... На всех фронтах ведутся бои, и наши войска под натиском противника, собравшего большую силу, на некоторых направлениях отходят с боями, а наши резервы из глубины страны пока не успевают прибывать к линии фронта, чтобы помочь нашим товарищам, дерущимся с врагом. Но они скоро прибудут на фронт, как из далекой Алма-Аты прибыли сюда мы с вами. Пока нашим войскам приходится сражаться в трудных условиях. Товарищ Сталин в своей речи сказал прямо о том, что над нашей родиной нависла грозная опасность и дал анализ причин наших неудач. Вы все это помните хорошо, я повторять не стану. Предстоит нам с вами решать нелегкую боевую задачу. Мы обороняемся, а в обороне самое главное *остановить наступающего врага,* удержать занимаемые рубежи и позиции. А как удержать? Для этого сперва надо их хорошо оборудовать, чтобы удобно было вести огонь. Когда немец пойдет на нас, надо истреблять огнем наступающие войска фашистов, уничтожать их как можно больше. Много побьем фашистов — значит, вскоре враг вынужден будет остановиться...

Внимательно слушали все мы неторопливую речь генерала, и с каждым его словом в сердцах людских крепла вера в победу нашего правого дела.

* * *

Помнится, в начале ноября 1941 года наш штаб размещался в деревне Софьино. Оборонялись мы, оборонялся и немец. Джан под руководством Рахимова собирался готовить обед. Он топил жир, а Рахимов, сидя на полу, резал морковь. Когда Джан опустил в кипящий жир нарезанное на мелкие куски мясо, в котле забурлило, зашипело, и комната наполнилась паром и гарью. Наш хозяин, крепкий семидесятилетний старик, с седой бородой и прокуренными усами, кото-

рого мы все звали «папашей» закашлял, и наспех накинув на себя полушубок, вышел из дома.

К нам приехал генерал. Снимая полушубок, он спросил Рахимова:

— Вкусно пахнет тут у вас. Что готовите на обед?

— Хотели, товарищ генерал, для разнообразия плов приготовить сегодня,— ответил Рахимов, не зная куда девать немытые руки.

— А все у вас для этого есть?

— Все есть, товарищ генерал.

— Раз все есть, валяйте тогда, готовьте плов,— сказал Панфилов и, опускаясь на табурет, добавил:

— Давно я не ел плова, соскучился по азиатским блюдам. Коль у вас плов, я у вас гость. Принимаете такого гостя, хозяева?— спросил он нас обоих.

— Как же, товарищ генерал!

Когда Рахимов уходил, генерал вдогонку ему сказал:

— Вы, товарищ Рахимов, из-за меня не спешите, приготовьте плов как полагается, по-настоящему, по-узбекски.

...Генерал выслушал меня, потом вынул из планшета карту, развернул, разгладил ее и кратко ввел меня в обстановку...

Когда вошел хозяин дома, старик, генерал встал и поздоровался с ним за руку. Спросил:

— Ну, как, Иван Тимофеевич, ваше здоровье?

— Спасибо, товарищ генерал, пока жив-здоров. А как ваше?

— Зовите меня, Иван Тимофеевич, просто Иваном Васильевичем, мы с вами тезки.

Я, с разрешения генерала, пошел по делам. Когда вернулся, в передней Джан накрывал котел крышкой, затем укутал его байковым одеялом, а сверху своей стеганой курткой.

— Чтобы горячий дух не вышел, рис распарился и вобрал в себя жир,— объяснил мне он по-узбекски.— Так минут двадцать-тридцать буду держать, потом на стол подам, товарищ комбат.

Синченко топориком колол полено на мелкие щеп-

ки для разжигания самовара, а Рахимов делал салат из огурцов, с луком и редькой.

— А ты что, Иван Тимофеевич, отсюда не уходишь?— спросил генерал.— Ненароком мина в дом угодить может...

— А куда я из своей избы уйду?— грустным голосом ответил старик-хозяин.— Здесь я прожил всю жизнь. Тут моя Матрена Михайловна, царство ей небесное, пятерых детей родила, тут я хочу и умереть. Все ушли кто куда: два сына в Красной Армии где-то воюют, младшая дочка прямо из института тоже на фронт врачом пошла. А старшие, сын и дочь, с внучатами ушли за Москву, как только немец Волоколамск взял. Я остался сторожить дом. Когда немца отгоните, может, семья снова соберется...

— А моя старшая не доучилась, тоже на фронте,— сказал генерал,— медсестрой...

— Так чего ты, отец родной, девушке даже не позволил учебу кончить и послал на фронт? Свое родное дитя под огонь посылаешь!

— А это она сама себя послала. Война-то у нас всенародная, Отечественная война, Иван Тимофеевич.

— Да... Второй раз ты приезжаешь сюда... Слова плохого от тебя не слыхал. Все: «это делать надо...», «пожалуйста!» да «прошу вас!..» Странный ты генерал... Больно задушевный у тебя приказ... А ведь как, вижу, все слушаются...

Джан в большом хозяйском блюде внес дымящийся плов и поставил его на средину стола, а Рахимов с Николаем несли за ним тарелки, ложки и салат в блюдцах. Генерал встал, пошел мыть руки. Хозяин хотел было уйти, но генерал его не отпустил, сказав:

— Раз мы с тобой хорошо побеседовали, давай, Иван Тимофеевич, вместе и пообедаем.

Старик долго упорствовал, но после настоятельной просьбы генерала сел за стол.

Мы не дотрагивались до еды, соблюдая этикет, ждали, когда начнет генерал.

— Кто же плов ест ложкой? — сказал он Рахимову, подавшему ложки.— Давай из общего блюда ру-

ками, по-узбекски есть.— И, обращаясь к хозяину, начал объяснять: — Это кушанье называется плов, Иван Тимофеевич. Едят его вот так, руками.— Генерал с края блюда аккуратно взял правой рукой горсть плова и, не уронив ни одной рисинки, поднес ко рту,

— Когда руками ешь, совсем другой вкус получается,— добавил он с улыбкой.

Синченко стоял у двери и показывал Рахимову на флягу с водкой.

— Товарищ генерал, разрешите предложить «наркомовскую»? — нерешительно спросил Рахимов.

— А что же вы раньше не предложили, надо было начинать с этого! Давайте...

Синченко из фляги разлил водку в стопки. Генерал взял рюмку левой рукой и поднял тост за нашу победу.

— Дай бог, дай бог,— прошептал старик и, поставив рюмку на стол, мелко перекрестился и лишь после этого поднял стопку:

— Ваше здоровье, Иван Васильевич...

Обед завершился чаем.

Вечерело.

— Ну, выпить дали, вкусным пловом накормили, чаем напоили. Пора мне честь знать. Спасибо вам, товарищи.

Генерал попрощался тепло, за руку, со всеми, особенно со стариком и Джаном. Он на узбекском языке похвалил плов и в шутливой форме напрашивался еще раз к Джану в гости, когда тот будет готовить узбекские блюда. Джан сиял от слов генерала и, позабыв, что он красноармеец, как хозяин, по-восточному прикладывал руки к груди и говорил, что он всегда рад такому дорогому гостю.

Когда мы вышли на улицу, генерал еще раз попрощался с Рахимовым, а мне сказал:

— А вы меня проводите, товарищ Момыш-улы, мне надо с вами поговорить. Хоть вы и не любите ездить в санях, сядьте со мной рядом, а ваш коневод с моим адъютантом пусть следуют за нами.

Пока мы не въехали в лес, генерал молчал. В темной просеке был слышен лишь глухой цокот копыт

пары гнедых и легкое трение полозьев кошевки о снег.

— Мне помнится, как-то еще в Алма-Ате вы говорили о том, что после третьего июля впервые почувствовали себя офицером,— тихо сказал генерал и спросил: — Помните?

— Да, помню, товарищ генерал.

— Я тогда вас понял так, что вы после речи товарища Сталина почувствовали всю ответственность командира. Я был уверен, что большинство наших командиров так поняли и так почувствовали тогда, как и вы. Товарищ Сталин такую ответственную речь говорил от имени нашей партии, от имени Цека. Я давно хотел вас спросить товарищ Момыш-улы, но както не решался до сих пор, а теперь решил все-таки спросить.

— Спрашивайте, товарищ генерал.

— По какой причине вы до сих пор не вступили в партию?

Я был в полку единственным беспартийным комбатом, чем был особенно недоволен комиссар нашего полка Логвиненко, так что для меня этот вопрос генерала не был неожиданным. Я ответил не сразу.

— Я уверен в ваших искренних патриотических чувствах, я верю вам, как командиру. Лично у меня нет никаких сомнений в отношении вас, товарищ Момыш-улы, но я хочу знать, что вас удерживало и удерживает от вступления в партию? Ведь вы же были с 1924 по 1936 год в рядах комсомола.

«Ого, и это ему известно»,— промелькнуло у меня. Лошади, изредка фыркая, шли мелкой рысью, кошевка слегка покачивалась на неровном проселке, лес молчаливо стоял темной стеной. Адъютант генерала и Синченко трусили мелкой рысью позади кошевки, то догоняя нас, то отставая.

Я рассказал генералу о том, как в 1936 году в пути на Дальний Восток потерял комсомольский билет. Походная жизнь, переезды из одного уголка в другой уголок Дальнего Востока и бесплодная переписка с организацией, где я раньше состоял на учете, были причинами моего механического выбытия из комсо-

мола. Далее я рассказал генералу, что считаю себя недостаточно подготовленным для вступления в партию.

— Воевал я с 1916 года, в первой империалистической,— начал Панфилов после недолгого раздумья.— В старой армии дослужился до фельдфебеля. Потом, в гражданскую до 1929 года, вплоть до ликвидации басмачества в Средней Азии. В гражданскую войну почти на всех фронтах побывал. А вот теперь в Великой Отечественной участвую. С одной стороны неплохо, что вы не торопитесь. В свое время я тоже не торопился — вступил в партию лишь к концу гражданской войны, в 1923 году. Но я, как и многие мои товарищи, вступил в партию вполне убежденным. Вы говорите, что вы не подготовлены. Война не завтра, не послезавтра кончится. Война сама подготовит вас. Как говорится, да сохранит вас судьба, и вы станете настоящим боевым командиром-коммунистом...

Генерал велел ездовому красноармейцу остановиться и, слезая с кошевки, сказал:

— Дальше вы меня не провожайте. И так я вас увез далеко.

Прощаясь со мной, он задержал мою руку в своей и добавил: — Фашизм напал на нашу родину. Мы должны отстоять завоевания Великого Октября, отстоять любой ценой.

Я со своим коневодом Синченко возвращался обратно. Подо мной Лысанка шла мерным широким шагом, иногда фыркая и хрустя в зубах удилами. Человек с такой большой боевой биографией, один из тех воинов, который на собственных плечах пронес всю тяжесть солдатской судьбы в первой империалистической, а затем в гражданской войне, еще тогда, четверть века назад, отстаивая в боях завоевания революции против интервентов, внутренней контрреволюции, со мной говорил, как равный товарищ, не поучал, не наставлял в обычном смысле этих слов.

Мы ехали по темной аллее, не спеша, и про себя я повторял последние слова коммуниста Ивана Васильевича Панфилова: «Мы должны отстоять завоевания Великого Октября, отстоять любой ценой».

...Однажды я рассказал генералу такой случай.

В районе совхоза имени Сталина взвод немецких разведчиков попал под перекрестный огонь нескольких станковых и ручных пулеметов нашего батальона. Немцы заметались и бросились назад, но пулеметчики продолжали поливать их свинцом. Ни один немец не ушел. Живым оказался один тяжело раненный сержант. Его принесли на носилках в штаб батальона. Он был укутан теплым шерстяным одеялом, на руках — замшевые перчатки. Немца очень знобило, и он на все вопросы отвечал: «Darüber darf man nicht sprechen. Ich weiβ davon nichts»[1].

Когда он попросил пить, я спросил нашего фельдшера, старика Киреева, оказавшего сержанту первую помощь, можно ли ему дать воды, Киреев ответил на ухо:

— У него позвонок перебит в нескольких местах и сквозные ранения в живот.

Немец выпил воду залпом, тяжело вздохнул и сказал: «Danke. Ich dachte nicht, das die Bolschewiki so gut sind»[2].

Мы более не задавали вопросов немецкому сержанту. Киреев не отходил от него. Немец застонал, попросил приподнять голову и, сказав: «Ich sterbe bald. Ich hofle daβ man mich beerdigt»[3], — скончался на руках Киреева. Киреев закрыл ему глаза и осторожно опустил его голову на подушку. Смерть вражеского воина на всех присутствующих произвела тяжелое впечатление.

Оказывается, когда немец жаловался, что ему холодно, его укутали одеялом, а когда он сказал, что у него мерзнут руки — командир роты, лейтенант Василий Попов, надел на его руки свои перчатки. Сержанта и его товарищей мы похоронили.

— Другое дело — на поле боя,— задумчиво прищурив глаза, сказал генерал.— Там свои законы. Но

---

[1] Об этом нельзя говорить. Я об этом не знаю.

[2] Благодарю. Я раньше не думал, что большевики так добры.

[3] Я умираю. Надеюсь, меня похоронят.

когда враг пленен и если, тем более, ранен, к нему должно быть проявлено гуманное отношение. Этого требует воинская этика.

...Помню, у нас был трофейный радиоприемник. Степанов держал его в исправности. Когда я вошел в комнату, Степанов, сидя на корточках, настраивал его. Здесь же сидели Бозжанов, Краев, Рахимов.

Сначала из эфира донеслись бессвязные звуки, затем их сменили резкие квакающие немецкие голоса. И вдруг — бурные аплодисменты, крики «ура!»

Телефонист протянул мне трубку, а Степанов по знаку Рахимова выключил радио.

— Товарищ Момыш-улы,— послышался голос генерала,— у вас есть радиоприемник?

— Есть, товарищ генерал.

— Тогда ловите Москву и слушайте,— приказал генерал.

Когда я велел Степанову настроиться на Москву, волнение охватило всех, и все, кто был в комнате, придвинулись к приемнику... Резкий треск, шум, снова бессвязные звуки,снова немецкие голоса...

— Какое сегодня число? — спросил Краев Бозжанова.

— Шестое ноября...— ответил тот, просчитав по пальцам.

Резкий свист, и все умолкло.

Степанов что-то налаживал, крутил, настраивал... Наконец, найдена верная волна. Знакомый всем голос, спокойный, неторопливый...

«...Враг захватил большую часть Украины, Белоруссию, Молдавию, Литву, Латвию, Эстонию, ряд других областей, забрался в Донбасс, навис черной тучей над Ленинградом, угрожает нашей славной столице — Москве.

...Потоки вражеской крови пролили бойцы нашей армии и флота, защищая честь и свободу родины, мужественно отбивая атаки озверелого врага, давая образцы отваги и геройства. Но враг не останавливается перед жертвами, он ни на иоту не дорожит кровью своих солдат, он бросает на фронт все новые и новые отряды на смену выбывшим из строя и напрягает все

силы, чтобы захватить Ленинград и Москву до наступления зимы, ибо он знает, что зима не сулит ему ничего хорошего.

...Чем объяснить, что «молниеносная война», удавшаяся в Западной Европе, не удалась и провалилась на Востоке?

...Неудачи Красной Армии не только не ослабили, а наоборот, еще больше укрепили как союз рабочих и крестьян, так и дружбу народов СССР. (Аплодисменты). Более того,— они превратили семью народов в единый, нерушимый лагерь, самоотверженно поддерживающий свою Красную Армию, свой Красный Флот. Никогда еще советский тыл не был так прочен, как теперь. (Бурные аплодисменты).

...Не может быть сомнения, что идея защиты своего отечества, во имя чего и воюют наши люди, должна породить и действительно порождает в нашей армии героев, цементирующих Красную Армию, тогда как идея захвата и ограбления чужой страны, во имя чего собственно и ведут войну немцы, должна породить и действительно порождает в немецкой армии профессиональных грабителей, лишенных каких-либо моральных устоев и разлагающих немецкую армию.

...Оборона Ленинграда и Москвы, где наши дивизии истребили недавно десятка три кадровых дивизий немцев, показывают, что в огне Отечественной войны куются и уже выковались новые советские бойцы и командиры, летчики, артиллеристы, минометчики, танкисты, пехотинцы, моряки, которые завтра превратятся в грозу для немецкой армии (бурные аплодисменты).

Нет сомнения, что все эти обстоятельства, взятые вместе, предопределяли неизбежность провала «молниеносной войны» на востоке.

...Можно ли считать гитлеровцев националистами? Нет, нельзя. На самом деле гитлеровцы являются теперь не националистами, а империалистами.

...Партия гитлеровцев есть партия империалистов, притом наиболее хищнических и разбойничьих империалистов среди всех империалистов мира.

Можно ли считать гитлеровцев социалистами?

...Гитлеровская партия есть партия врагов демократических свобод, партия средневековой реакции и черносотенных погромов.

«...Надо любыми средствами,— говорит Гитлер,— добиваться того, чтобы мир был завоеван немцами. Если мы хотим создать нашу Великую Германскую империю, мы должны прежде всего вытеснить и истребить славянские народы — русских, поляков, чехов, словаков, болгар, украинцев, белоруссов. Нет никаких причин не делать этого».

«Человек,— говорит Гитлер,— грешен от рождения, управлять им можно только с помощью силы. В обращении с ним позволительны любые методы. Когда этого требует политика, надо лгать, предавать и даже убивать».

«Убивайте,— говорит Геринг,— каждого, кто против нас, убивайте, убивайте, не вы несете ответственность за это, а я, поэтому убивайте!»

«Я освобождаю человека,— говорит Гитлер,— от унижающей химеры, которая называется совестью. Совесть, как и образование, калечит человека. У меня то преимущество, что меня не удерживают никакие соображения теоретического или морального порядка».

...В одном из приказов немецкого командования от двадцать пятого сентября 489 пехотному полку, взятом у убитого немецкого унтер-офицера, говорится:

«Я приказываю открыть огонь по каждому русскому, как только он появится на расстоянии шестисот метров. Русский должен знать, что он имеет против себя решительного врага, от которого он не может ждать никакого снисхождения».

...В одном из обращений немецкого командования к солдатам, найденном у убитого лейтенанта Густава Цигеля, уроженца Франкфурта на-Майне, говорится:

«У тебя нет сердца и нервов, на войне они не нужны. Уничтожь в себе жалость и сострадание — убивай всякого русского, советского, не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик — убивай, этим ты спасешь себя от гибели, обес-

печишь будущее твоей семьи и прославишься навеки».

Вот вам программа и указания лидеров гитлеровской партии и гитлеровского командования, программа и указания людей, потерявших человеческий облик и павших до уровня диких зверей.

И эти люди, лишенные совести и чести, люди с моралью животных имеют наглость призывать к уничтожению великой русской нации, нации Плеханова и Ленина, Белинского и Чернышевского, Пушкина и Толстого, Глинки и Чайковского, Горького и Чехова, Сеченова и Павлова, Репина и Сурикова, Суворова и Кутузова!..

Немецкие захватчики хотят иметь истребительную войну с народами СССР. Что же, если немцы хотят иметь истребительную войну, они ее получат. (Бурные, продолжительные аплодисменты).

...Ленин различал два рода войн: войны захватнические и, значит, несправедливые и войны освободительные — справедливые.

Немцы ведут теперь войну захватническую, несправедливую, рассчитанную на захват чужой территории и покорение чужих народов. Поэтому все честные люди должны подняться против немецких захватчиков, как против врага.

В отличие от гитлеровской Германии Советский Союз и его союзники ведут войну освободительную, справедливую, рассчитанную на освобождение порабощенных народов Европы и СССР от гитлеровской тирании. Поэтому все честные люди должны поддерживать армии СССР, Великобритании и других союзников, как армии освободительные.

У нас нет и не может быть таких целей войны, как захват чужих территорий, покорение чужих народов, все равно, идет ли речь о народах и территориях Европы, или о народах и территориях Азии, в том числе и Ирана. Наша первая цель состоит в том, чтобы освободить наши территории и наши народы от немецко-фашистского ига.

У нас нет и не может быть таких целей войны, как навязывание своей воли и своего режима славянским

и другим порабощенным народам Европы, ждущим от нас помощи. Наша цель состоит в том, чтобы помочь этим народам в их освободительной борьбе против гитлеровской тирании, и потом предоставить им вполне свободно устроиться на своей земле, так как они хотят. Никакого вмешательства во внутренние дела других народов!

Но, чтобы осуществить эти цели, нужно сокрушить военную мощь немецких захватчиков, нужно истребить всех немецких оккупантов до единого, пробравшихся на нашу родину для ее порабощения (бурные, продолжительные аплодисменты).

Но для этого необходимо, чтобы наша армия и наш флот имели деятельную и активную поддержку со стороны всей нашей страны, чтобы наши рабочие и служащие, мужчины и женщины, работали на предприятиях не покладая рук, и давали бы фронту все больше и больше танков, противотанковых ружей и орудий, самолетов, пушек, минометов, пулеметов, винтовок, боеприпасов, чтобы наши колхозники, мужчины и женщины работали на своих полях, не покладая рук, и давали бы фронту и стране все больше и больше хлеба, мяса, сырья для промышленности, чтобы вся наша страна и все народы СССР организовались в единый боевой лагерь, ведущий вместе с нашей армией и флотом великую освободительную войну за честь и свободу нашей родины, за разгром немецких армий (бурные аплодисменты).

И в этом теперь задача.

Мы можем и мы должны выполнить эту задачу.

Только выполнив эту задачу и разгромив немецких захватчиков, мы можем добиться длительного и справедливого мира.

За полный разгром немецких захватчиков! (Бурные аплодисменты).

За освобождение всех угнетенных народов, стонущих под игом гитлеровской тирании! (Бурные аплодисменты).

Да здравствует нерушимая дружба народов Советского Союза! (Бурные аплодисменты).

Да здравствует наша Красная Армия и наш Красный Флот! (Бурные аплодисменты).

Да здравствует наша славная Родина! (Бурные аплодисменты).

Наше дело правое — победа будет за нами!» (Бурные аплодисменты).

Сталин кончил говорить.

Волнение охватило всех. Мы просидели молча минут пять.

— Идите, товарищи, в роты и расскажите людям то,что слышали.

* * *

Тишина. Впереди, прорезанные окопами, траншеями, подмосковные поля. Над землей дымка морозного, зимнего утра...

Командиры и политработники пошли в роты рассказать бойцам то, что они слышали по радио. Я шел с Краевым на наш левый фланг.

— Товарищ комбат, разрешите сказать?

— Говори, Семен.

— Знаете... на Красной площади войска стоят... перед мавзолеем торжественным маршем проходят... Как вы думаете... Немец не накроет Красную площадь самолетами? Или там тоже туман, как тут у нас... То, что мы слушали, немец тоже слушал... Он же спокойно не будет сидеть...— тревожился Краев.

— Туман, Краев, не гарантия, Думаю, что раз проводится парад, значит, московское небо прикрыто надежно...

На опушке леса сидели бойцы. Когда мы подошли, они встали. Я им разрешил сесть и курить, а Краеву велел провести беседу. Он широкими шагами вышел на средину, взволнованно откашлялся, снял варежки, засунул их за пазуху и начал:

— Товарищи, сегодня, вот сейчас, на Красной площади проводится парад войск Московского гарнизона... Товарищ Сталин речь произнес от имени советского правительства и партии. Он нас приветствовал и поздравлял с двадцать четвертой годовщиной Октябрьской революции, которую наша страна празд-

нует в тяжелых условиях войны, когда враг захватил много советской земли и находится совсем недалеко от Ленинграда и Москвы.

Наша Красная Армия геройски дерется с противником. Армия и народ едины теперь, как никогда, в борьбе с врагом.

В 1918 году интервенты отобрали у нас гораздо больше земли, чем теперь захватили немцы, но тогда наши отцы, несмотря ни на что, ни на какие труднсcти, голодные, плохо одетые и вооруженные, разбили всех врагов. Разбили, потому, что дрались честно, дрались геройски. А у нас что? У нас пища есть, одежда неплохая, оружие у каждого есть. Мы знаем, что если воевать по-честному и геройски драться, немца дальше можно не пустить, как это мы сделали здесь, под Волоколамском. Москвы не видать фашистам, как своих ушей! А если подмога придет, можно будет и погнать немца и... он назад побежит. Немец неплохо воюет...— Тут Краев запнулся и виновато посмотрел в мою сторону.

— Правильно вы говорите, Краев,— подтвердил я.— Мы это на себе испытываем. Если бы немец плохо воевал, мы бы здесь не сидели.

— Но мы тоже воюем неплохо,— продолжал Краев.— Немцы тоже испытали это на себе. Мы их побили и остановили. Они уж сколько дней сидят в Волоколамске? Мы будем бить их до тех пор, пока не разобьем, товарищи, пока не победим. То, что мы остановили врага,— это цветочки, а ягодки — впереди. Когда подойдет подмога и будет у нас много танков, мы погоним немца и он, как миленький, побежит назад...

На нас, товарищи, смотрит весь народ, как на своих защитников. Мы должны честно и храбро драться... Товарищ Сталин сказал так, это мне запомнилось крепко: «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков: Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!»... Я, товарищи, вам рассказал, как я сам понял речь товарища Сталина...

...Краев меня проводил до своего правого фланга и пошел в другие взводы своей роты проводить беседу.

Шел я пешком к себе в штаб под впечатлением краевского выступления. Если все командиры и политработники так перескажут содержание речи товарища Сталина, как это сделал Краев, это будет неплохо.

Я вспомнил слова нашего генерала, высказанные на одном совещании командиров и политработников. Панфилов говорил: «...Мы сдали Волоколамск, но зато основательно потрепали четыре-пять полков у противника. Он не достиг своей цели. Мы сорвали ему план, мы заставили его, хотя временно, но отказаться от дальнейшего наступления. Теперь он не от хорошей жизни сидит в Волоколамске. Передайте это бойцам, а то они могут подумать, что мы без толку отступаем. Правда, мы отступаем тоже не от хорошей жизни, мы вынуждены отступать, но не без толку, а с толком. Немец остановился временно, он набирает силы, чтобы сделать еще один рывок и очутиться у ворот Москвы. Мы не позволим ему этого. Мы должны и впредь навязывать врагу затяжные бои, выигрывать время для подтягивания и сосредоточения наших резервов...

Время. Выиграть время!»

Сталин говорит: «...враг жестоко просчитался», «...фашистские захватчики стоят перед катастрофой!».

Москва. Торжественное собрание. Парад на Красной площади. Уверенный лозунг «Наше дело правое— победа будет за нами!» — все это тогда, когда враг у самых стен Москвы!

* * *

Суровыми были те дни. За честь и свободу нашей родины, за великие завоевания Октября шла битва с сильным, коварным врагом. Это была битва не на жизнь, а на смерть. Мы все сознавали — за нами Москва.



ИСТОРИЯ ОДНОЙ НОЧИ

Февраль сорок второго года. Суровая русская зима. Глубокий снег. Мороз и остервенелый буран... Ветер, как одержимый, вздымает до серых туч белые смерчи, а небо, опрокинувшись на нас, метет и метет без устали. И так третий день.

Мы в походе. Мы должны дойти до указанной цели. Таков приказ.

Передо мной, еле различимая в снежной мгле, тянется колонна.

Снег забирается в рукава, за пазуху, забивает глаза, люди идут как-то боком, по косой, рассекая пространство плечом. Ветер хрустит обледенелыми полами шинелей, рвет их из стороны в сторону.

На мгновение ослабев, буран с новой силой набрасывается на идущих. И кажется, что всю колонну, как одного человека, относит в сторону. Люди берутся за руки, чтобы устоять против этого безумца. Идут дальше. Надо спешить.

Бедный конь подо мной то храпит, то мотает головой, пробивая стену бурана. Когда снежная пыль ослепляет его, он сбивается с дороги, проваливается и, барахтаясь, пытается выплыть из снежной волны.

Я слышу, нет, я скорей ощущаю стук копыт; кажется, будто я сам, собственной ногой, стал на твердую, промерзшую до звона землю. Ослабив поводья,

подаюсь вперед. В середине колонны нагоняю верхового.

— Какой батальон? — стараюсь перекричать все ветры.

— Третий...— уносит метель ответ.

Наконец, вдали, сквозь сумеречную мглу, вырисовывается контур леса. К нему и тянемся мы с самого утра. Только там мы сможем найти приют на ночь. Спешим к нему, как к родному дому.

В лесу сумерки наступают раньше. Тень нагоняет тень, темной пеленой заволакивает лесную чащу.

Надо торопиться, как бы сумерки не опередили нас.

Вступаем в лес. Люди облегченно вздыхают, отряхивают снег. Слух, притупленный воем метели, возвращается к нам. Кто-то окликает товарища. Лес оживает...

Столетние сосны и раскидистые ели защищают нас, и теперь только издалека, как замирающее эхо, доносится шум ветра.

В глубь, в чащу — там теплее...

Скорей бы разгрести снег, выстелить дно ямы ветками и, вповалку, прижавшись друг к другу, согреться и уснуть.

Не проходит и часу, как наступает мертвая тишина. Невидимые сотни людей спят. Лишь окрик часового нарушает изредка эту тишину.

* * *

В лес заря приходит не торопясь, медленно, лениво. Лесная темень долго не уступает всепобеждающему свету, и лишь когда солнце подымется выше высоких сосен,— тень тает, и разорванная лесная тьма редеет.

За два часа до рассвета, в полной темноте: «Встава-а-ай! Подыма-а-а-йся!» — оторвало нас от теплых снежных постелей. «Шаго-о-ом марш!» — и под ногами снова хрустит снег.

Окутанные нежнейшей кисеей инея, безмолвные лесные великаны, склонив белые головы, как бы желают нам счастливого пути.

Метель опять набрасывается на нас, как только мы вступаем в занесенные снегом поля. Снежные вихри заметают следы. Голова колонны исчезает в серой мгле, и я вижу только шагающих со мною рядом...

На четвертый день похода небо, освободившись от туч, наконец, вздохнуло. Снег, залитый солнцем, слепит до боли. Мороз обжигает лица. Кое у кого на щеках и на подбородке потемнела кожа.

Одетые в маскхалаты, мы скользим по снежной целине. Конь наш — лыжи, плетка — палка. Расчленившись поротно, гуськом, лыжники вычерчивают ленты на нетронутой глади снега. Белое — на белом...

Наши обозы движутся окольными дорогами, мы же перерезаем поля напрямик.

Фронт близок. Вступаем в полосу досягаемости дальнобойных орудий. Пронзая морозный воздух, шепелявя, летит нам навстречу снаряд. Вот он ударил позади, высоко подняв снежный гейзер. Доносится тяжелое уханье взрыва.

Вот еще один и еще...

Мы оглядываемся, невольно ускоряем шаг.

В вышине, посеребренные солнцем, показались «мессершмидты».

Кажется, не заметили... Но нет, заворачивают. Посыпались мелкие бомбы. Валимся с ходу в снег. Вздымаются десятки белых фонтанов, осыпая нас снежной пылью.

Так нас встречают. Таково на языке войны «добро пожаловать».

* * *

Прошло несколько боевых дней... Неожиданно меня вызвал генерал.

У генерала Ивана Михайловича Чистякова я служил еще на Дальнем Востоке, и вот после смерти генерала Ивана Васильевича Панфилова он снова стал моим командиром.

Я вспомнил нашу встречу, когда мы вели бой за деревню Ново-Свинухово.

...Бой еще не затих. Горели дома, горели машины. Вражеские трупы валялись во дворах и на улицах,

среди них белели маскхалаты наших погибших воинов. Разгоряченные боем, бойцы перескакивали с автоматами наперевес через изгороди, перебегали из дома в дом, прыгали из окопа в окоп.

В сутолоке боя слышались резкие команды и весомая русская ругань.

Группа бойцов бросилась преследовать отступающих в беспорядке немцев. Немцы бежали не оглядываясь. Одни из них падали и больше не вставали, другие подымали руки.

Внезапно из соседней деревни начался минометный обстрел.

Бойцы рассыпались по окопам, укрылись в домах. Я стоял, прижавшись к стене дома, когда мой коневод Синченко с удивлением воскликнул:

— Товарищ командир,— генерал!..

Я обернулся.

По середине обстреливаемой улицы шел, спокойно оглядываясь по сторонам, плотный, среднего роста, в ушанке, в простой офицерской шинели и в больших рабочих сапогах человек лет сорока пяти. Это и был генерал Чистяков, наш комдив.

Я пошел ему навстречу и начал было докладывать:

— Товарищ генерал, вверенный мне полк...

— Вижу, вижу,— прервал меня генерал,— здравствуй!

Мы прошли дальше. Немного помолчав, он на ходу спросил:

— Какой результат?

— Полк овладел деревней Ново-Свинухово. В остальном пока не разобрались...

— Хорошо! Я в этой избе посижу, а вы доканчивайте эту трескотню.

Спустя короткое время, я доложил генералу о результатах боя и добавил, что и у нас есть потери.

Генерал чуть нахмурился.

— Без жертв боя не бывает. Только есть жертвы оправданные и есть жертвы неоправданные, за которые командир должен нести ответ... Расскажите, как был организован и проведен бой,— приказал генерал.

Я доложил, что это был бой, в котором участвовали бойцы пополнения, фактически первый их бой. Это и заставило меня идти с головным батальоном капитана Гундиловича и лично участвовать от начала до конца в бою. Затем доложил, как запоздавшие минометы пришлось расставить на близком расстоянии и давать одновремено залпы по середине и окраинам деревни, и как этот залп поднял необстрелянных юнцов, доложил об их стремительном натиске и дальнейшем развороте боя...

Генерал упрекнул с досадой:

— Ваша ошибка в том, что упустили часть немцев, вытолкнули их!

Я начал было оправдываться, но генерал категорически остановил меня:

— Знаю! Знаю! По этим сугробам не так-то легко было вам добиться этого. Но всегда надо стараться не выпускать врага. Это самое главное в нашем деле...

Теперь я ехал к нему в только что занятую нашими частями деревню Васильево, что была километрах в пяти от деревни Соколово, где укрепились немцы.

Генерал находился в домишке на окраине.

Русские избы!.. Сколько мне пришлось перевидать вас, сколько вы согревали нас в боях под столицею Москвою! Полуразрушенные, с неизменной печью у входа, порой с уцелевшими стеклами, а иногда и цветком на окне, резными наличниками и пестрыми занавесками, покинутые хозяевами иль обитаемые, с детворой, жмущейся по углам, потемневшие от времени, но с добела выскобленными полами, приветливые, вы укрывали нас, далеких гостей из теплой Средней Азии...

Я застал генерала склоненным над картой. На плечи его была наброшена шинель; он опирался на руку, пальцами сжимая висок. Генерал так был поглощен своими мыслями, что я не знал, остаться мне и доложить о своем прибытии, или уйти.

— Вот съежился, проклятый! — не замечая меня, проговорил генерал.— Прямо аппендицитом сидит, и ничем его не прошибешь! — он ударил кулаком по карте и выпрямился.

Я воспользовался нарушенным молчанием и доложил о своем прибытии.

— А-а-а! — заметил меня генерал.— Хорошо, что приехали. Он протянул мне руку и указал на табурет: — Садитесь...

За эти несколько дней, что я его не видел, он осунулся, лицо показалось мне бледным, помятым. Морщины, мелкие под глазами и глубокие на переносице, были особенно заметны. Припухшие веки говорили о долгих бессонных ночах.

Отодвинув карту на край стола, он крикнул адъютанту:

— Гончаров, вели завтрак подать! — и, устало откинувшись на спинку стула, сказал: — Сначала позавтракаем, а потом поговорим о делах. Вы тоже, наверное, голодны как волк! Мы же с вами на подножном корму. Где-то наши пайки болтаются...

Я кивнул головой, мы оба рассмеялись.

— Да, плохи наши дела! — вздохнул генерал.— Ну, ничего, как-нибудь разберемся, обязательно разберемся. Ведь мы же не лыком шиты...

За завтраком, то и дело забывая о еде, генерал кратко знакомил меня с общей обстановкой. Заметив, что я тоже не ем, он прерывал свои объяснения.

— А вы ешьте... Ешьте и слушайте... Черт возьми! Ешь, пьешь и с начала войны сам не замечаешь, что ж ты ешь. А есть все-таки приходится!— Он рассмеялся.— Ну, подвигайтесь поближе к карте. Вот это Кузьминск, а этот «коровий язык» — немецкая группировка. Место, где мы находимся, левый фланг, а Поспешново — правый. С этих флангов два наших фронта должны были нанести удар и окружить группировку немцев...— Генерал задумался и положил карандаш.— Такова обстановка, таков замысел командования. Это я вам говорю, чтобы вы были в курсе дела. Наши два фронта должны соединиться в районе Высоцка.— Он указал на карту. Я прочел: «Река Валоть, город Высоцк».

— Вот видите, сколько еще перед нами...— отмерив расстояние до Высоцка, сказал генерал — Сто пятьдесят километров, да, не меньше... Восемьде-

сят-девяносто населенных пунктов придется отвоевывать. А кругом леса, болота... И все в снегу, как в лебяжьем пуху. И противник неслабый. Он нам не отдаст этих селений, все теплые места у него в руках... Он по деревням, по обжитым опорным пунктам сидит, с насиженного места его нелегко столкнуть! А мы с вами все по лесам да заснеженным полям. Наши солдаты уже месяц, как под крышами не были,— с болью в голосе произнес он.— Мог ли кто знать, насколько вынослив наш советский человек! Боялся я, думал — всю дивизию заморожу. А ведь ни один еще не замерз? — оживившись, спросил генерал.— Правда?

— В походах и в огне боев, товарищ генерал, не замерзнешь! «Для воина седло—подушка, постелью служит лед, а одеялом — снег»,— так у нас говорят, товарищ генерал.

— Хорошо сказал ваш народ. Так, значит, вытянем, капитан? Доконаем немчуру? Заставим их по морозцу побегать? Запомните: в лоб брать деревню — значит, иметь много потерь. Если же обойти деревню, создать угрозу окружения, то враг, испугавшись, сам побежит с теплого местечка. А когда он выйдет на голый снежок, тут-то, на равных условиях, и вступить с ним в бой. Но помните и о другом конце палки. Если вы, как в Ново-Свинухове, упустите часть немцев, они в следующей деревне удвоят гарнизон... Немцы, которых вы вытолкнули из Свинухова, теперь преспокойно воюют в Соколове.

— Я их не так уж много упустил, товарищ генерал.

— От вас ушло пятьдесят, от другого сотня, от третьего десятков шесть — вот больше двухсот набралось. Нам, командирам, четыре правила арифметики помнить положено. Все время в уме да с карандашом в руках подсчитывать приходится. Только не поймите меня превратно. Ведь тактика — не арифметика, в тактике не всегда дважды два — четыре и трижды три — девять, у тактики свой закон — закон искусства. Дайте вашу карту.

Я вынул из планшета свою стотысячную. Генерал положил ее перед собой, старательно разгладил.

— Повернуть хочу ваш полк,— помолчав и подумав, сказал он.

— Если нужно, товарищ генерал...

— Да, не хотел я этого делать, но приходится. Эх война, война! Не все получается так, как задумаешь. Противник на то и противник, чтобы подсунуть неожиданное. Если бы не эти прятки да догадки, разве война была бы войной?! Вот разгадать бы, о чем этот подлец думает, обшарить бы его нутро, уловить бы его мыслишки.— Он лукаво посмотрел в мою сторону.— Это и называется дальновидностью командира, вам это должно быть понятно, капитан.

— Да, товарищ генерал... Ясная мысль сопутствует цели.

— Правильно сказал... Хочу ваш полк на одно задание послать. Батальоны у вас все подтянулись?

— Нет, товарищ генерал. Батальон капитана Клименко отстал, только через семь-восемь часов догонит.

— А пушкари — тоже отстали?

— Да, лошади по сугробам не тянут, товарищ генерал.

— Маловато у вас выходит... Полтора батальона?

— Нет, два батальона, товарищ генерал.

— А потери? Вы что до сих пор без потерь воевали?— не без язвительности произнес генерал.

— Да, фактически, полтора батальона...— подтвердил я.

— И все-таки с такими силами вам придется выполнить задачу, которая будет поставлена. В моем распоряжении пока других сил нет. Обстановка требует немедленного решения боевой задачи.— Он взял карандаш и стал набрасывать схему...

Итак, один из полков дивизии третьи сутки ведет бои за Соколово, но пока безуспешно, другой полк, обойдя этот пункт слева, вырвался далеко вперед и таким образом оторвался. Противник держит Соколово неспроста. Соколово — плацдарм для нанесения контрудара по прорвавшимся главным силам нашего корпуса. Соколовская группа имеет задачу: во что бы

ни стало продержаться до подхода из глубины резервов. Противник получает подкрепление и снабжается из Старикова через деревню Трошково. Поэтому генерал считал, что соколовская группа противника в первую очередь должна быть лишена путей подвоза и отрезана от прибывающих подкреплений. Тогда Соколово неминуемо падет.

Генерал приказывает мне обойти Соколово, выйти в тыл врага в районе Трошкова и к утру следующего дня овладеть Трошковым.

Генерал набросал на листках схемы, иллюстрируя свою мысль. Потом он встал и так заключил сказанное:

— Таков вам приказ, капитан. Ключ к Соколову, сдается мне, находится в Трошкове.

— Есть, товарищ генерал,— ответил я.

С улыбкой он протянул мне на прощанье руку.

— Ну, ни пуха ни пера! — и, задержав на мгновенье мои руки, он по-отечески взволнованно добавил: — Будь жив, Бауржан, желаю боевых успехов.

* * *

«Хочу повернуть ваш полк»... Мы повернули. По бездорожью, по снежной целине, описав правее Соколова полукруг километров в пятнадцать, мы направились к лесу северо-восточнее Трошкова. Близость противника требовала от нас особой осторожности. Любой шум, любой звук, дым от огня были равносильны сознательному предательству.

Как и в тот день, когда мы подходили к Ново-Свинухову, я всматривался в лица бойцов. Да, тогда эти мешковатые, с наивными, еще детскими лицами юноши, прибывшие накануне как пополнение, главным образом из Казахстана и Киргизии, вызывали у меня тревогу. При взгляде на них невольно мелькала мысль: «Эх, как бы с этими юнцами не хлебнуть горя. От отцовского дома, от классной парты они еще не отошли! Первый бой для них испытание. Побегут в первом бою, знай—никогда их больше в атаку не поднять. Правда, батыр не рождается от матери, не

знающей страха. Только пройдя через лишения походов и невзгоды боев, он приобретает стойкость».

Так, шагая рядом с бойцами в колонне головного батальона, я думал, как пробудить уверенность в душах молодых воинов. Тогда, под Ново-Свинуховым, внезапный «фейерверк» — грохот разрывов наших мин по опорному пункту противника — поднял дух новобранцев. У меня до сих пор звенит в ушах наше «ура!», которое прокатилось в то морозное утро по всей окрестности, и необстрелянные молодые воины с трех сторон охватили село.

Да, это было хорошо! Ну, а сегодня что у них на душе? Я всматриваюсь в лица. Не страх, а скорее волнение, настороженность угадываю я в их взглядах. Как воин воина, я понимаю их и успокаиваюсь.

Вот мы в лесу. Лес должен быть нем... Никаких признаков нашего присутствия. Полк, замри! Холодно — терпи! Голодно — терпи! Курить не смей!..

Скоро начинает темнеть. До вечера остаются считанные часы. Надо немедленно отправиться с офицерами на рекогносцировку. Нужно хоть издали посмотреть на это неведомое Трошково. Что за местность впереди, которую нам предстоит пройти боевым шагом? Что за противник, с которым нам придется встретиться? Как он построил свой стан? Что подскажет нам вид вражеского гнезда? Все это надо выяснить засветло: идти вслепую ночью — наверняка заблудиться, наверняка — неудача.

* * *

Мы на рекогносцировке. Бесшумно залегаем на опушке леса. Да, мы не ошиблись. Перед нами Трошково. Но что за населенные пункты подковой окружают Трошково? Смотрим на карту: на ней находим только безымянные сараи и отдельные дома. Кроме Трошкова, никаких деревень не обозначено. А здесь вместо одного — шесть населенных пунктов, расположенных клещами вокруг Трошкова. Откуда они взялись? Особых укреплений не заметно, видимо, части недавно подошли и еще не успели их подготовить.

За деревнями, как серые нити паутины, поблескивают шесть расчищенных дорог. Они переплетаются между собой и завязываются в крепкий узел в одной из деревень, к которой сходятся все пути. Она будто держит на длинной привязи остальные пять дорог.

Мы перед Трошковым, но Трошково не одиноко, и дорога, которую приказано отрезать, оказывается разветвленной на пять.

На войне всякое случается. Много раз на своем боевом пути от реки Рузы до Подмосковья с этим встречались: за годы советской власти колхозные деревни, совхозы, рабочие и дачные поселки разрослись, опережая наши топографические карты. И нам часто приходилось сверять, несколько раз ориентироваться на местности, чтобы сличить карту с местностью, с нашим сегодняшним днем.

«Маловато у вас народу»,— сказал генерал. Не маловато, а совсем мало. Немцев тут не менее тысячи, а у нас полтора батальона. На подмогу рассчитывать не приходится. Времени мало. Обстановка сложна.

Перед нами не только деревня Трошково, но и пять ее соседок.

«Противник держит Соколово неспроста. Это плацдарм для нанесения контратаки под корень прорвавшихся главных сил нашего корпуса...» Генерал прав, безусловно прав.

Передовая группа в Соколове — форпост, охрана тех сил, что будут сосредоточены здесь. Эти шесть дорог приведут сюда резервы для маневра. Шесть артерий, шесть путей — широкие возможности! Неспроста враг здесь пассивен. Он ждет, когда все наши силы втянутся в бой, ждет подходящего момента...

Мы посланы овладеть Трошковым, но Трошково лишь приманка в этой мышеловке. Возьмем его... а что тогда? Взяв Трошково, мы попадем в капкан. Из остальных деревень, что подковой окружают нашу цель, посыплются мины, нас будут хлестать пулеметные очереди. Не смея поднять головы, мы будем лежать, обороняться, и час за часом будут редеть наши ряды! Надолго ли нас хватит? Ну, хорошо, будем держаться,

а дальше что? Выведем из строя одну дорогу, чего мы достигнем? Вертясь волчком, как лошадь, запутавшаяся у привязи, какой серьезный вред мы нанесем противнику и какую пользу принесем частям, держащимся за Соколово? Формально выполнив приказ генерала «овладеть Трошковым», погубим полк, не достигнув цели, не повлияв на общую обстановку. Если так, то что делать? К какому выводу прийти? Какой завязать узел?

Я оглядываюсь по сторонам. Рядом со мной комиссар Мухаммедьяров. Он лежит, облокотившись на снег и уставясь в одну точку. Вот другой — комиссар батальона Трофимов, его брови тяжело нахмурены. За ним — капитан Гундилович. От его доброй улыбки нет и следа. За ними, в сугробах, другие командиры, скрытые за пнями и стволами сосен. Я чувствую, как все они настороженны, сосредоточены. Впереди, наискосок от меня, лежит начальник штаба Мамонов. Он смотрит сквозь ветки кустарника вдаль и то и дело бросает в мою сторону вопрошающий взгляд.

У них те же мысли, те же опасения, та же боль, что и у меня — командира.

* * *

— Товарищи командиры,— начал я.— Вам ясна обстановка? Мы здесь больше часу. Скоро стемнеет. Первое: основа опорного пункта, что перед нами,— это Бородино. Остальные деревни — лишь подпорки у главного столба. Второе: к этим шести деревням с разных сторон узлом сходятся пять дорог, пять путей подхода противника, пять каналов его снабжения. Третье: враг многочисленен и силен. Превосходством над ним в силах и средствах мы не располагаем. Наши подразделения малочисленны и без артиллерии. У нас два пути. Первый из них близкий, но зато дальний — согласно приказу, овладеть только Трошковым, но этим цели мы не достигнем. Второй путь далекий, но близкий — овладеть всеми шестью деревнями, оседлать все дороги.

— Для этого нужны большие силы, которых мы не имеем,— вырвалось у кого-то.

Я посмотрел в сторону сказавшего и продолжал:

— Я решил выбрать дальний путь, как самый короткий для достижения цели. Итак, ровно в четыре часа ночи во время самого сладкого сна застигнуть противника врасплох, к рассвету овладеть этим узлом и закрепиться; наличные силы разбить на шесть групп, по количеству объектов, способ действия групп — внезапный налет. Начало действий всех групп одновременное. Конкретные задачи: группе, возглавляемой лейтенантом Соловьевым и политруком Габдуллиным, обойти деревни справа, выйти в тыл Бородина и овладеть им. После захвата Бородина оседлать большак, идущий от Старикова, и закрепиться. Группе под командованием старшего политрука Трофимова обойти деревни слева, выйти в тыл Коншина и к рассвету овладеть им, закрепиться и организовать оборону во взаимодействии с группой Соловьева, фронтом на запад, имея локтевые связи с соседними группами... Третий батальон под командованием капитана Клименко скоро должен подойти — он в моем резерве. Боевая задача ему будет поставлена по обстановке дополнительно.

Так были распределены силы нашего полка.

Командиров я предупредил, что основа успеха — внезапность, что даже один залаявший пулемет может разбудить и поднять врага на ноги. Поэтому должны быть приняты все меры к тому, чтобы сначала бесшумно снять вражеских постовых. Было приказано использовать оставшееся светлое время на изучение местности, маршрутов движения, на организацию взаимодействия.

Решение было принято, приказ отдан.

* * *

В лесу темно, тихо. Крепчает мороз. Одетые снежным пухом, сосны не шелохнутся. Под каждым деревом, прислонясь к стволу, сидят солдаты. Даже не слышно их перешептывания. Кони, всегда весело фыр-

кающие и с шумным выдохом испускающие на сильном морозе струи пара, понуря головы, стоят у привязей. Мы ждем назначенного часа, а он не идет, а ползет.

В импровизированном из веток шалаше — я, комиссар и начальник штаба.

— А Клименко все еще нет? — говорит молчавший до сих пор комиссар?

— Да, — отвечаю я. — Клименко еще не прибыл...

— Как же быть теперь, товарищ капитан? — взволнованно спрашивает меня Мамонов. — Ведь у нас никакого резерва нет! Может быть, хотя бы взвод за счет какой-нибудь роты зарезервировать?

— Теперь поздно, капитан Мамонов, — отвечает ему комиссар. — Люди пошли, многие лежат на снегу и ждут сигнала.

— Без вторых эшелонов, без резерва придется вести бой, — говорю я, — это не совсем грамотно и неприятно...

— Нет, что ты, Бауржан, — встревоженно перебивает меня комиссар, — я считаю, что у нас, по крайней мере, два резерва: темная зимняя ночь и инициатива наших солдат, сержантов и офицеров.

— Да, ты прав, Мадьяр, я в наших глубоко верю.

— Пошли к нам. Надо нам управлять боем своим личным участием. — Не дожидаясь моего ответа он бросает на ходу: — Я пошел к Трофимову...

— Да сбудутся ваши дороги, — говорю я им по-казахски.

— Да сбудется сказанное тобою. Да придет добро к нам, — отвечает по-народному Мухаммедьяров.

— До счастливой встречи, товарищ командир, — жмет мне крепко руку Мамонов, — разрешите я с Гундиловичем пойду.

— Будь жив, Мамонов.

Сделав два шага, они исчезли, растаяв в темноте.

Я остался один. Как описать то состояние, которое охватывает командира, когда приказ уже отдан, а замысел командира через час-другой становится личным и кровным делом каждого солдата...

Мой адъютант, посланный к начальнику штаба,

еще не возвратился. Не дождавшись его, я пошел. Синченко ведет на поводу наших верховых лошадей. Мороз крепчает, снег хрустит под ногами. Да и лошади нет-нет да и фыркнут.

Я делаю знак Николаю, тот придерживает коней, замедляет шаг.

Тьма-тьмущая. Я иду, прислушиваясь к каждому шороху. Бесшумно осыпается с деревьев снежок, изредка хрустнет тонкая ветка.

Вдруг я замечаю, что потерял своего спутника. Видно, Николай отстал. Ругаю себя за то, что отпустил всех с боевыми группами. Командир полка один-одинешенек в дремучем лесу! Недоставало еще, чтобы из-за какого-нибудь куста выскочила парочка немцев!

Верно, что, кто боится — у того двоится! Я слишком насторожен. Я ловлю себя на том, что явно трушу. Я сержусь на себя. Иду в Трошково. У меня одно желание — встретить хотя бы одного из наших солдат. Но в темноте не отличишь, где свой, а где враг. Если по ошибке приму врага за друга, пойду к нему навстречу и он крикнет «хальт!», я выстрелю в ответ. Но тогда мой выстрел возвестит противнику, что мы здесь, что мы подкрадываемся к нему. Тревога — и он ощетинится. Эти мысли заставляют меня вложить пистолет в кобуру. Лучше приколоть или зарубить — решаю я и вынимаю из ножен клинок.

Так, держа клинок наготове, я продвигаюсь вперед. Но как осторожно я ни ступаю, а все-таки снег то скрипнет, то пискнет, выдавая меня.

Наконец, лес позади. Передо мной вырисовывается темный силуэт сарая, называемого в этих местах клунею. Обыкновенно клуни стоят на отшибе, в стороне от деревни. В большой печи, что посредине сарая, сушат снопы ржи и пшеницы, а потом здесь же обмолачивают их.

Я осторожно подхожу к клуне и, как летучая мышь, прилипаю к ее теневой стороне. Затаив дыхание, прислушиваюсь, есть ли кто-нибудь внутри? Тихо, ни звука, никаких признаков жизни. Чувствуется

прелый запах соломы. Скольжу вдоль стены. Дверь. Снова прислушиваюсь. Опасение, что я стою у немецкого поста, рядом с прикорнувшими в соломе или у печки немецкими часовыми, прижимает меня к стене. Я злюсь на себя, на свое оцепенение. Преодолевая нерешительность, вхожу в сарай. Он пуст. Не веря этому, шарю по углам,— никого нет. Облегченно вдыхаю теплый запах соломы и, вспомнив только что пережитые минуты тревоги, смеюсь над собой.

Смотрю на светящийся циферблат часов. Скоро четыре. Наступает назначенный час. Будет ли он часом удачи? Минутная стрелка переходит белый пунктир за пунктиром. Две минуты пятого... три... четыре минуты. Кругом тихо. Стрелка переходит еще черту. Прошла еще минута.

Вдруг вдалеке одна за другой замигали и погасли две вспышки. Воздух прорезало резкое «так-так» и, словно задушенная, умолкла пулеметная очередь. Как-будто это в районе Бородина. Я не успел еще разобраться, как уже в другом направлении раздался выстрел. «Наши снимают часовых». В Трошкове, как отдаленная дробь барабана, раздаются глухие выстрелы. Они то ритмично равны, то частят, то редеют. Выстрелы какие-то необычные, звук тупой, приглушенный, хрипловатый. Значит, и там начали. От трех групп я уже «получил донесение». Направляюсь в Трошково.

* * *

Подхожу к деревне. Вижу — вдалеке кто-то бежит. Одно ухо ушанки в одну сторону, а другое — в другую. Наш! Выстрелы со всех сторон, на воздухе выстрел резкий, злой, а эти короткие, значит, в домах идет обработка. Где ж тот солдат? Вот он пересекает улицу, врывается в дом. Я бегу за ним. Не успел я переступить порог распахнутой двери, как из комнаты раздался выстрел.

Вбегаю. В комнате, на полу у самой кровати в нижнем белье лежит убитый немец. Я взглянул на солдата, за которым следовал. Эта был юноша-казах

из нового пополнения. Он посмотрел на меня и, не проронив ни слова, повернулся и вышел.

Большая лампа на высокой подставке, объедки от ужина на столе. Недопитая бутылка. Занавешенные окна. На стуле — офицерский китель со скрещенными костями под черепом на рукаве. На постели полуодетая женщина. В оцепенении, не мигая, она смотрит на меня. Глаза у нее от страха буквально вышли из орбит. Мне неприятен ее взгляд. Какое-то смешанное чувство возникает во мне: тут и ненависть, и презрение, и злоба. Она натягивает простыню до подбородка. Представить только: юноша в ушанке вдруг вбегает в ее дом (во сне это, иль наяву?), убивает лежащего рядом с ней и исчезает. Нет, видно, это кошмарный сон, который скоро кончится...

Я поворачиваюсь и, не оглядываясь, быстро захлопываю за собою дверь.

Уже в открытую идет стрельба. Доносятся крики убегающих немцев, возгласы наших бойцов то на русском, то на казахском языках.

— Джумажан,— слышу я,— как будет по-немецки «Руки вверх?»

— Хенде хох! — отвечаю я за Джумажана и невольно улыбаюсь.

Открываю дверь другого дома. На полу лежат три убитых немца. Переступаю через порог, вздрагиваю: прижавшись к печи, стоит дюжий немец. Встретившись со мной взглядом, он вытягивается. Мы стоим так близко, что я, потянувшись за пистолетом и на мгновение отведя взгляд, дал бы ему возможность вырваться из оцепенения. Длинное, почти лошадиное лицо, бесцветные глаза часто мигают светлыми ресницами. Передо мной унылый тупица.

— Хинлеген! — крикнул я.— Ложись!

Он камнем падает на пол.

Я приказваю ему не шевелиться. И уверенный, что этот вояка окончательно потерял способность не только к нападению, но и к сопротивлению, и что он будет ждать для себя «благополучного» пленения, выхожу из дома.

Молочная полоса уже легла на горизонте. Небо и

воздух посерели. Быстро иду вдоль улицы. Выхожу на окраину деревни. Всюду, сколько может охватить глаз, мелькают ушанки наших бойцов.

* * *

Восемь часов утра. Четыре часа боя позади.

Белая полоса на горизонте стала серо-розовой. Холодный, зимний рассвет. Вижу — наши во всех пяти деревнях. Я направляюсь к высоте.

Я не любил раньше мороза. У меня, жителя южного Казахстана, мороз не вызывал восторгов, какие он вызывает у сибиряков, но в эту особенную минуту я вздохнул всей грудью, ощутил вкус, крепость и силу морозного воздуха.

Я на высоте. Кое-кто уже заметил меня. Спешат. Издали узнаю их. Вот Мухаммедьяров, комиссар. Лицо его озарено непосредственной, широкой улыбкой. Вот Трофимов, Гундилович, Ветков, Мамонов, Соловьев, Малик... Значит, все живы и все шесть деревень наши! Они подходят запыхавшиеся докладывают: Бородино — занято, Трахово — занято, Баркловица, Коншино, Кашино — заняты!..

Я крепко жму руки, они поздравляют меня.

Я еще сам не до конца верю, что моя мечта — замысел командира — стала действительностью. Будто снегом запорошило глаза. Сердце трепетно отстукивает: «Какое счастье, что все живы!»

Ушанки, ушанки — всюду наши ушанки...

Почему мы говорим, что это сделали мы.

Не говори — это сделал я, это сделали тысячи.

Не говори — это сделали тысячи, это сделали смелые.

Не говори — это сделали смелые, это сделал народ!

Если бы я не был из тысячи, а смелые — из народа, кто бы это совершил?

Веселые возгласы и смех доносятся отовсюду.

Почему такая самоуспокоенность? Она — враг чести и друг смерти. Деревни мы взяли, но их надо

еще удержать. Конратаки будут, обязательно будут! Радоваться рано!

Отправляю командиров на места.

Пишу донесение:

«Начав действия в 4.00, к 8.00 полк выполнил поставленную задачу и овладел группою деревень в этом районе: Трошково, Трахово, Коншино, Баркловица, Кашино, Бородино... В прилагаемой схеме указано расположение дорог и сел. Полк оседлал их и приступил к закреплению своих позиций. Гарнизон противника состоял из подразделений полка дивизии «СС». Ожидаю контратаки противника. Жду дальнейших ваших указанний».

Отправив донесение, направляюсь в Бородино.

* * *

Да, враг будет контратаковать. В этом сомнения нет. Не напрасно он расчистил эти просторные шесть дорог. Недаром он держал про запас эсесовский полк. Еще два полка этой дивизии где-то неподалеку. Эту дорогу нельзя оставлять без внимания. Самое опасное для нас — танки. Отставший батальон и артиллерия не прибыли, на расстоянии они нам не подмога. А что, если враг начнет контратаку одновременно со всех сторон? Шесть путей приведут к нам шесть колонн, пусть по батальону — вот уже два полка. Как шесть пик, вонзятся они в наши бока. Надолго ли нас хватит? Надо как можно скорее закрепиться! Надо изгнать из наших сердец самоуспокоенность, беспечность, самодовольство, которые иногда приходят к победителям вместе с радостью. Покончить с сутолокой и суетнею после боя, распределить наличные силы по направлениям, растолковать бойцам, что опасность еще впереди, пусть будут начеку.

Нас мало. Малая сила при таком большом поле действий подобна короткому одеялу: натянешь на голову — ноги остаются открытыми, натянешь на ноги — голову откроешь. А прикрывать надо и то и другое.

Я обхожу деревни, занятые нами, и не могу прий-

ти ни к какому окончательному решению. По пути даю командирам короткие распоряжения: «Особое внимание обратите на это направление». «Удерживать эту дорогу во что бы то ни стало!». «Эту дорогу держать под косоприцельным огнем»...

Солдат хочет справедливой оценки своих действий, когда, не жалея себя, он идет в бой. Теплые слова командира, одобрения радуют солдата еще и потому, что редко он их от него слышит. Командир часто требует, упрекает. Солдат испытывает радость от чувства долга, он гордится своим оружием, своими товарищами, своим полком, под знаменем которого он идет в бой. Он любит тех, кто разделяет с ним солдатскую долю, кто сердцем и мыслями с ним. Он интуитивно ощущает и общую обстановку, и я часто ловил солдатские взгляды, которые явно говорили: «Только приказывай с толком, я выполню».

— Спасибо вам, товарищи, за ваши дела! — говорю я, проходя мимо солдат, роющих в снегу траншеи.

Они с достоинством улыбаются.

— Отобьете немчуру, молодцами будете! Готовьтесь. Жаркие дела предстоят!

Лица солдат становятся серьезными, бойцы сердито вонзают в снег лопаты, работают быстрее, все более углубляясь в снежную толщу.

Вернувшись в штаб, я диктую Мамонову:

«Контратаки противника возможны в самое ближайшее время. Закрепление позиций закончить в кратчайший срок. Особо укрепить дороги, удерживать их во что бы то ни стало. Всем командирам и политработникам быть на передовой, лично управлять своими подразделениями при отражении контратак противника. К отходу путей нет, на подмогу и подкрепление — не надеяться, рассчитывать только на свои собственные силы. Довести это до сведения всех бойцов».

Серый, мокрый туман медленно ползет в нашу сторону. Солдаты со вчерашнего дня ничего не ели. Сейчас они сидят в глубоких траншеях, развязывают вещевые мешки, тянутся к замороженным продуктам.

Откалывают куски от окаменевшей буханки черного хлеба, грызут их, и на зубах они хрустят, как сухари.

Вот один начинает внезапно колотить по спине своего товарища. Ничего не понимая, я подхожу ближе и, увидев избиваемого с вытянутой шеей, со слезами на глазах, догадываюсь, что бедняга подавился.

— Довольно, довольно! Уже прошло! — защищаясь кричит пострадавший...

Все смеются.

— Э-э, от ломтика черного хлеба после боя человек чуть не погиб! — смеется колотивший своего соседа солдат.

— Ничего, этот камешек, наверное, уж растаял у меня в брюхе...— говорит пострадавший и сам смеется своей шутке.

* * *

Бессонные ночи меня утомили. Не успеваю прислониться к стене — охватывает дрема.

Не знаю, надолго ли я забылся... Вдруг засвистели пули, где-то застрекотали автоматы. Неужели наша охрана была застигнута врасплох? Вздрагиваю, просыпаюсь.

Сквозь туман в маскхалатах движутся цепи немцев. Они идут во весь рост, идут на нас, стреляя длинными очередями, не давая возможности поднять нам голову.

С нашей стороны — ни единого выстрела.

Ни один немец не падает. Цепь идет, брызжет свинцом.

Что случилось с нашими бойцами?! Где командиры?! Почему не стреляют?..

С каждой минутой расстояние от немцев до наших траншей становится меньше и меньше. Вот уже не более трехсот метров. Сейчас они бросятся в атаку, ворвутся в окопы. Неужели с утра мы рыли себе могилы в этих сугробах?

Рядом кто-то со стоном падает. Оглядываюсь. Это старший батальонный комиссар Гусев, недавно назначенный к нам заместителем начальника политотдела дивизии. Его рот в крови. Я хочу его под-

держать, он, отстраняя меня, ослабевшим голосом говорит:

— Не надо, дорогой, после. Займись боем.

Под прикрытием стены сарая пробегает Малик Габдуллин.

— Малик! — кричу я.

Он останавливается, оглядывается.

— Что там наши молчат? Бегите скорее. Подымайте живых. Встречайте огнем эту обнаглевшую цепь...

Он пригибается, рывком бросается вперед.

Немцы подошли уже на бросок.

Справа из-за сугроба подымается белая фигура в развевающемся маскхалате. Кажется, она не идет, а сказочно летит по полю; следом — еще пятеро, за ними — взвод, рота. На ходу, стреляя из автоматов, с криками «урра» люди бросаются на вражескую цепь. В рядах врага замешательство.

Еще миг — на немцев набрасываются автоматчики во главе с Маликом.

— Это Габдуллин! — восклицает, преодолевая боль, раненый Гусев и, прислонившись к стене, медленно сползает.

Я приподнимаю его голову.

— Молодцы...— бледный, с гримасой страдания шепчет Гусев.

И вот наши другие молчавшие траншеи тоже заговорили.

— Что там? — волнуется Гусев.

Я помогаю ему опереться на мое плечо. В прорезь сруба мы видим, как мечется, встреченная в лицо огнем, схваченная клещами контратакующих, немецкая цепь.

— Слав...те! — вздыхает с трудом Гусев.

Немцы спешат повернуть назад. Их достигают наши пули, немцы падают спиной к нам, лицом зарываясь в снег.

— Хо-ро-шо...— окончательно обессилев, произносит Гусев и опускает голову.

— Что с вами? Куда вас ранило?

Он молчит. Подбегает Синченко, вдвоем мы осто-

рожно укладываем раненого на солому в углу сарая. Он тяжело стонет. Я расстегиваю ворот его полушубка и замечаю на гимнастерке значок депутата Верховного Совета РСФСР. Пальцы у меня в крови, повидимому, у него сквозное ранение. Подоспевший санитар делает перевязку. Гусев приходит в чувство.

— Выпейте, товарищ старший батальонный комиссар,— говорит Синченко, протягивая флягу.— Спирт.

Гусева положили на носилки. Мы с Мухаммедьяровым подошли к нему попрощаться.

— У меня просьба к вам, товарищи,— говорит он.— Не надо ругать командиров и бойцов, что растерялись вначале. Габдуллина — на героя. Это мое мнение...

Мы отправляем комиссара на крестьянских санях, накрыв его теплым тулупом.

Представить на героя... А жив ли наш политрук — Малик Габдуллин?

И кто был тот сокол, что первым, распрямив крылья, понесся на стаю вражеских коршунов? Кто был вожак этой пятерки, что первая налетела на противника? Жив ли он?

Я посылаю адъютанта выяснить все это, доложить мне о наших потерях.

Не успевает адъютант скрыться, как за поворотом траншеи мы замечаем медленно шагающего по деревенской улице Малика. Всегда по-юношески стремительный, он сейчас идет с трудом. На усталом, опаленном боем лице Малика знакомая застенчивая улыбка.

— Как же ты уцелел? — встречаю я его взволнованным вопросом.

— Сам не знаю.— Смущенный, он только пожимает плечами.

— Кто те, что первые пошли на немцев?

— Наши, из нашей роты...— неопределенно отвечает он.

Мы хотим знать подробности. Малик отвечает, но в это время снова, теперь уже с другой стороны, доно-

сится трескотня, начинается новая немецкая атака. Малик спешит к своей роте.

Атака за атакой. То с одной стороны, то с другой немцы упрямо пытаются пробиться к Соколову. Но наши бойцы теперь не теряются...

* * *

К концу одной из очередных атак приехал генерал. Слезая с серого коня, он увидел, что противник отходит.

— Что же вы стоите? — встретил он меня гневным окриком, когда я пошел к нему навстречу.— Немедленно организуйте преследование!

— Товарищ генерал, я не могу оголить позицию... Это слишком опасно...— начал было я.

Генерал рассердился. Злой, не взглянув на меня, не произнося ни слова, он направился на позиции. Мамонов бросился догонять генерала. Он провел его по всем местам боев. Генерал осмотрел результаты нашей «работы» и через час довольный вернулся в сопровождении группы офицеров.

С улыбкой он подошел ко мне и положил руку на плечо.

— Слушай, капитан! погорячился я немного. Так вот: в глупостях и отваге вам надо разобраться. Кого следует — представьте! Задачу вы выполнили. Тут я ничего не могу сказать. Хорошо, что надеялись на народ, и хорошо, что народ вас не подвел. Все это хорошо! Но плохо, что вы ни одного взвода не имели в резерве. Передайте от меня спасибо за боевую службу вашим бойцам и командирам. Я ими очень доволен. А теперь перед вами боевая задача — закрепить за собой завоеванное и удержать достигнутое. Думаю, что это не последняя контратака противника, и немец не скоро успокоится. Так что вам трудненько придется, подумайте об этом!—Генерал улыбнулся и сказал:—Грешным делом я полагал, что ваше «самочувствие» лучше, чем у других, и задержал третий батальон, а пушкари ваши не скоро подойдут: мучаются, бедные, по этим сугробам, а лошади не тянут ни черта! Хотел ваш третий батальон к себе в резерв забрать, а теперь

вижу, что этого делать нельзя, вам самим он нужен... Клименко подойдет через три-четыре часа. Вы его держите в лесу,— генерал указал на лес, где мы накануне производили рекогносцировку.— Спрячьте его от противника, дайте людям хорошенько отдохнуть; не уплотняйте им боевые порядки, а держите его в резерве, и когда будет необходимость, бросьте его в бой, чтобы немец не дурил больше со своей контратакой. Прежде чем ввести в бой этот батальон, обдумайте и взвесьте обстановку. Тут генерал вытянулся, развел руками и сказал: — Вся дивизия втянулась в бой, так что на меня не рассчитывайте. Я могу вам помочь лишь тем, что поругаю вас за неточное выполнение задачи.— Он расхохотался: — Ей богу, больше ничем не могу помочь, как говорится, я сам —«гол как сокол!»

Генерал попрощался со всеми за руку, вскочил на коня и уехал. Мы смотрели ему вслед, пока он и сопровождавшие его не скрылись в лесу.

— Вот какой у нас генерал! — нарушил молчание Трофимов.— Не думал, что он такой душевный человек!

— Да, не постеснялся извиниться перед капитаном,— задумчиво сказал Мухаммедьяров.— Настоящим человеком надо для этого быть...

— Ну как, здорово меня разносил генерал по дороге? — спросил я у Мамонова.

— Да, вначале побурчал, а я его прямо по тем местам, где побольше немцев лежало, повел...— Мамонов хитро улыбнулся, как бы говоря: «Смотрите, какой я молодец!» — Потом генерал шел и только спрашивал: «Еще что покажете мне?» Я его водил, водил, а потом снова на старые места привел. Тут он мне: «Ты мне, брат, глаза не замазывай,— я этих видал»...

— Ну тогда все, товарищ генерал!

Мы посмеялись над наивной хитростью Мамонова.

Ко мне подошел связной и передал записку от Малика.

На листке, вырванном из полевой книжки, было написано по-казахски: «Тобын бастаган батыр — Тулеген екен» или: «Вожаком батыров оказался Туле-

ген». Далее из наспех написанного я разобрал, что фамилия рядового Тохтаров, что он комсомолец и родом из Усть-Каменогорска.

* * *

На опушке леса, где мы вчера перед заходом солнца производили рекогносцировку, показалась группа людей.

— Вот и Клименко явился! — воскликнул Мамонов.

— Прикажите ему батальон задержать в лесу, а самому явиться ко мне,— приказал я.

— Синченко! — крикнул Мамонов моему коневоду.

— Слушаю вас, товарищ капитан,— откликнулся Николай.

— Скачи, братец, навстречу Клименко и передай приказание командира, чтобы он свой батальон оставил в лесу, а сам — бегом к капитану.

— Ясно, товарищ капитан.

— Ну, скачи...

Николай Синченко, выполняя приказание начальника штаба, вихрем помчался навстречу капитану Клименко.

В грязном маскхалате, запыхавшись, прикатил на лыжах капитан Клименко — командир третьего батальона: высокий, стройный, красивый украинец. Он поспешно доложил:

— Товарищ капитан, вверенный мне батальон выполнил поставленную вами задачу и прибыл в ваше распоряжение.

— Вы немного задержались, товарищ капитан,— деланно упрекнул я его.

— Виноват, товарищ капитан,— вытянувшись, ответил Клименко,— задержались. По-честному говоря, я спешил к вам, товарищ капитан. Но все же виноват,— закончил свой рапорт Клименко.

— А где артиллеристы? — спросил я его.

— Беда, товарищ капитан,— он беспомощно развел руками,— беда с нашими артиллеристами: лоша-

ди не тянут, и они, бедные, подталкивают пушки, зарядные ящики и кричат: «Раз, два... взяли, шагом марш». Когда артиллеристы произносят «шагом марш», лошади делают два-три шага. Попытался я помочь им... Повозились мы, продвинулись с полкилометра — буквально на людях тащили, а командир дивизиона мне говорит: «Что ж, и мы нужны, но ты нужнее нас. Давай, капитан, кати на лыжах к командиру полка».

Клименко я отдал приказание, мы договорились с ним о сигналах, условились, куда должен выходить его батальон по сложившейся обстановке.

— Только не медли, Клименко, все как положено, по-честному.

— Будьте уверены, товарищ капитан, я и мои люди не подведем. Раз, нужно, значит, надо сделать,— ответил он на прощанье.

Было уже три часа, и зимнее солнце удлинило тени, когда начался обстрел наших позиций. Это не был сплошной огонь — невидимый крупнокалиберный дивизион вел обстрел пока только Бородина.

Разрывы участились... Запылало несколько домов. Клубы дыма, расстилаясь, окутали село...

Началась шестая по счету контратака немцев. Она была самой отчаянной из всех его контратак.

На этот раз противник не распылял свои силы по всему фронту. Один за другим шли три эшелона на ускоренном шаге. Наши ответили огнем. Немцы падали, но следом упорно шли следующие цепи. Наш пулемет замолк. Немцы, проваливаясь в сугробы, бросились бегом и... ворвались в деревню. Резервный батальон, подтянутый к этому времени к Бородину, бросился им навстречу. Все перемешалось. Бой перешел в рукопашную.

Немецкий дивизион начал вести огонь на перелете с места происходившего побоища. Снаряды рвались впереди и позади нашего наблюдательного пункта, оглушая нас разрывами и свистом осколков.

— Гундилович, чего вы медлите? Слева помогай! — кричу в трубку.

Вдруг обстрел прекратился. Наступила резкая, до

боли в ушах, тишина... В Бородино тоже тихо, только отдельная перекличка ослабевшего огня говорит, что там еще продолжается бой.

— В чем дело?

— Видно, кончились боеприпасы!

— И у немцев то же.

С одного из холмов Бородина затрещал одиночный автомат, упрямо и настойчиво...

По траншеям бежали наши на помощь.

Навстречу потянулись раненые.

— Тушите пожар,— распорядился я.

С удивлением я увидел пленных... Их вел молодой боец.

— Допросить и отправить в штаб дивизии,— говорю Мамонову.

Мухаммедьяров, вернувшийся из Бородина, вытер вспотевший лоб.

— Фу, кажется, и с шестой покончили...— Он помолчал, потом добавил: — Должен огорчить тебя, Бауржан: Малик просил передать, что боец его роты Тулеген Тохтаров геройски погиб в этой схватке.

* * *

Вечерело...

Хмурая туча снова поползла по небу. Легкий ветер погнал по земле снежную порошу...

— Не успели с немцами покончить, как вот вам, пожалуйста,— обернулся ко мне Мухаммедьяров, показывая на небо,— буран надвигается.

Мы смотрели, как ветер плавно вздымал легкие пылинки и кружил их. Казалось, будто дымок проносится над брустверами наших окопов.

— А вот, на горизонте,— показал я вдаль,— густая чернота.

— Снова буран, метель, вьюга,— повторил с болью в голосе Мухаммедьяров.— Не дает небо людям отдохнуть!..

Ветер «прибавил шаг», все быстрее и быстрее подгоняя легкую снежную крупу...

Как настораживаются олени, почуявшие приближение грозы, так и солдаты, выглядывали из окопов и с

тревогой всматривались в надвигающуюся черную завесу...

— Мамонов!

— Я! — очнувшись от глубокого сна, откликнулся Мамонов.

— Передайте командирам: людей в деревнях по домам не расквартировывать! Всем размещаться только в окопах. Костров не разводить, в домах — полное затемнение... Для обогрева людей устроить ниши в траншеях, подостлать солому. В каждом десятке трое на посту, пятеро спят в этой нише, а двое с лопатами непрерывно расчищают снег в окопах и секторах обстрела. Два офицера отдыхают, третий — обходит позиции. Организуйте круговое патрулирование разведчиков. Особое внимание — на Соколово... Вот все распоряжения на эту ночь.

Мамонов поежился, но, видимо, не от бьющей в лицо холодной струи ветра...

— Товарищ командир, ведь люди и так...— начал было он.

— Что «и так»?..— грубо прервал я его.— Неужели вы думаете, я не знаю, как трудно приходится людям? Вам не нравится, что я запрещаю нежиться в домах? Мы воспользовались предательским сном немцев в теплых домах. Я не хочу, чтобы сегодня немцы воспользовались нашим сном. Если усталых и продрогших солдат завести хотя бы на час в хату, потом их и пушечными выстрелами не разбудишь...

— Я вас понимаю, Мамонов,— мягче добавил Мухаммедьяров,— но ничего не поделаешь — командир прав. Эту ночь надо перетерпеть. Вы поняли? — примирительно спросил он у насупившегося Мамонова.

— Понял, товарищ комиссар,— улыбнулся Мамонов и, обращаясь ко мне, козырнул.— Разрешите идти выполнять, товарищ капитан?

— Да, идите,— сухо ответил я.

Мамонов пошел выполнять приказ. Снег под его валенками скрипел и пищал, казалось, он шел, раздавливая осколки стекла.

— Мне кажется, он обиделся на тебя,— заметил комиссар.— Зачем ты его так грубо оборвал?

— Да как-то невзначай, самому неприятно... Ну ничего, он не из злопамятных.

Через несколько минут Мамонов с офицерами штаба уже шел к позиции, объясняя им что-то и рассылая их по разным направлениям.

* * *

Надвигающиеся тучи черно-серым занавесом закрыли от нас последние косые лучи солнца. Буран начал подвывать. Ветер все смелее взметал снег, набирая высоту... и люди, идущие к окопам, казались по пояс погруженными в белый, стремительно несущийся туман. Все выше и выше гонит ветер снег, и только головы в ушанках мелькают в потоках снежной пыли... Сумерки быстро поглощают расстояние, сокращают горизонт, сужают кольцо темноты вокруг нас. Короткое время зимнего дня все отступает...

Мухаммедьяров пошел проверить, как в батальонах организована подача горячей пищи, а я поспешил к окопам, чтобы убедиться в выполнении распоряжений.

Ветер выл, кружил снег, заметал наши окопы и траншеи, слепил глаза, свистел в ушах... Я скользил, борясь с вьюгой, спотыкался, падал.

Ногой я нащупал бугор, сделал два шага и... вдруг стремительно провалился в снег. Стараясь удержаться, я беспомощно барахтался, но безуспешно: осыпающийся снег тянул меня вниз, как в засасывающее болото. Внезапно я почувствовал, что ноги мои повисли в пустоте...

— Эй, кто там? Какая нечистая сила принесла тебя сюда?! — услышал я недовольный голос из подземелья.— Вот мать... Всю крышу провалил своей воловьей тушею, верзила ты этакий! — продолжал кто-то меня ругать.

Я сделал еще одну попытку выбраться из этой волчьей ямы, но тут кто-то ухватил меня за ногу, и снова послышалась брань:

— Какого черта задрыгал ногами? Ну-ка, живо проваливай! Чего лягаешься?— я почувствовал, как кто-то сильно ударил меня по ноге.

Подоспевший адъютант протянул было мне руку, чтобы помочь выбраться.

— Ладно, там встретимся...— крикнул я и, прижав локти к туловищу, соскользнул вниз. Почувствовав твердую почву под ногами, я спросил: «Кто здесь?»

— А сам ты кто? — раздался грубоватый басок из темноты.— Какого черта болтаешься по окопам? Не видишь что ли, что понаделал: всю сооружению, как фрицевская бомба, разрушил!..

Я засветил фонарик: в вырытой в снегу полуноре, полупещере, в углу, зажмурившись от ослепительного света моего фонарика, сидел крупный детина в ушанке и маскхалате.

Я стоял на куче снега, обвалившегося под моей тяжестью «крыши». Снег засыпал подстилку из соломы, на которой валялось несколько солдатских мешков. Я перевел луч фонаря вверх: в отверстие «крыши» смотрело на меня удивленное лицо адъютанта.

— Проваливайтесь сюда! — смеясь, крикнул я.— Здесь тихо.

Адъютант спрыгнул вниз, сбив меня с ног и обвалив еще часть крыши...

— Вы что, с ума спятили? — возмутился солдат и снова выругался.— Для умных людей вход сделан, а они...

Действительно, осмотревшись, я увидел вход, тщательно завешанный палаткой.

— Ты что разошелся?— прикрикнул адъютант.— Не видишь что ли, здесь командир полка?!

Солдат растерялся и пробурчал сквозь зубы:

— Разве в такой тьмище разберешься?

— Ничего, брат, не сердись, мы живо отремонтируем твою конуру. А ну, превращай дверь в крышу,— сказал я адъютанту, снимая плащпалатку с входа.

Скачков мигом взобрался наверх; вместе с бойцом они раскинули надо мной палатку, укрепили ее по краям глыбами снега. Так была реставрирована «крыша».

— Ну, мир заключен! — сказал я солдату, вошедшему вместе со Скачковым.— Теперь садись и рассказывай где остальные.

Солдат опустился на снежный пол и доложил, что два бойца стоят на посту, остальных сержант увел на кухню за горячей пищей,а он остался закончить укрытие для отделения.

— В домах люди есть? — спросил я.

— Может, из офицеров кто... а наш взвод весь тут,— ответил боец.— Давеча был у нас старший политрук Трофимов, сказал, что вы никому не разрешили спать в домах: может быть, фрицы к гости к нам пожалуют.

— Да, верно. Вот и передай своим товарищам, чтобы начеку были. Ну, а с куревом как?

— Фрицевскую солому курим,— улыбнувшись, ответил солдат вытаскивая из-под маскхалата трофейные сигареты и протягивая их нам...

Мы закурили.

— Ну, а как зваться будем? — спросил я бойца.

— Алешин Андрей, из-под Павлодара,— ответил тот.

— Тулеген Тохтаров не из вашей роты?

— А что с ним, товарищ капитан? — с тревогой спросил Алешин.

— Он сегодня дважды героем показал себя! — ответил я.

— Да, он парень такой... Я с их ротой в одном вагоне ехал. Простой, свой парень, как говорится, в доску. Шутник и до рассказов большой охотник. Всю дорогу нам песни свои пел, сказки рассказывал, складно у него получалось...— Алешин, как бы удивляясь в раздумье покачал головой.— Значит, парень неспроста был с огоньком, если геройство проявил.

Я не сказал Алешину о гибели Тулегена и, попрощавшись, покинул его уютное подземелье.

Двигался я в темноте по узким снежным траншеям, пряча голову, и сгибаясь, чтобы укрыться от иглистого снега. Встречавшиеся мне солдаты были заняты своим делом: кто стоял на посту, кто расчищал занесенные снегом боевые места, другие возвращались с ужина. Я шел, держа перед собой фонарик; солдаты и офицеры, услышав мой голос, прижимались к снежным стенам траншеи, уступая мне дорогу.

Неожиданно в воздухе прогремели три стройных ружейных залпа.

— Что это? — спросил я у стоявшего на посту бойца.

— Товарища хоронят,— с болью ответил солдат.— Кош достым, жаткан, жерин, торха, болсын серигим, Тулеген...— прошептал солдат и отвернулся, чтобы скрыть от меня слезы. «Прощай, друг мой, напарник Тулеген»...— так сказал солдат. Так казахи предавали земле прах своего ближнего.

Казалось, завывание и порывистые вздохи ветра над свежим могильным холмом доносили с далекого Алтая всю глубину материнского неутешного горя...

* * *

Потушив фонарь, я продолжал свой путь в полной темноте. Перед глазами стояла картина боя: белое поле и как сказочный сокол летит по нему с раскинутыми крыльями белого маскхалата Тулеген Тохтаров.

Так, блуждая, я добрался наконец до штаба на окраине села. Он был расположен в разбитой школе, в которой уцелели две комнаты.

— Товарищ командир, сюда, сюда,— раздался голос Синченко,— здесь и товарищ комиссар.

Синченко ввел меня в комнатушку, где у растопленной печурки, на которой уже кипел чайник, сидел Мухаммедьяров и, дуя на воду, пил...

Следом за нами в комнату ворвался снег, белым морозным паром обдало сидящего. Синченко поспешно захлопнул дверь.

— Вот кипяточек похлебываю,— сказал Мухаммедьяров,— ах, как приятно жжет,— оторвавшись от кружки, добавил он.— Я велел после ужина до самого утра во всех кухнях кипятить воду и разносить ее по окопам. Пусть бойцы отогревают нутро.

Не успел я оглядеться, как в комнату вошел весь запорошенный снегом Мамонов и, развязывая ушанку, на ходу доложил:

— Все делается как приказано, товарищ капитан. Фу, какая метелица разыгралась! — Он улыбнулся и вытер капли на молодом розовом лице.

— А патрули? —

— Все разведчики во главе с Данилиным на лыжах пошли.

— Не перестреляют наши друг друга? — забеспокоился комиссар.

— Что вы, товарищ комиссар! К патрулям от каждой роты связные назначены. Все продуманно: пароль, отзыв, место встречи.

Стряхнув с себя таявший снег, я тяжело опустился на табурет. Все время уходили и приходили с докладами командиры. Раскрыв планшет и достав карту, Мамонов пододвинулся к тусклому свету керосиновой лампы и сказал:

— Вы знаете, товарищ командир, а что если соколовский гарнизон воспользуется пургой и вздумает сегодня оставить Соколово, тогда он обязательно пойдет через нас. Вот он тут,— показал Мамонов на карту.— А до нас расстояние всего четыре-пять километров, и дорога здесь хорошая... Есть и другая дорога,— он указал на окольный путь,— но по ней слишком долго добираться им до своих.

Мамонов начал доказывать вероятность своего предположения о возможных действиях противника. Это на языке военных называется «оценкой обстановки». Я и комиссар внимательно слушали разумные рассуждения Мамонова а он, ободренный этим, говорил все более страстно и вдохновенно. Сейчас Мамонов жил только мыслью о том, как бы точнее разгадать думы немецкого командира.

Способностей к анализу у Мамонова мы раньше не замечали, мы знали его как хорошего офицера и старательного честного исполнителя, поэтому нас эта горячность обрадовала.

— Вы совершенно правильно оцениваете обстановку, а ваши доводы обоснованны, Мамонов,—похвалил я его.

Он просиял от одобрения.

— Да, соколовские немцы почти обречены, но, на их счастье, им повезло с погодой,— поддержал беседу комиссар.

— Если они не воспользуются этой ночью, това-

рищ комиссар,— горячился Мамонов,— то им завтра будет капут...

— А вот, как бы этой ночью они нам капут не сделали, ведь у них танки. Пустят передовым отрядом танки, загонят всех в какую-нибудь ямищу, будут стоять и трещать, пока не проведут всю колонну пехоты.

Мамонов забеспокоился, упавшим голосом он произнес:

— На дворе ни зги не видать. Куда стрелять? Трудно будет разобраться, где свои, где враги. Под носом могут пройти.

— Конечно, он может бросить на месте всю технику и налегке, не ввязываясь в бой, в пешем порядке обойти нас, пользуясь темнотой и бураном... У нас ведь только непосредственное охранение, а людей далеко в такую погоду посылать нельзя,— добавил я, прислушиваясь к завыванию бури.

— Это ужасно, если он так сделает! — воскликнул Мамонов. (Видимо раньше он не предполагал возможности такого варианта).

— Это самый лучший выход для него,— поддержал мою мысль комиссар,— бросить технику и увести живую силу. Только едва ли он пойдет на это: немцы пешком ходить не любят. Нет, он будет держаться за технику. Как же нам поступить?

— Вот что, Мамонов,— обратился я,— у нас есть одно средство против танков...

Мои собеседники недоумевая посмотрели на меня. Я взял у Мамонова карту и указывая на место, где выходит из леса дорога, идущая из Соколова, сказал:

— Вот здесь надо немедленно соорудить мощный снежный вал. Ширина дороги около десяти метров. Возьмите десятка два людей и снежным валом перегородите дорогу. Танк наткнется на вал, в темноте это сооружение может показаться ему непреодолимым препятствием. Свернуть с дороги он не сможет, а если свернет, то провалится в снег. Даже, если он и пробьет этот вал, мы, пропустив танк, пулеметным огнем отрежем идущую за ним пешую колонну...

— Правильно! — в один голос поддержали меня мои товарищи.

— Так и решим,— заключил я. — Иди, дружок, заваливай дорогу.

Мамонов быстро оделся и с адъютантом выбежал из комнаты.

* * *

Мы с комиссаром сидели молча, продолжая думать о Соколове.

Мысли бежали одна за другой... Я вспомнил прошлую ночь, день, старался понять, что произошло, но думы о будущем, о ночи, под покровом которой мы находились, заслоняли все.

Только сейчас я огляделся... Комната тонкой перегородкой была разгорожена на две. Из-за перегородки, где был свален весь домашний скарб, выглядывали два заспанных детских личика.

За столом, в углу, в полумраке сидела хозяйка. Она буквально впилась взглядом в нас, как будто каждое наше слово должно было решить ее судьбу.

Я с трудом оторвался от ее гипнотизирующих глаз... Эта женщина была учительницей местной школы, а в этот чуланчик ее выселили немцы. Платье мешковато, оно складками висело на ее похудевшем теле, прическа растрепалась, лицо было бледно... Она бесшумно и осторожно поднялась, подбросила дров в печку, долила чайник. Я погруженный в думы, почти не воспринимал вопросов Мухаммедьярова и ее коротких ответов. Обрывками долетали до меня фразы о немцах, о трудностях, о холоде, о детях, которых она загородила вещами, чтобы уберечь от пуль, и другие тихие грустные жалобы много пережившей женщины.

Буран выл, все вокруг гудело, и мне казалось, что это Мамонов с двадцатью бойцами роет снег, запруживая дорогу, а порывистые удары ветра, треск стропил разрушенной школы напоминали мне лязганье лопат, разворачивающих глыбы снега.

— Мама, пить хочу — тонкий детский голос заставил меня очнуться.

Хозяйка, сидевшая на корточках у дверцы печки, ответила:

— Сейчас, милочка, сейчас, еще чайник не вскипел...

— Зовите ее сюда, пусть погреется у печки,— попросил Мухаммедьяров.

Услышав приглашение, из-под одеяла вылезла босоногая девочка лет пяти-шести, в длинной рубашонке и, подойдя к печке, протянула руки к огню.

Пришел Синченко, держа подмышкой полбуханки замерзшего хлеба и пару банок консервов. Мухаммедьяров попросил у хозяйки миску, поставил ее на печь и, вскрыв консервы, выложил содержимое в посуду. Запах разогретой пищи потянулся по комнате. Николай стал поджаривать на огне замерзший хлеб. Запах хлеба, раздражая обоняние, расшевелил детей. Из-за перегородки показались еще две девочки, одна постарше, другая моложе первой, и уставились на еду...

— Дайте, хозяйка, нам тарелку,— попросил Мухаммедьяров.— Пища вкусна только с хозяевами...— привел он казахскую поговорку.— Давайте поужинаем всей семьей.

Смутившись, женщина ответила:

— Что вы, господин...— она запнулась и растерялась.— Что вы, товарищ комиссар, какие мы тут хозяева...

— Нет, вы настоящие хозяева, а немцы и мы — непрошенные к вам гости...— засмеялся я.

— Таких гостей, как вы, мы давно ждали...— ответила учительница и вдруг, не выдержав, разрыдалась,

Мы устроились полукругом у печурки. Впервые с начала войны я ужинал в семье.

Я не мог оторвать глаз от детей, уплетавших консервы и черствый хлеб... Откуда-то появились припрятанные Синченко кусочки сахара.

Какие дикие контрасты войны! Теплая комната, детские лица, хорошая русская умная женщина — все это будило щемящую тоску по дому, сыну, жене... а рядом, быть может, невидимые за стеной бурана, уже движутся колонны немецких танков.

Распахнулась дверь — в клубах пара, белые, как два деда Мороза, Мамонов и Скачков.

Протерев залепленные снегом глаза и вдохнув полной грудью теплый воздух комнаты, Мамонов доложил:

— Фу, настоящий ад кромешный! Одним словом, товарищ командир, дошли с трудом. Кое-что навалили. Подымешь лопатой, и пока донесешь, все сдует. Потом додумались: в полах шинели и плащпалатках стали таскать. Что нагромоздили там, не знаю, может, уж ветром все размело...

— Деревьев бы навалить, тогда бы снег сам задерживался,— покачал головой Мухаммедьяров...

— Кое-как приволокли два валежника, товарищ комиссар.

— Мин бы нам штук двадцать, но их нет у нас...— вздохнул я.— Пулемет выставлен?

— Один пулемет поставлен,— ответил Скачков.

Мы сидим в этой каморке. Часть бойцов шныряет где-то в снежной мгле и ощупью пробивает себе путь во тьме, патрулируя вокруг наших позиций. Другие, напрягая слух и всматриваясь в темную даль, стоят на посту. Третьи — с лопатами ходят по траншеям, расчищая наметенный снег. Остальные, прижавшись друг к другу, спят в снежных жилищах. Вьюга злобно воет, рывками бьет ветер... Где генерал Чистяков? О чем он сейчас думает? Что делают люди полка Шехтмана и артиллеристы Курганова, четвертые сутки бьющиеся за Соколово? Что делают немцы в Соколове и по другую сторону от нас? Мне, как командиру полка, ничего не известно, я не знаю, что делается вокруг нас. Я глух и слеп. Все, что я делаю,— шаги на ощупь... Я снова ловлю на себе тревожный вопрошающий взгляд женщины и опускаю глаза...

* * *

— Товарищ командир,— вбежал Синченко,— там пулемет стреляет!

Мы выбежали на улицу. Еле слышно сквозь пургу доносилась очередь пулемета... Она была рваная,

порывистая. Пулемет то задыхался, то снова строчил мелкой дробью...

— Там...— сказал Мамонов, показывая в сторону Соколова. А далекий пулеметчик все строчил и строчил...

Вдруг все стихло.

Неожиданно восток начинает светлеть. До восхода еще далеко... Что за оранжевый свет разгорается на горизонте?

Небольшое пятно все ширится. Вот уже и низкие тучи стали желто-оранжево-красными.

— Соколово,— обернулся ко мне Мухаммедьяров.

Да, горит Соколово... Значит, враг уходит. Срочно всех офицеров я отправил на места и приказал усилить оборону в соколовском направлении.

В ожидании мы провели больше часа...

Соколово пылало, но вот забрезжил рассвет, ослабив краски пожара.

Мы с Мухаммедьяровым пошли посмотреть на снежный вал, сооруженный ночью.

В двухстах метрах от леса громадный снежный бугор загораживал дорогу. Ночная пурга намела вокруг вала гору снега, придав ему сказочно гладкую форму с острым красивым гребешком. Это то, что, по нашим предположениям, должно было стать преградой для танков врага и что было нашей единственной надеждой. С соколовской стороны на заметенной дороге мы обнаружили еле заметные следы гусениц танка. Сохранились и две провалины в нашем валу, по-видимому, танк таранил наше сооружение.

— Значит, здесь ночью все-таки немецкий танк побывал,— сказал Мухаммедьяров.— И этот сугроб заставил его повернуть обратно.

— Да, наш вал заставил немцев переменить маршрут,— радостно заявил Мамонов.

У кювета дороги я заметил темную точку. Охваченный тревогой, направился туда. Комиссар и Мамонов последовали за мной.

У края кювета лежал запорошенный снегом проутюженный танком обломок пулемета и раздавленное гусеницей тело отважного пулеметчика. Поодаль ле-

жали с десяток сраженных его пулями трупов немецких солдат.

Мы сняли ушанки. Перед нами тот, кто ночью вступил в единоборство с вражеским танком.

Мне показалось что-то знакомое в лице героя. Я подошел, наклонился над ним, смахнул снег с лица и узнал моего ночного собеседника — Андрея Алешина.

Какой до чудовищности странной бывает судьба человека на войне! Разве мы могли представить себе, что наша встреча на другой день будет такой?

«Они сказывали, что ночью к нам фрицы могут пожаловать». Как просто говорил он тогда об этом!.. Они пожаловали к нему, и он их не пропустил.

Из леса показался верховой.

Офицер штаба дивизии вручил мне листок из полевой книжки генерала Чистякова, где крупным, неровным почерком генерала было написано, что противник перед рассветом оставил Соколово и полк Шехтмана двинулся преследовать его по следам. Генерал приказывал мне сдать участок батальону Н-ской бригады, который подойдет для смены к одиннадцати. А нам был указан новый маршрут.

Трудно выбить с места противника, но выбитому противнику еще труднее остановиться: он скользит и не может задержаться ни на одном рубеже. Он останавливается, пытается зацепиться за местность, огрызается, рычит, но при нашем подходе круто поворачивается, показывая нам спину.

Как убегающий от погони конь, так и отступающие проявляют всегда особую прыткость. Глубокие сугробы, как путы, сковывали наши ноги, мы утопали в снегу, но гнали и гнали убегающего противника. Мы были преследующие, а не беглецы, и это придавало нам силы.

Так с боями мы прошли километров восемьдесят.

Двадцать третье февраля 1942 года — годовщину Советской Армии — мы впервые встречали на поле боя. Впервые нам читались доклады языком огня.

Хутора, разбросанные северо-западнее Холкинского шоссе, среди болот Рдейской низменности, носили

общее название Глуховка. Через эти места немцы прошли марафонским бегом, поэтому хутора сохранились от разрушения. Здесь у шоссе мы остановились.

Занятый боевой жизнью, я не имел времени отдать последний долг Тохтарову и другим достойным бойцам за Бородино, доложить об их подвигах высшему командованию и советской общественности.

Мужество не должно оставаться неотмеченным. Не заметить или забыть отвагу, проявленную солдатом в бою, где он кровью доказывал свою любовь к Родине,— черное пятно, ложащееся на командирскую совесть.

Лично я не был свидетелем подвига Тулегена Тохтарова. Часто, говоря о войне, многое приукрашивают и преувеличивают, но я не хотел оскорбить память Тулегена и других отважных даже намеком на вымысел. Я хотел, чтобы листы реляций были юношески чисты и по-солдатски честны, как сам Тулеген.

Тулеген Тохтаров... О нем, о его гибели я мог написать правду только со слов очевидцев, со слов людей, непосредственно общавшихся с ним, со слов тех, кто рядом с ним сражался. Ключ к этой правде у солдат его роты, у Малика, Трофимова, Гундиловича.

* * *

Комнатушка. На столе коптит гильза от снаряда малокалиберной пушки. Непривычно тихо.

Передо мною Малик Габдуллин, политрук Тулегена. Он сидит на табурете, опираясь на край стола, и перелистывает мелко исписанную общую тетрадь. Рядом с ним, в телогрейке, без шапки — широкоплечий великан с продолговатым лицом и отмороженным кончиком длинного прямого носа — Балтабек Джетписбаев, комсорг полка. Он сидит, полуприкрыв глаза усталыми веками. Я слышал о нем, как о любимом вожаке молодежи полка. Офицеры называли этого детину ласкательно — Балташ или почтительно — Балтаэке. Как-то я спросил комиссара, чем комсорг заслужил

всеобщую любовь. Мухаммедьяров коротко ответил: «Простотой, искренностью, честностью».

Вот комиссар батальона Трофимов. Его белесые брови потемнели, глаза, как у близорукого, щурятся от усталости; он осунулся, оброс, вместо слов из его простуженного горла вырываются рваные хрипы. Ушанка небрежно откинута назад, пальцы его крутят очередную газетную самокрутку.

Четвертый — командир батальона, капитан Гундилович, блондин с обветренным лицом и немного отвисшей нижней губой. Он очень похудел, орлиный нос и острый подбородок слишком выделяются на его утомленном лице, красивые голубые глаза провалились.

Мы молчим и думаем о Тулегене. Я хочу увидеть героя, ищу его лицо среди тысячи лиц бойцов нашего полка. Лица мелькают в моей памяти, но ни на одном из них я не могу сосредоточиться. Я мучаюсь, что не запомнил его. Габдуллин напоминает мне о наших встречах с Тулегеном, но мне кажется, что я с ним никогда не встречался.

— Вот, товарищ командир, комсомольский билет и заявление Тулегена Тохтарова о приеме его в партию... он подал его тогда, перед боем,— Малик передает мне небольшой листок бумаги и тонкую книжечку.

Я раскрываю с трепетом комсомольский билет Тулегена — этот идейный паспорт большинства нашей молодежи. Из нижнего угла книжки на меня смотрит открытое лицо юноши с правильными чертами, с высоким лбом и отброшенною назад копною густых черных волос. Прямой и ясный взгляд... Какое тонкое и умное лицо у этого рабочего парня.

Вот он какой! Я смотрю на эту карточку и вспоминаю январские дни, подмосковное село Нахабино, помещение больницы, где мы распределяли по подразделениям новое пополнение. Вот подходит к столу рослый юноша в аккуратно заправленной широкой шинели, с туго затянутым поясом. Старательно отпечатав несколько шагов по мерзлому полу, стукнув каблуками, он останавливается по стойке «смирно» и смело, с достоинством представляется:

— Рядовой Тохтаров Тулеген.

— Кем хочешь быть?— спрашиваю я его.

— Куда прикажете, туда и пойду, товарищ капитан,— бойко отвечал он.

— В автоматчики пойдешь!

— Есть, в автоматчики.

...Я разворачиваю вчетверо сложенный лист, вырванный из тетради, и вслух читаю: «Прошу принять меня в ряды Коммунистической партии большевиков. Если меня убьют в бою за Родину, прошу меня все равно считать большевиком.

Сын скотовода, сам рабочий, Тулеген Тохтаров».

Так он писал, просто и кратко.

— Ну, рассказывайте, Малик,— предлагаю я Габдуллину.

— Тулеген Тохтаров,— читает Малик страницы из своей тетради,— 1923 года рождения, рабочий из Усть-Каменогорска, Восточно-Казахстанской области. В роту прибыл четырнадцатого января...

— Рассказывайте,— нетерпеливо перебиваю я его.

— У меня, товарищ капитан, здесь кое-что записано о нем, разрешите прочесть?

— Хорошо, читайте.

— Дисциплинированный и примерный на службе боец. Отлично владеет оружием. В пути следования, в эшелоне, был назначен комсоргом и агитатором. Все поручения выполнял образцово и в срок. Впервые вступил в бой с немецкими оккупантами второго февраля за деревню Ново-Свинухово. В атаку пошел смело, уничтожил пятнадцать вражеских солдат и троих немецких офицеров.

В ночь на шестое февраля, в боях за деревню Бородино, он первым ворвался в дом, занимаемый немцами, гранатой и автоматным огнем уничтожил двенадцать вражеских солдат. Во время первой контратаки противника, проявив инициативу, первым бросился с фланга на врага, увлекая за собой рядовых Батталова, Соколова, Егембердинова, Шумилова, Губайдуллина, Настретуллаева и других...

Малик закрывает тетрадь и начинает рассказывать о гибели Тулегена.

— Снаряды рвались за снарядами, разрушая тран-

шеи и осыпая нас огнем. Разрывы оглушали, осколки свистели, не давая нам поднять голову. Только урывками мы вели огонь по идущей на нас немецкой цепи. Вдруг на миг все стихло, и я увидел, как немцы бегом бросились на Бородино. Я со взводом кинулся к ним навстречу, но уже поздно — они вошли в деревню. Мы очутились лицом к лицу с врагом. Почти в упор стреляли друг в друга. Дисков хватило только на несколько минут. Патроны кончились. У немцев тоже иссякли боеприпасы. Все, кто остался в живых, бросились врукопашную... С другого конца деревни до меня донеслись возгласы наших бойцов, стрельба участилась. Я хотел броситься туда, как вдруг почти рядом раздался выстрел. В десяти шагах от себя на соседнем дворе я увидел, как, опираясь на левую руку, приподымался немецкий офицер, наводя парабеллум на бойца, раненного, по-видимому, в живот. Я узнал Тулегена. Он, собрав последние силы, взмахнул автоматом и, рывком бросившись на офицера, ударом приклада в голову свалил его и свалился сам. Я подошел к нему — он был мертв.— Малик протягивает мне тетрадь и добавляет: — Здесь у меня записаны некоторые слова, сказанные Тулегеном.

Я положил тетрадь в сторону и обратился к остальным.

— А вы что расскажете, товарищи?

— Он был алтайским гордым архаром,— горячо вставляет Балтабек.

Я с удивлением смотрю на него — раньше я не подозревал в нем способности к поэтическому мышлению.

— Тулеген был моим земляком, одного мы с ним племени,— с болью в голосе говорит Балтабек.

— Товарищ Габдуллин привел ряд данных, но Тохтаров, конечно, только в одном Бородине уничтожил намного больше указанного числа немцев,— деловито вставляет Гундилович.

— Да, товарищ капитан, им уничтожено немало вражеских солдат,— подтверждает Малик.— Бойцы мне рассказывали, как он, перебегая из ячейки в ячейку, косил и косил вражескую цепь...

— В бою очень трудно точно учесть, чья пуля нашла немца,— вмешался Трофимов,— но мне кажется, что главное в подвиге Тохтарова то, что он личным примером заражал других, сын далекого Алтая, он за русскую землю призывал драться по-русски.

* * *

Поговорив еще о делах Тулегена и других бойцов, мы распрощались. Я остался один. Коптилка трещит и мигает.

Передо мной — комсомольский билет и заявление Тохтарова. Какую силу и какую ненависть к врагу должен иметь человек, чтобы последнюю предсмертную судорогу превратить в смертоносный удар по врагу!

Тулеген Тохтаров и Андрей Алешин — рядовые советские люди. Один — лениногорский рабочий, другой — колхозный парень из-под Павлодара, до последнего вздоха сражавшийся один на один со стальным немецким чудовищем. Им мы обязаны нашей победой!

Какая сила двигала этими бойцами? Что вдохновляло их на великий подвиг и рождало презрение к смерти?

Я раскрываю тетрадь Малика. Ровным и красивым почерком Малик записывал мысли, слова и поговорки, услышанные от солдат, фамилии и адреса товарищей, происходившие события.

Записи отрывочные, торопливые и незаконченные. Местами страницы тетради запачканы кляксами от дождевых капель и талого снега или просто комками грязи — явные следы того, что «кабинетом» автора были поле боя, дно окопа или воронки от снаряда. Я не задерживаюсь на страницах. На одном из последних листков тетради я читаю заголовок: «Тулеген Тохтаров».

«Смотри в глаза смерти,— она испугается и отступит перед тобою».

«Кто любит жизнь, тот всегда наступает на костлявую ведьму».

«В наступлении не оглядывайся, а то споткнешься».

Записи завершали строки Абая, переписанные Маликом:

> «Пленяя слух. забирают душу мою в полон
> Красивая песня и сладкая мелодия,
> Погружают меня в мир размышлений...
> Если песни ты любишь — люби их, как я...»

Да, говорю я себе, разве Тулеген своим последним дыханием не пробудил в нас много высоких дум, чувств, размышлений? Разве он не мог сказать: «Если любишь жизнь, то люби ее так, как я ее любил!»

Вода потечет по правильному руслу и не остановится, если верно направить ее...

Скакун помчится, как стрела, если умелая рука его окрылит...

Сокол ринется против бури и урагана, если в гуще грозовой волны будет ясна ему цель...

Мы — советские люди, наши сердца не стальные. Но огонь нашей мести может расплавить, сжечь любую сталь... У нас есть самое сильное оружие, побеждающее страх,— это любовь к Родине.

Недаром говорили мудрые: «Отец мужества — любовь, отец жизни — народ!»

Слава простому советскому человеку, вместившему в сердце своем океан любви к Родине и товарищам!

...Мигает коптилка.

Я пишу слова реляции о награждении отличившихся в боях за Бородино:

«Достоин присвоения звания Героя Советского Союза...»

Герои смертью жизнь не кончают, они начинают жить в сердцах миллионов!

СПИНА

Говорят, лицо — зеркало души. А ведь это не совсем и не всегда верно. Характер, воля человека испытываются временем. Каждый знает об этом. Человек в течение жизни так или иначе учится скрывать свои чувства и, прежде всего, конечно, тренирует свое лицо. Может, и верно говорят, что особенно этим славится восток.

Гораздо более, на мой взгляд, выразительны руки: непроизвольная дрожь или едва заметные движения выдают расслабление нервов; но особенно — многим это покажется странным — до чего же выразительна бывает спина человека!

Это было на фронте. Фронт давно стабилизировался. Линия обороны проходила по реке Л. с болотистыми берегами. Как у нас, так и у немцев, оборона была жиденькой.

В полк, которым я тогда командовал, прибыло пополнение. Среди прибывших офицеров мое внимание сразу привлек молодой капитан. Стройный, выше среднего роста, с отличной воинской выправкой, с небольшими бакенбардами и квадратными усиками, он был хорош собой — щеголь и, видно, служака.

Особенно в нем поражала артистическая манера в исполнении всех приемов при обращении. Он делал их непринужденно и свободно, с отменной четкостью. Я сам — кадровый офицер, и мои товарищи всегда

считали меня неплохим строевиком. Я в его годы ничего такого не только не умел, но и не видел. «Должно быть, перед зеркалом учился»,— думал я каждый раз, наблюдая за ним. Отдавая честь, он быстро проделывал очень сложные манипуляции плечом, предплечьем и кистью руки; взяв под козырек, одновременно лихо щелкал каблуками и вытягивал в струнку свою и без того стройную фигуру с узкой талией. Эти почти балетные номера заставили меня относиться к нему скептически, но офицером он оказался неплохим, дельным. Был он, правда, фатоват, но все-таки аккуратный, и солдат подтягивал, ну а насчет фатоватости — кто же из нас в том не грешен? Я сам до сорока трех лет, не смотря на протесты любимой женщины, никак не мог расстаться с савельевскими шпорами, отличающимися от других шпор изяществом и малиновым звоном...

Посоветовавшись с начальником штаба, я его назначил командиром одного из штабных подразделений.

Вскоре представился случай испытать характер капитана. Надо было послать небольшую группу в тыл противника с задачей внезапно напасть ночью на штаб полка и, если удастся, захватить документы и двух-трех пленных. Это было тогда необходимо, потому что наши данные о противнике были крайне противоречивыми и путанными.

Я вызвал капитана. Поставил перед ним задачу, рекомендовал ему ряд вариантов плана действий группы. Капитан внимательно выслушал приказ, по всем правилам ответил, артистически, как всегда, откозырнул и с обычной лихостью щелкнул каблуками. Но когда он шагнул к двери, я увидел его спину. У него чуть опустились плечи и спина сделалась какой-то круглой, выпуклой... Вот уж никак не ожидал, что увижу стан этого человека в такой степени бесформенным! «Грудью брал,— спиной выдал. Трусит. Может погубить людей и сорвать задание»...

На такие рискованные дела часто не знаешь, кого послать. Вопрос отбора людей мучительно переживается командиром. Самое страшное в ближнем бою, когда офицер теряет самообладание и люди, в силу

дисциплины, выполняя его бестолковые окрики, мечутся по полю, ловя любую шальную пулю.

Когда он перешагнул порог, я приказал:

— Капитан, вернитесь!

Он стоял передо мной навытяжку. Мы оба молчали.

— Пошлите ко мне вашего заместителя. Вы не пойдете,— сказал я.

Он, потупив глаза, сделал, как мне показалось, глотательное движение и чуть дрожащим голосом повторил приказание. Почему я вдруг изменил свое решение — он не спросил.

* * *

Старший лейтенант Малярчук был заместителем капитана. Малярчук был простоватым парнем, говорил только по-украински и с украинским юмором. Все равные и старшие в званиях разговаривали с ним на «ты». Он был в полку общим любимцем.

— По вашему вызову старшой лейтенант Малярчук явився! — доложил он.

— Ну, що, хлопче дюжий? — я так его называл, и это ему нравилось.—Может, хочешь трохи промынаться? — я всегда невольно коверкал его родной язык, Малярчук и на этот раз тактично улыбнулся.

— Як прикажете. Промынаться, колы так трэба, промынаемось. Не перший раз. Що прикажете?

Малярчук внимательно выслушал меня, несколько раз переспросил и задал ряд вопросов. Он изложил несколько вариантов не предусмотренных мною; всякий раз, когда он видел, что я со вниманием слушаю его рассуждения и соображения, он заканчивал вопросом:

— Як що нимець вчинить так, то що нам зробити и як дияти?

Получив разъяснения и советы, Малярчук, после долгого раздумья над развернутой картой местности, где предстояло действовать небольшой группе под его командой, сказал:

— Що вид нас трэба, я зрозумив, а як зробити, ще трэба трохи помиркувати.

Старший лейтенант просил дать ему на подготовку

сутки. Эту свою просьбу он обосновывал тем, что «трэба с хлопцами подывиться и выбраты самый наизручнийший участок для перехода скриз линию фронта». На выполнение задачи он просил двое-трое суток и, ссылаясь на необходимость тщательно разведать район, изучить объект нападения, предлагал ряд вариантов действия в тылу противника. Когда я одобрил его решение и спросил, верит ли он в успех, Малярчук, улыбаясь, ответил:

— Як вам сказаты? Правда, що трохи боязно, та ничого, коли трэба, то трэба. Мы с хлопцами постараемось як можна краще выконаты завдання.

— Добре, хлопче дюжий. Щасливо и целыми вертайтесь.

На третье утро Малярчук с группой бойцов был на той стороне и радировал данные, а их командир, капитан, не выходил из опустевшего после ухода людей блиндажа. Никто его не вызывал, никто им не интересовался.

Мне доложили, что как-то случайно забрел в его блиндаж один из офицеров и, увидев, что он лежит в темном углу блиндажа, спросил:

— Чего же вы, капитан, лежите? Пойдемте ужинать.

— Мои люди ушли, а я остался,— ответил капитан и, как малое дитя, глухо и долго рыдал, уткнувшись головой в подушку...

И я мучился в эту ночь, не находя ответа на вопрос, правильно ли я поступил с ним.

* * *

Малярчук с группой вернулся через двое суток.

* * *

Как-то вечером зашел ко мне капитан. Он осунулся и оброс щетиной.

Он просил послать его на выполнение какого-либо задания.

— Теперь некуда вас послать, капитан. Мы стоим в

обороне. Для того, чтобы вы выдержали испытание, один случай упущен, а другого пока нет.

— Дайте мне десять солдат,— умолял он,— и я пойду на любое...

— Из-за вашего рвения я не могу рисковать жизнью десяти солдат без всякой на то надобности. Можете идти, капитан.

Он ушел.

Добрый Иван Данилович, начальник штаба, однажды в конце своего доклада спросил меня, как быть с капитаном.

— Пусть он продолжает командовать своим подразделением. Он же не отстранялся от этой должности,— ответил я.

— Да, но фактически он...

— Фактически он,— прервал я Ивана Даниловича,—фактически он был на время заменен, а не отстранен. Война ведь не завтра кончится, посмотрим, что будущее покажет.

— Он теперь все время сидит у меня. В свое подразделение не идет. Сегодня ночевал где-то в конюшне штаба. Ей-ей, жалко парня.

— Ну что бы вы посоветовали, Иван Данилович? Не могу же я на его реабилитацию жертвовать без всякой надобности жизнью десяти солдат!

— Это, конечно, верно,— глубоко вздохнул Иван Данилович,— признаться я боюсь, как бы он...

— Не бойтесь, Иван Данилович. Человек, который в тот же день не нашел в себе силу воли наложить на себя руки, на пятые сутки этого не сделает. Лишь актеры стреляются, да и то на сцене. Пока назначьте его офицером связи в штаб дивизии. Он там кое-кому быстро понравится.

— Вот это идея! Слушаюсь! — обрадованно ответил Иван Данилович.

* * *

В эту ночь в неверном сне, в дремоте меня преследавал капитан то своими «номерами военной балерины», то согбенной и бесформенной спиной и слегка дрожащими мизинцами, то решительным лицом, умо-

ляющим послать его на смерть; этот кошмар продолжался до утра.

Я проснулся, чувствуя себя разбитым. Из зеркала на меня смотрел человек с помятым лицом, с отеками под глазами. Я был недоволен и собой, и капитаном. Я обвинял его, обвинял себя.

Через месяц мне позвонил начальник штаба дивизии и спросил, не возражаю ли я, если капитана послать офицером связи в штаб армии. Я дал свое согласие.

Малярчук был назначен командиром. Про капитана вскоре все забыли.

Шли дни, шли недели, шли месяцы, испытывая наш характер, нашу волю, нашу верность долгу, нашу верность перед совестью — высокие моральные принципы нашей жизни. Война все еще продолжалась.

После кратковременной отлучки с фронта я был назначен командиром дивизии. О сменившем меня в должности командира полка Иване Даниловиче, я знал, что он погиб и ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Что стало с капитаном и Малярчуком — мне не было известно.

Однажды на рекогносцировке я вошел на НП командира батальона соседней дивизии. В узком срубе в стереотрубу смотрел майор и говорил артиллерийскому наблюдателю, сержанту:

— Гей, сержанте, що у тэбэ на чоли — очи чи дви дирочки з стеклом? Куда ты доселе зарився? Що там пид копицею? Що це там пид тою вербою? Я тэбэ питаю, сержанте.

По голосу и богатырским плечам я узнал Малярчука.

— Здоровенький був, дюжий хлопче! — не выдержал я.

Малярчук вздрогнул, обернулся, торопливо встал и вытянулся, приложив руку к пилотке. Я едва узнал его — глубокий шрам серпом багровел на правой щеке. Он улыбнулся, отчего шрам сделался еще глубже, искажая его лицо.

— Здравья желаю! Це вы, товарищу полковник? Значить, вы живый? Ой, як це гарно! Чудово!

Встреча наша была трогательной. Малярчук год как командовал батальоном. Хорошо, что он жив и стал боевым командиром. Хорошо.

Кончилась война.

* * *

Однажды я присутствовал на артиллерийской стрельбе на одном из окружных полигонов.

На перекрестке дороги кто-то властно остановил машину, в которой я ехал.

— Адъютант генерала Н.— представился молодой майор и, когда наши глаза встретились, он чуть запнулся и почти машинально, скороговоркой продолжал, видимо, уже сотни раз произносившееся им:

— Командующий приказал после осмотра полигона точно в шестнадцать ноль-ноль прибыть на высоту 303...

Он был одет с иголочки и вертелся около одного из командующих, вышколенный, то и дело козыряя и щелкая каблуками.

ПОМКОМВЗВОДА НИКОЛАЙ РЕДИН

В ноябре 1932 года меня призвали на действительную, и я стал солдатом.

Всякий знает, что солдат — самый младший чин в армии. Тогда нас величали «красноармеец товарищ такой-то». Когда я был «товарищем красноармейцем», мне ни разу не приходилось встречать среди командного состава ни самодуров, ни грубиянов, которые напоминали бы солдату о его происхождении по женской линии от самой Евы до его родной матери.

Помощник командира взвода, или как тогда говорили, помкомвзвода, Николай Редин был моим первым военным учителем. Он был среднего роста, белокурый, синеглазый. Он умел служить и носить военную форму. На нем все было аккуратно подогнано. Ходил он гордо и уверенно, как бы отмеривая своими широкими шагами землю отечества. Мы все подражали ему и вместе с тем боялись. Но где-то в уголочке своего сердца каждый хранил уважение к помкомвзвода Редину. Он был очень требовательным, сам себе не прощал ничего, а нам тем более...

— Красноармеец товарищ Бауржан Момыш-улы, ко мне! — приказал он. Я подошел к нему, как умел, и представился.

Редин строго посмотрел на меня и, вытянувшись в струнку, приказал.

— Красноармеец товарищ Бауржан Момыш-

улы! — Я в свою очередь тоже вытянулся.— Одеть пилотку, как я! — приказал помкомвзвода. Я поправил пилотку.— Руки вперед!—Я протянул руки.— Не дрожать. Я вас резать не собираюсь! Ногти подстричь.— Я повторил его приказание.— Заправиться, как положено...

Потом он повернул меня «направо», «налево». Раза два или три скомандовал «кррругом!»... Приказал пришить пуговицы, постирать носовой платок, почистить сапоги, проколоть на ремне две запасные дырочки и немедленно сменить подворотничок. Я повторил все его приказания. Когда, уходя, повернулся «кругом», видимо от волнения и обиды чуть качнулся. «Отставить!» — крикнул Редин. Я повернулся к нему.

— Надо поворачиваться кругом через левое плечо, на левом каблуке, на правом носке. Вот так.

Редин сделал четкий поворот и, повернувшись лицом ко мне, скомандовал: «Кругом!»...Когда я повернулся на этот раз удачно и отпечатал несколько строевых шагов, сзади услышал довольный голос Редина:

— Вот так надо отходить от командира... А теперь можете идти вольно, товарищ красноармеец...

Однажды Редин опять позвал меня. Я шел с волнением, готовясь получить очередное замечание. Но нет, помкомвзвода улыбался.

— Садитесь, товарищ Бауржан Момыш-улы,— предложил он, и, когда я робко сел с ним рядом, помкомвзвода сказал:

— Я доволен вашими успехами. Вы в нашем взводе неплохой стрелок. Со строевой подготовкой у вас дело вроде как наладилось. А вот насчет физической не клеится. Вы отстаете от своих товарищей.

— Я, товарищ помкомвзвода, постараюсь...

— Знаю, что стараетесь. Но дело сейчас не в этом. Я хочу поговорить с вами о другом.

И неожиданно для меня он спросил:

— Почему бы вам не идти в снайперы?

— Как же, товарищ комкомвзвода, какой же из меня снайпер выйдет?

— Меня назначили в снайперскую команду. Хотите, будем вместе учиться?

Я с радостью согласился.

Редин был помощником командира снайперской группы. Нам всем от него здорово доставалось. Он стал еще строже и требовательнее. Тренировал нас до обморочного состояния, требуя сочетать скорость с меткостью. За каждую пулю, посланную «за молоком», он переживал, пожалуй, больше нас.

Нашу дивизию инспектировал заместитель Буденного генерал Когосов. Худой, очень щупленький, но с гордой осанкой человек. Всех красноармейцев он называл «сынками».

— Ты, сынок, не волнуйся. Я приехал не тебя проверять, а твоих командиров. Вот хочу посмотреть, как они тебя учили. Ты покажи все, что умеешь. Ругать тебя не буду, а твоих командиров, если есть за что, пожурю. Семену Михайловичу доложу. А он у нас строгий мужик...

Редин подошел ко мне и почти шепотом сказал:

— Говорят, снайперы пойдут на огневую попарно. Один наблюдатель, а другой стрелок. Пойдемте вместе. Я наблюдаю, вы стреляете. Видимо, шестое упражнение будем сдавать.

Помощник Косогова, с бархатным воротничком (тогда офицеры генерального штаба носили гимнастерки с бархатными воротничками), нажал на головку секундомера и скомандовал:

— Снайперы помкомвзвода товарищ Редин и красноармеец товарищ Шылымылы, на огневую — бегом, марш!

Мы сорвались с исходного положения, побежали, камнем упали на огневой.

— Ориентир два, право куст, перископ! — сказал наблюдатель.

Маленький перископ сливался с зеленым фоном куста. Я выстрелил.

— Влево на два пальца! — крикнул Редин увидев вспышку пыльцы около куста. Я выстрелил три раза подряд. Перископ полетел в воздух. Сзади раздался раскатистый смех Косогова.

Снова и снова на несколько секунд показывались и, как во сне, исчезали появляющиеся и движущиеся

цели: «связная собака», «наблюдатель», «перебегающий солдат», «пулемет»... Я стрелял и стрелял... Вдруг в небе появился самолет. Он пикировал. Я послал ему навстречу пять пуль.

— Опять «связная собака». Значит, я ее первыми двумя выстрелами не поразил. Я выстрелил три раза.

— Поразил! Больше не тратьте времени! — крикнул Редин.— Бейте «артиллерийского наблюдателя», ориентир пять, вправо четыре пальца!

Из блиндажа смотрели на нас рога «стереотрубы». Я выстрелил два раза. После второго выстрела в воздух полетели щепки фанерной бутафории. Опять раскатистый смех Когосова.

— Стой! — крикнул инспектирующий.— На исходную — бегом марш!

Мы вскочили и помчались на исходную.

К нам подошел Когосов.

— Сынок,— сказал генерал, похлопывая меня по плечу,— не знаю, сколько целей ты поразил, но ты не стрелок, а автомат. За две минуты — тридцать два выстрела!

После осмотра мишеней оказалось: из тридцати двух выстрелов двадцать два попадания.

— Кто твой командир, сынок? — спросил Когосов. Я нелепо и фамильярно показал руками на Редина.

— Спасибо тебе, сынок, за службу. Спасибо, что это ты, видимо, вымучил и выучил такого стрелка, сынок!

Когосов протянул руку Редину.

— Служу трудовому народу,— отчеканил Редин, вытянувшись в струнку.

— Вот так надо учить красноармейца,— сказал генерал.

На обратном пути Редин купил три больших арбуза и угостил ими весь взвод.

Протягивая мне кусок сочного арбуза, он улыбнулся:

— Ну и фамилия же у вас, Баурджан. Этот начальник вас назвал «Шылымылы»!..

И помкомвзвода громко, весело расхохотался.

На четвертый день Редин с сияющей улыбкой принес мне окружную армейскую газету, где была напечатана корреспонденция «Снайпер Момыш-улы на огневом рубеже».

Осенью Редин и я демобилизовались. Я поехал в родной Казахстан, он — в Поволжье.

Прошло десять лет.

Война была в разгаре. На юге наши войска терпели катастрофу за катастрофой. Одесса, Крым, Керченская трагедия, Ростов на-Дону, Кавказ, Сальские степи, дальние подступы к Сталинграду...

На нашем участке бои шли с переменными успехами. Мы наступали — немцы контратаковали, немцы наступали — мы шли в контратаки. Как-то мы продвинулись на двадцать пять километров. Потом немцы пустили «тигров», «фердинандов», остановили и отбросили нас километров на пятнадцать назад.

На мой НП приехал командующий армией генерал Чистяков. Я доложил обстановку. Выслушав мой доклад, генерал несколько раз прорычал: «Да, да!.. Выходит, он вас побил... Значит, он вам дал по морде? Значит, он вас погнал назад!»

Я растерянно мигал глазами. Генерал горько улыбнулся и мягко спросил:

— Как вы думаете? Немец вас правильно побил?

— Я думаю, товарищ командующий, он нас правильно побил. Артиллерия ведь у нас на конной тяге. Она не успевала за танками и пехотой.

— М-м-м-да!.. Раз вы считаете, что вас немец правильно побил,— тогда уж извольте по достоинству, как подобает командиру дивизии, поздравить немцев с победой!

Я не знал, что ответить генералу.

— Не огорчайтесь, комдив,— еще мягче сказал генерал.— Я приехал к вам не от хорошей жизни. Вы и ваши люди не виноваты. Я недооценил противника, я не предвидел вот эту его штукенцию,— генерал ткнул пальцем в карту на позицию корпусных резервов противника.— Он меня упредил на шесть часов и погнал вас.

Далее генерал, познакомившись с новыми данными о противнике, приказал:

— Держитесь до вечера, а перед рассветом будете контратаковать! Ночью к вам прибудет артиллерийская бригада и два полка самоходной артиллерии, вот и поздравьте немцев завтра с утра с победой. Отсалютуйте ему минут сорок, а потом, по его же примеру, дайте ему по морде.

Комиссар дивизии Иван Михайлович Коньковский был добрым и храбрым шестидесятилетним стариком. Он меня удерживал от многих глупостей в моей командирской работе. Когда я горячился, он молчал. Потом подходил ко мне, и мы всегда находили правильное решение.

В полосе нашей дивизии за три дня боев оказались подбитыми с полсотни танков противника. Коньковский, докладывая мне об этом, сказал:

— Спасибо командующему за то, что он нас подкрепил. Все-таки, наши солдаты молодцы! Старшину Редина я предлагаю к ордену Ленина представить. На его боевом счету пять немецких танков.

— Кто такой Редин?

— Редин — командир взвода противотанкового артиллерийского дивизиона.

— Иван Михайлович, позовите его ко мне. Я должен с ним познакомиться.

Пришел Редин. Я его не узнал. Он очень постарел. На правой стороне его гимнастерки я увидел шесть знаков ранения, из них четыре тяжелых.

Мой учитель, мой первый командир вытянулся передо мной, приложив руку к фронтовой выгоревшей пилотке. Он был по-прежнему аккуратен и по-фронтовому красив.

— Николай Васильевич! Это вы, Николай Васильевич? Почему вы раньше о себе не дали знать? Николай Васильевич!

Когда я его спросил, почему он так постарел, он улыбнулся и сказал:

— Ведь мы с вами, товарищ полковник, служим Советскому Союзу. Советскому Союзу пока приходится очень трудновато.



При этих его словах Коньковский прослезился.

— У меня не хватает совести, Николай Васильевич, послать вас за седьмым ранением,— как-то за ужином сказал я Редину.— Идите пекарем в дивизионную хлебопекарню.

— Вы меня не обижайте, товарищ полковник,— произнес сквозь зубы Редин, сдерживая вспышку гнева.

Он очень разволновался и с нетерпением ждал моего окончательного решения.

Я тоже рассердился и официально приказал:

— Старшина товарищ Редин! Идите командовать своим взводом!

— Слушаюсь, товарищ полковник!.. Благодарю вас, товарищ полковник, за то, что вы разрешили мне вернуться к моим боевым товарищам!

После ухода Редина Коньковский долго упрекал меня за то, что я не умею разговаривать с людьми. Когда я оправдывался, что ничего плохого не желал Редину, а только предложил ему более безопасное место, Коньковский горько улыбнулся и сказал:

— Вот в том-то и беда, товарищ командир! Ты оскорбил честь и самолюбие воина! В том и беда, товарищ комдив...

Я молчал.

...Запищал зуммер телефона.

— Товарищ полковник,— говорил незнакомый мне женский голос — я врач! Извините пожалуйста. К нам поступил в очень тяжелом состоянии старшина Редин...

Я немедленно выехал в медсанбат. Николай Васильевич лежал на топчане, осунувшийся, бледный. В палате пахло кровью и хвоей. Он лежал с синеватым оттенком на лице.

Когда я вошел, Редин попытался подняться.

— Бауржан! — он обратился ко мне.— Ты приехал? Вот, как видишь, немцы позвонок перебили... Я даже не могу встать перед своим комдивом!.. Обидно получается, Бауржан. Ты меня прости, пожалуйста...

— Что вы, Николай Васильевич, что вы, дорогой, зачем вставать! Спасибо тебе за учебу, спасибо тебе

за службу, Николай Васильевич! Спасибо тебе, дорогой!

Он открыл глаза, протянул мне похолодевшую руку и еле слышно произнес:

— Ты так думаешь?.. Служу Советскому Союзу! — Это были его последние слова.

Я обнял его и зарыдал.

Николай Васильевич Редин, мой первый военный учитель, мой первый командир скончался.

— Служу Советскому Союзу! — сказал он перед тем, как заснуть навеки.

СОДЕРЖАНИЕ

Редактор *Н. Зверев.*
Художники *К. Овсянников, А. Овчинников.*
Техредактор *С. Ищанов.*
Корректор *М. Крылова*

Подписано к печати 28/X- 1958 года.
УГ05961. Изд. № 157. Формат 84×108[1]/32
= 14,32 п. л.— 23,57 усл.-п. л. (22,9 уч.-изд. л.
+ 1 вклейка). Тираж 7 500. Цена 8 руб. 85 коп.

Полиграфкомбинат Главиздата Министерства
культуры КазССР. г. Алма-Ата,
Пастера, 39. Заказ № 1682.


UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 073776061